Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЯН НЕРУДА

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

РАССКАЗЫ

●

МАЛОСТРАНСКИЕ ПОВЕСТИ

●

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

Вступительная статья
Вилема Завады

И (Чехосл)
Н 54

Составление и примечания
А. Соловьевой

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

Н $\frac{70404\text{-}173}{028\,(01)\text{-}75}$ подписное

О ЯНЕ НЕРУДЕ

Ян Неруда для чешского читателя неизмеримо больше, чем просто один из великих творцов национальной литературы. Ян Неруда для нас — то же, что Александр Сергеевич Пушкин для русских, Адам Мицкевич — для поляков, Шандор Петефи — для венгров, как бы ни было велико различие между этими поэтами.

Со дня рождения Неруды минуло сто сорок лет. За истекшее время чешский и словацкий народы добились небывалого расцвета в области материальной и духовной культуры. Развившись в ширь и глубь, расцвело их искусство. Выросла целая плеяда выдающихся художников, чье творчество известно всему цивилизованному человечеству. Однако Ян Неруда попрежнему остается величайшим из чешских поэтов не только благодаря всеобъемлющей мощи дарования, общедоступности творчества, но и благодаря гуманности и реалистичности своего искусства. Вспыхнув, отпылал не один ослепительный фейерверк, не одна звонкая фанфара отзвучала в пустоте, а Ян Неруда по-прежнему живет, оставаясь одним из столпов того моста, по которому чешская литература переступает из столетия XIX в XX и движется дальше.

Ян Неруда вступил в литературу в 50-е годы прошлого века, в годы «погребенных заживо». Демократическая революция 1848 года была разгромлена, политическая жизнь парализована, дух молодежи подавлен. В школах и в учреждениях господствовал немецкий язык, уничтожалась даже память о былой самостоятельности чешского народа, любое проявление свободомыслия душилось в самом зародыше. Историк Франтишек Палацкий и его друзья должны были молчать; родоначальник чешской политической печати поэт Карел Гавличек-Боровский был сослан в Бриксен, революционер, демократ Й.-В. Фрич томился в заключении в Венгрии. Народом владела апатия. Прага, крохотный, запуганный город, была буквально населена сыщиками и фискалами. Несмотря на это, молодежь, в особенности студенческая молодежь, не утратила своего патриотического

Статья Народного художника Чехословакии, поэта Вилема Завады написана специально для нашего издания.

одушевления, а молодая чешская сельская и городская буржуазия, изыскивая всевозможные пути и средства, боролась за рынки и прибыли.

В такую атмосферу вторглись нерудовские стихи. Его первая книга под названием «Кладбищенские цветы» вышла в 1858 году и обнажила перед современниками, которым убогая тогдашняя чешская литература наивно являла жизнь в образах дивных парков, «гордых блистаньем красок прелестных, полных напевами пташек небесных»,— совершенно иную действительность: кладбище, смерть, нищету, неуверенность в завтрашнем дне, трагизм существования. Молодые поэты, обливающиеся кровью уже при первых столкновениях с жизнью, часто начинают со стихов о смерти. Но происходит это не из-за усталости, а из-за безрассудно-упоенной жажды жизни, которая оборачивается порой полной себе противоположностью — сознанием собственного ничтожества, близости смерти. У Яна Неруды, сына отставного солдата, владельца мелочной лавки, и служанки, родившей его 9 июля 1834 года, эта неутолимая жажда жизни постоянно наталкивалась на преграды, воздвигнутые нищетой, неудовлетворенными желаниями, разбитой любовью и, главное, безнадежными национальными, политическими, социальными условиями того времени. В отличие от своих предшественников — К.-Г. Махи и К.-Я. Эрбена, которые происходили хотя из небогатых, но все же обеспеченных семей купцов или ремесленников, Ян Неруда был типичным пролетарием и плебеем, который научился видеть жизнь снизу.

На дне жизни, в тисках немилосердной судьбы и враждебного ему общества, он боролся до последних своих дней. Трагическое восприятие окружающего, рожденное этой ситуацией, усиливали необычайная ранимость и непреклонная гордость поэта. Вот почему «Кладбищенские цветы» — это картина чешского общества той поры и выражение душевного состояния автора. В мрачных, но конкретных и точных образах Неруда изобразил человека, влачащего нищенское существование. Неруда одним из первых среди чешских поэтов увидел эту тяжкую повседневную борьбу «с суровой действительностью». Он высмеял «непорочную» литературу, которая утопала в истории, стыдливо отворачиваясь при этом от насущных проблем жизни и мира. Неруда не был простодушным певцом, который идеализировал и мифологизировал свой народ, желая во что бы то ни стало увидеть в нем некий идеальный союз и единство. Он решительно отмежевывался от того общества, которое уже в молодости причинило ему столько обид и унижений. Его возмущал равнодушный «сброд», заботившийся лишь об удовлетворении низменных потребностей и ценивший желудок превыше головы. Его ирония и язвительный ум разрушили досель неприкосновенные представления о вечности, о вере и невинности. Он лишил нимба таинственности и человеческую любовь, показав ее земную, биологическую суть, ее зависимость от материальных и общественных условий. Его искрометный дух постигал противоречивые свойства человеческой натуры и любых человеческих устремлений. Уже в своем первом сборнике он проявил себя поэтом-мыслителем, обладающим острым политическим чутьем: он диалектически смотрел

на мир, изучая его в вечном движении и изменениях. Сквозь шум преходящих политических событий своей эпохи он расслышал грохот циклопических молотов будущего, идущий из глуби земли.

Неруда ввел в чешскую поэзию грубую конкретную реальность и грубую конкретную поэтическую речь, берущую начало у истоков народной разговорной речи, народной образности и юмора, и тем самым пробил огромную брешь в условно-романтической, туманной и пышно-цветистой поэтической речи того времени.

«Кладбищенские цветы» встретили у литературной общественности то же непонимание, что и поэма «Май» К.-Г. Махи; их долго считали лишь незрелым проявлением субъективизма молодого поэта, плодом его всеотрицания. «Набитый дурак»,— так отозвался о Неруде редактор, ранее печатавший его стихи. Франтишек Палацкий после выхода в свет «Кладбищенских цветов» заявил, что Неруда не поэт, а танцмейстер. Живший в Праге французский ученый-геолог Иоахим Барранд, в прислугах у которого работала мать Неруды, настоятельно советовал молодому человеку бросить стихоплетство и заняться какой-нибудь серьезной наукой.

Й.-В. Фрич откровенно признавал, что не считает его поэтом и первую книжку стихов поставит в библиотеку, подобно тому как естествоиспытатель оставляет у себя ту или иную диковинку. Галек — вот это, мол, поэт, это другое дело...

И все-таки «Кладбищенские цветы» — ключевое произведение Неруды. В нем — весь его характер: озлобленное одушевление, неподкупная искренность и жар сердца. В нем трепетно и непосредственно выразились как личные проблемы поэта, так и проблемы эпохи. Кроме того, в этой книге, как в ядре, содержится весь будущий Неруда. Мы найдем здесь строки мужественной и сдержанной интимной лирики, то, что мы встретим позднее в «Книгах стихов» и «Простых мотивах». По стихотворениям, где поэт обозревает движение миров, можно угадать будущего певца «Космических песен». Горькие строки, излившиеся в минуты размышлений над проблемами современного ему общества, явятся предвестниками грядущих «Песен страстной пятницы». В целом «Кладбищенские цветы» есть выражение нового направления в чешской литературе, стремившегося выработать реальный и правдивый взгляд на общественно-политическое развитие чешского народа.

Неудачу своей первой книги Неруда переживал очень болезненно, но она не сломила его. Вскоре он встал во главе нового литературного поколения. В конце 50-х — начале 60-х годов поэт развил прямо-таки лихорадочную деятельность, словно желая доказать себе и другим, что он способен на позитивные дела. Вместе с поэтом Витезславом Галеком (1835—1874) он создал в 1858 году альманах «Май», вокруг которого объединилось молодое поколение талантливых литераторов. Осенью 1858 года анонимно издал сатирический памфлет «У нас», направленный против устаревшей реакционной критики. В 1859 году вместе с Я.-Р. Вилимеком он основал журнал

«Образы живота», где публиковал стихи и повести ведущих чешских и мировых писателей, а также научно-популярные статьи, юмор и сатиру. Позже Неруда редактировал журналы «Родинна кроника», «Кветы», «Люмир», постоянно предъявляя к себе и своим коллегам непременное требование — создавать «произведения новые, невиданные и неслыханные». Неруда мечтал поднять уровень своих журналов до мировых образцов. В альманахе «Май» в 1859 году он опубликовал свою первую «арабеску» — «Моему воробью», положив тем самым начало дальнейшему своему прозаическому творчеству.

В 1859 и 1860 годах им была написана большая часть стихов, составивших сборник «Книги стихов», который увидел свет лишь в 1868 году. Поэта уже не удовлетворял односторонний взгляд на мир, не удовлетворяла мелодия, сыгранная на одной струне. Он попытался развить свои способности как можно полнее и в своем творческом порыве ушел очень далеко. Освоив романтическое творчество Махи, баллады Эрбена, он в чем-то остался близок им, но, решительно шагнув вперед, вплотную подступил чуть ли не к современной социальной балладе и злободневной политической песне. Неруда, вполне владея отечественной тематикой, смело черпал из опыта всемирной поэзии: восточной и западной, итальянской и скандинавской. При этом успешно переводил: Петефи, Гюго, Бёрнса, Гейне, Ленау, Беранже и др.

В своих эпических композициях «Дикий звук», «О Шимоне Ломницком» поэт объективировал чувства общественной обездоленности и нищеты, о чем с впечатляющей остротой и выразительностью писал уже в своих ранних стихах. В превосходных зарисовках пейзажей, в изображении трагических судеб и страстей он неоднократно обнаруживал львиную хватку, достойную истинного наследника Махи. Но талант описательства не был для него органичен. Словно живые, обнаженные нервы, трепещут в этих романтических творениях пассажи социальные, исполненные человеческой боли, выраженные стихом строгим и скупым, как в «Кладбищенских цветах» (тематику их он, впрочем, развивал и углублял в «Листках из «Кладбищенских цветов»). Близки его первенцу и циклы «Отцу» и «Анне», в которых поэт правдиво и без романтического пафоса и гиперболизации выразил свое отношение к близким людям. Отца он любил, гордился им, но истинные свои чувства к нему всегда прятал под маской отчуждения. Сложными были отношения поэта и с Анной Голиновой. Он то ухаживал за ней, то жестоко смеялся над девушкой. В 60-е годы Неруда дополнил эти циклы новым — «Матушке». К ней одной он испытывал ничем не омраченную глубокую и горячую любовь.

Чувства сыновней любви были у него самыми сильными и прочными. Он наделяет ими иные планеты и миры в «Космических песнях», монументализирует в «Балладах и романсах» и в «Песнях страстной пятницы»; они тихонечко звучат в последних «Эпиграммах». В этих трех циклах Неруда проявил себя как лирик, человек больших страстей и глубокого интеллекта, как мастер поэтической метафоры и тонкого намека, то есть всего того, что задало тон и дальнейшей чешской интимной лирике. От «Кладбищенских

цветов» берут свои начала и некоторые из публицистических заметок Неруды, где он затрагивает социальные проблемы Чехии и других стран. Его волновала жизнь оставленных родителями детей, судьба стариков и калек, трогали драмы возлюбленных и трагедии художников. Добрую старую балладу он освободил от романтической таинственности, наполнив новым содержанием и эмоциональной атмосферой. Изображая социальные противоречия с позиции простых бедных людей, Неруда остался поэтом своего времени, поэтом, неудовлетворенным жизнью, понимавшим насущные задачи дня, но не видевшим способа их разрешения.

«Книги стихов» — это, по-существу, сборник программной поэзии; они воссоздают широкую картину социальной и национальной жизни, увиденной глазами прогрессивно настроенного писателя. Программным со всей очевидностью представляется третий раздел сборника — «Книга стихов злободневных и к случаю», где собрана зрелая поэтическая лирика, в которой поэт дает критический анализ положения страны и народа, бесстрашно указывает пути к демократии и свободе. Аналитический критик национального и социального угнетения в «Книгах» поднимается до высот поэтического трибуна своего времени, трибуна мощного дыхания и могучего голоса, который не только уяснил собственную позицию в борьбе за будущее — быть простым солдатом, стоять на переднем рубеже и жить вместе с народом всеми его горестями и заботами,— но и отважно предсказал грядущую судьбу своего народа и всего человечества:

Бой нынешний — для нас последний бой,
Тьма прошлого! — не знать ей возвращенья.
Восславит человечество с зарей
Великий праздник — праздник Воскресенья.

(Карелу Гавличку-Боровскому)

Падение баховского режима (1859 г.) принесло в чешские земли новую жизнь. В октябре 1860 года была разрешена первая чешская газета «Час», а с 1861 года еще одна ежедневная газета — «Народни листы». Затем начинает выходить целый ряд еженедельников и ежемесячников, возникают многочисленные экономические и культурные общества. Прага и другие города получили самоуправление. Было основано известное культурное и спортивное общество «Сокол», художественный клуб «Умелецкая беседа». В эти годы организовались многочисленные манифестации и торжества. Чешский народ в 60-е годы еще раз пережил мощный подъем. Он пробуждался для общественной и культурной жизни.

Неруда энергично участвовал в этом движении. Он работал в газетах, редактировал собственные журналы и был членом различных обществ. Его личная жизнь складывалась весьма драматично. Любовь к Анне Голиновой остыла, их отношения прервались. Он увлекся Каролиной Светлой (1830—1899) — писательницей, умной и обаятельной женщиной. Однако взаимная их симпатия быстро проходит. В эти годы, годы напряженной обществен-

ной и духовной жизни, как будто иссякает источник нерудовского лиризма. Поэт, который столь щедро раздавал богатства своей души, вдруг ощутил, что промотал все, поэтому ушли от него и песни. В 1862 году он написал:

Я спел последнюю песню...
И отложил свою лиру,
Не верю ни в эти струны,
Ни в то, что я нужен миру.

После 1860 года Неруда писал стихи мало. Он был очень одинок. Дружина «маевцев» распалась, Неруда разошелся со своими недавними друзьями. В интеллектуальном отношении он намного опередил своих коллег, а поэтический его дар по-прежнему редко кто признавал. Поэтому он все более тесно начал сотрудничать с газетами и стал журналистом. Но и как журналист он своей образованностью, профессиональной честностью, характером и умением превосходил остальных австрийских и чешских журналистов. Хотя по должности Неруда числился просто фельетонистом, он очень часто вторгался в область политики, воюя с немецкими шовинистами, чешскими клерикалами и реакционерами. Это обеспечило ему симпатии простых читателей, но в официальных чешских кругах он приобрел множество врагов. Со временем писатель сделался столь опасным противником партии старочехов, что в 1871 году они организовали против него грязную кампанию, обвинив в том, что он тайно посылает в венский еженедельник «Монтагс ревю» информацию об отношениях в лагере старочехов. Неруда подал в суд и решительно опроверг это обвинение, однако постыдная травля надолго испортила ему жизнь. Старочехи вынуждены были снять свои обвинения, но в 1875 году снова обвинили — на сей раз в том, что он, подобно писателю Сабине, является тайным агентом пражской полиции. Новое обвинение также было недостойным вымыслом. В такой сложной обстановке, «когда подлость отплясывала канкан, а патриоты ей аплодировали», Неруда жил, работал в газетах и писал стихи. В условиях изнурительного труда, мелких забот и интриг родилась третья книга его стихов.

«Космические песни» (1878) вышли десять лет спустя после публикации «Книг стихов». В них Неруда брал разбег, словно испытывая свои возможности и силы; в «Песнях космических» он продолжал набирать темп и искать, но, так сказать, уже не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. Он оторвался от земли и перенесся в царство звезд. Его представления о космосе и о космических телах, почерпнутые из современной ему популярной литературы, выглядят сегодня несколько наивной антропоморфизацией, но тем не менее попытка ввести в поэзию научные проблемы знаменовала собой несомненный прогресс. Созерцание звездного неба рождает в душе поэта целую гамму чувств и философских размышлений.

Сборник открывают милые песенки в духе Витезслава Галека. В них Неруда спускает звезды с небес на землю, вводит их в сельский дом и в танцевальную залу, уподобляет людям. Затем он настраивается на серьезный,

даже трагический лад. Он видит, что небесные тела тоже стареют и угасают. Солнца Вселенной ведут между собой титаническую борьбу. Прах погасших светил загорается в новых хаотических массах, и новый мир возникает из старого, как птица Феникс. У Неруды рождается ощущение, что и пламя его души тоже взлетает ввысь, что и его мельчайший атом зазвенит песней Космоса. Повторяю, не нужно буквально воспринимать все, что поэт говорит о Вселенной, но нужно проникнуться его духом и настроением. Дух этот прогрессивен, он постигает закономерности развития материального мира и проникнут оптимизмом.

Как львы, решетки мы грызем,
Как львы, мы в клетке тесной.
Хотим, прикованы к Земле,
Уйти в простор небесный.

Львы духа, рвемся к звездам мы,
Миров простор огромен!
Мы, узники земной тюрьмы,
Ее решетки сломим!

В «Космических песнях» Неруда восславил венец творения — человека, покорителя природы,— и открыл тем самым перед своим народом новые горизонты. В «Космических песнях» Неруда заставил звучать все регистры своего таланта: от поэтического назидания до песенных строф, от шуточного поэтического фельетона до торжественных гимнов, от поэтического афоризма до декларации национальной программы. Неруда не был бы Нерудой, если бы он не отточил и не испробовал свой юмор и на космических сюжетах («Лягушки в луже собрались...»). В этих стихотворениях не только рассыпаны отдельные перлы; все стихи здесь овеяны дыханием большой поэзии, напоминающей о К.-Г. Махе:

О облака, вы лебеди седые!
Вы письмена несете золотые;
На небесах, осенних и печальных,
Летите вы в нарядах погребальных,
Несете мертвых вздохи и страданья
И нерожденных первое дыханье.
Вы — прошлое и будущее мира.

Истинно нерудовской горькой поэзией насыщены стихи:

Ведь и душа и мысль народа,
Они измучены, согбенны,
И боязливы, как дитя,
И трепетны, как пена.
Ведь до сих пор везде, повсюду
Бледны безжизненные лица;
Кто в эти лица поглядит,—
Надолго сна лишится!

Ах, если смех хоть на мгновенье
Лицо родное озаряет,
Беда ль, что после юморист
В своем углу рыдает?

«Космические песни» тоже ждала своя нелегкая судьба. Неруда испытал немало горьких минут ёще до того, как они увидели свет. Его издатель Даттел сперва не проявил к ним сколько-нибудь значительного интереса, редактор газеты «Народни листы», работодатель Неруды — Юлиус Грегр высмеял стихи перед всей редакцией. Однако не прошло и двух недель, как они вышли в новом издании; о «Песнях» писали много, но ни один из критиков не разгадал их подлинного смысла.

В последующие годы изоляция Неруды становится все более полной. Вместо дальних путешествий за границу он теперь ездит лишь ненадолго за город. Из многочисленных друзей остались у него лишь оперный певец Йозеф Лев и венский журналист В.-К. Шембера.

Однако судьба развела его и с ними, и Неруда очутился в полном одиночестве. Его друзьями, как признавался он в дни своего пятидесятилетия, «были труд и любовь к родине». Однако мало-помалу он терял интерес и к своему труду. Он чувствовал себя покинутым, тяжело болел. Политическая ситуация внушала ему отвращение, так же как и непомерная осторожность чехов, пресловутая «чешская робость», традиционное подчинение консервативным вождям.

Подобно Божене Немцовой (1820—1862), которая в труднейший период своей жизни написала повесть «Бабушка» (1855), воссоздав в ней солнечную картину своей юности, так и Ян Неруда, воскресив в памяти годы молодости, революции 1848 года, встречи с чешской природой и людьми, создал «Баллады и романсы» (1883), книгу, полную света, тепла, юмора, мудрости и веры в простой чешский народ. Эта книга является своего рода художественной антитезой убогой жизни того времени. После долгих блужданий по просторам земли и среди звезд поэт обрел себя на родине, дома, в себе самом. С тонким поэтическим чувством и с огромным поэтическим мастерством он передал в новой книге трагизм человеческих судеб и трагизм смерти; с неповторимым юмором показал он и светлый лик жизни, запечатлел самобытность национального чешского характера. С поразительной силой пишет Неруда о трагических моментах родной истории, но столь же убедительно повествует о жизненном оптимизме и вдохновенности народа. Создавая эту книгу, Неруда больше чем когда-либо вслушивался в речь народа, пристальнее изучал народную мудрость, народный разговорный язык, его метафоричность и, конечно, юмор. Разумеется, его ни в малейшей степени не удовлетворяло подражание народному творчеству. Традиционным сюжетам он придает более высокий смысл, благородство библейских и исторических деятелей связывает с народными представлениями о них; нагромождение ужасов народной баллады он венчает мрачным юмором и, напротив, тра-

гические темы просветляет великой человеческой нежностью, а шутки излагает самым серьезным тоном. В шутливом «Романсе о Карле IV» он так, например, пишет о характере чешского народа:

Какая земля, таков и народ!
Ведь даже святые, собравшись конклавом,
Не справятся с чешским упрямым правом,
Такой народ и святых изобьет.
Как с этим вином, так со всеми делами:
Задумаю новое, только начну —
Идет не туда, куда я потяну.
Не знаю, что делать, беда мне с вами!

А в прекрасной «Балладе о трех королях» в библейской легенде вновь звучит у него глубокий иронический подтекст:

...Вы позабудете о том, как шли сюда когда-то,
Как славословили меня, дарили шелк и злато,
И вы решитесь наконец
Терновый мне подать венец.
И на Голгофу я взойду, камней осыпан градом,
Но никого из вас со мной тогда не будет рядом!

Если в «Космических песнях» Неруда очеловечил и приблизил к нам жизнь Космоса, то в «Балладах и романсах» он перенес на чешскую почву библейские сказанья и исторические легенды и написал о них с истинно чешским юмором, иронией, шуткой.

Но старость близилась, накапливалась усталость; Неруда, замкнувшись в своем одиночестве, все больше занимается самоанализом. Он очень живо представлял себе все изменения, происходящие с ним самим. Однако не расплылся в сожалениях и жалобах. Поэт принимает жизнь такой, какова она есть. Он не усугубляет ее трагизма, не углубляет ее противоречий. Словно играя, он выбирает отдельные мгновенья или ситуации, приподнимает их над прозой повседневности и освещает юмором и силой своего духа.

Камерным выражением этого этапа жизни были «Простые мотивы» (1883), состоящие из четырех циклов: весенние, летние, осенние, зимние мотивы. В них Неруда передал все богатство чувств человека, который очутился на пороге старости и ждет прихода смерти. В его душе оживают воспоминания, стремления, упреки, раздумья и шутливые сопоставления молодости и старости; поэт живописует все это на фоне чешского пейзажа или городского парка. Неруда предстает тут как человек из народа и поэтому вносит в свою лирику массу разговорных элементов. Он слушает песенки, «популярные в этом году», насвистывает походные марши, играет с детьми, которые с любопытством приглядываются к нему, и т. д. Свои переживания он выражает весьма разнообразными средствами. То конкретной деталью:

Как выгляжу! Пусть дышу на стекло
И тру его шелком... Все же
Мне виден тусклый, безжизненный
взгляд,
Сухая, желтая кожа.

Иногда целым событием, емкой поэтической метафорой:

Косой повержен луг, цветы изнемогают,
Злак испускает дух, и тяжко дышит мята,
Бледнеют травы, гаснут, затихают.
Но, затухая, так благоухают! —
Затягивают в омут аромата.

О, если б в час последнего заката
И ты, певец, испил из чаши полной,
И стих стекал, как колос под косою,
Из уст, сведенных смертною тоскою,
Очарованья зрелого исполнен.

«Простые мотивы» написаны зрелым мастером, обладавшим тонким художническим видением мира и редким пластическим даром, мастером словесной филиграни, образа и стиха. Несмотря на всю свежесть поэтического взгляда и чувства, «Простые мотивы» окутаны дымкой рефлексии и меланхолии. В них нет горечи ранних стихов, но нет и их горячности и задора. В них все воздушно, облегченно и мелодично.

Былая горечь, однако, ожила с прежней силой, стоило ему обратиться мыслью к судьбе своего народа и приступить к написанию «Песен страстной пятницы». Здесь уже нет горькой неудовлетворенности, в них заговорила былая энергия. Всей душой Неруда тревожился за судьбы своей родины. Его любовь и тревога были тем сильнее, что у него не было близких, к кому он по-человечески мог бы прильнуть душой. Политические неудачи народа «подсекали все его шаги, исковеркали всю жизнь, лишили ее вкуса». Когда официальные чешские политики на склоне 70-х годов перешли от пассивного сопротивления к активной поддержке венского правительства, Неруда окончательно понял, что на них нельзя возлагать никаких надежд, что надо обратиться непосредственно к народу, обнажить перед ним измену и побудить к отпору,— ведь ситуацию уже не мог ухудшить ни неожиданный удар, ни переворот, ибо трагизм ее заключался в самой сути общеполитических отношений, в их безнадежности. Неруда создает не конкретные образы, но библейские аналогии, которые всем хорошо понятны. Так, исторический путь народа он сравнивает с путем на Голгофу, где народ умирает на кресте, а Родина-мать подле креста оплакивает его муки. Чешская земля с пограничными горами видится ему, словно чаша, полная горечи.

Воспоминание о славном прошлом вызывает в нем гордость и одновременно депрессию, ощущение ничтожности настоящего.

Мотивы «страстей» создают лишь фон «Песен страстной пятницы», но не определяют направленности книги. Ее ключевым стихотворением является «Рождественская колыбельная»; в отличие от радостного «Романса в сочельник» («Баллады и романсы»), она исполнена горечи и серьезности:

Спи Христос, спи, святое дитя!
Будут руки и ноги в крови
У тебя за призывы к любви,
Лишь ценою страданий суровых
Человечество сбросит оковы.
Спи, Христос, спи, святое дитя!

Тот же выстраданный оптимизм и решительность отличают стихотворение «Встань из гроба!», найденное позже и включаемое теперь в «Песни страстной пятницы».

Кто дрожит, заслышав громы, тот погиб,
навек потерян,
Лишь отважных и прекрасных
Из могилы бог поднимет.
Нет весенних дней без грома,
Лишь пройдя по крови, сможешь
Встать из гроба, встать из гроба!

Ядро «Песен страстной пятницы», в которых поэт говорит о притеснениях чешского народа Австрийской монархией, словно обрамлено двумя стихотворениями, очень различными по стилю и настроению: «Мой цвет красный и белый» и «Только вперед!». В них Неруда открывает перед своим народом более ясные перспективы, призывая его неуклонно идти вперед. Каждая строка тут — результат напряженной работы мысли и глубокого чувства, у каждой строчки — свой идейный заряд, осененный духом истинной поэзии. Оба эти стихотворения чешский народ до сих пор может считать своей национальной программой.

«Песни страстной пятницы» Неруда не завершил. Они были подготовлены к изданию поэтом Ярославом Врхлицким и вышли в 1896 году, несколько лет спустя после смерти Неруды (1891 г.). Несмотря на то, что этот сборник не закончен, он представляет собой монументальное завершение того могучего поэтического свода, который воздвиг Неруда своим творчеством, начав с отчаяния «заживо погребенных» и придя к непоколебимой вере в конечное торжество народа.

Уже в первых своих стихотворениях Ян Неруда открыл живительный источник, который питал все последующие книги его стихов; тот же родник питал творчество и таких поэтов, как И.-В. Сладек, Й.-С. Махар, В. Дык, С.-К. Нейман, Йозеф Гора, Ярослав Сейферт и Франтишек Галас. Эта лирика имеет своим предметом не только субъективные переживания поэта, она живет насущными проблемами своей эпохи и стремится быть общественно-действенной. Это лирика конкретная и реальная, сдержанная в выра-

зительных средствах, обходящаяся без внешних эффектов, трезвая, правдивая и убеждающая.

Как художник Неруда поставил перед собой величайшие задачи: следовать во всем великим мировым писателям и учиться у них. Разумеется, он прекрасно знал и отечественную литературу, в особенности творчество Махи, Эрбена, Немцовой и Гавличка, на которое опирался, развивая посвоему, по-нерудовски, их традиции. Многое почерпнул он и из сокровищницы чешского народного творчества, из народных песен и поговорок, из народной разговорной речи.

Поэт прожил жизнь, исполненную страстей, пылких чувств, он обладал глубокой восприимчивостью и огромной интеллектуальной силой. Это роднит его с великими художниками Ренессанса. Большую часть жизни он, однако, прожил в нищете и самоограничении, как аскет, посвятивший всего себя лишь избранному делу. Его творческое наследие велико, глубоко человечно и по духу очень национально. О Неруде можно повторить все то, что говорит его герой Бушек из Вильгартиц о чешском народе:

Народ наш с большою,
Немного суровой, особой душою,
Особой своей красотою цветет.

Существенную часть творчества Неруды составляет его художественная проза и публицистика. Он работал в газетах с первых шагов в литературе и закончил свою литературную деятельность также на страницах газет. Сначала он сотрудничал в пражских немецких газетах «Tagesbote aus Boehmen» и «Prager Morgenpost», где помещал статьи о новых книгах, театральных премьерах и иных событиях культурной жизни: талант Неруды-журналиста расцвел особенно в 60-е годы, когда австрийское правительство вновь разрешило издавать чешские газеты. Ответственный за рубрику «Культура» в таких газетах, как «Час», «Глас», «Народни листы», Неруда на протяжении двадцати лет писал в них о новых изданиях, спектаклях, выставках. Он анализировал произведения современников, поэтов и писателей своего поколения — Галека, Гейдука, Светлой, Пфлегера-Моравского, а также молодых поэтов: Шольца, Чеха, Сладека и Врхлицкого. Для него всегда было важно одно — насколько их творения художественно правдивы и как они содействуют общественному и национальному прогрессу. Как театральный критик он оценивал репертуар, работу режиссера и игру актеров, обращал внимание на настроение зрителей и политику театрального руководства. Свидетельством его интереса к театру явились его «закулисные» фельетоны «Театральные заметки» (1881), в которых он, подделываясь под жаргон актеров, рассказывал об их работе, и сборник «Народ себе» (1880), где Неруда призвал чешскую общественность оказать помощь на завершающем этапе строительства Национального театра. Его перу принадлежит также несколько комедий и одна трагедия, но на сцене они не имели успеха. Свои критические заметки Неруда не считал литературным творче-

ством. Однако его статьи по вопросам искусства оказали немалое влияние и на развитие чешской литературы и театра, и на развитие чешской критики вообще.

Свою обширную публицистику Неруда издал в двух книгах дорожных очерков — «Парижские картинки» (1864) и «Картины чужбины» (1879), материал для которых собрал, путешествуя по Парижу, Италии, Балканам и Ближнему Востоку. Из остальной массы статей и очерков было подготовлено пять томов: два первых тома — «Студии короткие и очень короткие» (1876) — наряду с документальными социальными статьями и размышлениями над проблемами прогресса и гуманизма, наряду с информацией о культурных ценностях других народов, содержали исследования о современном человеке и современном искусстве. Антиподом этим серьезным статьям и очеркам являются юмористические зарисовки различных сторон человеческого бытия (еда, танцы, курение и т. д.). Третий том — «Шутки игривые и колючие» (1877) — настроен на юмористический, развлекательный лад. Здесь фельетоны о человеческих недостатках соседствуют с саркастическими, в которых Неруда выступал как борец за общественный и культурный прогресс. Последние два тома включали переизданные старые путевые очерки и новые, возникшие после путешествий в Вену, на остров Гельголанд и в бисмарковскую Германию. Достойны внимания очерки Неруды о чешском пограничье, где писатель критикует жестокую германизацию и насильственную денационализацию этого края.

Дома и на чужбине Неруда изучал прежде всего людей, жизнь улиц, мастерских, магазинов, кафе, ресторанов, танцевальных залов, жизнь в поездах и трамваях. Его привлекало движение, разнообразные проявления человеческого темперамента и активности. Возвращаясь домой, он сравнивал заграничные впечатления с жизнью Праги и Чехии. В то время как во Франции, например, жизнь кипела и била ключом, у него на родине царило уныние, застой, безволие и бездеятельность. В духе революции 1848 года Неруда боролся за национальное и социальное освобождение народа и личности, стремясь прежде всего поднять культурный уровень и развить общественное сознание широких народных масс. Он искренне радовался первым успехам общественного движения 60-х годов. Его оптимизм, однако, начал ему изменять, когда он осознал, что в Чехии нарождается новая аристократия. Вместе с ее возникновением начали углубляться противоречия между отдельными слоями народа, стихийные проявления естественной народной жизни стали угасать, стесненные рамками общественных условностей. Чешские промышленники и помещики защищали свои интересы с помощью немецкой буржуазии. Неруда не мог оставаться сторонним наблюдателем этого процесса, и он много раз вступал в борьбу с реакционной партией старочехов, с немецкими националистами, и это вмешательство приносило ему множество огорчений.

Неруда никогда не ставил перед собой цели лишь развлекать читателей, он прежде всего хотел их воспитывать. Писатель писал о различных

представителях социального дна. В 1866 году он специально посетил Горжовице у города Пльзни, где подробно ознакомился с условиями жизни и труда рабочих, которые делали сапожные гвозди. Он хорошо знал труд и жизнь «босяков», которые стекались в Чехию из соседних стран на строительство железных дорог и туннелей. Своими социальными статьями 60-х годов он хотел расшевелить чешское общественное мнение, содействовать улучшению социальных отношений. Писатель всю жизнь чувствовал себя рабочим, поэтому в известном очерке «Первое мая 1890 года», написанном за год до смерти, он с горячей симпатией приветствовал этот рабочий праздник. Он был убежден, что рабочие призваны сыграть огромную роль в борьбе за общественный прогресс.

Фельетоны и очерки Неруды имеют не только художественную, но и чисто познавательную ценность. Это как бы микроистория эпохи. В них отражён сложный и переменчивый образ как исторического потока времени, так общественных настроений и эстетических взглядов самого Неруды. Бурно переживая свои личные драмы и общественные кризисы, будучи поклонником современной цивилизации, Неруда верил, что чехи разобьют свои «решетки» и завоюют свободу. С годами, когда ожила вера в будущее, он стал более снисходительным к человеческим недостаткам и слабостям. Под повседневными, даже банальными проявлениями жизни он умел почувствовать здоровое ядро, суровую своеобразную поэзию. Может быть, вследствие этого Неруда-журналист и фельетонист был гораздо более известен в широких кругах современных ему читателей, чем Неруда — поэт и прозаик.

Очерки и фельетоны Неруды зачастую переходили в рассказ. Некоторые факты или проблемы он переносил из публицистики в поэзию. Неруда-прозаик не мог и не хотел идти проторенными путями своих предшественников, которые идеализировали жизнь или рисовали ее такой, какой она должна была быть, но ни в коем случае — не реальной. Он отметал прежние шаблоны и нормативы, стоявшие на пути правдивого изображения жизни и общественных конфликтов эпохи, и стремился строить свои рассказы на новой основе. Журналистическая деятельность оказалась для него хорошей школой.

Рассказы 50—60-х годов Неруда собрал в книге «Арабески» (1864). Это первая книга его прозы, и составили ее произведения различных форм: фельетоны, очерки, легенды, рассказы в форме писем и дневника и настоящий реалистический рассказ. Как в первых стихотворных сборниках, Неруда изображал в «Арабесках» трагические судьбы людей несчастных, физически или душевно обездоленных («Дурачок Иона», «Франц», «Эротомания», «Кассандра» и др.), Неруда отважился даже описать историю женщин, которые по тем или иным причинам опустились на самое дно человеческого общества и о которых до него писать было не принято, считалось неприличным («У нее был вкус», «Через полчаса»). Некоторые его рассказы рождала испытанная романтика кладбищ и призраков («У тебя нет сердца»),

другие — современная ему романтика революции («Йозеф-арфист»). Неруда открывал прекрасное человеческое сердце в обычных маленьких людях, а представителей высших общественных слоев высмеивал безжалостно и зло. Несколько арабесок носят откровенно автобиографический характер («Он был негодяем!», «Из записной книжки журналиста»). Сюжет не был главным для Неруды, большее внимание он уделял анализу характеров, психологии героев. Откровенно и самокритично пишет он и о своих переживаниях («Краткие Les confessions кое-кого из нынешних Жан-Жаков»).

Его арабески были как бы моментальными снимками конкретных событий, они состоят из отдельных эпизодов и сценок, которые правдоподобно рисуют жизнь героев и героинь. В этом сборнике он демонстрировал владение различными типами повествования. Реалистические бытовые картины сменяются здесь лирическими или философскими пассажами. В отличие от своих современников, которые разрабатывали прежде всего сельскую тематику, Неруда обратился к жизни города и его обитателей, изобразив их во всей сложности и противоречивости.

Изображая действительность суровой, неприкрашенной, смело используя разговорную речь, Неруда сделал большой шаг вперед в развитии чешской прозы. К «Арабескам» примыкает сборник коротких психологических этюдов «Разные люди» (1871). В них писатель набрасывает, не досказывая до конца, романтические или авантюрные истории, происшедшие во время его путешествий по Венгрии, Румынии, Греции, Турции и Италии. Рассказ обычно сконцентрирован вокруг одной сцены или мгновения, которое раскрывает характер героя.

В рассказе «Тень» он поведал историю любви двух молодых людей, угаданную по пляске теней. Это свидетельствует как о мастерстве в создании сюжета, так и о постоянных творческих поисках писателя.

Вершиной нерудовской прозы являются «Малостранские повести» (1878), которые вместе с прозой Махи и «Бабушкой» Б. Немцовой принадлежат к лучшим образцам чешской прозы XIX столетия. Это произведение, так же как и появившийся пятью годами позже стихотворный сборник «Баллады и романсы», создано в годы творческого подъема. Неруда писал «Малостранские повести» как воспоминания, когда после смерти матери переселился с Малой Страны в другой квартал Праги — на Старое Место. Однако некоторая элегичность, навеянная воспоминаниями, не ведет к идеализации, смягчению или замалчиванию существовавших конфликтов. Оторвавшись от хорошо знакомой среды, Неруда смог более зорко разглядеть человеческие фигурки. Его не удовлетворяли простые зарисовки чудаковатых малостранцев. Он хотел их изобразить в типических ситуациях, во взаимоотношениях друг с другом. Книга начинается с повести, действие которой заключено в рамки одной недели. В ней читатель знакомится с целой галереей фигур и фигурок, населяющих один из малостранских домов: это домохозяин с супругой и дочерью, которые держатся очень высокомерно и заносчиво, хотя гордиться им нечем — у них нет ни денег, ни чести. Рядом

с этой надменной и вместе с тем раболепной верхушкой общества показаны простые люди из народа, наделенные человеческой гордостью, отзывчивостью и пониманием чужого горя. Черты их характера особенно остро проявляются во время таких событий, как похороны и свадьба в доме.

Повесть «Неделя в тихом доме», сюжет которой весьма причудлив, явилась как бы началом позднейшей формы повести-сценария. Герои «Малостранских повестей», в отличие от героев «Арабесок», в основном вполне обычные люди, может быть, чуточку странные и комичные. Неруда сумел точно обрисовать их несколькими выразительными штрихами и хорошо отобранными деталями, характерными для их будней, повседневного поведения или ремесла. Действие развивается легко и свободно, без излишних сложностей или ненужного описательного балласта. Неруда обнаруживает себя здесь мастером эффектной развязки и неожиданной концовки, где ему удалось передать малейшие проявления понимания, возникшего между людьми, либо раздражения или ограниченности. Трагические ситуации естественно чередуются с комическими, добро оборачивается злом, жизнь кончается смертью, проза повседневности поднимается до поэтических высот, как это бывает в сложном потоке жизни, который ломает все априорные замыслы или абстрактные представления. В «Малостранских повестях» Неруда несколько раз изобразил сам себя. Книга завершается повестью «Фигурки», герои которых очерчены еще более остро и критично, чем персонажи других рассказов.

Совершенство «Малостранских повестей» не является случайным плодом счастливого творческого мгновения, но зрелым плодом нерудовского мастерства. Это произведение — классическое создание чешской прозы и настольная книга все новых и новых поколений читателей. От «Малостранских повестей» берут свои истоки некоторые выдающиеся творения писателей более позднего времени — и прежде всего книги Ярослава Гашека, Карела Чапека, Франтишека Лангера. После издания «Малостранских повестей» Неруда не обращался более к художественной прозе, посвятив себя исключительно работе газетной. В последние годы жизни он страдал от приступов тяжкой болезни, от которой и умер 22 августа 1891 года в возрасте пятидесяти семи лет. При большом стечении народа поэт был похоронен на Вышеградском кладбище.

ВИЛЕМ ЗАВАДА

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Меня хвалили, что пою о нищих
На радость сострадательным сердцам.
Что ж! Тот всегда легко слова отыщет,
Кто сам в плену, кто раб и пленник сам.

Мне так знаком закон борьбы бесплодной,
Извечной битвы. На нее глядят
Над колыбелями рассвет голодный,
Больниц для бедных медленный закат.

А сколько жертв в той каждодневной битве,
Где все надежды рушатся шутя,
Где побеждает вор, подлец, грабитель
И погибает малое дитя.

Венок твоих прекраснодушных мыслей
Под вечным ливнем выцвел и поблек,
Последний лист спешит проститься с высью,
Чтоб вместе с ним сойти ты в землю мог.

* * *

Много горя души гложет,
много вздохов терзают грудь,
многие чудаки переложат
в невеселые песни грусть.

Ведь и раковин много в море,
и приходится им страдать,
но так редко из слез и горя
удается им жемчуг создать.

* * *

Как свечка, вспыхнувшая от ветра,
Любовь мгновенно отполыхала.
Я женщине прямо сказал об этом,
Она заплакала, завздыхала.

Она корила меня оглаской,
Кричала, что не снесет позору,
Что у меня, наверно, другая,
Что ей теперь утопиться впору.

Она побежала, я — за нею,
А вовсе мог бы не торопиться:
Ведь даже не было и намека
На то, что кто-то вздумал топиться!

* * *

Та девушка была прекрасна,
Доверчив слух и нежен лик.
Когда я лгал, шептал и клялся,
Как не отнялся мой язык?

Не ведая, что блажь — мгновенна,
Блаженства я не захотел.
О, как бы нежно и блаженно
Я ныне на нее глядел!

* * *

Вот я на родине и все ж тоскую,
Хотя вокруг все хорошо знакомо.
Хожу я по местам, любимым с детства,
Но — странно — кажется, что я не дома.

Вокруг чужие лица, страсти, нравы,
А я брожу один с тоской моею
И выплакать хочу в дому родимом
Песнь горестных скитаний — одиссею.

МАТЬ

«Теперь, когда ты прожила со мной семь лет на дне
И двух детей мне родила,— сказал ей водяной,—
Пожалуй, можно отпустить тебя домой к родне.
Три дня гости, а больше ни минуты ни одной.

Три дня, три ночи. И гляди,— он повторяет ей,—
Ты возвращайся точно в срок — меня не обмани.
Чуть опоздаешь — задушу тогда твоих детей,
Едва задержишься — умрут без матери они.

Смотри,— сказал он в третий раз.— Три ночи и три дня.
Но опоздаешь хоть на час — тогда твоя вина.
И будет трупики детей твоих, подняв со дна,
Как две увядшие кувшинки, колыхать волна».

Проходит день, проходит ночь. В родной семье она.
Подруга юности жива и радуется ей.
И мать, которая давно уже была грустна,
Не наглядится на нее и смотрит веселей.

Проходит ночь, проходит день. Родимый дом. Уют.
Всю ночь баюкает ее ворчаньем добрым мать.
А днем с подружкою они без умолку поют
Те песни девичьи, что им припомнились опять.

«Ах, матушка, прошло два дня и на исходе третий,
И ночь последняя пришла. И наступил мой час.
Я слышу, как зовут меня мои бедняжки-дети.
Прощай, родимая, прости. Я ухожу от вас...»

Она спешит покинуть дом, где так была согрета.
И просит мать: «Благослови. Молись. И я молюсь.
Пора, пора! В часовне я побуду до рассвета
И неизбывного греха сниму безмерный груз».

И, руки матери разжав, она бежит к порогу.
«Пора, пора! Прости меня. Прощай и отпусти...»
«Подружка милая, в какую ты спешишь дорогу
Так без оглядки, что не можешь дух перевести?..»

Не откликается она, не переводит духа.
И мимо, мимо — не прильнет к родимому окну.
Но долетает до ее измученного слуха:
«Ах, доченька, не оставляй меня в слезах одну!..»

Она в часовне пала ниц пред образом, взывая:
«О божья матерь, сохрани мою старушку мать!..»
А дома слезная мольба: «О дева пресвятая!
Дорогу дочке прегради! Верни домой опять!..»

И вот видение тогда ей потрясает душу —
Святая дева на нее свой обратила взгляд,
Склонилась к ней и говорит: «Не возвращайся к мужу.
А возвратишься — так пойдешь прямой дорогой в ад».

«О, как не возвратиться мне? Ведь я жена и мать я!»
«Там нету мужа у тебя и больше нет детей.
Там только муки ждут тебя и вечное проклятье.
Останься дома в добрый час у матери своей».

«Но, дева, мне не хватит сил, чтоб жить с детьми в разлуке.—
Туманят слезы ей глаза. Душа помрачена.—
Такая участь для меня страшнее адской муки.
И возвращаюсь к детям я...» Так молится она.

И молит деву: «Пощади! Остаться нету силы.
Я к детям ухожу своим. Мой шаг неотвратим.
А ты, о пресвятая мать, оставила бы сына,
Когда бы смертный грех лежал между тобой и им?..»

МОНАШКА

Рассвет холодный и седой
Глядит в лицо монашке молодой.
А эта девушка перед мадонной,
Как мраморная лилия, лежит,
И темным жгучим пламенем горит
Взор, полный скорбью и тоской бездонной.
Она с молитвою немой и страстной
Целует ноги девы пресвятой.
О, поцелуй ужасный!
Уста морозит мрамор неживой.
И вдруг отпрянула она от изваянья,
Как будто ранена. В очах горит страданье.
И снова опустилась на колени
Перед мадонною в изнеможенье,
Вновь взоры к изваянью обратила,
И кажется, что шепчется с мадонной,
Святою девою, в сиянье облаченной,
В том шепоте и жалоба и боль:
«Любить могла ты. Бога ты любила —
Хоть человека мне любить позволь!»

С СЕРДЦЕМ ГЕРОЯ

Так Роберт перед смертью приказал,
И верный Дуглас его сердце взял.

И сердце короля к святой земле
С дружиной он повез на корабле.

Вдали светлеет берег голубой,
Там с маврами ведут испанцы бой.

И Дуглас сердце короля спросил:
«Как наш герой теперь бы поступил?»

«Гей! — крикнул бы герой.— За мной, вперед!
Шотландцы там, где правый бой идет!»

К испанцам Дуглас, высадясь, примкнул,
И загремел в ответ приветствий гул.

На мавров двинул он полки свои,
И потекли кровавые ручьи.

Земля была тверда, как скал гранит,
Теперь по ней в крови нога скользит.

И Дуглас сердце короля спросил:
«Как наш герой теперь бы поступил?»

«Гей! — он сказал бы.— Это пир чудес!
Всплывем по морю крови до небес!

Но обувь в плаванье обуза нам,
Долой ее, и дальше по волнам!»

Шотландцы обувь сбросили свою
И стали крепче все стоять в бою.

И каждый вновь врагов разит мечом,
И жаркий бой опять кипит кругом.

Но снова туча мавров наплыла,
И не пронзить ее глазам орла.

Осталась только кучка христиан.
Последний в жизни день им, видно, дан.

И Дуглас сердце короля спросил:
«Как наш герой теперь бы поступил?»

«Гей! — он позвал бы.— Гей! За мной, вперед!
Прорубим в гуще мавров мы проход!»

Он с сердцем короля метнул ларец:
«Веди нас в бой последний наконец!»

Шотландцы бились храбро до конца,
Был Дуглас найден мертвым у ларца.

СПЛЯШЕМ, ПАРЕНЬ!

Ветер свищет злые песни,
Лютый холод... Не беда!
Так пойдет, по крайней мере,
С песней по миру нужда!

С неба льется дождь холодный,
Хлещет больно, точно град...
Что за горе! Дождь не портит
Ни опорок, ни заплат!

Вязнут ноги... Что за горе!
Ведь и так нам суждено
Шаг вперед, а два обратно...
Пропадать нам все равно!

Ах, а если б я в остроге
Просидел еще три дня,
Нынче весть о смерти дочки
Не дошла бы до меня.

Что за горе! И о дочке
Позабыть удастся мне,
Как о той, что взяли паны,
О красавице жене.

Гей, как кружат эти волны!
Вой же, ветер, вой, дружок,
Нынче мы с волнами спляшем,
Мост, по счастью, не высок!

НА ТРЕХ КОЛЕСАХ

Над столом приподнимает
Захмелевший Йоза чарку
И бросает взор влюбленный
На красавицу шинкарку.

«Ну, хозяйка, вы что роза!»
«Правда? А ведь я, мой милый,
Уже третьего супруга
Только что похоронила».

«Но болтают: будто всех их
Колдовство сгубило ваше!»
«Ну и что ж! Не то в могилу
Я сама сошла бы раньше.

Первый в церкви на колени
Прежде встал... А по примете
Это мужу смерть приносит,—
Я ж за это не в ответе.

А второй святой водою,
Поспешив, вперед умылся,—
Потому и отдал душу,
Что с водой поторопился.

Третий ринулся к Морфею,
Поскорей под одеяло,
Потому и сгинул раньше!
Так я им наколдовала!»

«Эх! А я б не испугался,—
Вы еще в цвету, как вишня...»
«А вы думаете — я бы
За четвертого не вышла?»

«Так в четвертый раз придется
Расплести мне ваши косы!..»
«Ну и что же... Ехать к черту
Не на трех же мне колесах?!»

ПОСЛЕДНЯЯ БАЛЛАДА, НАПИСАННАЯ В ГОДУ ДВЕ ТЫСЯЧИ С ЧЕМ-ТО

По делу о последнем воровстве,
Свершенном на земле,— гласит преданье,—
Пришел последний сыщик, принесли
Последнюю скамью для наказанья.

Пришел последний на земле судья —
Суровый страж последнего закона,
Чтоб палками за кражу наказать
Последнего в истории барона.

Потомок предков доблестных, барон,
Дрожит, как дряхлая осина, жалкий,
Для предков был не страшен даже меч,
Потомок был испуган видом палки.

«Мой милый брат, законов строгих страж,
Будь милостив,— ну кто теперь безвредней,
Чем я? Вели меня не колотить.
Ведь я барон, к тому ж барон последний».

Судья в ответ кивает головой
И, улыбаясь, говорит: «Ну что же,
Баронский титул спрячем под скамью,
А на скамью преступника положим».

РОМАНС

Уж давно война бушует,
Вся страна полна печали,
Потому что властелины
Так устроить пожелали.

Молодая кровь иссякла,
Что ж, идти походным маршем,
Если юношей не хватит,
На войну придется старшим.

И уводят новобранцев
На поля, где кровь струится,—
То мужья, отцы шагают,
Мрачны взгляды, бледны лица.

Через город провожают
И детишки их и жены.
«Прочь, бабье! Живее, трусы!» —
Слышен окрик раздраженный.

Что же там? Остановились,—
На дороге труп солдата,
И вдова над ним рыдает,
Плачут малые ребята.

Все волнуются, теснятся,
Но теперь бессильна жалость:
Чем поможешь, если сердце
Вдруг от боли разорвалось?

Господа вооружили
Человека,— почему же
Он не смог на них направить
Смертоносное оружье?

Дали штык ему и пули,
Дали порох,— неужели
Он не знал, что надо делать?
Или руки ослабели?

Господа войну считают
Самым главным, нужным делом,—
Почему ж не уничтожить
Их одним ударом смелым?

ЛЕГЕНДА О СЕЛЬСКОЙ ПРАКТИЧНОСТИ

«С понедельника и до субботы
Шесть обеден отошло как раз.
Такса прежняя у нас — шесть злотых,
Такса прежняя у нас!»

Мужичок стоит перед деканом
И в сомненье шарит по карманам.
«А помогут ли, отец, обедни?»
«Как же не помогут, что за бредни?
Бог — опора есть всему земному...
А скажи, по случаю какому
Ты-то их заказывал намедни?»
«Да вот, видите ль, какая штука,
Вол есть у меня — не вол, а мука!
Мы его и холим и лелеем,
Отрубей с бардою не жалеем.
Он же — кости лишь одни да кожа.
Думаю, на что ж это похоже?
Дай-ка у жены спрошу совета,
Говорю ей, стало быть, жене-то:
«Ты гляди, что этот дьявол деет,—
С каждым днем худеет и худеет.
Не продать ли нам его?»
А баба
Говорит мне преспокойно: «Я бы

Макс Швабинский. Чешская весна. Групповой портрет. Темпера. 1910—1912.

Не лечила и не продавала,
Я бы у декана побывала.
Он, гляди-ка, нарастил жирочка,
С тех обеден сделался как бочка!
Так давай закажем их волу-то,
Может, дело повернется круто:
И по-христиански мы поступим,
И свои расходы все окупим!»

ОТЦУ

* * *

Отец, мы любили друг друга,
Как должно отцу и сыну.
Отец, мы чтили друг друга,
Как чтит мужчина мужчину.

Но странная сила гордыни
Стояла меж мной и тобою,
И мы поэтому жили,
Как будто знакомых двое.

Мы в одиночестве часто
Объятья с тоской раскрывали,
Но, встретясь, друг перед другом,
Словно чужие, стояли.

* * *

Я славы желаю, неслыханной славы великой,
Я стражду бессмертия — зло, непреклонно и сильно,
Чтоб имя твое, о мой бедный отец темноликий,
Осталось сохранно в торжественном имени сына.

Ты видел лишь горе, покуда глаза не погасли,
Ты кровью своей заплатил за провинность рожденья.
Ладони твои никогда не пеклись о богатстве,
Гнушались они только дикой затеей безделья.

Пока господа почивали в глубокой постели,
Свирепый петух окликал тебя: встань и работай!
Все дни твоей жизни событьями горя пестрели,
Но лик твой вовеки—божественный, а не убогий.

Купил ты себе два аршина песка и суглинка —
Недорого ты заплатил за свободу от рабства.
Соседи твои возлежат именито, солидно,
Могила твоя безымянна, а все же прекрасна.

Лет семь, может быть, простоит этот крест нерушимо,
А после падет, поврежденный дождями и слабый.
Чтоб вспомнили люди твое позабытое имя,
Глухими ночами я брежу бессмертьем и славой.

МАТУШКЕ

* * *

Одна, одна ты, матушка,
Осталась у меня,
Как солнышко осеннее
У сумрачного дня.

Неярко светит солнышко,
Но скроется за дождь —
И нас, объятых ужасом,
Охватывает дрожь.

* * *

Все радости, все горести
Я в тайне удержу,
Я и родимой матушке
Ни слова не скажу.

Как это вышло, матушка?
Я радость скрыл от вас,
Но видел я, как радостно
Сиянье ваших глаз.

Как это вышло, матушка?
Я горе скрыл от вас,
Но слышал я, как горестно
Вздохнули вы сейчас.

АННЕ

* * *

Небо мне дало любовь и братьев,
Жили мы в согласье с добрым небом,—
Только об одном оно забыло:
Наделить меня пшеничным хлебом.

Тяжело терять благополучье,
Не виня в том чью-то злую волю,
Но еще трудней, его утратив,
Проклинать свою лихую долю.

Лучше бы стоять на перекрестке,
Тщетно ожидая подаянья,
Чем любовь свою в бездумье подлом
Обрекать на вечные страданья!

* * *

Сердце, как струна, дрожит и рвется —
Ты моей души коснулась — лиры,
И прекраснейшая в мире песня
Из-под белоснежных пальцев льется.

* * *

Все мои кипенья, порыванья
охлаждала многократно ты.
Твоему холодному сознанью
Ни к чему горячие мечты.

Как соединятся лед и пламя —
лед растает, закипит вода.
Почему же чувство между нами
в пар не превращалось никогда?

ЭЛЕГИЧЕСКИЕ ПУСТЯЧКИ

* * *

Другие весны расцветут,
Цветы другие, но из них
Другие девушки сплетут
Венки для юношей других,
Получит каждый свой венок,
Но мимолетно торжество,
Венок увял... сухой листок
Остался в книге от него.

* * *

То ли снова полюбить,
То ли спеть мне снова,
То ли, позабыв весну,
Вспомнить мир былого,

Вспомнить тяжкий путь любви,
Юности ухабы,
Чтоб воспоминаний груз
Раздавил меня бы.

* * *

Быстро мчатся мысли,
Быстро сердце бьется,
Страсть проходит быстро,
Быстро жизнь несется.

Вдруг весну нежданно
Встретишь — и не знаешь,
Почему дрожишь ты,
Почему вздыхаешь.

* * *

Об увядших чувствах в песне
Я писал уныло,
Вдруг окно весенним светом
Солнце озарило.

По перу и по бумаге
Льется отблеск дивный,
И пишу конец веселый
К песне заунывной.

ПЕСНИ КРАЯ

ЗАДРЕМАЛО МОЕ СЕРДЦЕ

В зное раскаленном полдня
Роща тихая застыла,
Листья все и все деревья
В тень стараются укрыться,
Листья и деревья дремлют,
Птицы певчие умолкли.
Тихо, и в тиши дремотной,
Как ребенок в колыбели,
Под завесой золотистой
Задремало мое сердце.

ПЕСНИ О МЕЛЬНИЦКОЙ СКАЛЕ

* * *

Друзья! Как грустно сознавать,
Что наша жизнь — мгновенье,
Что четверть отнимает сон
И четверть — огорченья.

А третью четверть мы должны
Хлеб добывать насущный...
Увы, какой же малый срок
На выпивку отпущен!

ВСЕМУ БЫЛ РАД!

Не буду я судьбу мою бранить
За то, что мною, как мячом, играла,—
То гладила, а то кнутом стегала;
Что кое-чем мне приказала быть;
Что скромен был в вопросе, горд в ответе,
Что падал и вставал сильней стократ...
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Сначала рок мне жесткий дал тюфяк,
Потом напил заплаты на обновы
И, старый плач сменяя плачем новым,
Мой детский сон баюкал кое-как.
Но гордость злобную вокруг заметив,
Я кулаками усмирял барчат,—
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Я беден был, но силу ощутил,
Пошел вперед. Потом прибавил шагу,
В душе почуял гордость и отвагу,
И стал подросток мужем, полным сил.
В вопросе скромный, гордый при ответе,
Не продающий чести для наград,—
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Я вырос, и красавицы тотчас
В их цветнике — как то велит природа —
Мне предложили место садовода,
Потребовав: «Служи и пестуй нас!
Не жди, пока в сверкающем букете
Все лепестки уныло облетят...»
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Но рок сказал: дождись, пора придет,
Полюбишь ты и будешь счастлив с милой,
Хоть скоро, скоро жадная могила
Твою любовь навеки унесет.
И ты живи — сквозь холод, мрак и ветер

Неси в груди разлуки тайный ад...
Кем только не был я на этом свете,
Но склепом быть тогда я был бы рад.

Мне рок сказал: поэтом чешским стань,
Но пой лишь о страданиях народа,
О том, как силой попрана свобода,
И песен горькой болью души рань,
Пусть исцелят народ твой песни эти.
Пусть грудь они терзают и язвят,
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Мне рок сказал: простым солдатом будь!
Все вытерпи — пусть враг твой напирает,
Пускай плевок глаза твои пятнает
И камень злобы рассекает грудь.
Познай с народом горечь лихолетья,
Будь ранен с ним и умирай стократ.
Кем только не был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Пусть шлет судьба мне грозы и метель,
Но честь и правду сохраню я свято,
Не дрогнет сердце верного солдата —
Пусть новый день мою укажет цель.
И пусть судьба, свои расставив сети,
Меня язвит, как много лет назад.
Пусть буду кем-нибудь на этом свете,
Но кем ни быть — всему я буду рад.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

* * *

Я спел последнюю песню
И отложил свою лиру.
Не верю ни в эти струны,
Ни в то, что нужен я миру.

Поют невесело струны
О той ли красе минувшей,
О зря растраченных годах,
О младости промелькнувшей.

Они посеклись, пожухли,
Как вдовьи волосы, смялись.
Но все ж, как в арфе Эола,
В них звуки скорби остались.

СТАРЫЙ ДОМ

На старый дом, на ветхий дом
Гляжу в благоговенье.
Недаром в нем я пережил
Сладчайшие мгновенья.

Он дорог мне и по сей день.
Пусть люди не смеются,
Что только подойду к нему,
И слезы льются, льются.

Я шорох слушаю его,
И в полночи кромешной
То голос матери звучит,
То шепот страсти нежной.

Не смерю гордым взглядом дом —
Он за моей спиною
Молитвы детские мои
Твердил вослед за мною.

Я НАШЕЛ СЕБЯ

Покровы сняты — сна в помине нет!
Как будто смерть, коснувшись, застит свет,—
Сижу испуганный, с дрожащими губами.
Я ль заточен меж этими стенами?
То голова гудит, иль рядом за стеною
Уже звучит безжалостный ответ?
А сердце, сердце ноет.

Я постарел? Не верю больше в рай?
Но до сих пор ведь цвел он, светлый май!
Я видел, как земля и небо дышат негой!
Где ж этот май? Мой путь завален снегом,
И время голову мне мертвой сединою,
Как инеем, покрыло невзначай,
А сердце, сердце поет.

Все думаю невольно об одном:
Я прожил жизнь, иль это было сном?
Мне кажется, что для большого дела
Я сильным был рожден, решительным и смелым...
И что ж? С чужих полей цветы я рву весною,
Я нищий, а мечтал быть королем.
А сердце, сердце ноет.

И я, и я хотел счастливым быть,
Горя, как солнце, горячо любить
И детские головки гладить нежно...
Ах, где ж он — океан любви безбрежный?
О, как мучительно с душой моей больною,
Ища покоя, взаперти бродить!
А сердце, сердце ноет.

Как мне терзает притупленный слух
За окнами веселый крик и стук!
Там смех и грех смешались в хороводе,
Что в шумном вихре масленица водит,
Там юность и любовь, и только грусть — со мною,
От муки перехватывает дух,
А сердце, сердце ноет.

ЛИСТКИ ИЗ «КЛАДБИЩЕНСКИХ ЦВЕТОВ»

* * *

О, потаенные страданья,
о, мука, сдержанная мной,
о, заглушенные рыданья
и мерный голос, ледяной.

К своей груди, мечтаний полной,
я человека рад прижать,
чтоб, заключив его в объятья,
хоть иногда все рассказать.

Но я не пощажу и брата
и яд в вине ему подам,
чтоб о моих слезах минутных
он рассказать не смог бы вам.

* * *

Мое сердце, как осеннее ненастье,
Как вершина, где одна трава сухая.
Вдалеке страна, где молодые страсти,
А вокруг блуждает только ночь глухая.

Ты прости меня, что лгал о жгучем счастье,
Что тебя разжег, ответно не пылая.
Сам я верил, что любовь еще возможна,
Сам не ведал, что иссякла песнь былая.

Я украл богатства сердца молодого,
Не кори меня случившейся напастью,
Лгал без умысла и воровал невольно,
Не по злобе это вышло — по несчастью.

* * *

Пришла любовь и с попрошайничеством милым
Так робко у моей стучалась двери!
Но я холодным взглядом деву смерил
И ей ответил: «Позже!»

Прошли года и с попрошайничеством жалким,
Надежды взором гаснущим измерив,
Я постучался сам у милой двери
И тут услышал: «Поздно!»

* * *

«Богов» мне наших жаль,— ужасный рок:
Быть совершенством — сущее несчастье!
Их ровен путь, в душе покой, бесстрастье...
Как счастлив я, блуждая без дорог!

Все хвалят их — и «боги» это знают.
Меня с ума свело б такое зло.
И, я клянусь, еще им повезло,
Что люди все ж порой их проклинают!

* * *

Как неоперившийся птенец,
Сердце мое наго.
Сразу видно — каково ему:
Худо или благо.

Словно щеки девы молодой,
Сердце мое ало,
Ибо к человечеству любовь
В нем не угасала.

О ВРЕМЕНИ ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫХ

* * *

Рад бы я несчастному народу
Новой буйной песнею ответить,
Только звуки замирают в горле,
Словно не родившиеся дети.
Спел бы я, чтоб медленную вашу,
Братья, кровь огнем воспламенило;
Лишь начну — и как могильным камнем
Сердце мне тоскою придавило.

Что запеть мне? Может быть, поможет
Нам сегодня дедовская слава?

Дни, когда народ не поскупился
Кровь пролить за попранное право?
Но не смею вспомнить эти дни я,
Как бы ни был век тот достославен;
Мы другим народам дали волю,
А на свой надели тесный саван.

Прошлое — тяжелый ржавый панцирь.
Матери детишек в нем качают;
Подрастут они — падут пред теми,
От кого подачку получают.
Лучше не бывать бы этой славе:
И она повинна в нашем сраме.
Если б с глаз туман ее рассеять —
Легче было б справиться с делами.

Иль мне запеть про современность,
Воспевать весну и обновленье?
Только как же это сделать, если
Звон кандальный слышен в нашем пенье?
Нам дышать позволено, но молча,
Говорить — но на чужом наречье,
Смеем жить — но только по указке,
Даже драться — но в какой же сече?

Петь о будущем? Но дальний берег
В плотной мгле не различают вежды,
И потоки слез, как злое море,
Затопляют берега надежды.
Все твои мечты, народ, убиты,
Будущее — под измены прахом,
Тех же, кто о будущем мечтает,
Ожидают палачи да плаха.

О народ мой, славный и любимый,
Я бы умер с песней лебединой,
Если б мог крылами этой песни
Оживить надежд твоих руины.
О народ, народ мой несчастливый,
Прошлое твое гниет в закутах,
Будущее — под мечом разящим,
Нынешнее — в тяжких, подлых путах.

* * *

Как наша чернь жалка! И вы хотите с нею
Осуществить великую идею?
Вы думаете — так же, как когда-то,
Мужчины наши силою богаты?!
О, мысль, что прежде здесь парила смело,
И целый мир перевернуть хотела,
И наделила жен такою силой,
Что мужу каждая героев подарила
И дочерей дала, которым тоже
Свет времени подкрасил кровью кожу,—
Погибла эта мысль, нет в людях единенья
И нет для дел великих вдохновенья!
И на головы падают проклятья
За то, что позабыты наши братья,
Что каждый думает: «Как мне прожить бы
сутки?»

И что в цене не головы — желудки,
Что мы от бурь, шумящих временами,
Спасаемся спокойно под зонтами!
Мужчины наши женственны и слабы,
Мужеподобные даны нам в жены бабы.
Как эта чернь жалка! И вы хотите с нею
Осуществить великую идею?!

ЧЕШСКИЕ СТИХИ

* * *

Нет, умирать еще мы не умеем
За наш народ, за родину, свободу,
И по-торгашески мы все печемся
О личной выгоде в ущерб народу.

Нет, умирать еще мы не умеем,
И на мужей еще мы не похожи,
Но если наша родина погибнет,
То разве без нее прожить мы сможем?

* * *

Если хочешь, рок жестокий,
Жертвы жалкой искупленья,
За народную свободу,—
Мучь меня без сожаленья!

Жизнь возьми мою, коль хочешь,
Обреки меня на муки
И в моем открытом сердце
Алой кровью вымой руки!

Мать преследуй, надругайся
Над моим отцом в могиле,—
Лишь свободу, да, свободу
Братья бы скорей добыли!

* * *

Мы били мир в лицо не раз,
По головам он бил и нас,
Уже мы многих погребли,
Похоронить могли бы нас.
Болели мы, но пробил час —
Здоровы мы, сильны сейчас.
Ура, герои, мы еще живем,
И бить себя другим мы не даем!

ЗАРЯ С ВОСТОКА

О человечество! Сон твой столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе
Близок к свершенью: проблеск рассветный
Брезжит с Востока — ночь на исходе!

Шапки с голов! Преклоните колени!
В грудь ударяйте себя кулаками;
Светоч славянства за все прегрешенья
Ныне ходатайствует пред веками.

Бог создавал человека, а люди
Каина — родоначальника злобы;
Братоубийства и рабства орудья
Каин исторг из змеиной утробы.
Волны людские, спокойные прежде,
Мирно о счастье и радости пели;
Ныне они взбушевались, вскипели
Горем и гибелью всякой надежде;
Братья на братьев глядят одичало,
Племя на племя с враждою восстало,
Жажда господства, насилья и спеси
Глушит людские высокие песни.

Выросши, словно камыш у потока,
Стал славянин в удивленье взирать,
Как бы ему в этой буре жестокой
Чести и разума не потерять.
Вы в него грязною пеной плевали,
Думали племя его извести,
Вы его корни, кипя, подрывали;
Вы его стебли сметали с пути...
В грудь ударяйте себя кулаками,
Кайтесь! Пусть слезы польются из глаз!
Светоч славянства перед веками
Нынче ходатаем будет за вас!

Самое небо тоскует и тмится,
Что человечество давней мечтой —
Сном о свободе — извечно томится,
Искру ее растоптав под пятой.
Лишь у славянства стремленье к свободе
Солнечной силой таится в груди,
Светом негаснущим в нашем народе,
Ставшем народов других впереди.
Волю чужую не гнет он дугою,
Зря он не тратит воинственный пыл,
Море людей расплескал под ногою,
Если б в него он с размаху ступил.
Но не тревожьтесь! Мы все не расплещем,
И хоть к славянству в вас склонности нет,
Хоть и коситесь вы взором зловещим,—
Мы возвещаем *не ночь,* а рассвет!

День этот против насилья и гнета,
Против пресыщенности и нищеты,
Против того, чтобы страх и забота
С детства людей искажали черты.
День этот — против безумья богатства,
Днем этим *встанет* весь мир, осиян
Светом свободы, довольства и братства,
Вложенным в ясные души славян.
Если *славянство* встало на страже,
Кто нарушителем мира ни будь,
Как бы он ни был хитер и отважен,—
Грудь разобьет о славянскую грудь.
О человечество, сон твой столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе
Близок к свершенью: проблеск рассветный
Брезжит с Востока — ночь на исходе!

К ПАПСКОЙ КУРИИ

Итак, на человеческой ослице
Вы съехались опять к своей столице.
Со всех концов сошлись вы, иереи,
Хитрейшие из хитрецов земли,
Гнуснейшие, как торгаши-евреи,
Заносчивые, словно короли.
Вы пестрою толпою собрались —
В коричневом, подобно бедрам лиса,
И в черном, словно мрачные старухи,
И в белом, как разряженные шлюхи,
И в красном, словно разварные раки,
А ну-ка, на колени, вы, собаки!

Эй, на колени! В нечистоты харей!
Столетний Пий, клятвопреступник старый,
Творец интриг, разносчик преступлений!
Прочь! Прочь отсюда! Грохнись на колени
Перед людьми, моли их жалким взором,
Вопи о жалости, а вы кричите хором:

«О горе нам! О, горе, трижды горе!»
Когда с мольбой явились люди к богу:
«Мы мерзнем, боже, дай тепла немного!

Дай нам любви, не то душа как льдина!» —
Ты, господи, послал на землю сына
С плащом, чтобы любовь в сердцах воскресла.
Мы плащ содрали, как обивку с кресла,
И не любовь, а ненависть всучили
И злобе и убийству научили.
О, горе нам! О, горе, трижды горе!

О, горе нам! О, горе, трижды горе!
Явились люди к господу с мольбою:
«Мы слепнем, боже, в нас душа хиреет,
Дай правду нам, пусть нас она согреет!»
Твой сын свободу к ним принес с собою,
А мы тогда набросились, как звери,
И мы людей когтями ослепили,
Мы их детей навеки загубили,
И рабство мы построили на вере!
О, горе нам! О, горе, трижды горе!

О, горе нам! О, горе, трижды горе!
Во имя бога, но не веря в бога,
Вселенной мы хотели править строго,
Мир был нам лавкой, а товаром — слава,
Мы девку сотворили из Пречистой,
Торгуя и налево и направо;
Мы пламени деревни предавали,
Мы женщин для распутства продавали,
И крали корку мы рукой нечистой,
Мы жалили, как змей, без сожаленья!
О, кто искупит наши преступленья!
О, горе нам, о, горе, трижды горе!»

Теперь ступайте! Прочь — в пустыню, в дали!
Подальше, чтоб вас люди не видали!
Подумайте над вашими делами!
Пускай пустыня сжалится над вами,
Пусть гром над вами бездны разверзает,
Пусть ваши слезы обратятся в камень
И зверь степной вам души истерзает!
Amen!

ЭПИГРАММЫ

СУЖДЕНИЕ О «БРАНДЕНБУРЖЦАХ»

Нет, этой музыке никто из нас не рад!
Она, во-первых, к танцам непригодна,
А во-вторых, она народна,
А в-третьих — Сметана ужасный демократ.
Тут в каждой флейте, в каждой скрипке
Демократические грезятся улыбки!..

НАД ПЕРВЫМИ КИРПИЧАМИ

«Скорей бы театр народный нам иметь,
Но строю я один, и средств в кармане мало!
Вот если б беднякам разбогатеть —
Тогда построили б во что бы то ни стало!
О господи, обогати их всех!» —
Так думал патриот — богатый чех.

* * *

Летней ночью озаренной
Слышу сердца стук бессонный,—
Днем так сладостно и больно,
А сейчас так вольно, вольно!

Дед небесный, старый Месяц,
С облаков прозрачных свесясь,
Серебром осыпал дали,
Шар земной сияньем залил.

Звездочки, его внучата,
Золотые, как дукаты,
Все звенят не умолкая,
День грядущий возвещая.

* * *

Погляжу на звезды, на цыплят небесных,
Вспомню наших чешских девушек чудесных,

Как встают до солнца, на исходе ночи,
И в ручье прохладном умывают очи.

Ведь недаром звезды воду блеском метят —
Пропадет тот парень, кто те очи встретит.

* * *

Пусть я иными не понят —
Все же с землею сравню небеса,
Звезды — людей мне напомнят.

Многоразличны созвездия —
Форма, размер и свечение.
Также людские характеры
Лиц создают выражение.

Скопища астероидов,
Эти мальчишки надменные,
Бабками кличут и дедками
Старые звезды, почтенные.

Бусами или бутопами
Звезды за звездами гонятся.
Стало быть, небо беременно
И к материнству готовится.

Рядом со звездами-барышнями
Юноши, звезды кипящие.
Вместе с мужами солидными,
Звезды — старухи скрипящие.

Даже в совместном движении
Все существуют особо:
Звезды эфир разделяет,
Как человечество — злоба.

И в небесах свои кладбища —
Есть и у звезд свои горести.
Там тишина замогильная,
Мертвые звезды покоятся.

Словно усопшие гении,
Эти миры погребенные
Нас подвергают давлению.

* * *

Поверьте, звезды горние
Не меньше нас страдают,
Надеются, и маются,
И слезы проливают.

Работают, готовые
Исколесить полнеба,
Чтоб где-то миль за тысячу
Найти кусочек хлеба.

Всё трудятся и трудятся,
Усталости не зная,
С чела частицы Космоса,
Как жаркий пот, стирая.

* * *

Поэт Вселенная, черновика
Не исчеркав, ты пишешь на века.
Любой звезде есть парная звезда —
О, что за рифма раз и навсегда!
Созвездие, плывущее по небу,
Сияет, как бессмертная строфа.
Нам никогда не дочитать поэму,
Которая прекрасна, хоть стара.

Поэт Вселенная! Твой вечный гимн
Сегодня нам, а некогда — другим
Повелевает кротко: оживи!
Дивись обилью неба и любви!
И все миры, сквозь пагубную тьму,
Вовек внимают гимну твоему.
Поэт Вселенная, ты — тот трибун,
Который нам не говорит ни слова,
Но учит душу, возвышает ум
Всевышней властью праведного зова.

Поэт Вселенная, и умирать
Не боязно, прочтя твою тетрадь.
Лоб запрокинув, слышу твой совет:
«Дитя, не верь, что смерти вовсе нет.
Не ужасайся: смерть — всегда мгновенна.
А жизнь — бессмертна и благословенна».
Поэт Вселенная, красу земли
Восславишь ты эпитетом зари,
Чтоб слава о земной красе гремела.

И, может быть, гекзаметры Гомера,
Мой грешный ямб и чей-нибудь хорей —
Лишь бледный список с грамоты твоей.
В себя включает летопись небес
Все то, что было, будет или есть:
Миг вдохновенья, вечности значенье,
Всех мучеников грозное мученье,
Ребенка смех, раструб цветка, борьбу —
Ты все, что есть, вобрал в свою судьбу.

Поэт Вселенная! Земных поэтов бог!
Твой вещий стих нас застает врасплох.
О чем поешь ты? Только о себе.
И, значит,— о любой живой судьбе.
Мы все — ученики твоей науки
Как все поэты — бодрствуй и твори!
Кто спросит — сколько ты увидел муки,
Слагая песни вечные твои?

* * *

Словно старинная летопись,
Звезд серебристый свет,—
В небе сверкает прошлое,
То, чего больше нет.

Даже подумать жутко:
Пока долетел сюда
Свет от звезды далекой,
Быть может, угасла звезда.

Вот до чего мы дожили,—
Прошлое видим сейчас
И озаряемся мудростью
Тех, кто давно угас.

* * *

Луч Алькионы, расскажи —
Откуда обаянье
Твоей прелестной госпожи,
Невидимой в тумане?

«Она, быть может, отцвела,
И нет ее на свете,
Ведь я лечу к вам как стрела,
Наверно, шесть столетий».

Поведай, маленький посол,
Слуга Державы Млечной,—
Кто все миры связал и сплел,
Какой закон предвечный?

«Давно угасли в свой черед,
Быть может, звезды эти,
Ведь начинался мой полет
В ином тысячелетье...»

Так мысли гения для нас
Всё ярко озарили,
Когда он сам давно угас
И спит в сырой могиле.

* * *

Солнце ютится с планетами
В небе у самого края,
Сиры мы... Вон как усеяна
Часть небосвода другая!

Мы пролетаем стремительно,
Мчимся со скоростью света,
Все же три года приходится
Мчаться до ближней планеты.

Альфе Центавре приветствия
Мы принесли от соседки.
Есть ли у вас, несравненная,
Как и у матушки, детки?

Мы же у Солнца — по совести —
Просто плодимся без счета.
Вряд ли сумеют когда-нибудь
Нас подсчитать звездочеты.

Эти состарились, умерли,
Те лишь родиться успели.
Кто по-ребячески прыгает,
Кто уже движется еле.

Что нам Ураны с Нептунами!
Холодны, дряхлы, безбурны...
Рядом, стесненному кольцами,
Трудно дышать и Сатурну.

Что же сказать о Юпитере?
Стар, застывает в бессилье.
Щеки его пожелтевшие
Густо морщины изрыли.

Скверно, что эта громадина,
Эта руина седая
Всюду по-старчески ползает,
Нашему бегу мешая.

Марс — этот был бы приятнее,
Марс — недурен, но, однако,
Красен всегда подозрительно...
Впрочем, как всякий вояка!

Да, вот Земля — это женщина!
Трудится вечно и все же
Дышит цветами и песнями,
С липой цветущею схожа.

Есть и Венера беспечная,
Полная пламенной бури,
А на коленях у матери
Глупый младенец, Меркурий.

Мать о малютках заботится,—
Нежная к маленьким чадам.
А за детьми возмужавшими
Смотрит внимательным взглядом.

Есть и планеты погибшие —
Те, что когда-то и где-то
Трупами стали, рассыпались
И превратились в кометы.

К звездам умчались неведомым,
Словно и жить перестали,—
Все же они вспоминаются
Матери в светлой печали.

Мать окликает умчавшихся,
Мечется, плачет, томится...
В небе тогда и проносится
Огненных слез вереница.

* * *

Земля была дитя, она считала,
Что равной ей на свете нет,
Лишь для нее — Луна, и Солнце,
И небо, и весь свет.

Затем девичество настало,
И трепет сердце обуял —
Чуть в первый раз она оделась
Для выезда на бал.

Вот бал. Смеются звезды в зале:
«Ей свет большой в новинку, но
Нам эта милая девица
Известна уж давно!

Мы за бутоном наблюдали,
И вот теперь настал расцвет.
Мечта! Красавица какая
Она во цвете лет!»

И блещет перед нею Месяц
И приглашает горячо
На танец первый и последний
И множество еще!

* * *

Месяц, кавалер блестящий,
Нежным ликом серебрится,
Как вокруг голубки голубь,
Вкруг земли по небу мчится.

Видит — приливной волною
Взволновалась грудь земная
И уста дрожат от страсти,
Внутренним огнем пылая.

Но Земля всегда жеманна:
Вновь уста земные стынут,
Веет холодом, и Месяц
Сохнет, вянет,— он покинут!

Если б знал ты нрав девичий,
Ты бы вел себя иначе:
Днем жеманятся красотки,
По ночам от счастья плачут.

В ночь Земля налюбовалась,
Как твои глаза блестели,—
Утром росы, точно слезы,
Как у девушки в постели.

* * *

Был баснословен и призрачен сон
Юной Земли; будто ей посвящен
Звездный, влюбленный, пылающий сонм.
К ней обращен и роится вокруг...
Ах, это был только призрачный сон.
Сонмы светил... Но остался лишь он —
Месяц, единственный друг.

Только лишь Месяц остался у нас.
Сколько миров в небесах ни свети —
Только с Земли не отводит он глаз,
Только с Землею ему по пути.

Месяц с Землею навеки вдвоем.
Девушка — хрупкий бутон человечий,
Сколько светил в хороводе твоем!
Не пропусти только с Месяцем встречи.

* * *

Неужто Месяц — лишь мертвец?
А как же он струит сиянье,
Даря Земле священный свет?
Прекрасней этой смерти нет
Во всем бескрайнем мирозданье.

И я б хотел, когда умру
(Чего желать мне больше?),—
Светить, как месяц, для людей —
Подольше бы, подольше!

* * *

Веками облака, склонясь с любовью,
Мать-Землю кормят собственною кровью.
Слезами сеть морщин с чела смывают
И волосы, лаская, освежают.
В движенье мира, вечном, бесконечном,
Из века в век путем туманным, млечным
Они несут ее, как в одеяле.

О облака, вы лебеди седые!
Вы письмена несете золотые;
На небесах, осенних и печальных,
Летите вы в нарядах погребальных,
Несете мертвых вздохи и страданья
И нерожденных первое дыханье.
Вы — прошлое и будущее мира!

КОГДА-ТО МОЛВИЛ ЧЕЛОВЕК...

Кто я такой в кругу миров —
Могу ль я выразить словами!
Но загляните во дворцы —
Кто князь, кто раб — поймите сами.

Я с Сириусом стал на «ты»
И с Солнцем, а светила эти
Мне с высоты, издалека
С услужливой улыбкой светят.

Как львы, решетки мы грызем,
Как львы, мы в клетке тесной.
Хотим, прикованы к земле,
Уйти в простор небесный.

Доносится к нам голос звезд:
«Ну, господа, рванитесь,
Ну, скованные гордецы,
Поближе подымитесь!»

Идем! Прости нас, мать-Земля,
Мала для нас ты ныне;
Молниеносна наша мысль,
Хоть ноги вязнут в глине.

Придем! Желаньем бьется пульс,
Дух молод непогасший,
Стремлением к иным мирам
Сердца томятся наши!

Львы духа, рвемся к звездам мы,
Миров простор огромен!
Мы, узники земной тюрьмы,
Ее решетки сломим!

* * *

Лягушки в луже собрались,
На небо пуча очи,
И вздумал просветить тупиц
Квакун, ученый очень.

Обрисовал им небосвод,
Подробно разработав
Вопрос о личности господ,
Премудрых звездочетов.

«Кроты Вселенной» — их зовут —
Столь высоко витают,
Что двадцать миллионов миль
За локоть почитают!

Таков уж звездный их масштаб,
Ведь он особой меры:
Мол, до Нептуна — пять локтей,
Пол-локтя — до Венеры!

А Солнце! Можем из него,—
У жаб тут пасть отвисла,—
Земных шаров мы настругать,
Пожалуй, тысяч триста.

Ну, а пока его никто
Не стружит и не мелет,
Оно исправно служит нам —
На годы вечность делит.

Кометы? Это, так сказать,
Вот именно кометы;
Нельзя о них судить легко,
Подчеркиваю это.

Но не всегда они грозят
Бедою неминучей,
И рыцарь Любенецкий вам
Такой расскажет случай:

«Едва кометного хвоста
Зажглись лучи шальные —
Подрались в глинковской корчме
Бесстыдные портные!»

Затем квакун коснулся звезд:
«В небесных-де пустынях
Они сияют вроде Солнц —
Зеленых, красных, синих.

Но доказует спектроскоп
Наличье в свете звездном
Металлов тех же, из каких
И шар земной наш создан».

Замолк. Лягушки, умилясь,
Захлюпали носами.
«Ну, что еще хотите знать?
Вопрос поставьте сами!»

И, устремивши очи ввысь,
Заквакали лягушки:
«Скажите нам — живут ли там
Болотные квакушки?»

* * *

Спасибо, звезды золотые,
Что мне даете вы в награду
Уменье утешать людей
Весельем до упаду!

Спасибо, что хоть на мгновенье
Способен озарить я смехом
Печальный сумрак чешских лиц!
Ведь жизнь сурова к чехам!

Ведь и душа, и мысль народа,
Они измучены, согбенны,
И боязливы, как дитя,
И трепетны, как пена.

Ведь до сих пор везде, повсюду
Бледны безжизненные лица;
Кто в эти лица поглядит —
Надолго сна лишится!

Ах, если смех хоть на мгновенье
Лицо родное озаряет,
Беда ль, что после юморист
В своем углу рыдает?

* * *

«Сильней всего люби отчизну!»
Так надпись звездная сверкает.
И лучше этого закона
У звезд законов не бывает.

Вот почему сближает Солнце
Планеты для совместных странствий —
Любому звездному народу
Есть свой предел в пространстве.

Поэтому-то и комета,
Блуждая, в прах не разлетится,—
Ведь хочет каждый странник-атом
К отчизне возвратиться.

* * *

Ввысь, народ, взгляни. На небе,
В бездне ночи темно-синей,
По орбитам звезд-малюток
Мчатся звезды-исполины.
Все понятно: невелички
Блещут крепостью алмаза,
А послушные громады —
Это только сгустки газа.

Понял? Встрепенется сердце,
Все сомнения откинув.
Будь звездой вот этой малой
И притянешь исполинов,
Береги ядро родное,
Пуще глаз его храни ты!
Если ты кремню подобен,
Весь народ — как из гранита!

* * *

История Земли так велика,
А все же — не длинней стихотворенья:
Так маленькая искра камелька
Являет суть великого горенья.

В ее сверканье — вся судьба огня.
От первой вспышки и до крайней смерти.
И, может быть, нужна строфа одна,
Чтоб выразить все сущее на свете.

Пусть песня получилась коротка —
Она могла быть не такою длинной.
Любовь людей и боль их велика,
Но ей достаточно строки единой

Когда в игру включается поэт,
Вздор опадает, видится основа —
Всему, на что уходит столько лет,
Вдруг достает единственного слова.

* * *

Наверно, на крошке Луне, там
Малюсенькие поэты,
Но велики поэты
У нашей большой планеты.

А если цветеньем жизни
И Солнце само озарится —
Как пылко и вдохновенно
Сердца там сумеют биться!

Какие там исполины,
Великие богоборцы,
Подымутся и возьмутся
За труд вдохновенный на Солнце!

Какая будет сила
В стремленье к высшей цели!
Какая грянет радость!
Какое пойдет веселье!

Как буйно загорятся
Восторженные зори!
Какой любви сиянье
Зажжется в юном взоре!

Какие там вспыхнут надежды,
И сила любви, и жажда!
Хотя бы ценою жизни —
Дождусь я того однажды!

* * *

Я грешен перед вами и собой:
Я стольких губ изведал соль и жженье!
Всему, что есть, я предпочту любовь,
Но и любви я предпочту сраженье.

Макс Швабинский. Карел Гинек Маха.
Литография.

Пусть ужаснутся схимник и аскет
Страстям моим, что так меня томили.
Безмерно добр, но совершенно слеп
Тот, кто поет о безмятежном мире.

Праматерь-Солнце, опекая нас,
Меж двух планет Земле висеть велела.
Нет, неспроста краснеет грозный Марс
И голубеет нежная Венера.

Все проповеди мне скучны давно.
Кто внемлет им — тот внемлет им напрасно.
Уж коли небом так предрешено,
Что остается? Ах, любить и драться!

* * *

Поговорим, мой друг,
О том, что здесь, на белом свете,
Так много слез и мук.
Где продвиженье — там повсюду стон и бой.
Без жертв немыслима борьба со старым,
Не смолкнут звуки песни боевой,
И вечно в бой зовут фанфары.
И все кипит, сражается, все бьется,
Планеты и светила-полководцы,
И каждая песчинка мира
Трепещет за исход турнира,
Покоя нет ни Солнцу, ни комете,
Ни искрам, что летят вокруг.
Кто б мог подумать, что на белом свете
Так много слез и мук!

А ты, Земля? Долина мертвецов,
Наполненная смрадом и гниеньем!
Сквозь плесень тянутся ростки цветов,
Растение сражается с растеньем.
Здесь смертный бой. Здесь хищник ищет крови,
Здесь соловей свою добычу ловит,
В природе так: на вечной тризне —
Все ищет смерти ради жизни,
И всякий бьет, покуда цел.

Что ни гора — то груда тел.
Песками их заносит ветер,
И снова вспыхивает плуг —
Кто б мог подумать, что на белом свете
Так много слез и мук!

А человек? Была щедра рука,
Которая огонь ему вручила,
Но чувства стали мукой на века,
А мысли — человечества могилой.
Прогресс! Движенье! Сквозь туман и снег
В крови идет к вершине человек.
Но раньше, чем он встанет на вершине,
Его Земля потухшая остынет.
И что любовь? Сожженье мертвеца!
Лишь день единый счастливы сердца.
Лишь день любовь их радует, и вдруг —
Два сердца в пропасти... Так листья ветер
Сметает в яму, оголяя луг...
Кто б мог подумать, что на белом свете
Так много слез и мук!

* * *

Я знаю — я бренный и тленный,
Ах, полно пророчить, пророк.
Мы станем ничем и Вселенной,
Едва переступим порог.

Любая листва опадает,
Когда наступает зима.
Цветет и уже увядает,
Как белая роза, Земля.

И все же — мы живы, мы — люди,
Наш пламень еще не погас.
Спешите, все Солнца и Луны,
Смотреть на невиданных нас!

Изведав любовь и страданья,
Доищемся скрытых причин,
Проникнем во глубь мирозданья
И тайны его приручим!

Диковинный, бодрствует разум.
Рискованный, длится полет.
Умрем — но уделом прекрасным
И смерть нашу мир назовет.

О, сколько же славы огромной,
И нежности, и красоты —
До той, еле видной и скромной,
До той неизбежной черты...

* * *

Как только планеты на Солнце падут
И Солнце, на части расколото,
В провалы миров за собой увлечет
Обломки небесного золота,—

Завьюжится бешеный круговорот,
Морозные вихри закружатся,
По вехам созвездий сквозь смерть поплывут
Осколки вселенского ужаса,

Пока не прервется их смертный пробег,
Их вечный полет хаотический,
Пока не взметнется над прахом планет
Слепящий костер титанический,

Пока в пламенеющей завязи лет
Кровавые сечи не вспенятся
И нового мира не встанут лучи,
Как крылья волшебного феникса.

В том мире кипучем, в той жизни живой,
В ее неприкрашенной прелести,
Где будут луга, и цветы на лугах,
И леса веселые шелесты,

Когда-нибудь снова уста изойдут
Словами, как птицы, крылатыми,
И космоса песни опять расцветут
В моем возродившемся атоме!

Я зову простые слова,
Чтоб напомнить о древних сказаньях,
Где душа народа жива.

СТРАСТНАЯ БАЛЛАДА

Был совет. И должен был Диавол
С жалобой прийти в чертог Господний.
Ангелы со всех сторон слетелись,
Сатана взлетел из преисподней.

Встал Господь. И было тихо-тихо.
«Сатана пусть говорит сегодня».
Ангел Зла склонился перед богом:
«Да сияет благодать Господня!

Жалуюсь пред всеми небесами
На тебя, создателя Вселенной:
Мне во зло ты отдал сына Девы,
Чтоб спасти сей род людской растленный.

Повелел ты мне людское племя
Обуздать терзаньем вечной нощи,
А теперь склонился к милосердью
И опять меня лишаешь мощи!»

«Отдал я единственного сына,
Чтоб на свете людям легче стало,
Это ль не цена за искупленье?»
Сатана ответил: «Мало, мало!

Пусть тогда все ангелы Вселенной
Для него мучения измыслят,
Пусть сто мук он испытает, прежде
Чем, распятый, на кресте повиснет!»

Херувим сказал: «Пусть он возропщет
На неблагодарность и глумленье,
Пусть того побьют камнями люди,
Кто на крест пошел за их спасенье».

Серафим сказал: «Пусть он познает
То, что хуже всякого мученья:
Самых дорогих ему и близких
Злобу, и хулу, и отреченье».

Встал архангел: «Дай ему изведать,
Что и небесами он покинут.
Пусть придет в отчаянье, о Боже,
Оттого, что он тобой отринут».

Встал Господь: «Довольно ли, Диавол?
Можно ль заплатить еще дороже
За спасение людского рода?»
Сатана ответил: «Мало, Боже!

Есть мученье горше всех мучений:
Пусть, в последний миг на мир взирая,
Сын терзанья матери увидит,
На кресте в мученьях умирая!»

ЧЕШСКАЯ БАЛЛАДА

Когда-то в Чехии, давно,
Жил рыцарь Палечек,— вино,
И смех, и шутки он любил,
И храбр и добр ко всем он был,
И все его любили.

Не только веселиться, пить,—
Любил еще он и бродить
По Чехии своей родной,
И, очарованный страной,
В мечты он погружался.

«Пан рыцарь,— раз услышал он,—
О чем мечтаешь? Иль влюблен?»
Очнулся Палечек — и вот

Пред ним веселый хоровод
С самой Весной-царицей.

«Что ж, храбрый рыцарь, ты притих?
Ты мне милее всех других.
Будь, как всегда, находчив, смел,
Скажи — чего бы ты хотел?
Проси, я все исполню!»

И тотчас молвил рыцарь наш:
«Ты просьбу скромную уважь:
Когда умру, в родимый край
Являться каждый год мне дай
На восемь дней весенних.

Когда цветут сады, поля
И радуется вся земля,
Тогда на восемь дней, Весна,
Ты пробуждай меня от сна!»
«Будь так!» — Весна сказала.

И каждый год, покинув мрак,
Встает наш рыцарь-весельчак,
Разбужен запахом цветов,
Услышав соловьиный зов,
По всей стране проходит.

И чешский тихий, грустный край
Поет, цветет, встречая май,
Повсюду песни, шутки, смех,
И радуется каждый чех,
Но так — увы — недолго!

Ведь рыцарь лишь на восемь дней
Встает весной, в согласье с ней.
Она ему подносит мед,
И, охмелев, на целый год
Он снова засыпает.

БАЛЛАДА О КАРЛЕ IV

Король Карл и Бушек из Вильгартиц
Уселись за стол дубовый средь зала,
Отведали вин они разных немало,

И ярче зарделся румянец их лиц.
Король приказал: «Золотые чаши
Подайте, пажи, да налейте полней!
А ну-ка, друг Бушек, чокнемся! Пей!
Попробуем первые вина наши.

Ты знаешь, какое вино ты пьешь?
В его прошлогоднем накопленном зное
Играет горячее солнце родное,
Ну, чокнемся, выпьем! Напиток хорош!»
Отпил, и скривились презрительно губы:
«Да разве вино это? Хуже, чем квас!
Что доброе вырастет разве у нас?
Кислятина! Сводит оскомина зубы.

Я сам из Бургундии лозы привез,—
Ворчит, негодуя, король возмущенный,—
И что же? На чешской земле хваленой
Полынь получилась из лучших лоз!
Уверен, сбирать будешь терпкий терновник,
Хоть сладкие персики здесь посади.
Не веришь, смеешься! Того и гляди,
Что розы — и те превратятся в шиповник.

Какая земля, таков и народ!
Ведь даже святые, собравшись конклавом,
Не справятся с чешским упрямым нравом,
Такой народ и святых изобьет.
Как с этим вином, так со всеми делами:
Задумаю новое, только начну —
Идет не туда, куда я потяну.
Не знаю, что делать. Беда мне с вами!»

Но все-таки чашу пригубил опять
И смотрит на друга в притворной злобе
Глазами добрыми исподлобья.
А Бушек, чтоб времени зря не терять,
Не тратя слов на беседу такую,
Раздувши щеки, глоток за глотком,
По нёбу прищелкивая языком,
Родное вино, попивает, смакуя.

«Да, просто беда!» — повторил король
И все-таки чашу пригубил снова,

Как будто бы ждал он ответного слова.
К пажу обернулся: «Ослеп ты, что ль?
Не видишь, что чаша стоит пустая?
Иль хочешь жаждой меня уморить?
Иль лень тебе солнечной влаги налить?
Налей, да полнее, до самого края!

Пей, Бушек, до дна и хмуриться брось!
Послушай, что мудрый король тебе скажет:
На вкус я разборчив, придирчив даже,
И все же вино мне по вкусу пришлось.
Распробовать нужно, друг Бушек, сначала,
Ведь это особое, видно, вино,
Сперва горьковато немного оно.
Мне кажется, нам оно нравиться стало».

«Вот видишь, король, так и чешский народ! —
Промолвил вдруг Бушек.— Народ наш с большою,
Немного суровой, особой душою,
Особой своей красотою цветет.
Привыкнув, его ты полюбишь тоже,
Приблизься только к народу тому —
Навек, словно к чаше, прильнешь ты к нему
И душу свою оторвать уж не сможешь!»

РОМАНС О ВЕСНЕ 1848 ГОДА

Завесу сбросил век — и мир воскрес!
Где племя старое, седое?
Гей, оглянись — все новое окрест.
Весеннее и молодое!
И песню чудную запел простор,
И стройно отозвалось эхо гор,
Запело все — долины и поля,
Запела вся широкая земля,
И мы запели: «Вольность! Вольность!»

И стали вдохновеннее черты,
И взор от слез — лучистей и светлее,
И мышцы превратились вдруг в цветы,
И каждый стал прекрасней и добрее!

Для нас слились в одно и ночь и день,
День грезой стал, сияньем — ночи тень,
Мы волновались, верили всему,
Смеялись — и не знали почему!
Ах, первые любви приметы!

Как на пиру, шумел и пел народ,
Друг другу руки жали люди,
И шло людское воинство вперед
Под грохот роковых орудий.
Где шляпа — там перо, где пояс — нож.
Беги, тиран, иль мертвым упадешь!
Да сгинут те, кто храбрых осмеял,
Ведь каждый бы в бою бесстрашно пал
За мир и счастье всех народов!

Сверкало все вокруг — и лес и дол,
И юный день, не знающий заката,
Надел нарядный голубой камзол,
В узорах жемчуга и злата.
Весь край сверкал, как будто бальный зал,
Из-под земли веселый марш звучал,
Нас сам господь на танец пригласил
И радостно народ благословил:
«Ну наконец людьми вы стали!»

ИТАЛЬЯНСКИЙ РОМАНС

Басси, капуцин-республиканец,
Был австрийской стражей ночью схвачен,
И сегодня, по решенью Рима,
На заре расстрел ему назначен.

Вывели. Вокруг каре сомкнулось.
Поп-палач стянул веревку туго,
Острым камнем шею расцарапал,
Но не вырвал жалобы у Уго.

«А теперь ступай,— сказал убийца,—
Жалуйся у божьего порога
Только вряд ли бог тебя узнает,—
Да и вряд ли ты увидишь бога!»

Щелкнули затворы. Вздрогнул Уго,
Выпрямился гордо: «Эй, предатель,
Ты небось мечтаешь, жалкий ворон,
О святой небесной благодати?

Врешь, палач,— Христос меня узнает,
Я увижу бога — ведь у трона
Он собрал героев, и над ними,
Полыхают красные знамена».

ГЕЛЬГОЛАНДСКИЙ РОМАНС

Борется судно с бурей свирепой,
Иоган фонарь у скалы подвесил:
«Пускай разобьется в щепы!»

Несется судно на свет обманный,
Прямо на камни, и килем глубоко
Врезалось в берег песчаный.

Иоган, довольный, свистнул по-сычьи:
«Дочка моя готовится к свадьбе,
В приданое ей — добыча!»

И быстро лодка его, как лисица,
Несется туда, где разбитое судно,
Как черный гроб, громоздится.

Не тратя времени понапрасну,
Иоган топор свой вонзает в судно.
Вдруг слышит голос неясный.

«Спеши же,— грохочет эхо пустынно,—
Получишь ты половину товара
И золота половину!»

Иоган прислушался, размышляя:
«Коль мне половина одна достается,
То будет моей и другая!»

До берега в лодке Иоган добрался,
Там ждал терпеливо, и до рассвета
Он к судну не возвращался.

Когда ж сквозь сумрак лучи засквозили,
Топор свой снова вонзил он в судно,
Но тихо там, как в могиле.

Вдруг вместе с водой, забившей из трюма,
Всплыл первый мертвец... Иоган, нагнувшись,
Хватает его угрюмо.

Лицом повернул мертвеца: «Проклятье!
Не будет свадьбы — за волосы цепко
Держу я мертвого зятя!»

БАЛЛАДА О ТРЕХ КОРОЛЯХ

Под визг детей и крик толпы, под грохот барабанный,
Под звук воинственной трубы и флейты деревянной
Три короля чужой земли
Под вечер в Вифлеем вошли.
И молвили: «Мы шли сюда с одной высокой целью,
Чтоб наши головы склонить пред этой колыбелью».

И вот, увидев хлев простой, стоящий в отдаленье,
С верблюдов слезли короли и стали на колени.
Покуда, расстелив ковры,
Их слуги вынесли дары,
Король-оратор, что стоял всех впереди, с поклоном
Младенцу славу и хвалу воздал умильным тоном.

«О матушка,— сказал второй,— твое дитя прекрасно,
Ведь у него твои глаза — и как сияют ясно!»
А третий слушал и вздыхал
И так Иосифу сказал:
«Да, это чудо из чудес, весь мир сегодня счастлив!»
Но тут-то маленький Исус зашевелился в яслях.

Сказал он: «Вы пришли сюда, терпя в пути невзгоды,
Ведь даже вам милы подчас апостолы свободы.
Когда ж со временем за мной
Ученики пойдут толпой
Вас испугает, короли, пророк из Назарета,
И у доносчиков тайком вы спросите совета.

Вы позабудете о том, как шли сюда когда-то,
Как славословили меня, дарили шелк и злато,
И вы решитесь наконец
Терновый мне подать венец.
И на Голгофу я взойду, камней осыпан градом,
Но никого из вас тогда со мной не будет рядом!»

Король-оратор набекрень свою корону сдвинул,
Хотел он было возразить Иосифову сыну,
Да что-то мысли не пришли.
И зашептались короли:
«Он плотника простого сын! К кому мы тут взываем?»
Пришли со славой короли, а как ушли — не знаем.

МАЙСКАЯ БАЛЛАДА

В белой чаше пар клубится.
Смотрит красная девица,
Как вода ключом вскипает,
Набухает, пар взметает,
Пар свивается в колечки,
А вода клокочет глухо,
И лепечет, и лопочет,
Как ночной сверчок на печке,
И жужжит, как будто муха,
Как возок вдали, рокочет.

Звон полночный в отдаленье.
Дева встала на колени
И кольцо бросает в чашку.
«О святая Петронила!
Этой ночью, ночью майской,
Сделай мне подарок райский:
Мне без мужа жить не мило,
Пожалей меня, бедняжку!
Пусть какой угодно лада,
Привередничать не стану,
Я молиться не устану,
Только дай— хотя б любого,
Я любого взять готова,
Только рыжего не надо!»

Клубом пар пред девой юной,
И вода клокочет яро,
И доносится из пара
Словно звук сереброструнный:
«Оказала б я услугу,
Помогла б в девичьей доле:
Славно ты поешь в костеле!
Я тебе дала бы друга,
Да найти-то трудновато:
Нынче девок многовато,
Есть один, да не годится,—
Парень рыжий, как лисица,
Белоглазый, несуразный,
Кособокий, безобразный,
И к тому же этот лада...»
«Вот такого мне и надо!»

РАЙСКАЯ БАЛЛАДА

Шла Мария райским садом,
Каждый встречный добрым взглядом
Провожал ее, крестясь,
Лишь одна Елизавета
Не послала ей привета,
Обошла, не поклонясь.
И Мария ей сказала:
«Что с тобой, святая, стало?
Я тебя не узнаю.
Нимб твой светлый набок сбился,
Мутный взор остановился —
Иль не нравится в раю?»
И поморщилась святая:
«Ах, в раю я так скучаю!
Зря слоняюсь день-деньской...»
«Это мило! Ты скучаешь!
Что же ты не опекаешь
Души, вверенные мной?»
А она в ответ, вздыхая:
«Здешних женщин опекая,
Лет пятьсот я тут живу,
Только, как я ни старалась,
Верных жен не попадалось

Ни во сне, ни наяву.
Правда, где-то в чешском крае
Раз нашлась жена такая —
Непорочна и тверда,
Но пока я к ней спускалась,
Чистоты, как оказалось,
Не осталось и следа!»

БАЛЛАДА О ПОЛЬКЕ

Шум и гомон на деревне. Это полька в сани села,
Вороные кони в пене, сбруя в лентах закипела,
Вкруг нее и плеск и радость, как ручьи весною ранней,
Смех, и пляска, и веселье, и народа ликованье.
Села в сани — стройность в стане, в дальний город ехать хочет.
«Добрый путь! Счастливой встречи!» — ей вослед струится эхо.
Пусть увидят горожане, что деревня им прислала:
«Руки в боки, ноги в скоке, пусть их вскружит вихорь бала!»
Это только — едет полька!

Снег сверкает, бич мелькает,— вот так скорость, вот так скачка!
Свист летит из-под полозьев, где она — лесная спячка?
Камни под гору скатились вниз тропинкою кривою,
И гора, плечо поднявши, в такт качает головою.
Вот какая это полька! Есть ли в мире лучше танец,
Чтоб глаза зажег о звезды, чтобы с роз сорвал румянец?
У нее в крови веселье и горит и не сгорает,
И задор неугомонный каждой жилкою играет,
Это только — мчится полька!

Поздно вечером вкатили кони в пригород с разлета.
О, как грустно здесь под вечер: глухо замкнуты ворота.
Нет на улице ни тени, в переулках нет ни звука,
Серым саваном тумана город весь покрыла скука.
Полька спрыгнула на землю: «Что ж хозяин не встречает?
И дверей гостеприимных мне никто не открывает?»
Подошла к закрытым ставням, постучала в бревна сруба.
«Принесло еще кого там?» — изнутри ей голос грубо.
Это только — едет полька!

«Эй, жена! У двери полька! Привечай ее под кровом,
Нужно эту гостью встретить ясным взглядом, добрым словом.

Мы с тобой молодожены, мы не любим тихой грусти,
В наших стенах дышат дудки, в потолке играют гусли,
Печь гудит у нас фаготом, двери звонки, словно скрипки,
Принимая эту гостью, мы не сделаем ошибки,
Обеги, жена, скорее околоток весь соседний,
Созывая без разбору всех — богатый или бедный,
Молви только:
«В доме — полька!»

Все сошлись. Бедняк склонился, и вослед его поклону
Снял богач пред нею шляпу и король свою корону.
В круг пошли княгиня с князем, подхватив мотив горячий,
Тоник с Анежкой танцует, Йозефик кружится с Качей.
Гей, смелее! Гей, быстрее! Все в движенье, все танцует.
Это явь или виденье? Печка скачет, ног не чует!
Стены пляшут, двери машут, семенят скамеек ножки.
Бревна стен качает танец; на загнетке пляшут плошки.
Это только — вьется полька!

МАЛОСТРАНСКАЯ БАЛЛАДА

Входит в Прагу молодой бродяжка,
Еле тянет ноги, дышит тяжко.
Он совсем уж выбился из сил.
Вот дошел до моста и застыл...
Посмотрел на статую святого,
Что стоит степенно и сурово,
И сказал, досадой обуян:
«Хорошо тебе, святейший Ян!
В славе ты стоишь неколебимо,
И народ с поклоном ходит мимо.
А чуть вечер — для тебя, безгрешный,
Зажигают фонари поспешно,
Ну, а я — один, как пес бездомный,
Целый день брожу до ночи темной,
И не чую под собою ног,
И устал смертельно, и продрог.
Камень — он повсюду ранит ноги:
И на улице и на дороге!
Где ж ночлег сегодня я достану?
Где смогу хоть на часок прилечь?
Хорошо тебе, святому Яну!»

Но святой в ответ на эту речь
Произносит с горькою обидой:
«Дорогой мой, лучше не завидуй.
Только с виду может показаться,
Что уютен этот пьедестал.
А когда бы ты со мною стал,
Ты бы сам не знал, куда деваться!
Если б ты увидел, глядя вниз,
Как на речке, бойки и румяны,
Неумолчный поднимая визг,
Возятся девчонки с Малой Страны,
Отжимая с шутками свое
Свежевыстиранное белье,
И над блеском голубой волны
Их колени белые видны,
И задорный хохот раздается!
А когда иная чуть нагнется,
Чтоб еще разок ополоснуть,
Из корсажа выпирает грудь!..
Нет, мой милый, я скажу по чести:
Черт пускай стоит на этом месте!»

ВЕСЕННИЕ

* * *

В очках и с палкой суковатой
Бреду, как будто и не видя
Того, что вкруг меня творится,
Как будто на весну в обиде.

Такую же весну я вспомнил,
И сорок лет назад так было,
Цвели деревья, пели птицы,
И солнце ласково светило.

И нынче также в хороводе,
То шумным кругом, то попарно,
Под пенье новой звонкой песни,
Танцуют девушки и парни.

Ах, все на свете неизменно
Идет своим обычным ходом,
А старики, мы все дряхлеем
И все умнеем с каждым годом.

Боюсь, что до скончанья века
Все так останется повсюду,
А у весны цветы и травы
И молодые песни будут.

Бреду я мимо молодежи,
Весельем, пеньем одурманен,
В очках и с палкой суковатой,
С лицом недвижным, словно камень.

* * *

Когда я в зеркало посмотрюсь,
Себя изучая уныло,
То вижу — я действительно жив,
Смерть про меня позабыла.

Как выгляжу! Пусть дышу на стекло
И тру его шелком... Все же
Мне виден тусклый, безжизненный взгляд,
Сухая, желтая кожа.

Как выгляжу! Будто в тесном шкафу
Висел я долгие годы
И сделался затхлым, как старый фрак,
Который вышел из моды.

Моя борода — дрожащий пух...
И, если б могла случиться
Встреча с собой, я б убежал,
Чтобы не запылиться.

* * *

На мир ожесточен, унес я
В безлюдье гор печаль седую.
Но вот весна ко мне навстречу
Шлет дочку, зелень молодую.

И манит зелень молодая
Меня росистым слезным взглядом.
Как быть мне с девочкой невинной?
Возьму вот и пойду с ней рядом!

И в руки мне цветы стремятся,
Как только их в траве замечу,
И кажется — любая травка
Готова ринуться навстречу.

И кажется — любая птица
За мною вслед готова взвиться,
И хочет каждая дубрава
Мне величаво поклониться.

Я тронут: вот она — сердечность!
Вот искренность. И нет сомненья —
Кто так простых людей встречает,
Тот сам достоин уваженья.

И в грудь свою смотрю я зорче,
И сердце помолодело.
Ну вот! Я снова с вами вместе,
И нынче с вами я всецело!

И ближний холм взывает к небу,
Чтоб гром слова мои услышал,
И, взяв свой бич, хлестнул бы звонко,
Чтоб громче праздник этот вышел!

* * *

Сколько дней в моей жизни, словно трава, увяло,
Сколько вешних цветов — пышноцветущих — опало,

Сколько песен не спелось, мечтаний не воплотилось.
Сколько вздохов заглохло и слез горячих скатилось!

Все ж, едва после ночи увижу проблески света,
Я взываю в туманную даль: «Счастье! Где же ты! Где ты?»

* * *

Где я очутился! Общественный садик,
В нем женщины — будто войска на параде,
А около женщин — все дети и дети,—
Ах, сколько от них беспокойства на свете,—
И вот я сижу между ними.

Все кругом идет, голова как в тумане,
Глаза еле видят, слабеет сознанье,
Все вертится, бегает, пляшет и скачет.
Кричат и дерутся, смеются и плачут...
Невыносимые крики!

И вдруг — что за дерзость! — двухлетний ребенок,
Желая испробовать силу ручонок,
Схватил меня за ногу, дергает, тащит
И глупо, как будто на няньку, таращит
Огромные синие очи!

Спугнуть его, что ли? Взглянуть бы построже!
Смятенье растет. Но начать мне с чего же?
И вдруг — говорю вам! — причуда такая,
С чего это вышло, ей-богу, не знаю,—
Беру я его на колени.

И глажу волосики я золотые,
И вот я, как будто влюбившись впервые,
Как будто бы девушке в том признаваясь,
Шепчу неуверенно и заикаясь:
«Ты любишь меня, моя детка?»

* * *

Гей, увидишь, Природа, увидишь,—
Мы еще кой-кого одолеем,
Мы с тобой от корней до вершины,
С головы и до ног молодеем!

Заиграла какая-то жилка,
Улыбаясь цветам и дубравам.
Там, где можно идти по тропинкам,
Шагом легким иду я по травам.

Я с журчащим ручьем повстречаюсь,
Повстречаюсь, беседовать стану;
И высоко я пляску подкину,
Чтоб приветствовать луг и поляну.

Если юное деревце встречу —
По стволу его нежно поглажу,
Милой птицы услышу я трели,
И под них я свой голос подлажу.

Что б ни делал, куда бы ни шел я,—
С каждым часом мне все интересней.
Роза! Твой лепесток я срываю —
И к устам подношу, и играю вдохновенную
нежную песню!

ЛЕТНИЕ

* * *

Косой повержен луг, цветы изнемогают,
Злак испускает дух, и тяжко дышит мята,
Бледнеют травы, гаснут, затихают.
Но, затухая, так благоухают! —
Затягивают в омут аромата.

О, если б в час последнего заката
И ты, певец, испил из чаши полной,
И стих стекал, как колос под косою,
Из уст, сведенных смертною тоскою,
Очарованья зрелого исполнен.

* * *

Деревья говорят в лесу...
Как много люди написали
На этих вековых стволах,
А для кого — не знали сами!

И у меня березка есть,
И я пишу в безвестность тоже:
«Хотел бы я счастливым быть,
Ты ж этого не хочешь, боже!»

* * *

Солнце — как огромный жернов, им природа день свой мелет
И сиянье золотое по горам и долам стелет.
Только утро наступило — вся долина перед нами,
Словно чудная картина в золотой сияет раме.

Сколько сказочных сокровищ! Сколько красок, сколько блеска!
И рассыпаны алмазы в темных тропках перелеска.
Стройный лес стоит как войско, весь в топазах и в сапфирах,
В час, когда играет солнце на серебряных секирах.

И ручьев несутся волны — все в серебряных коронах,
Изумрудами сверкают камни, спящие в затонах.
Берег озера окутан синей дымчатой фатою,
Что кончается далеко, за лесами, за горою.

А на солнечной вершине полыхает желтый пламень.
Это, может быть, над кладом так сверкает «божий камень»?
Или феи там на солнце разложили ожерелья,
Что ревниво сохраняли в мраке горного ущелья?

И тепло бежит по телу, словно я целуюсь с милой,
И блаженная улыбка на устах моих застыла,
И, красою восхищенный, я объятья раскрываю
И к стволу зеленой липы, как влюбленный, припадаю.

Так мне сладко, так блаженно в этом утреннем сиянье,
Словно, весь объят истомой, я лежу в молочной ванне.

* * *

Наш край сегодня с тучею венчался,
И опытные люди говорят,
Что, кто хотел, давно уж догадался,—
Мол, оба на свидание спешат
За темный лес, туда, где дремлют горы.

И облака, слетясь из синей дали,
Столпились у невестиных дверей
И долго жемчугами расшивали
Ее фату из дымчатых теней.

И так спешили все — не опоздать бы!
Впрягли в карету вороных коней,
И пыль взметнулась — вот начало свадьбы!

Уж музыка гремит и оглушает,
Уж кучер хлещет молнией коней,
Гром из пищалей залпами стреляет,
И свадьба мчится, мчится все быстрей.
В жилищах люди окна раскрывают
И просят бога: «Дай земле дождей!» —
И добрым взглядом свадьбу провожают.

Промчалась... Только шлейф дождя блестящий
Еще влачится следом на восток,
И радуга висит уже над чащей,
Как пополам разорванный венок,
И вспаханное поле отдыхает,
Впитав прохладный дождевой поток,
И, словно свежий хлеб, благоухает.

* * *

Ты прав, господь, что выгнал нас из рая.
За это гимны мы тебе поем
И праотцев своих благословляем
За то, что наделили нас грехом.

С тех пор он переходит по наследству,
Мы бережно храним его, как клад,—
Ах, без греха весь этот мир прекрасный
Нам показался б хуже во сто крат.

Не будь его — весною не звенели б
По склонам песни в предвечерний час,
И ни цветы, ни нежные подруги,
Увы, господь, не радовали б нас!

Мы никогда бы так не ликовали,
Когда кричим: «На танец! Выходи!»
И так не замирали бы от счастья,
Любимую свою прижав к груди.

Спросите слуг и их господ спросите,
Пастушек, барышень — спросите всех,
И каждый вам шепнет, не лицемеря,
Что в мире, ах, всего прекрасней грех!

* * *

Ах, я от любви умираю,
Конец всем земным утехам!
Так возвести же, дева,
Час мой серебряным смехом.

Яму в постели вырой
В шесть милых туфель длиною,
А вместо хвойных иголок
Пусть косы лягут волною.

Сладка мне эта могила:
Два глаза над ней сияют,
Цветут две розовых губки,
Две щечки нежно пылают.

Но вдовой ты жить не сможешь,
Ложись-ка со мною тоже,
Дай бог нам уснуть послаще
На этом смертельном ложе!

* * *

Всего лишь — август. С голубого неба —
Теплыни ливень и сиянья осыпь.
У всех сегодня — лето и блаженство,
У дерева — уже печаль и осень.

Всего лишь — воздух, округливший шторы,
Но и такого маленького ветра
Достаточно для сильных веток, чтобы
Стряхнуть обузу золотого цвета.

Смотрю в окно и думаю: ты право,
О дерево, что ты уходишь рано,
Уж если уходить — то полным силы,
Под музыку созвучий недопетых,
Сверкнуть военным золотом доспехов.

ОСЕННИЕ

* * *

Осень... Коротки дни опять,
разделся мир и ложится спать.
Все бурым стало; без травинки
горы стена.
И вспомнишь весну, и спросишь ты —
была ль она.

Думать пробую о весне.
Но невозможно поверить мне,
Что птичьей песней лес был полон,
теперь немой,
И розами был усыпан куст,
теперь нагой.

Зимний трепетный блеск на миг
обжег земли безмятежный лик.
Смотрю, как гаснет отблеск смутный,
вдыхаю холод,
И в сердце моем дрожит вопрос:
«А был я молод?»

* * *

Всегда быть как осень хотел бы я,
такой, как вначале бывает,
когда она крепче железа,
но, как ребенок, играет.

Хлестнет хворостинкою каждою,
в расселину каждую свистнет,
туманы за ветки зацепит,
ветер в ущелье затиснет.

На самую маковку Боубина
с громадой тумана взберется
и даже не смотрит, что вниз он
капля за каплею льется.

Детей своих, вихрей-проказников,
гулять выпускает в долину,
игрушек для них набросает —
листья, песок и мякину.

Потом позовет басом пушечным,
глаза озорные прищуря,
и вдруг ниоткуда является
дева могучая — буря.

Горами проходит, долинами,
взлетает все выше и выше,
а осень учтиво ей в фартук
сучья кидает и крыши.

И снова свистит — так что дрожь берет —
и, тучам махнув свинцовым,
в лесу расщепляет деревья
клином тяжелым, громовым.

И, молнию вырвав из сердца их,
силой хвалясь непочатой,
кричит: «Срежу головы скалам
этой пилой зубчатой!»

* * *

Но осенью быть не хотел бы я,
когда уж близки морозы.
Она как дитя: небо хмурится —
и сразу из глаз ее слезы.

А солнце бредет, словно с палочкой,
глядит оно все неприветней,
встает поутру меж туманами
седое, как старец столетний.

И осень от холода ежится,
чуть ветром повеет — согнется,
в лесу зашуршит — так и кажется,
что кожа о косточки трется.

Пойдет чуть быстрей — задыхается.
Живет, еле ноги таская.
Бывает, что гневом исполнится,
но злость лишь забавна такая.

Для этого гнева бессильного
искал и нашел я сравненье:
осенняя буря — лишь отблески,
а гром — только старца хрипенье.

ЗИМНИЕ

* * *

Чей лоб приник к окопному стеклу?
Чьи это очи белые зажглись там?
Я вижу зиму, злую госпожу,
Перстом колдующую мглистым.

Немеют ноги... Ах, уйти бы прочь,
Уйти бы в ночь по ледяной дороге,
Но за руку берет меня зима,
Безмолвно вставши на пороге.

Не тронь мою горячую ладонь!
Угадываю я ее желанье.
Губительница! Тянется обнять,
Целует, пьет мое дыханье.

Освободиться! Не освобожусь.
Она из уст тепло живое тянет,
И чувствую, как замирает пульс,
А сердце падает и вянет.

* * *

Однажды, голову склонив в печали,
Читал я басню славного Крылова.
Дышало правдой каждое в ней слово,—
О васильке стихи его звучали.

Тот василек увял до половины
И, голову к стеблю склоняя низко,
Вздыхал о том, что смерть подходит близко,
И горько плакал о своей кончине.

Вот глупый василек! Хирея цветом
И голо́ву склонив, он в то же время
Для будущей весны развеял семя,—
Иль глупый василек не знал об этом?

Ведь о своем конце лишь тот вздыхает,
Кто пустоцветом был, отцвел бесплодно.
Кто не воскреснет в памяти народной,—
Пусть тот пред смертью плачет и рыдает!

Что ж дальше? Ничего. Ах, это чтенье!
Все знают, что нельзя читать так много
И думать о прочитанном с тревогой,—
Полезны ли такие размышленья?

* * *

Угрюмо и молча, один на один,
Борюсь я с житейской волною —
Неужто ничья не желает душа
В ладью уместиться со мною?

Прости меня, боже, за этот вопрос,
Не множь ты грехов моих, боже,
Смотри: я весло над волною занес,
А брызги на слезы похожи.

На след за кормой я взглянул невзначай
И вздрогнул от страха и горя:
Над пенной волной протянулись за мной
Две белые длани из моря.

* * *

Ах, когда-то был я молод,
И леса благоухали,
Зелень поле одевала,
Небеса в лучах сияли!

Сколько песен грудь вмещала,
Сколько их вокруг звучало!
Все, что сердце ни встречало,—
Тотчас в песню превращало!

Дума песней становилась,
Песней звонкой и могучей,
Над вершинами парила,
Как орел, гонящий тучи.

Как те песни звонки были!
Не заглохнет звук их, верьте,
Пусть я сам усну в могиле,—
Но они сильнее смерти!

Все прошло — настала осень,
Лес лишился аромата,
На лугу мороза проседь,
Небо тучами объято.

Осень, осень... Все угрюмо —
Утро хмуро, ночи хладны,
Омрачен я черной думой
О могиле безотрадной.

И слабеет стих унылый,
И перо держать нет силы,
Все, о чем теперь пою я,—
Все уйдет со мной в могилу.

* * *

У ворот ветла дуплиста,
Скрючена, трухлява.
А когда спилить старуху —
И не знаешь, право!

По весне, когда сухая
Ветка оживает?
В летний день, когда старуху
Солнце пригревает?

Иль зимой, когда задремлет?
Не могу решиться!
Что будить! И так нам, старым,
Слишком плохо спится.

* * *

Льет дождь и не стихает.
Стучит по стеклам. Ночь темна.
Больной, лежу один без сна.
Ночник едва мерцает.

«Ты мне мигаешь, что ли,
Подслеповатый огонек,
Чтоб видел я, как одинок,
Чтоб не забыл о боли?»

Горит все хуже, хуже...
«Мигаю я, моргаю я,
Чтоб знали, где постель твоя,
Все те, кто там, снаружи.

Не нужно света много,
Чтоб ливень знал, куда стучать,
Чтоб видел сыч, над кем кричать,
Чтоб смерть нашла дорогу».

НОЯБРЬ

Где мой ум? Вчера лишь был со мною
И исчез — куда, не знаю сам!
Я боюсь, что юная плутовка
Снова прибрала его к рукам!

Ей ничто не дорого, не свято,
Если к ней мой разум попадет,—
С ним наделает она такое,
Что потом сам черт не разберет.

А прискучит — так его забросит,
Что потом не сыщет и сама.
Вот я и слоняюсь по неделям
В полном смысле слова без ума!

* * *

Смерть звоном подает сигнал:
«Эй, по вагонам! Час настал!»
Но те, кто слышат зовы,
К отъезду не готовы.

Мне хуже — чемодан держу,
На колокол немой гляжу
И жду, чтоб звон раздался.
Томлюсь я — завтра ли? сейчас?
Смерть, видно, пьянству предалась.
Я так ее заждался!

ЭПИГРАФ К МОИМ ПЕСНЯМ

Я песни слагаю короткие.
Я — воин. Враги — перед нами.
Мы чувствуем близость противника —
И держим язык за зубами.

Но в сердце порою врываются
Огонь, беспокойство, смятенье,
И где-то в глубинах невидимых
Я чувствую слез зарожденье.

Нахлынет тоска беспросветная,
И мрак воцарится глубокий,
И мысли стремительно кружатся,
Как легкие листья в потоке.

Тоска моя с песней уносится,
И вновь я, суров и спокоен,
Стою на посту — неприятелю
Пути преграждающий воин.

«МОЙ ЦВЕТ — КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ»

Багряный чешский стяг со снежно-белым полем,
О, как трепещет он, как бьется, беспокоен:
То, порываясь вдаль, по ветру стелет складки,
То, древко облепив, дрожит, как в лихорадке,
Цвет настигает цвет, и бьются оба цвета,

Генри Леман. Карел Гавличек Боровский.

В глазах, в мозгу, в душе мелькает пляска эта!
Взгляни — взметнулась ввысь пылающая кровь,
И снежная ее вмиг окаймила пена,
Но ветер налетел: все изменилось вновь —
На снежном поле кровь увидел ты мгновенно...
Голубка вдруг взвилась над красными кострами
И камнем кинулась в безжалостное пламя,
Вот мысль порождена, а вот погибла мысль,—
Два цвета — жизнь и смерть — на знамени слились!

Нет, то не просто флаг — то летопись народа:
Раскроешь хроники — темнеют строк фаланги,
Одни из них звучат хвалебным гимном,
В других мрачнеет облик небосвода,
Как будто бы одни писал небесный ангел,
Другие — злобный дьявол в пекле дымном!
На этот стяг похож народ страны моей,
Был злом он, и добром, и демоном, и богом,
Сегодня алебастра он белей,
А завтра — струпом он покрыт багровым...
Вот вспыхнул взор, а вот опять поблек,
Да, так всегда, всегда с моим народом:
Сегодня он учитель и пророк,
А завтра — псам на растерзанье отдан.
Вот так и мы бредем изменчивой тропой,
Закаты алые вещают близость бури:
Гуди, полотнище, в проталинах лазури,
Бей, стяг, о древко,— это жребий твой.
Две чаши полные подъемлю заодно,
В них белое и красное вино,
Два цвета, два огня: светите, величавы,
Сквозь годы мой народ ведите к Храму Славы!
И, если мир, как море, бьет о скалы,
Мы, чехи,— белые и алые кораллы,
И если кряжем встанет мир над океаном,
Монрозом станет чех или седым Монбланом,
Коль звездным небом вдруг заблещет род людской,
То Марсом станет чех иль Утренней звездой!
Лети, вздымайся ввысь, багряный чешский флаг!
У древка твоего, как древние герои,
Мы, чехи, закалив оружье боевое,
Стоим с мечом в руках, всем недругам на страх!
Испепеляй врагов, ты, стяг наш снежнокрылый,
Орел Пршемысла, полный гневной силой,

Чтоб на лугах цвели небесные цветы,
Чтоб справедливых дней зарю увидел ты!
Пусть в грохоте боев промчатся наши жизни,
Чтоб солнце наконец взошло в моей отчизне,
Чтоб над родной землей узреть нам довелось
Встающий белый день в венце из алых роз!

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Нет, не был я цветком лилейно-белым,
Не рос в тиши, гордясь своим уделом.
Не мирным полем шла моя дорога —
Неслась рекой, с утесов ниспадая,
Крутясь водоворотом у порога:
Над черной бездной дымка брызг седая.
И если дух мой чистым оставался,
Не поглотила душу зла пучина
И я соблазнам жизни не поддался,
Тому, мой ангел, ты один — причина.

Ты встал меж мной и грязью повседневной,
В глазах тоска могильная темнела,
Прекрасной лилией клонилось тело,
И ты сказал тогда с печалью гневной:
«Твой угнетен народ — но без зазренья
Усугубляешь ты его мученья.
Он тяжестью креста к земле придавлен.
Ты хочешь, чтобы к ней был стыд прибавлен,
Чтоб за твою вину и он платился,
Чтоб он за сына тягостно стыдился?»
Я на колени пал с глухим рыданьем,
И сердце исцелилось покаяньем.
Не лучше я других. И мне понятен
Миг искушенья, лживый зов надежды.
В борьбе с собою и судьбой — от пятен
Кто может уберечь свои одежды?
Одно я знаю — если ты со мною,
Ни пред какой не дрогну крутизною.
Край твоего целую одеянья.
Сквозь мрак меня вело твое сиянье,
Ты спас меня от всех соблазнов жизни,
Хранитель мой — моя любовь к отчизне!

В ЗЕМЛЕ ЧАШИ

В чужих краях весна, у нас — все снег.
Там ветерок, у нас — бушует вьюга.
Повсюду радость и веселый смех,
А мы не знаем в горести досуга.

Как много горя ты послал нам, боже!
Горька у нас земля, и хлеб наш горек тоже.
Горька судьба дворцов, и в хижинах — страданье.
Горька земля. Горчит вино в стакане.

Горька нам даже дедовская слава.
Горька святая быль. Мечты полны отравы.
И горьки песни нашего народа,
И «Отче наш» печальней год от года.

Наверно, только нам дано создать, мечтая,
Сказание о том, что где-то есть простая
Часовенка в лесу, с крестом, с ковчегом бедным,
Где Иисус Христос справляет сам обедню,
И колокол звонит, и подвывает ветер,
И над часовнею молитвы шепчут ветви.

И где ж возникнуть ей, легенде давних пор,
Как не на той земле, где дни ночей не краше,
В краю, что окружен стенами гор,
Подобно каменной глубокой чаше!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, Христос, спи, святое дитя,
В яслях — в тесной постельке своей,
Бедный сын неимущих людей.
Сколько ты уже людям являлся,
Но Иудой всегда предавался.
Спи, Христос, спи, святое дитя.

Спи, Христос, спи, святое дитя,
Сладко спится на сене простом.
Мы в молчанье застыли кругом.

Нужно сил сыну правды набраться,
Чтоб под тяжким крестом не сгибаться.
Спи, Христос, спи, святое дитя.

Спи, Христос, спи, святое дитя,—
Не мешает тебе отдохнуть
Перед тем, как отправиться в путь,
В путь, ведущий всех смертных к спасенью,
За которых ты примешь мученья.
Спи, Христос, спи, святое дитя.

Спи, Христос, спи, святое дитя,
Будут руки и ноги в крови
У тебя за призывы к любви,
Лишь ценою страданий суровых
Человечество сбросит оковы.
Спи, Христос, спи, святое дитя.

ВСЛЕД ЗА СЕРДЦЕМ

Не рыцарь Дуглас я, не Роберт-властелин,
Но сердце мчит меня в стремленье неустанном
Туда, в грядущий век, в чреду иных годин,
Где дети Чехии над вражьим кликнут станом:
Вперед, за сердцем вслед, под знаменем багряным!

Пусть в битве сердце вынут у меня!
То сердце доброе, признаюсь вам без страха,
Оно достойно боевого дня,
Горячей крови, сабельного взмаха.
То сердце чешское, оно не горстка праха.

И таково ж мое — тому свидетель бог!
Ужель душа моя светло не ликовала,
Когда народ сметал ярмо былых тревог?
Ужели мне слеза очей не застилала,
Когда рука врага в тисках страну сжимала?

А вырвав сердце мне, его метните вдаль,
Через гряду веков, за лет грядущих звенья,
Что там виднеется? Мечей враждебных сталь?
Сквозь частоколы пик встает заря отмщенья,—
Я с вами быть хочу до светопреставленья!

ЛЮБОВЬ

Сердце человечье,— боже ты мой, боже,—
Злобу одолеет, а любовь не может!

Говорят, народ мой, в этом мире божьем,
Как бурьян, растешь ты в пыльном бездорожье.
Как ребенок нищий, посланный судьбиной,
Посланный некстати, в горькую годину.
Он взлелеян горем, вскормлен нищетою,
Все его обходят хмуро — стороною.
Кто б его ни встретил — не жалеет брани:
«Чтоб ты сгинул, нищий, стало б меньше дряни!»

Но к чему внимать мне этой злобной речи?
Лишь к тебе спешу я, мой народ, навстречу!
Так на встречу с милым дева птицей рвется,
Ведь недаром в песне про нее поется:
«Погляжу я в очи, пусть в них холод веет,
Я поглажу руки, пусть в них скрыты змеи,
И к устам любимым дай прильнуть мне жадно,
Пусть на них найду я только капли яда!
Ах, тебя так крепко обниму я, милый,
Пусть тебя за горло злая хворь схватила!»

Нет, я не обманут злобной клеветою —
Блещет твоя шея снежной белизною,
Хоть черты суровы, но не загрубели,
О тебе я слышал с самой колыбели.
Пела мать, и сердце билось в упоенье,
Словно сердце птицы, прячась в оперенье.
Ты измучен рабством, но не стал злодеем,
В материнской песне слышал о тебе я,
О, святая повесть, песнь о человеке,
Пусть ее господь нам сохранит навеки!

Ах, кого любить мне здесь, на этом свете?
Детским остается сердце, и как дети
К матери взывает... Тяжко расставанье:
Мать похоронил я — пережил страданье,
Схоронил невесту — пережил желанья,
Я слезами сердце вылечил от скуки,
Но с тобой, народ мой, я б не снес разлуки!

ПО СТОПАМ ЛЬВА

Был вечер необычной тишины;
Феллахи, что всегда возбуждены,
Молчат у стен сегодня, присмирев.
«Что с вами, други?» — «Господин, здесь — лев!»
«Лев? Где, когда?» — «Нам этот срок неведом,
Но весь песок его испятнан следом,
И каждый чувствует,— от страха тих и слаб,—
Там, где-то за спиной, движенье тяжких лап!»

О да! Я чувствую. Из чешского я края,
И эту странную взволнованность я знаю:
Когда особенно я горд и важен был —
Внезапный холод сердце мне стеснил.
Как будто оклик гор гремел, от кряжей прянув:
«Что делаешь ты здесь, малыш, средь великанов?»
«Ты слишком слаб»,— гремел мне гром из туч.
«Ты слишком слаб»,— звенел мне горный ключ.

Хоть мы не связаны и ходим на свободе,
Но холод на душе и темнота в природе;
И песня смутная, чей звук, взлетев, затих,
Исчезла в синеве среди небес пустых,
И в подсознания таинственную связь
Проникла та же робкая боязнь.
Томимы голодом, мы жмемся к голым скалам,
Со псами схожие зубцов своих оскалом.

Как и в пустыне той, где лев прошел в песках,
Мы дышим в Чехии — в безволия тисках.
Лишь раз народ воспрянул, точно лев,
Лишь раз один его раскрылся зев,
И ждет земля с тех пор, чтобы дыханьем сжатым
Вновь содрогнуться пред его раскатом,
И преклоняется, и гнется, как трава,
Пред волей львиною. Здесь — государство льва.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Мы родились под бури грохотанье.
К великой цели пламенно стремясь,
Проходим шаг за шагом испытанья,

Лишь пред своим народом преклонясь.
Мы всё, что с нами будет, ожидали,
Мы не страшились бури и невзгод,
Мы с чешскою судьбой себя связали,—
И с ней — вперед и только лишь — вперед!

С народом нашим, что так чист и светел,
Как будто только что сейчас рожден,
Который сам свою судьбу наметил
И защищал ее во тьме времен!
За вольность человечью, что когда-то
Здесь расцвела,— как встарь стоит народ,
Мы гибли за нее, но — верим свято:
Она прославит нас, ведя вперед!

Вперед! Мы делом каждый час отметим,
Ведь новый день — для нового труда,
Хоть слава предков — украшенье детям,
Но славой сам укрась свои года!
Где настоящее дитятей плачет,
Там только древность отблеск славы льет,
Едва корабль жемчужный след означит —
Все к парусам, и только лишь — вперед!

Прочь в сторону, кто трусит и вздыхает,
Чья дрогнула от трудностей рука!
Ведь роза и тогда благоухает,
Когда над ней толпятся облака.
Долой того, кто дремлет у кормила:
Промедливший мгновенье — отстает,
Прошедшего ничья не сможет сила
Вернуть назад. Вперед, всегда вперед!

Над нами солнце, как везде, сияет,
И день встает за ночью, как иным,
Но к мужеству эпоха призывает:
Где вы, мои свободные сыны?
К нам, к нам прихлынь, бессмертия отвага,
Плечо к плечу сомкни за взводом взвод.
Расправь полет приспущенного флага,
Стремясь вперед и только лишь — вперед!
Не знаем мы, что в будущем таится,
Но непреклонен чешской воли дух,
И, чтоб победой новой огласиться,

Достаточно широк наш чешский луг.
И если гром сраженья снова грянет,
Гуситский гимн иной размах возьмет,
В стране железа все оружьем станет,
В крови железо зазвучит: вперед!

Следите ж за движеньем корабельным,
О чехи — гвозди, скрепы корабля!
Да сохраним его большим и цельным,
Чтоб засияла чешская земля!
Но если б все насытились желанья
И стал бы светел чешский небосвод —
Как нет людскому морю затиханья,
Так будь и ты готов для испытанья,
Вперед, народ наш дорогой, вперед!

РАССКАЗЫ

ОН БЫЛ НЕГОДЯЕМ!

Горачек внезапно умер. О смерти молодого человека никто не жалел, хотя его знала вся Малая Страна. На Малой Стране соседи вообще хорошо знают друг друга, наверное, потому, что не желают знать посторонних. Когда умер Горачек, они рассудили, что это к лучшему,— смерть, мол, развяжет руки его уважаемой матушке. Ведь он был негодяем. Двадцатипятилетний Горачек скончался внезапно, как значилось в книге умерших. В этой записи не указывалась причина смерти, потому что, как остроумно заметил господин провизор, негодяями становятся без причин. Впрочем, если бы скончался господин провизор, неизвестно еще, какие пошли бы о нем толки, хотя он и умеет прятать концы в воду!

Горачека вместе с другими покойниками вынесли из общественной часовни. «Каков в колыбельку, таков и в могилку»,— говорил после в аптеке провизор. Людей за гробом шло не много, почти одни нищие, несколько приодевшиеся, отчего бедность их еще более бросалась в глаза. Из всей толпы только двое провожали Горачека до могилы: старушка мать и весьма элегантно одетый молодой господин, поддерживавший ее под руку. Он был очень бледен, шел неверной походкой и временами вздрагивал, точно в лихорадке. Малостранцы не обращали внимания на слезы матери, ведь, по их мнению, ей теперь должно быть легче, а если старушка и плачет, то она как-никак мать, а потом,— может, это от радости? Молодой господин, вероятно, жил в другой части города, здесь его никто не знал. «Бедняга, его самого нужно поддерживать. Видно, пришел ради Горачековой!.. Как же иначе? Не может ведь он быть другом негодяя? Да кто согласится открыто признать себя другом человека, от которого все отвернулись! У Горачека сроду не водилось приятелей, ведь он всегда был негодяем! Несчастная мать!» А мать всю дорогу плакала навзрыд, и у молодого

господина катились по щекам слезы, даром, что Горачек с малых лет слыл негодяем.

Родители Горачека держали мелочную лавку. Дела у них шли недурно, насколько это возможно у торговцев, если их лавочка находится в квартале, где живет много бедняков. Из тех крейцеров и грошей, что они выручали от продажи дров, масла и сала, конечно, много не наживешь, если к тому же щепотку соли или тмина надо было давать в придачу бесплатно, зато гроши клиенты платили Горачекам наличными и двухгрошовый долг возвращали аккуратно. Были у Горачековой покупательницы даже среди чиновниц, они хвалили ее вкусное масло и покупали сразу помногу, так как жалованье чиновникам платят только после первого числа.

Сынишке Горачеков, Франтишеку, было уже около трех лет, а он все еще бегал в платьицах. Соседки находили, что это отвратительный ребенок. Почти все дети в доме были старше Франтишека, и он редко когда осмеливался играть с ними. Однажды ребята дразнили еврея. Франтишек хоть и вертелся тут же, но не принимал в забаве никакого участия. Еврей погнался за ребятами и, схватив Франтишека, который и не думал убегать, отвел его с бранью к родителям. Соседи ужаснулись: «От горшка два вершка, а уже какой негодник!»

Перепуганная мать рассказала обо всем мужу.

— Бить я его не стану,— решил тот,— а на улице мальчишка совсем от рук отобьется. Ведь за ним присмотр нужен, а нам некогда... Придется отдать его в школу для малышей.

Франтишек надел штаны и с плачем пошел в школу. В школе он отсидел два года. В конце первого года, в награду за свое примерное поведение, Франтишек получил на испытаниях рогалик. В конце второго ему полагался образок, да помешало одно обстоятельство. Накануне экзамена Франтишек, как обычно, в полдень отправился обедать. Путь его проходил мимо владений одного богача, расположенных на тихой улице, где всегда разгуливали куры да утки. Франтишек частенько с самозабвением играл с ними. На этот раз там бродили индюшки, которых Франтишек еще ни разу в жизни не видывал. Мальчик так и застыл на месте, с удивлением разглядывая диковинных птиц. Скоро Франтишек, забыв обо всем на свете, опустился на корточки среди птиц и завел с ними важный разговор. Возвратясь после обеда в школу, дети наябедничали на него,— дескать, Франтик с индюшками забавляется,— и учитель послал за Франтишеком школьную прислугу. На экзамене мальчик не получил награды, и классный наставник велел матери держать сына построже, заметив, что он уж и так отпетый негодяй.

А Франтишек и впрямь был законченным негодяем!

В приходской школе он сидел рядом с сыном инспектора; мальчики, взявшись за руки, вместе ходили домой, вместе играли даже в квартире инспектора. Франтишеку позволяли баюкать малыша, лежавшего в колыбельке, за что угощали кофе в белом горшочке. Сын господина инспектора носил красивые курточки с белыми, сильно накрахмаленными воротничками, а Франтишек — костюмчик, всегда, правда, чистый, но весь в заплатах, однако мальчику и в голову не приходило, что он одет хуже своего друга. Как-то раз после занятий учитель остановился около их парты, потрепал инспекторского сынка по щечке и сказал:

— Какой ты славный мальчик, Конрад! И как это ты всегда умеешь свой воротничок содержать в чистоте! Передай мое нижайшее почтение своему родителю.

— Хорошо,— нечаянно сорвалось у Франтишека.

— Я не с тобой разговариваю, голодранец!

Франтишек не разобрал сперва, отчего из-за его заплат пан учитель не может передать поклон его отцу. Тем не менее мальчуган все-таки почувствовал разницу между собой и сыном инспектора. Он отдубасил за это Конрада и был, как неисправимый хулиган, изгнан из школы.

Родители устроили сына в немецкую школу. Франтишек почти ни слова не понимал по-немецки и, естественно, плохо успевал в науках. Учителя считали его лодырем, хотя занимался он усердно, считали испорченным ребенком, потому как он вечно дрался с мальчишками, дразнившими его,— ведь плохое знание немецкого языка мешало ему отплатить им тем же. Да у ребят, право же, были основания дразнить Франтишека. Он постоянно смешно коверкал немецкие слова, но и других поводов для насмешек было предостаточно. Больше всего он их позабавил, когда однажды явился в школу в своей зеленой фуражке блином, с огромным, в палец толщиной, козырьком. Чтобы сделать сыну этот оригинальный подарок, отец специально ходил в Старое Место.

— Ему сносу нет, и солнышку тебя не достать,— приговаривал отец, подшивая козырек.

И Франтишек, шагая в школу, с гордостью думал, что он наряднее всех. Мальчики тут же подняли его на смех. Они прыгали вокруг Франтишека, дразня его: «Марабу, марабу»,— ведь козырек его фуражки как две капли воды походил на клюв этой птицы. За это Франтик одному мальчику своей обновой расквасил нос и получил плохую оценку за поведение, что причинило ему немало хлопот при поступлении в гимназию.

Родители выбивались из сил, чтобы вывести сына в люди, чтобы не пришлось ему таким же тяжким трудом, как им самим, когда-нибудь зарабатывать свой хлеб. Учителя и соседи отговаривали

их от этой затеи, уверяя, что у мальчишки нет способностей, да к тому же он — просто негодяй. И у соседей Франтишек пользовался дурной репутацией. Мальчику особенно не везло, хотя проказничал он ничуть не больше их детей, а, пожалуй, даже меньше. Но когда Франтишек гонял мяч на улице, то почему-то всегда умудрялся нечаянно залепить им в одно из открытых окон, а играя с ребятами в воротах дома в «чижика», непременно разбивал лампадку перед распятием, хотя очень старался быть осторожным.

Франтишек, которого теперь величали Горачеком, все-таки стал гимназистом. Нельзя сказать, чтобы он слишком прилежно занимался науками,— они опротивели ему еще в немецкой школе,— однако из класса в класс переходил без особого труда. Но больше всего гимназист интересовался тем, что не преподавалось в школе. Он читал все, что ни попадалось ему под руку, и вскоре основательно познакомился с разными иностранными авторами. Удалось ему отточить и свой немецкий слог. Единственное, в чем он безусловно преуспевал — так это в писании сочинений, которые отличались умом и живым, выразительным слогом. Однажды учитель даже признал, что у Горачека стиль не хуже, чем у самого Гердера. Другие учителя, хотя по их предметам Горачек отнюдь не выделялся, были снисходительны к нерадивому ученику и говорили, что он, конечно, талантливый, но негодяй. Однако у них не хватило смелости загубить одаренного мальчика, и Горачеку удалось проскользнуть и через последний решающий экзамен.

Горачек выбрал юриспруденцию — и потому, что это было модно, и оттого, что отец хотел видеть сына чиновником. Теперь Горачек еще больше времени посвящал чтению, к тому же он счастливо полюбил красивую, милую девушку и начал писать стихи. Его первые литературные опыты были опубликованы в чешских журналах, и вся Малая Страна страшно возмутилась, что Горачек сделался литератором и печатает свои произведения в журналах, да еще в чешских. Горачека посчитали пропащим человеком, а когда некоторое время спустя умер его отец, никто не усомнился, что бедняга не вынес позора и негодяй-сын — причина его смерти.

Матери пришлось бросить торговлю. Жить вскоре стало трудно, и Горачек вынужден был подумать о заработке. Уроки давать он не умел, да и никто не взял бы его в домашние учителя. Он с удовольствием пошел бы служить, да как-то все не хватало решимости, хотя увлечение науками этому не препятствовало, ибо юриспруденция оказалась весьма нелакомым кушаньем, и Горачек посещал университет, лишь когда не знал, куда деваться от скуки. В первый же день занятий студент решил, что на тех лекциях, которые он почтит своим присутствием, он напишет хотя бы одну эпиграмму. И начал слагать античные дистихи. Прочитав

первую эпиграмму, Горачек обнаружил, что его гекзаметр состоит из семи стоп. Обрадовавшись этому размеру, он сказал себе, что отныне будет писать только гептаметром. Однако, поразмыслив над своим открытием, перечитал гептаметры и увидел, что стоп у него — восемь.

Но самым большим несчастьем для Горачека стала любовь. Милая, чистая девушка и впрямь воспылала к нему глубоким чувством; даже родители не принуждали ее выходить за другого, хотя недостатка в женихах не было. Девушка согласилась ждать, пока Горачек закончит курс и подыщет приличное место. Однако служба, подвернувшаяся Горачеку к этому времени, хоть и давала небольшие средства, но не сулила никаких перспектив в будущем. Юноша хорошо понимал, что он не в состоянии обеспечить свою возлюбленную, а обрекать ее на нищету не хотел. Он подумал, что его любовь не так уж сильна, как это было на самом деле. И решил добровольно отказаться от невесты. Отречься от нее прямо у него недостало отваги,— ему нужно было, чтоб его прогнали, унизили, ведь незаслуженно истерзанное сердце жаждало любви. И Горачек нашел выход — он отправил анонимное письмо родителям невесты, в котором приписывал себе самые позорные поступки. Девушка не поверила доносчику. Но отец оказался прозорливее. Потолковал о Горачеке с соседями и разузнал, что тот сызмальства слыл негодяем. Когда через несколько дней Горачек пришел с визитом, девушка, рыдая, убежала в другую комнату, а его самого вежливо выпроводили за дверь. Вскоре девушка вышла замуж, и по Малой Стране поползли слухи, что Горачеку отказали от дома за низкие поступки.

Сердце Горачека разрывалось от боли, он не мог себе простить, что по собственной вине лишился единственного существа, которое искренне его любило. Он совсем упал духом. Служба ему опротивела, и он таял прямо на глазах. Соседей это нисколько не удивляло, они шушукались, что, дескать, беспутство до добра не доводит.

Служил Горачек в ту пору в частной конторе. Несмотря на отвращение к службе, трудился он прилежно, и его хозяин вскоре стал вполне доверять ему, даже поручал разносить деньги, когда это требовалось. Однажды пришлось Горачеку оказать услугу хозяйскому сыну. Тот остановил его у выхода из конторы со словами:

— Пан Горачек, если вы меня не выручите, я не переживу позора, утоплюсь и запятнаю доброе имя отца. У меня есть долг, который я сегодня во что бы то ни стало должен вернуть. Деньги у меня будут только на днях, и я ума не приложу, как быть. Вы несете деньги моему дяде — одолжите мне их, послезавтра я все верну, а сегодня дядя денег у отца не потребует.

Но дядя потребовал деньги в тот же день. И наутро в газетах было помещено следующее заявление: «Прошу всех, кто ведет со мной дела, Ф. Горачеку никаких денег не доверять. Он уволен мной за недобросовестность».

Это известие настолько взбудоражило жителей Малой Страны, что, пожалуй, даже весть о пожаре в соседнем квартале не произвела бы на них такого сильного впечатления. Горачек, несмотря ни на что, не выдал своего кредитора. Пришел домой и лег в постель под предлогом, что у него болит голова.

На другой день местный лекарь, пользовавший бедных, как обычно, зашел в аптеку. Он был задумчив, и провизор спросил его с усмешкой:

— Так, значит, этот негодяй умер?

— Горачек? Да... разумеется.

— Отчего же это произошло?

— Ну... напишем, будто его хватил удар.

— Хорошо еще, что этот негодяй не брал лекарств в долг! — с удовлетворением заметил провизор.

ЙОЗЕФ-АРФИСТ

В 1848 году мы редко готовили уроки, а если это и случалось, то лишь в виде исключения. Учитель, преподававший нам, по тогдашним порядкам, все предметы, был в основном математиком, кроме того, естественником и ко всему еще до страсти любил поболтать о политике. В результате такой постановки дела мы ничего не знали, даже математики, ибо учитель придерживался принципа: тому, кто не родился математиком, ее все равно не вдолбишь. Что касается латыни, то за целый год мы изучили только первую главу хрестоматии, ту, в которой Тацит описывает флору древней Германии. Учитель увлекался спорами с учениками на политические темы и обычно забывал задавать уроки. Но время от времени нам все же, как я уже сказал, приходилось выполнять домашние задания.

Однажды чудесным весенним днем я пыхтел над переводом с немецкого на латынь. За городскими воротами в каменоломнях меня поджидали приятели, поскольку мы собирались проводить большие маневры. Я сидел как на иголках у клавесина, служившего мне заодно и письменным столом. Терпенью моему приходил конец, а перевод не продвигался ни на йоту. Раздосадованный, я вскочил, распахнул наружную дверь и прислушался. Из открытой двери трактира напротив доносилась музыка: в сопровождении арфы пел знакомый хрипловатый голос. Я был спасен! Схватив

тетрадь, без шапки и куртки я бросился в трактир, завсегдатаями которого были все наши соседи и где я с раннего детства чувствовал себя как дома.

За одним столиком сидело несколько человек, другой столик занимал усатый арфист Йозеф.

— Э!.. малыш пришел! — крикнул Йозеф и резким аккордом прервал игру.— Наверно, опять что-нибудь не получается?

— Как не стыдно,— гимназист, а за помощью идешь к арфисту,— с усмешкой заметил кто-то.

— Но ведь пан Йозеф тоже был гимназистом,— смутился я.

— Только я, малыш, сам все делал,— сказал Йозеф.— Да ты не слушай этих глупцов, пусть себе болтают, сами-то они круглые невежды, потому и не ценят тех, кто хоть что-нибудь знает. Целыми днями я их развлекаю разными историями и игрой, а они заплатить — и то порядком не могут.

— Не гневи бога, Йозеф. Спой нам еще что-нибудь или расскажи, мы и заплатим,— крикнул один из присутствующих.

— Нет, теперь уж вы оставьте меня в покое. Теперь я помогу малышу сесть в лужу, потому как он непременно в нее сядет, коли сам не возьмется за ум. А потом я вам и поиграю и расскажу. Сейчас мне как раз попалась интересная книжка, вот эта потрепанная, на немецком языке, вам никогда не догадаться, о чем здесь речь. Но об этом после!

Он взял мой листок и принялся писать на обратной стороне.

Странный человек был Йозеф-арфист. Никто ничего не знал ни о нем, ни о его прошлом. Жил Йозеф на Уезде, и хозяйка, у которой он снимал комнату, рассказывала, что, несмотря на хорошие заработки, у арфиста ничего нет, кроме каких-то бесполезных книг да двух-трех новых костюмов, которые он никогда не надевает. Но, кроме того, он, мол, на днях заказал себе черный фрак, черные брюки и белую жилетку. Одному богу известно, зачем это ему понадобилось!

Владельцы трактиров принимали Йозефа с большой охотой,— ведь где бы он ни появлялся, вокруг него всегда собиралось много народу. Йозеф пел им песни, каких никто никогда прежде не слыхивал, а россказнями его все заслушивались. Йозеф не скрывал, что истории свои он заимствует из немецких книг, которые часто видели у него в руках. Истории эти были особенные, словно взятые из жизни, и нередко слушателю начинало казаться, что герой повести — это он сам. Содержание немецких книг Йозеф передавал замечательно и как-то даже проговорился, что раньше тоже был сочинителем. Пером он и впрямь владел в совершенстве, в чем мог убедиться каждый, кто просил его писать. Только прошения составлять он отказывался.

— Все равно большие господа для вас ничего не сделают, не унижайтесь попусту, писать не стану,— говорил он.

Больше о Йозефе никто ничего не знал, да и позже мне не удалось собрать о нем никаких сведений, даже имени его настоящего я не смог установить. Но этот таинственный человек и в моей памяти запечатлелся как личность необычайно интересная и даже поэтическая.

Пока Йозеф делал за меня перевод, я, все еще сконфуженный, просматривал номера «Вечерней газеты», а потом взял в руки немецкую книгу, из которой Йозеф хотел кое-что прочитать своим слушателям. Она называлась «Herbstblumine» [1], автором ее был Жан Поль. Книгу эту я видел тогда впервые и тут же принялся листать ее, разыскивая те увлекательные рассказы, о которых упоминал Йозеф. Там, где она была раскрыта, я наткнулся на одно место, подчеркнутое карандашом: «Кому лучше — гению, не признанному современниками, или отдаленным светилам? Только спустя столетия мы замечаем их на той стороне небосклона, которая приблизилась к нам сегодняшней ночью, ибо путь их лучей с небес до земли был слишком долог». Сам не зная почему, я взял тогда карандаш и переписал название книги и это высказывание.

— Понимаешь ли ты, малыш, что переписал? — спросил Йозеф. И темные поблекшие, уже подслеповатые глаза его испытующе взглянули на меня.— Если не понимаешь,— продолжал Йозеф,— оно к лучшему. Вот другие поняли и поплатились за это. На́ вот перевод и беги играть в мяч!

Я схватил тетрадь, а он, аккомпанируя себе на арфе, запел хрипловатым, низким голосом:

За горами, за долами
Садик расцветает,
В том ли садике парнишка
Яблоню сажает.

Подошла к нему нежданно
Красная девица.
«Почему бы тебе, парень,
На мне не жениться?»

Покатился с клена листик
В голубые воды...
«Я женюсь, но только раньше
Я добьюсь свободы».

— Опять Йозеф завел свои крамольные песни,— проворчал один из посетителей.

---

[1] Осенние цветы *(нем.)*.

Да, Йозеф знал довольно много милых словацких и моравских песенок, но собирал все новые и новые и исполнял их всего охотней. Однажды, когда я записывал их, Йозеф внезапно спросил:

— Когда ты слушаешь эти песни, не возникает ли у тебя такое чувство, будто прерывается дыхание и к горлу подкатывается комок? Впрочем, ты еще мал и ничего не смыслишь...

На троицын день солнце палило немилосердно. Тяжким бременем пало вёдро на белую Прагу, оно теснило и угнетало все и вся, напекало головы, люди обливались кровавым потом. Малая Страна была тиха, мертва и безлюдна. Она словно боялась выступить из-под прикрытия собственной тени: казалось, малейшее движение усилит изнурительный зной. На улицах — почти пустынно, и если появится одинокий пешеход, то крадется медленно и лениво по тенистым уголкам, жадно ловя легчайшее дуновение ветерка.

Внезапно из домов начали выбегать люди — без сюртуков, с непокрытыми головами, как это дозволяется на нашей милой Малой Стране. У всех на лицах — удивление, недоумение, страх. Отовсюду сыплются восклицания, вопросы. Одним почудилось, будто грянул гром, другим — что началась стрельба со стороны Старого Места. Но тут,— это слышали все,— раздался сильный, приглушенный расстоянием грохот. Сомнений не оставалось — в Старом Месте палят!

Люди толпами устремляются к мосту. Старики и молодежь, мужчины и женщины, вооруженные и безоружные — все странно перемешались. Лица бледны — может, от страха, а может, от гнева. Кто-то выкрикнул:

— Братья, помогите! У комендатуры на нас напали солдаты! Они стреляют в народ, кровь льется рекой!

Слово «кровь» всех словно воспламенило.

— Как? Наша кровь льется рекой?

Люди объединились в одно мгновенье. Всеобщего порыва страсти ничто сдержать не могло. Извозчики что есть мочи нахлестывают лошадей, чтобы спасти свои фиакры, летят булыжники; торговые ларьки, всевозможный инструмент — все сваливают в кучу, связывают, укрепляют, и вот уже вырастает баррикада, потом вторая, третья, и вскоре все главнейшие улицы города оказываются перекрытыми.

Снова все ожило. Распространился слух, что несколько сот крестьян идет на помощь пражанам и Бруске. К Бруским воротам, через которые крестьяне тщетно пытаются прорваться в город,

бросилась толпа, и ворота наконец подались; вооруженные крестьяне, отряд человек в двести, врываются в Прагу. Распевая песни, они быстро спускаются вниз по Оструговой улице мимо замка и баррикад. Деревенский оркестр играет австрийский марш.

На Малостранской площади отряд крестьян останавливается, чтобы собраться с силами. Затем, через проходной двор, устремляется к Кармелитской улице, где возле старой почты засели войска. Гремит залп из двух пушек, несколько человек падает... Но все равно — вперед! Пушки, быстро повернув дула, стреляют вниз по Уезду — в направлении арсенала. Здесь тоже разгорается бой... Печальная и страшная картина!

Несколько маленьких гимназистов помчались за крестьянским отрядом, они хотели все видеть собственными глазами. В этот момент я заметил, что из одного дома вышел элегантно одетый господин, который показался мне знакомым. Я не хотел верить собственным глазам, верить, что это арфист Йозеф! Лицо его дышит вдохновением. Он чисто выбрит. На нем красивая шляпа, черный фрак, черные брюки, белый жилет, желтые перчатки — одет как на праздник. В каждой руке Йозеф держит по пистолету.

Безмолвно и в полном спокойствии он прошел сквозь толпу. Какая-то неодолимая сила влекла меня к нему.

Достигнув первых рядов, Йозеф выбрался на баррикаду, но не успел взвести курок, как пошатнулся. Пуля угодила ему в грудь, а его выстрел просто прогремел в воздухе. Падающего Йозефа подхватили, из уст его громко, отчетливо прозвучало:

— Слава богу!

Слова эти относились уже не к людям, но к смерти.

Раненого Йозефа внесли в дом, куда прошмыгнул и я. Положили прямо на голый пол и ушли. Он узнал меня и кивком головы подозвал к себе.

— В кафе «У двух солнц» я оставил тебе на память две книжки,— прошептал он,— я знал, что это случится. А теперь, малыш, беги домой, чтоб мать не волновалась.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БРОДЯЧЕГО АКТЕРА

Говорят, у меня нет актерского дарования. Пускай говорят, пускай нету,— теперь уже все равно! Правда, на сцену привела меня в самом деле не любовь к искусству, а скорей — ну, как бы сказать? — мое легкомыслие. Да что я знал о театре! Кроме марионеток, в которых я бросал кожурой, я не видел ни одного настоящего театра до тех самых пор, пока дедушка не отколотил меня

за первую трубку. Тогда к нам приехала какая-то бродячая труппа, и я стал ходить на ее представления, чтобы договориться там с соседским Вашеком, куда пойти, как у нас говорят, «на вальдшнепов»,— то есть ужинать к девушкам. Отец Вашека не позволял ему водиться со мной, но в театре он не бывал, а мы там-то и встречались. Не излишек образования толкал меня туда. Правда, я почти окончил коллегиум, как у нас называют обыкновенную приходскую школу, где старый учитель три часа подряд избивал нас, чтобы мы почтительно поцеловали ручку учительше, которая после урока всегда стояла у дверей и совала ее нам под нос. Не знаю, как получилось, но как-то раз я хотел плюнуть на Вашека, а плюнул на руку учительше, и, конечно, если б не эта история, я кончил бы коллегиум по всем правилам. Добрый мой дедушка, в котором все внушало мне уважение,— даже то, что он ночью всегда прятал мою одежду,— решил, что мне надо учиться на мельника, поскольку мой отец вел крупную торговлю отрубями. Мне было все равно: я твердо знал, что не стану учиться ничему. Бабушка насовала мне в карманы булок, и дедушка повел меня на мельницу. Хозяева встретили нас приветливо, но имели неосторожность в тот же день послать меня с тремя двадцатками в город за покупками.

«Ладно, дедушка отдаст»,— подумал я и пошел бродить по свету. Не знаю почему, только мне пришло в голову отправиться прямо в ближайший городишко — вдогонку труппе. Вечером я туда добрался, и директор сейчас же принял меня в ее состав. С каким благоговением думал я тогда о директоре театральной труппы! А теперь, когда я сам стал директором... Эх! Вот что значит звание! В первый же вечер мне пришлось петь за кулисами «Нет нигде душе моей отрады!»; натощак получилось славно.

С дедушкой я встретился только через пять лет, когда приехал с другой труппой в родные места. Я пошел к нему — хотел пригласить на свой бенефис, но он обозвал меня бродягой и еще поразному. Наверно, он и не заглянул бы в театр, если б мельник не сказал ему, что я «реву так — ну сердце от жалости разрывается».

Мне от души жаль, что дедушка вскоре помер. Мой двоюродный брат до сих пор не отдал мне дедушкиной кованой трубки, которую после его смерти украл.

Никогда не забуду, как легко я мог стать не артистом, а простым комедиантом-ремесленником.

В первый труппе я не ужился. Один из ее участников никак не мог примириться с тем, что у меня голос сильней, чем у него. И я решил: «Зачем мне быть интриганом, когда я, можно сказать, рожден для героических ролей! Пускай интригует он, а я уступлю

и, как настоящий герой,— опять в путешествие!» О, эти закулисные интриги! Люди думают: что за ними кроется ум, а за ними — одна грязь.

В деревенском трактире, где был мой первый привал на обед, я встретил путников: возле смуглого длинноволосого мужчины в поношенном сюртуке, широких полотняных штанах и фуражке без козырька за столом сидела довольно молодая и хорошенькая женщина, также незатейливо одетая, и маленькая девочка, которая все время за нее держалась.

Трактирщик сказал мне, что это кукольники. Женщина прямо не спускала с меня глаз. Я ведь в молодости лицом был похож на девушку: румяный, глаза сверкают из-под темных ресниц, как молнии из-за кулис, волосы ни под какой парик не упрячешь, в плечах косая сажень! Мне эта женщина тоже понравилась, и я начал поглядывать на нее. Она улыбнулась мне, потом, подтолкнув мужа, что-то шепнула ему; оба пристально, но приветливо стали смотреть на меня.

Тут уж я не удержался.

— А ведь мы как будто коллеги,— промолвил я.

— Как будто да,— ответил мужчина.

Я сказал, что вышел из труппы.

— Ну, что я говорила! — воскликнула женщина.— Поговори с ним, муженек; может, он захочет работать с нами; ведь тебе нужен помощник!

При этом она так ласково на меня поглядывала, что я, сам не заметив как, подсел к ним.

— Что ж, если угодно...

— Да почему ж неугодно, милый муженек,— сказала она, касаясь ногой моей ноги.— Ведь у нас хорошее ремесло, и он тоже повидает свет. Может, он наведет порядок в твоей библиотеке!

Одному богу известно, как это вышло, но у меня в это время ни гроша в кармане не было. Я поспешил согласиться. Тут я узнал, что они только утром пришли в эту деревню и вечером дают первое представление.

— Вы сядете туда, за печку,— сказал мне мой новый принципал,— и будете подавать мне куклы. Жена поможет. А мне сейчас надо к старосте. Покопайтесь пока в моей библиотеке, коллега; жена вам все объяснит.

И он ушел.

Не успела закрыться дверь, как кукольница пересела поближе ко мне, взяла мои руки в свои и нежно промолвила:

— Мы будем помогать друг другу и скоро сумеем вести дело одни!

— А ваш муж? — в изумлении пролепетал я.

— Какой муж? Дурачок, он мне вовсе не муж.

— А ребенок?

— Это ребенок сестры, мы взяли его на воспитание! Да что ты все спрашиваешь, глупенький!

И руки ее обвились вокруг моей шеи.

— Ах ты дрянь! — раздался в дверях голос неожиданно вернувшегося кукольника.

Мы вскочили. Глаза его сверкали, как у тигра, рука торопливо нащупывала висящую на стене веревку.

— Беги! — прошептала женщина, и я пулей вылетел вон.

Приложил ухо к двери — удары, крик, проклятья... Вдруг — дверь настежь, и оттуда вылетела выброшенная разъяренным мужем кукольница.

— Хорошо, что ты еще здесь,— сказала она, сразу успокоившись.— Беги скорей в В.; там мой отец, акробат, ступай к нему и жди меня там.

— Пойдем вместе!

— Оставить этому человеку все наше имущество? Ведь это все — мое!

И она вернулась в зал.

Терять мне было нечего, и я решил попытать счастья в В.

Старый акробат, отец кукольницы, принял меня очень любезно. Это была славная семейка: папаша одноглазый, мамаша кривозубая, дочка тощая, волосы всклокочены, торчат во все стороны, как солома на стрехе. Когда я пришел, они упражнялись; мне тоже предложили попробовать. Мальчиком я прыгал лучше всех сверстников, и семья акробата была восхищена моими прыжками в длину. Старик объявил, что я буду первым акробатом во всей Чехии, мать дала мне похлебать пахты, а дочь ко мне прижималась.

Я жил у них целую неделю. На второй день мой патрон протянул над навозной кучей канат, дал мне в руки шест и стал учить меня искусству канатоходца. Я прошел по канату по меньшей мере три раза; и они сказали, что при моих талантах я через две недели влезу хоть на колокольню.

Между тем явилась кукольница с ребенком. Сестры из-за меня поссорились и подрались. Не желая быть причиной семейных раздоров, я ушел.

Очень скоро я начал играть первые роли: при моей наружности иначе и быть не могло.

В первый свой бенефис я играл Карла Моора. Это было невиданное зрелище. В городке, где мы тогда играли, у общины было шесть больших черных плащей, в которые облачались факельщики

на похоронах. Я взял напрокат один из этих длиннющих плащей; а жилет и пиджак на мне были усеяны крупными металлическими пуговицами; за пояс я натыкал себе ножей и пистолетов, сколько влезло,— и если б только вы слышали, какие раздались аплодисменты, когда я распахнул свой плащ!

Но вскоре со мной случилась вот какая неприятность.

Кое-кто из местных пареньков, водившихся со мной, согласился ради моего бенефиса изображать разбойников. На репетиции они не ходили, а явились прямо на спектакль.

Видя их перед собой на сцене, я до такой степени вошел в роль, что почувствовал себя настоящим разбойником.

— Эй вы, сброд, сложи оружие! — скомандовал я.

Разбойники — ни с места.

— Сложи оружие, сброд! — повторил я.

Разбойники стали о чем-то переговариваться.

Я властно смотрю на них, подхожу ближе и шепчу:

— Неужели вы не понимаете, дурачье, что это просто так, для виду? Я скомандую еще раз, а вы сложите оружие. Увидите, какая будет потеха.

Отхожу от них и кричу:

— Если вы сейчас же не подчинитесь, всех повешу! Сброд, сложи оружие!

Они сложили оружие и ждали потехи. Потом ругались, что смешного ничего не было.

Но мне все же был оказан исключительный прием. Я выручил в этот раз целых пятнадцать золотых! Это, конечно, совсем не то, что четыре с половиной крейцера, полученные мною позже в немецкой труппе за Карла и Франца Моора вместе.

В чешских труппах еще ничего, жить можно! А немецкие — это просто какие-то больницы: там все сидят на диете. Там-то и научился я класть мокрые полотенца на живот — хорошее средство против голода.

Две недели мы играли в Нимбурге; там даже немецких фирм нет, в театре пусто, и не выпроси я у одного кожевника черных штанов и не продай их, так наверняка помер бы с голоду.

А кожевник все удивлялся, почему это я никогда не выхожу на сцену в этих штанах.

Как-то раз в трактире один парень все со мной ругался и задирал, и я подумал: «Ты никому еще не влепил пощечины — почему бы сейчас не задать ему трепку?»

Поднялась драка, а на другой день — суд! Меня с товарищами, которые тогда со мной были, приговорили на трое суток в хо-

лодную. Товарищи обжаловали решение, а у меня не было денег на гербовую марку, и пришлось мне объявить, что я готов сидеть.

В субботу после обеда я сам пришел к судье и попросил у него разрешения отсидеть трое суток — не подряд, а с перерывами, каждый день по нескольку часов; а то как же быть с репетициями? Судья был человек обходительный; он сказал, что разрешает,— за то, что я обратился прямо к нему, а не обжаловал его решение; если, мол, я нынче днем свободен и вечером не играю, то могу сразу и приступить; но в тюрьму мне садиться не надо, а достаточно пойти на квартиру к тюремщику и там отсидеть и сегодняшнюю порцию, и все остальные, пока не получится положенных трех суток.

Это мне очень понравилось.

Подхожу к дверям тюремщика, стучу. Слышу:

— Войдите! Ах, это вы? Очень рад! — любезно приветствовал меня тюремщик.— А мы только пообедали. Чем обязан?

— Хочется немножко у вас посидеть! — отвечаю я.

— О, пожалуйста, сделайте милость, прошу! Очень приятно!

Он явно не понял. Три его дочери были уже взрослые девушки, румяные, будто яблочки наливные, живые, как ртуть, свежие, как серны.

Я их часто видел в театре, мы быстро познакомились и через четверть часа уже весело болтали. Я рассказывал им всякие анекдоты из театральной жизни, какие только знал, и мы хохотали так, что стекла звенели. Когда мой запас кончился, младшая предложила поиграть в какую-нибудь игру.

— Только не в такую, где мне пришлось бы стоять или ходить: я пришел сидеть,— сказал я.

Они засмеялись, хотя никто не понял.

Стало смеркаться, и отец заговорил об ужине, поглядывая на меня уже с некоторым нетерпением: когда же, мол, ты уберешься? Но в конце концов, сообразив, что имеет дело с бедным бродячим актером, который, видно, как раз и дожидается ужина, почувствовал жалость.

— Поужинайте с нами, сударь, если вас удовлетворит кружка пива с бутербродом.

Я согласился.

После ужина наше буйное веселье немного утихло. Мы устали. Давно пробило девять, но я не подымался. Наконец старик не выдержал.

— Не забывайте нас, сударь, приходите опять. Сам удивляюсь, как это я еще на ногах; мне уже давно пора в постель. А вы привыкли до глубокой ночи глаз не смыкать... Наверно, зайдете еще к приятелям?

— Нет, нет, я пришел сюда сидеть!

— Экий проказник!

— Честное слово.— И я рассказал ему всю историю.— Пан судья приказал мне у вас переночевать.

Девушки громко захохотали.

— Господи боже мой, что это пану судье пришло в голову? Ведь вся моя семья ютится в одной комнатушке! — воскликнул старик.

— Я тут ни при чем...

Все стали в тупик.

— Знаете что, сударь? — решил наконец тюремщик.— Ступайте-ка домой, а я скажу, что вы провели у меня всю ночь! И вообще можете больше не приходить; через несколько дней мы сообщим, что вы отбыли наказание.

После недолгих препирательств я милостиво согласился разделаться со своим наказанием, а моим коллегам пришлось провести все праздники в кутузке.

Как-то раз я попал в Прагу,— но больше меня там на сцену не заманят!

В провинции я играл всегда одни первые роли и, как говорится, законтрактовался только на них. А здесь мне давали играть одних умирающих и раненых, да еще придирались ко мне за то, что я и в этих ролях имел успех.

Критики молчали, словно набрав воды в рот; только один отдал мне должное, отозвался обо мне хорошо. Он публично хвалил мою прекрасную внешность, говорил, что я выгляжу так, будто господь бог из дерева меня выстругал. Благородная душа!

Напрасно добивался я более крупной роли. Думал, что мне наконец повезет в мой бенефис. Заказал одному поэту новую пьесу и сказал ему:

— Обязательно, чтоб была хорошая роль для меня. Понимаете, что-нибудь светское, остроумное!

— Понимаю,— ответил поэт.— Чтоб вам быть чем-нибудь необыкновенным, да?

И у него здорово получилось; я играл в его пьесе глупого слугу, которого все время колотят.

К следующему бенефису я решил написать пьесу сам. «Лучше всего взять исторический сюжет»,— подумал я и достал себе Палацкого. Но книга эта — совершенно бесполезная: всякие там мелочи да комментарии, а ни одного события, подходящего для трагедии.

В конце концов Прага мне надоела; я собрал свои пожитки и сказал:

— Adieu [1], Прага, на тебе свет клином не сошелся!

Я пользовался исключительным успехом у женщин. Ну прямо до неприличия! Только на какую-нибудь взгляну — моя.

Не говорю уж о той молодой цыганке, которая так в меня влюбилась, что целый год бродила по следам нашей труппы: где мы ни остановимся, она тут как тут.

Я любил эту черноглазую смуглую чаровницу; мне даже казалось, что она меня околдовала; товарищи надо мной смеялись: дескать, может, это какая цыганская княжна? Конечно, я был гораздо выше этой бедняжки, но что из этого? На все насмешки я отвечал строчками из Раупаха:

Ungleich aber kann mit Ungleich nur in Liebe siche vereinen [2].

Либо из Гоувальда:

Die Liebe fragt nicht nach der
Väter Stand [3].

Дело в том, что у нас тоже была эта привычка — в разговоре друг с другом перейти на немецкий, на язык просвещенной нации: это считалось хорошим тоном. Тут мы подражали провинциальным чиновникам; впрочем, я замечал эту манеру и у пражских литераторов.

Жениться на цыганке я, понятно, не собирался, так как разделял мнение Иффланда:

Ehret die Rechte der Natur, folgt dem Zuge
der Liebe, so bedürft ihr keiner Gesetze [4].

Эта цыганка любила меня безмерно, пока наконец, вспомнив слова Тыла: «Тот, кто любит, хочет любить... и ничего больше...» — не украла мои серебряные часы и не скрылась с ними.

Когда же обнаружилось, что у многих членов нашей труппы пропали еще более нужные предметы, я понял, что мои товарищи были с ней в гораздо лучших отношениях, чем делали вид.

---

[1] Прощай *(франц.)*.

[2] Но неровни двое могут лишь в любви соединиться *(нем.)*.

[3] Любовь о предках даже знать не хочет *(нем.)*.

[4] Уважайте права природы, следуйте влечению любви — вам не надо никаких законов *(нем.)*.

Самой пламенной моей страстью была «гусарская принцесса». Так называли в Л. одну барышню, которая была безумно влюблена в лейтенанта-гусара. Но только она увидела меня на сцене, ее «словно кто приковал ко мне алмазными цепями», она написала мне записочку, полную любви и запаха кофе, на чашку которого она меня приглашала. О гусаре больше и речи не было. Потом ее стали называть «театральной принцессой».

У нее было много денег, и я искренне любил ее; но она хотела остаться свободной — «из принципа», как она говорила. Я был так влюблен, что даже посвятил ей стихотворение, очень удачное, начинавшееся словами:

Ах, что-то есть, я чувствую прекрасно...

Но в это время умер наш директор; осталась вдова с тремя детьми. Труппа не знала, что делать. В конце концов директорша вывела нас из затруднительного положения. Она позвала меня и спросила, не хочу ли я стать ее мужем.

— Надо подумать,— сказал я.

Долгов у покойного не было, дело он поставил солидно, труппа пользовалась хорошей репутацией,— я решился. Единственно, что меня смущало,— это то, что вдове было дважды двадцать лет. А свою пламенную любовь к принцессе я затоптал, мысленно сказав вместе с Раупахом: «Entschlossenheit zum Schwersten Opfer ist der Liebe Ruhm und höchste Offenbarung» [1].

Я женился на директорше, стал директором и теперь согласен с Шекспиром, что любовь — это «разумное безумие, отвратительная желчь и сладкое умащение».

СЛУЧАЙ В СОЧЕЛЬНИК

Был вечер сочельника, и я сидел в трактире. Никогда не проводил я этот праздник в семейном кругу, но никогда и не жалел об этом,— наверно, потому, что просто не представлял, что это такое. Даже в детстве этот красивый и поэтичный праздник был для меня безразличен: у меня никогда не было причин радоваться его приходу и жалеть, что он миновал. Стесненные обстоятельства,

[1] Готовность к величайшей жертве является славой и высшим выражением любви *(нем.)*.

в которых находилась наша семья, не допускали и в этот день никаких изменений. Рыбу я видел только на рынке, где простаивал долгие часы, глядя, как плещутся эти засыпающие, таинственные и немые создания; наряженные елки созерцал только в окнах чужих квартир,— какими их часто и до тошноты красиво описывают новеллисты. Не могу сказать, что меня особенно беспокоило отсутствие всего этого: я рос странным ребенком, отличаясь особым свойством, которое у детей называется упрямством, а у взрослых — покорностью судьбе. Это было упрямство нищенки, которая стоит весь день, в холод и мороз, с протянутой рукой, видит вокруг себя драгоценности, слышит шелест роскоши, но ничему и никому не завидует.

Однако в тот вечер мне почему-то было тяжело. В огромном трактире пусто и тихо. Я сидел за столиком один, погруженный в свои мысли, поодаль стоял длинный стол, за которым ужинали официанты. Громкие шутки их не выводили меня из задумчивости, а, напротив, усиливали мое грустное настроение. Я думал о том, что весь мир забыл обо мне, что у меня нет ни единого друга, который не предпочел бы пригласить к своему праздничному столу кого-нибудь более близкого, чем я; что во всем божьем мире нет ни одного сердца, которое испытывало бы ко мне доверие, которое прижалось бы к моему сердцу, волнуясь и радуясь вместе со мной. Я сравнивал себя с куском льда, близость которого заставляет всех испытывать неприятную дрожь и сторониться его обидного безразличия. Конечно, мои знакомые,— я не мог, не решался и не хотел называть их друзьями,— сейчас, каждый по-своему, радуются, веселясь со своими близкими. И, конечно, никто из них, абсолютно никто, не вспомнит обо мне. Хотя из-за своего «своенравия» я не чувствовал сильного огорчения, мне все-таки было тяжело.

Я загляделся на потрескивающий, пылающий, как огненный цветок, газ. Потом глазам стало больно смотреть. Я отвернулся и и вдруг заметил, что в трактире я не один: за столом напротив — еще кто-то, на кого я совсем не обратил внимания. Он сидел, опустив голову на стол,— в той самой позе, в какой сидел, когда я только вошел. Я спросил у официанта, кто это, и получил ответ, не располагающий к дальнейшим расспросам:

— Какой-то пьяница!

Я бросил взгляд на одежду незнакомца: одет он был бедно.

Снова задумавшись, я без всякой цели уставился на спящего.

Вдруг он быстро, словно его что толкнуло, поднял голову и повернулся лицом к свету. Поспешно поднес правую руку к глазам, и по щекам его скатились две слезы.

«Нет, он не пьян,— подумал я.— А если сегодня и пьян, то бог знает отчего!»

Я еще раз посмотрел на него, надеясь найти в лице его что-нибудь знакомое. Лицо это нельзя было назвать красивым, но оно имело выражение мужественного страдания. Глубокие морщины избороздили лоб и щеки, свидетельствуя о том, что у этого человека, которому на вид не больше сорока, нелегкий жизненный путь за плечами. У него были слезы на глазах: я заметил, что он тоже смотрит на меня с удивлением. Я понял, что мое любопытство ему неприятно, быть может, даже обидно.

— Добрый вечер, сударь,— сказал я, чтобы завязать разговор.

— Что вам угодно?

— Да просто так.

Он ничего не ответил.

— Вы празднуете сочельник так же, как я. У нас обоих как будто одинаково праздничное настроение! У вас, видимо, тоже нет друзей, с которыми вы могли бы...

— Это никого не касается.

«Ты прав»,— подумал я, но ничего не сказал, а начал вполголоса насвистывать какой-то марш, постукивая ножом по кружке.

Прошло несколько минут.

— Хе-хе-хе! — послышалось вдруг из-за противоположного столика.

Я посмотрел туда с удивлением и досадой.

— Вы как будто обиделись,— промолвил незнакомец.— Молодая кровь еще не мирится с грубостью.

— Позвольте, сударь...

— Пожалуйста. Выскажите мне все, что хотите! Знаю, каково молодому человеку сидеть в сочельник в каком-то чужом, похожем на склеп трактире, где, кроме него, два-три человека по углам, и все молчат, словно решили завтра же покончить с собой. В таких случаях даже у старых дураков нелегко на сердце, и я не удивился бы, если б молодые люди вдруг вынули из карманов две-три тонкие свечки, зажгли их и поставили перед собой.

Он встал, взял свою уже почти пустую кружку и подсел ко мне.

— А что,— продолжал он,— ведь это правда: в сочельнике очень много поэзии. Поневоле приходится признать, что в этот день — единственный раз в году — вас охватывает какое-то праздничное чувство: я сказал бы, чувство светлое, солнечное. Суета, всякие приготовления, сияющие лица нетерпеливых детей... Даже у тех, кому в детстве не привелось ни разу праздновать сочельник, в голове начинают роиться новые мысли. Детские сердца ликуют, независимо от того, кто родители — богачи или поденщики. Да и у взрослых в этот день такое чувство, будто вокруг них, как пылинки в солнечных лучах, летают крошечные ангелочки с восковыми личиками, льняными волосиками и отстающей, дрожащей

сусальной позолотой. Кажется, весь воздух потрясает мощная торжественная «Слава!» — умилительная, как звуки золотой арфы, в могучей гармонии самых высоких тонов и самых проникновенно-глубоких, словно небесный хорал в бетховенской симфонии!

Я смотрел на него с изумлением: глаза полузакрыты, на щеках легкий румянец.

— И, конечно... когда ты вечером сидишь одиноко в трактире, соразмеряя рождественские радости с ценами, указанными в меню... конечно... Вы не идете, сударь? Так проводите меня немного. Не бойтесь, я вас не заговорю!

Мы вышли. На улице мело; сочельник много теряет, если днем пасмурно, а вечером нет метели. Некоторое время мы шли молча; я следовал за своим незнакомым спутником.

— Ваше лицо мне знакомо, сударь! — сказал я.

— Знакомо? Возможно! Люди с одинаковой судьбой часто похожи друг на друга. Смысл вашего вопроса другой: вы хотели узнать, кто я?

— Может быть.

— Зачем же я буду скрывать! Ведь бедность не порок, правда? Хоть говорят, да мы и сами видим, что кого мать баюкала не в люльке, а на старой соломе, кто считает свою нищету неизбежной, предначертанной свыше, кто не может не думать о своей нищете,— те даже представить себе не могут, чтобы наступило мгновенье, когда они прикроют эту нищету тряпьем либо какой ни на есть моральной заплатой. Вот откуда у бедняка такая приниженность!

Он замолчал, и я не нарушал его молчания.

— Вздор! — вдруг громко заговорил он опять и быстро продолжал: — Я расскажу вам о себе в двух словах. Кто я? Нищий! А кем был? Правда, не полумиллионером, но все же крупным богачом. Было у вас когда-нибудь несколько сот тысяч?

— К сожалению, нет!

— А у меня, к сожалению, да. И я лишился своего состояния из-за собственной беззаботности, из-за своего барства, из-за глупости,— называйте как хотите. Я вел оптовую торговлю.

— А вас не покинули, как многих в несчастье, друзья, и родные?

— Родственные отношения вместе с моим золотом не пропали, а вот дружба!.. Впрочем, я ни к кому не обращался с просьбами! У меня еще оставалась кое-какая надежда опять разбогатеть, но случается, что выздоравливающий переоценивает свои силы,— происходит рецидив, и человек гибнет окончательно. Я стал и остаюсь до сих пор нищим, более гордым, чем захудалый венецианский дворянин. Жаль, что я не обнищал и духом. Пока были день-

ги, была гордая глупость; когда деньги кончились, появилась глупая гордость, а вместе с ней — и думы... Ах, эти думы! Как-то раз я прочел, что глупо, очень глупо, что богатыми являются только богачи,— дескать, почему не богат и бедняк?! Я стал думать: что это? Вздор? Или меня здравый смысл покинул?.. Вы никогда об этом не думали?

Он остановился передо мной. Мы уже прошли несколько безлюдных узких улочек и остановились как раз перед дверями какого-то странного здания. Вдали послышались мерные, тяжелые шаги ночной стражи; они приближались к нам.

— Вот здесь я живу. Раз уж вы так далеко зашли, загляните ко мне! — сказал он, отпирая дверь.

— Отчего же...

Я был страшно заинтересован и взволнован.

Он повел меня за руку. Мы шли по каким-то лестницам, по коридорам, опять по лестницам...

— Мне не нужно зáмков,— сказал он, открывая дверь.— Постойте, я зажгу.— Он зажег свечу, воткнутую в горлышко бутылки.— Осматривать нет надобности: все равно ничего не увидите,— прибавил он, ставя свечу на пол.

Мы находились... на чердаке. Слуховое окно заколочено досками, в углу — солома, о какой бы то ни было обстановке говорить не приходилось. Мне было как-то неловко.

— Если хотите сесть, так на солому!

Мы сели.

— Как нелепо, что я не сумел сдержать свои чувства. Никогда бы не подумал, что начну так болтать. Вот еще что, коли уж я заговорил...— Он подпер голову рукой.— Обеднев, я влюбился. Быть бедняком и любить, да еще богатую! Покойный Коцебу, которого Занд, может, только за то и убил, что тот сочинял плохие трагедии, пишет где-то, что влюбленный бедняк подобен гостю, который является на свадьбу не в праздничном наряде, и его не пускают на порог! Меня и выставили за дверь!

Он заплакал, всхлипывая, как ребенок. Я взял его за руку. Он, рыдая, упал ко мне на грудь.

— Завтра день рождения моей возлюбленной, которая давно замужем. Там будут пировать, а я буду умирать от голода...

Мне стало невыразимо жаль его.

— Разрешите мне хоть немного помочь вам,— сказал я, роясь в кошельке.

— Нет, нет, никаких денег! — воскликнул он, хватая меня за руку.— Я не зарабатываю на хлеб рассказами о своей нищете. Прошу вас, уйдите, уйдите... Приходите опять, если угодно, или еще где встретимся, а теперь уйдите.

Микулаш Алеш. Ян Неруда.
Рисунок углем.

Он чуть не насильно поднял меня с места, погасил свечу, судорожно схватил меня за руку и так быстро потащил за собой по лестнице, что я чуть не упал.

— Прощайте! — сказал он, открыв входную дверь.

И за спиной моей загремел ключ в замке. Я внимательно осмотрел дом снаружи и побрел обратно. Метель перестала. Дойдя до угла, я опять услышал скрип отворяемой двери. Оглянулся — сзади, при свете фонаря, виднелась черная мужская фигура. Очевидно, несчастный искал утешения в зимней ночи.

Придя домой, я обнаружил, что у меня пропали кошелек и часы. Я не мог уснуть, занимаясь психологическими исследованиями. Все розыски оказались напрасными. Среди жильцов того дома не было ни одного похожего на моего незнакомца, а на чердаке вообще никто давно не жил,— мы нашли там только ворох растрепанной старой соломы да огарок свечи в разбитой бутылке.

ПРАЖСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Каждый ребенок у нас знает пана Странского, и если б вы как-нибудь под вечер проходили по М...ской улице, вы бы тоже его узнали. Вы увидели бы его на песке, у фонтана, окруженным стайками детей. Дети визжат, гоняются друг за другом, прыгают — прямо голова кругом идет, а пан Странский прохаживается среди них, то кружась с ними в хороводе, то осторожно перешагивая через кучу песка, чтоб не разрушить воздвигнутый город,— или же командует сотней своих подражателей, которых он всех производит в канониры, ибо сам в свое время был канониром. Стоит ему пригрозить, что он сейчас уйдет,— мгновенно воцаряется тишина. Дети так и сияют от радости, а голубые глаза пана Странского светятся, как ласковое солнышко.

Оживление охватывает всю улицу, когда к вечеру пан Странский возвращается с работы и его синяя куртка с большой зеленой заплатой на спине медленно движется вверх по холму. «Я вижу синюю куртку!» — «А я бороду!» — «Это он, это пан Странский!» И дети бегут домой — просить разрешения поиграть на улице с паном Странским. В его согласии, настроении, охоте играть не возникает ни тени сомнения,— он ведь так любит детей! Пан Странский еле успевает пропустить в трактире кружку пива и закусить хлебом с сыром — уже тут как тут матери, которые просят его присмотреть за малышами. Он заверяет, что будет беречь их пуще глаза, допивает пиво, а дети уже облепили его со всех сторон, ведут на улицу, и тут ему приходится напрягать все внимание, чтоб не

задеть кого-либо из детворы, которая так и вертится у него под ногами.

От всего этого сильно страдают рукава его куртки, и пан Странский рассказывает, что возня с детворой стоит ему по меньшей мере по рукаву в год. Сколько я помню — он вечно ходит в этой синей куртке и, сколько помню — вечно с зеленой заплатой на спине. Подозреваю, что он уже несколько раз заказывал новую куртку, но всякий раз, привычного порядка ради,— пан Странский человек весьма упорядоченной жизни,— тоже с зеленой заплатой. Дети просят родителей тоже сшить им на лето такую синюю курточку с зеленой заплатой.

А для зимы есть у пана Странского самые красивые санки — зеленые, обтянутые белоснежной материей с красными помпончиками. Дело в том, что зимой пан Странский не может зарабатывать своим ремеслом,— он каменщик,— а потому, чтоб не обленииться, он устраивает каток и катает детей на санках. Тут, конечно, одной куртки недостаточно, и он надевает добротную, до пят, синюю шубу, отороченную черным барашком; на спине же,— у пана Странского на спине обязательно что-нибудь особенное,— красуется отлично вышитый большой желтый павлин, с которым ни один настоящий павлин не сравнится по красоте. Дети наши хорошо знают, что пан Странский с санками стоит у перевоза. По четвергам они прибегают к нему, и он даром возит их по льду реки — просто так, по его словам, только чтоб немного согреться. И безразлично ему, беден, оборван ребенок или хорошо одет,— всех он усаживает рядом. Потом дети дома рассказывают, как пан Странский даром катал их, и родители, когда им бывает нужно на тот берег, не ленятся сделать крюк, чтобы их перевез пан Странский, стараясь тем самым возместить пану Странскому его старания и труды.

* * *

Пан Странский — красивый, статный, рослый мужчина; сейчас ему лет сорок. Лицо его обросло густой бородой, из-под красивых бровей открыто глядят на мир темно-синие честные глаза. Прибавьте упомянутую уже куртку да длинный полотняный фартук, а на голове плоскую, сдвинутую к правому уху шапку — и вот перед вами пан Странский в летнем виде.

Нет более усердного работника, чем пан Странский, он уже долгие годы работает у одного и того же мастера. Летом он выходит из дому ранним утром; бывает, что городские ворота только еще открываются, и не раз приходилось ему поднимать хозяйку трактира от утреннего сна, чтобы получить завтрак. Трактирщица любит, когда почин делает пан Странский. Заплатив два крейцера и

наскоро хлебнув можжевеловой,— он утверждает, что без этого у него глаз не верен, да и на военной службе привык,— пан Странский спешит на работу. Он не транжирит деньги, он разумно экономит.

Живет он на Новом Свете. Квартира его, правда, на первом этаже и состоит всего лишь из прихожей и маленькой комнатки, но все в ней приятно глазу. Открыв дверь в прихожую, ты, право, остановишься в нерешительности, ибо пол блестит, как матовое стекло, и тебе страшно наследить. Но если уж ты вошел в комнату — советую как следует вытереть ноги, иначе пан Странский будет ходить за тобой с тряпкой, как за малым ребенком.

Я был у него дважды. Один раз он сам пригласил меня зайти посмотреть древнюю «Хронику» Гаека, которую — хотя, говорят, она того и не стоит — он не отдал бы и за тридцать гульденов золотом; второй раз я заглянул к нему по собственному почину, узнав, что он прихворнул. В комнате — у всего свое место, как в шкафу. Справа от двери висят старые часы с новым циферблатом, рядом и несколько ниже — оловянная кропильница. У единственного окна стоит стол, обтянутый зеленой вощанкой, а над ним, в окне — две клетки со щеглами. Пан Странский больше любит щеглов, чем канареек,— они не так кричат. Вокруг стола четыре стула. Дальше стоит комод, покрытый белой, вдвое сложенной скатертью, на нем — несколько стаканчиков белого и цветного стекла с золотыми полосками и чудесная бутылка — внутри нее вырезанная из дерева целая сцена распятия Христа, а сама бутылка заткнута пробкой, и все это так хитроумно сделано, что только диву даешься, как это сумели все туда поместить; еще стоит на комоде деревянный, инкрустированный соломкой крест. Раньше, говорят, под крестом были еще крошечные фигурки, умело вылепленные из какого-то теста и выкрашенные черной краской: но их сожрали тараканы. Недалеко от дома, где живет пан Странский, находится пекарня, и тамошние тараканы — сущий крест для пана Странского. Над комодом посредине висит небольшое зеркало в черной рамке, а вокруг него — несколько изображений святых в рамках из зеркальных осколков. Две желтые кровати с высоко взбитыми перинами, прикрытыми цветными покрывалами, да маленькая черная печурка завершают обстановку. Все это содержит в порядке сам пан Странский, и лишь о чистоте пола заботится его жена, которая так же под стать мужу, как яблоко яблоне. В ней ты найдешь точное отражение его привычек и понятий; она, правда, всего лишь ученица его, но понятливая ученица. Жена пана Странского — тоненькая, маленькая и такая же смуглая, как ее супруг. Она не так красива, как пан Странский, нет,— но все же довольно приятна. Это чистоплотная женщина, изящная, словно гипсовая ста-

туэтка. За харчи да за гульден в месяц она поденничает в домах мелких чиновников, которые не в состоянии держать постоянную прислугу. Харчей этих почти хватает и на нее и на мужа, деньги идут на оплату квартиры. С супругом она, как и полагается, ладит и очень его любит. За один лишь порок корит она его постоянно — за то, что он много курит и нюхает табак. Часто просит она, чтобы бросил он хоть одно. Однако пан Странский не может не курить, когда не занят делом,— нужно же хоть какое-то удовольствие! — а что до нюхательного табака, к которому он чаще всего прибегает во время работы, то без хорошей понюшки и подавно не обойтись: когда нюхаешь, утверждает пан Странский, смекалка работает лучше. Женщины же неразумны и часто сами не понимают, о чем просят. Впрочем, пан Странский тоже вполне доволен женой и любит ее — только раз как-то... Нет, об этом не станет и упоминать тот, кто не хочет огорчать его, и сам он тоже никогда об этом не рассказывает. Детей у них нет — был когда-то ребенок... Да что это мне все в голову приходит то, о чем не любит вспоминать пан Странский! Может быть, расскажу об этом в другой раз.

Пан Странский не с самого рождения был паном Странским. На это потребовались годы — как для шлифовки алмаза. Сначала и он был маленьким, совсем маленьким и глупым и называл свою мать «мамочкой», а отца... Нет, отца бедняжка не называл никак, отец погиб во время французских войн, когда сын был еще грудным младенцем. Мать его была маркитанткой и вышла замуж за солдата... Тогда что! Тогда девушкам нечего было бояться водить знакомство с солдатами — то были старые честные канониры, они никогда не бросали своих девчонок в беде. А теперь! Нынче он здесь — завтра там, нынче с одной — завтра с другой...

Мать с маленьким Странским перебралась в Прагу. У нее было немного денег, и она открыла небольшую торговлю: в Граде перед храмом продавала молитвы к святому Яну, образки, маленькие желтые распятия, четки, ключики для часов и пряничные часы на разноцветных бумажных лентах. Позднее она возвысилась до продажи свечей в храме, вследствие чего сын ее сделался служкой. За службу свою он получал ежегодно куртку с панталонами, шапку, две пары синих бумажных чулок да тридцать гульденов ассигнациями. Деньги все он отдавал матери, чтоб отложить на ученье. Десяти лет от роду поступил он в ученики к каменщику. Ученье он закончил через четыре года, да был еще слишком мал — никто не хотел брать его в подмастерья.

С дозволения матери мальчик сделался барабанщиком у канониров. Мать рассудила, что солдатчины ему все равно не миновать,

что хороший человек там не пропадет и что ее покойный муж тоже двадцать семь лет и три месяца протрубил в армии. И за все это время покойный ни разу не был наказан, начальство его любило, а коли захотел бы он бросить свое ремесло — он был перчаточником — да учился поприлежнее, то и до капрала бы дотянул и носил бы нашивки с таким же успехом, как и другие. В ту пору у артиллеристов были свои барабанщики, все маленькие, проворные мальчики, известные своим искусством. Маршируя по какой-нибудь узкой улице, они так выбивали дробь, что стекла звенели. Старушки затыкали уши и говорили, что у этих мальчишек в палочках черти сидят.

Постепенно мальчик превратился в мужчину и стал уже настоящим канониром. Когда он отслужил срок, знакомый его, полковой лекарь, помог ему выйти «вчистую». Пан Странский уволился из армии, стал заниматься своим ремеслом и вскоре женился.

Мать пана Странского живет отдельно, в монастырской богадельне. Он рад бы взять ее к себе, да она говорит, что не сойдется с этой модницей невесткой. Лучше, говорит, буду хлебать пустую приютскую похлебку, чем есть пироги у снохи. Раньше-то она жила у сына, но когда тот на масленицу женился и молодая купила к пончикам малинового соку, мать, собиравшаяся по своему вкусу подавать их со сливовым повидлом, разгневалась и отбыла, не слушая никаких уговоров.

А как пан Странский познакомился со своей невестой, он поведал мне сам, и тут я приведу его слова, поскольку он так славно умеет рассказывать.

— Вы, верно, и не знаете,— начал пан Странский, который «выкал» всем и только к полицейским обращался в третьем лице,— один из них забрал его как-то в участок за то, что пан Странский с детьми поднял у фонтана большой шум.— Вы, верно, и не знаете, что я вышел в отставку после четырнадцати лет солдатской службы?

— Знаю!

— Вот и хорошо. В ту пору был мир. Самый дальний наш поход был в Терезин. Прежний гарнизон слез с коек, мы на них взобрались, а через год и нас сменили, и вернулись мы в Прагу. Теперь-то в армии совсем не то! Командиры мои меня любили — в счете, письме да в строевой службе я был мастер! Зато вот словесность немецкая никак не лезла мне в голову, потому-то и остался я простым канониром. Ну и что же — каков есть, таков есть.

В последний год моей службы давала наша сотня бал в Графском саду. Ах, какие это были балы — наши, канонирские! Мы уже месяца за три начинали откладывать денежки, зато и получались

они шикарные, да с объявлениями! Как шли канониры вечером со своими подружками на бал, все высыпали на улицу — поглазеть на наши наряды и блеск. А каким был Графский зал в ту пору, когда еще этот саксонец не учил там студентов прыгать! Наш брат чувствовал себя там будто в райской оружейной! Повсюду железные рыцари, пики, алебарды, знамена... От музыки, от девчонок, от пива заплетались и мысли и язык, и не один канонир попадал тут в такой переплет, что и не расплетешь... Вот и я тоже.

Чтобы не вваливаться всем сразу, мы отправлялись на бал по двое. Я пошел со своим «шлофом» [1]. «Шлоф» — это тот, кто, к примеру, ваш сосед по койке. Мой «шлоф» служил уже третий срок. Была у него подружка, кухарка из одного барского дома, так что катался он как сыр в масле. Полковник уже дал ему разрешение жениться до окончания службы. Он-то, собственно, больше всех и уговаривал меня пойти на бал, обещал и для меня достать партнершу, сестру своей милой, а расходы, мол, будут невелики: обе принесут с собой еды вдоволь.

Зашли мы за ними. Подружка товарища была уже немолода, но пригожа; зато сестра ее — господи! В жизни не видал женщины уродливее! Низкорослая, сухощавая, почти безволосая и беззубая, переваливалась, как утка,— видать, и ноги-то у нее были кривые. На голову она нацепила несколько локтей манчестера, на ленты изрезанного, а по белому платью сверху донизу было пришито столько бумажных бантиков, что и не сочтешь, и каждый бантик — другого цвета. Позвали они с собой еще одну девушку — она-то и стала потом моей женой. Ну, вы сами ее знаете; только тогда она была моложе и сильно мне понравилась.

Взяли девицы свои узелки, и мы отправились. Товарищ вел под руку свою подружку и незнакомую девушку, а на моей руке повисла эта, в бантиках. У меня просто земля под ногами горела, люди громко смеялись над этими бантиками. А она вдобавок все по-немецки болтать норовила, хоть умела меньше моего. Нынче-то меня уж немецкой речью не удивишь...

Первый танец я протанцевал с ней из вежливости и еще потому, что она впилась в меня клещом. Я плохо танцевал, она и вовсе не умела,— над нами смеялись. Когда с этим делом было, к счастью, покончено, сели мы за стол выпить пива, и девушки тотчас вынули булки и ветчину.

На второй танец я пригласил их приятельницу, а обезьяна осталась за столом. Это не понравилось тем троим, а так как я больше не отходил от этой девушки и все время танцевал с ней, то они и вовсе разозлились. Хлеб и ветчина исчезли в узелках.

---

[1] От нем. «schlafen» — спать.

— Ты ведь не будешь с нами пить, дорого обойдется,— сказал мой «шлоф», и они заказали пиво отдельно.

Ладно, думаю, и пересаживаюсь с Марьянкой на другое место,— нам все это казалось смешным. «Шлоф» еще раз подошел ко мне после полуночи, отвел в сторонку и сказал, чтоб я не портил дела с его свояченицей и бросил бы всяких прочих, которых они так только, из милости, взяли с собой; у свояченицы есть денежки, даже будто пятьсот гульденов с лишним,— тогда все на ассигнации считалось,— и я ей нравлюсь, а при ее знакомствах с разными господами я мог бы найти свое счастье. Еще он сказал, что Марьянка — бедная девушка, и платье-то на ней напрокат взято, да есть загвоздка и похуже.

— Какая такая загвоздка? — спрашиваю и слышу в ответ, что у нее уже был полюбовник, жестянщик. За неделю до свадьбы жестянщик убился насмерть, а у Марьянки остался сынишка. Это несколько озадачило меня, но я сказал:

— Знаешь что, братец, денежки мне, конечно, по вкусу, а вот привесок к ним — не по мне. Марьянка вышла бы замуж, кабы не умер ее жестянщик, и конец сплетням. Оставь меня в покое.

И всю ночь мы с ним больше не разговаривали.

Утром я проводил Марьянку. В разговоре она сама призналась мне в своем грехе, и ее искренность так пришлась мне по душе, что обещал я ей не покидать ее и взять замуж вместе с ребенком. Марьянка расплакалась, а я убежал — стыдно было, что и сам вот-вот заплачу.

А завистники долго еще испытывали нас. Много чего налгали мне о ней, а про меня наговаривали, будто я злой человек; насмехались над ней,— вот, мол, какой барыней она сделается, ни воды, ни дров не придется носить: воды слезами наплачет, а поленьев я в нее нашвыряю. Однако дослужил я срок, и все разговоры кончились, когда мы с Марьянкой обвенчались.

...Перед глазами моими так и стоит свадьба пана Странского. Он был одет во все черное. Долгополый сюртук, черный жилет, черный галстук и широкие панталоны того же цвета служили достойным фоном праздничному выражению лица и горделивой осанке жениха. Он шел под руку с невестой, и привратница в церкви сама открыла им, чтобы они могли одновременно ступить на порог. Пан Странский держал большой букет, очень большой; руки его были обтянуты чисто выстиранными лосевыми перчатками. Как человек практический, он уже тогда терпеть не мог наши модные лайковые. Однако перчатки были ему великоваты — слишком длинны были пальцы,— и когда пан Странский при входе окропил невесту святой водой, она так и вздрогнула под этаким дождем. Стоя перед алтарем, он ни разу не оглянулся, не улыбнулся, молился

благоговейно и все слова по обряду произносил медленно и четко. После венчания полагалось дать на чай привратнице и звонарю, а нищим — милостыню. Бедняга растерялся, ибо, когда он давал сам, ему всегда казалось, что дает он мало; а передать тоже не хотелось. Поэтому он вытащил синий носовой платок, развернул, вынул из него кошелек с мелочью и вручил невесте, предоставляя платить ей. Сам же прошел вперед, чтобы подождать на улице. Но простите, я перебил пана Странского: ему уже немного осталось досказать.

— Я, как и полагается, доволен Марьянкой,— продолжал он.— Ребенок, к сожалению, умер, а у нас самих детей не было. И никогда она не давала мне повода пожаловаться.

Пан Странский кривит душой: такой повод она все-таки дала.

Как у каждого городского жителя низших сословий, у пани Странской были родственники в деревне.

Примерно на втором году спокойного супружества к ним приехал гость из деревни: дядя ее, тоже отставной военный, надеялся найти работу в Праге. Пан Странский принял его сердечно и пригласил, пока тот не пристроится, жить у них. Небогат был пан Странский, но охотно делился с другими.

Живет дядя у них неделю, две недели, три недели, пан Странский с ног сбился — а работы все нет как нет!

— Негоже сидеть без дела, дядюшка, этак вы совсем отвыкнете работать. Знаете что — делайте-ка игрушки. Праздник на носу, можно подработать. Сколько для этого денег потребуется, я вам одолжу, да вам много и не нужно. С работы я могу принести подходящих чурочек, и красной краски у меня еще целый горшочек остался. Отдам вам и этот старый сюртук, носить его уже нельзя, а тряпичнице отдать жалко; наделаете из него платья на полсотню игрушечных трубочистов. Да и жена подыщет вам кое-каких лоскутков. Стало быть, деньги понадобятся только на восковые головки.

И вот, под присмотром пана Странского, дядя взялся мастерить игрушки. Пан Странский носил их продавать, едва они принимали божеский вид.

Шло время, приближалось рождество. Пан Странский не работал больше у мастера и помогал дяде, чтобы самому не обленишься. Вместе они мастерили целые картины — святое семейство у ясель, и это приносило им кое-какой заработок.

Был канун сочельника. Пани Странская уже чисто-начисто вымыла комнату, всюду стерла пыль и только подправляла недоделки то тут, то там, готовясь достойно встретить великий праздник.

Но она была не в духе,— казалось, что-то гнетет ее. Прибирая, она часто останавливалась, оглядывалась на пана Странского и открывала рот, будто собиралась что-то сказать. Однако пан Странский не замечал или не хотел замечать этого: не отвлекаясь, наклеивал вырезанные из бумаги фигурки на колышки и втыкал их в мох на дне ящика с панорамкой — и пани Странская, оробев, закрывала рот. Наконец она собралась с духом, подошла к мужу и положила руку ему на плечо.

— Послушай, Странский!

— Слушаю.

— Как же насчет рыбы-то? Или ты не хочешь в этом году? Ты ведь так любишь жареную рыбу или кнедлики в рыбной подливке!

— Нет — в этом году не выйдет, милая Марьянка, заработки плохи, а фунт рыбы — почти полталера. Не все, что хочется, то и можется!

— Я просто к тому, что зачем же отступать от святого обычая, и потом — а что же мы будем есть?

— Сделаешь суп с мясом да добрые оладьи — и хватит с нас.

— А мне все же хотелось бы рыбки...

Пан Странский лукаво улыбнулся:

— Ни в коем случае! Лишний расход!

Но пани Странская уже заметила мелькнувшую улыбку и больше не настаивала. Вскоре она под каким-то предлогом вышла из дому и побежала за пряностями для рыбы.

Рано утром в сочельник пан Странский вышел из дому с «яслями Христовыми». Он сел с ними под аркадами площади и стал ждать. Ждал он недолго. Получив деньги, побежал за рыбой и выбрал парочку славных карпов с икрой и с молокой — для ухи. Увязав рыбу в платок, он поспешил домой, чтобы сделать сюрприз жене.

— Положу их ей тихонько в кадочку, то-то она испугается! — сказал он соседке, которая остановила его у входа, чтоб посмотреть рыбу.

В тот день произошли необычайные вещи.

Едва пан Странский вошел в свою квартиру, как там поднялся такой крик и плач, что сбежались все соседи, испуганные шумом и бранью, доносившимися из самой тихой квартиры. Немного погодя оттуда сломя голову выскочил деревенский дядюшка, без шапки и пальто, и во все лопатки помчался прочь. Внутри все стихло; через полчаса пани Странская, с узелком в руке, рыдая и всхлипывая, последовала за дядей.

Под вечер соседи привели пана Странского из трактира «Леопарды» — впервые до того пьяного, что он на ногах не стоял. Со-

седки шушукались, что давно уже все знали, только, слава богу, не в обычае у них доставлять людям неприятности. Целых два дня никто не видел пана Странского, на третий день утром он вышел и, понурив голову, не глядя ни на кого, отправился в церковь. После святой мессы он пошел к матери и вернулся с нею. Мать осталась жить у него.

Прошла зима, наступила весна, и пан Странский снова начал ходить на работу. Когда настало лето, а с ним и теплые дни, печаль его тоже начала таять. Вечерами он снова захаживал к «Леопардам», и с того-то времени и появилась у него привычка играть с соседскими детьми. Только с ними способен он был снова развеселиться,— никто не слышал, чтобы он когда-либо громко смеялся, кроме как над невинными детскими шутками.

Было воскресенье. По воскресеньям и праздникам пан Странский, правда, обычно ходил с матерью на прогулку, но сегодня старушка отправилась с крестным ходом на Петршин, а он — мимоходом — застрял у «Леопардов».

Казалось, кружка пива и трубка поддерживают его хорошее настроение. Посетителей было еще немного, и хозяйка подсела к нему, чтобы поболтать о том, о сем.

— Вы очень добрый человек, пан Странский!

— Это так, это так, пани трактирщица: сердце готов отдать.

— А вот есть для этого подходящий случай. Простите, пан Странский, что о неприятном для вас завариваю, но жене вашей плохо живется.

— А мне что за дело? Как постлала, так и лежи!

— Да. Все это правильно, только ей, бедняжке, даже есть нечего, голову негде приклонить!

— Как — она голодает? Нет, моя жена не должна голодать, хоть я с ней и не живу. Давайте ей, пани трактирщица, обедать каждый день, я буду платить. А матери ничего не говорите,— сами знаете... И голову негде приклонить... Впрочем, мне-то что, пускай о ней ее «дядюшка» заботится!

— Плохо он о ней заботился, негодяй, а теперь и вовсе перестал.

— Из Праги, что ли, сбежал дядюшка, когда она ему надоела?

— Да нет, пан Странский,— посадили его. Он, говорят, все игрушки мастерил, да только не получалось у него это так хорошо, как прежде, пока он жил у вас и вы всем распоряжались. Пропивал он все, и на материал не оставалось. Так что он придумал! Украл у соседа-портного новый фрак на платье для трубочистов. Дело раскрылось, за ним пришли, а он, как увидел полицейских, выскочил в окно, да и наутек. На деревянном мостике у Новой

улицы перегородили ему дорогу, так он через перила — в воду. Еле живого вытащили. Жена ваша нигде работы найти не может, голодная сидит, я ей уже несколько дней остатки от обедов отдаю. Прошу вас, пан Странский, смилуйтесь вы над ней и возьмите к себе!

— Чтоб она себе нового «дядю» завела?

— На это у нее уже всякая охота пропала, суровую школу прошла. Но вы ведь сжалитесь, коли я вас так прошу! Помогите ей в беде — знаю, вы страдаете больше, чем она...

— Но ведь... Эх, да мне какое дело! А что же она сама не попросит, неужели мне к ней идти?

— Да здесь я, здесь, дорогой муж!

Жена его с плачем выбежала из соседней комнаты и, не успел он опомниться, как она пала на колени, обняв его ноги:

— Уйди... прочь... а то ударю! — в страшном затруднении пробормотал пан Странский.

— Ты не обидишь меня, Странский. На коленях тебя прошу...

— Уходи лучше, а то крикну стражу, что ты меня задушить хочешь! — А пальцы старались расстегнуть воротник на горле.

— Богом прошу тебя, Странский, скажи, что прощаешь меня!

— Какое на тебе красивое платье, откуда ты это взяла? Видно, по дядюшкиному способу?

— Не обижайте ее. Это платье я ей дала, чтоб могла сесть с вами рядом и не срамить вас.

Дрожащей рукой налил пан Странский пива в кружку — и перелил через край.

— Встань... Садись и пей.

Слезы катились у него по лицу — он поднялся и вышел вон.

Еще днем, шагом, исполненным достоинства,— чтобы заткнуть рты соседям,— отвел пан Странский свою жену домой.

Мать его опять от них переехала.

ЖЕНИТЬБА ПАНА КОБЕРЦА

I

Все знают, как больно, когда что-нибудь попадает в глаз,— особенно если это такой внушительный предмет, как красивая молодая девушка. Глаза воспаляются, краснеют, слезятся. А потом, подобно крылышку мотылька, повинуясь закону земного притяжения, образ девушки погружается все глубже и глубже, в самое

животрепещущее сердце. И даже скромнейшая из скромниц учиняет в этой обители страшнейший кавардак, особенно если ей невдомек, что она там заперта.

По-видимому, у пана Коберца тоже неожиданно завелся этакий беспокойный жилец, ибо теперь он частенько прикладывал руку к сердцу — и вовсе не из простого желания проверить, там ли жилец или уже выехал.

Пану Коберцу, который, несмотря на свои сорок лет, был невиннее многих двадцатилетних, этот жилец поначалу причинял немало хлопот. Его обитель являлась святилищем, в которое не смела ступить грешная нога женщины,— и вдруг пан Коберец вынужден был вставать и ложиться с хорошенькой восемнадцатилетней девушкой в сердце, обедать и даже — да-да! — носить ее с собой в канцелярию!

Девушка, в которую влюбился пан Коберец, была премиленькая, но вовсе уж не такая необыкновенная раскрасавица. Она была первой женщиной, к которой пан Коберец присмотрелся поближе, и, присмотревшись, не мог надивиться, как господу богу удалось сотворить этакое совершенство.

У пана Коберца развилось поэтическое воображение: волосы ее представлялись ему дорогим шелком, глаза — черными алмазами в серебряной оправе, зубы — самой белой слоновой костью, язычок — шаловливым ребенком, носик — необыкновенно соблазнительным, грудь напоминала два белоснежных колокольца, а все прочее было очаровательно, как веселый французский водевиль. Впрочем, водевили эти за их фривольность пан Коберец недолюбливал.

А что же девушка? Впервые увидев пана Коберца, она не заметила в нем ничего особенного, во второй раз он тоже не произвел на нее никакого впечатления. Но когда они встретились в третий раз и один ее знакомый шепнул ей: «Барышня, негоже стольких людей делать несчастными, вот и пан Коберец в вас влюбился»,— она ответила: «Ничего, подожду поклонника получше!»

II

Есть на свете люди, которые без ума-разума родятся, растут, едят и пьют, даже влюбляются, женятся и умирают. Пан Коберец не принадлежал к числу таких людей. У него все было рассчитано наперед, о чем лучше всего свидетельствует пачка денежных бумаг, собранных им в те поры, когда он был практикантом, и пронумерованных по порядку на десяти листах.

Никого не удивит, если я скажу, что пан Коберец влюбился по самому здравому расчету. Раньше он был убежденным холостяком, теперь решил стать убежденным супругом, а может, и отцом, если на то богу будет угодно.

Как человек рассудительный, понимающий, что без любви не может быть супружеского счастья, пан Коберец положил себе влюбиться. Что же вдруг опрокинуло его холостяцкие убеждения? Исключительно предусмотрительность, расчет и предусмотрительность!

Как-то раз вернулся он домой с рынка, где покупал морковь для своего болтунишки-дрозда. Кстати, пан Коберец покупать морковь не любил, поскольку нести пучок в руках он считал неудобным, а если засунуть овощи в карман, они пачкают одежду.

Так вот, осторожно выкладывая морковь на маленький столик, пан Коберец вдруг услышал за дверью какой-то странный шорох, будто там кто-то орудовал стамеской. В один прыжок он очутился у двери, выбежал наружу, но успел только заметить, что на воре, который уже улепетывал во все лопатки, было зеленое пальто.

Пан Коберец переполошил весь дом и неожиданно почувствовал себя очень несчастным. И днем и ночью ему мерещились воры, которые задумали обобрать его до нитки, а то и лишить жизни. Свои денежные бумаги он отнес к женатому брату, к двери приделал огромный засов и замок, привратнице обещал с нового года увеличить плату, а вместо ежедневной обеденной прогулки по Першикопам, продолжавшейся с астрономической точностью час с четвертью, в течение двух недель патрулировал перед своим домом. Он пристально наблюдал за всеми, кто входил в дом, а за тем, кто почему-либо казался ему подозрительным, бежал следом, даже на чердак.

На второй день после злополучного происшествия он послал душераздирающее письмо своей старой матери, и ее добрая душа, исполненная опасений, откликнулась множеством добрых советов и предостережений. После ее письма пан Коберец никак не мог взять в толк, отчего это его приятели по столику в ресторане «У города Одессы» подсмеиваются над его страхами.

— Дорогой Ганес,— объяснил ему один из них,— страх всегда смешон.

Но пану Коберцу его страх не казался смешным, он даже пропустил мимо ушей то, что товарищ назвал его Ганесом, а не Яном.

Однако в конце концов постоянное патрулирование должно надоесть разумному человеку, надоело оно и пану Коберцу.

После долгого раздумья он пришел к мысли, что, если за до-

мом присматривают прислуга или жена, мужу не приходится так опасаться воров.

«Погоди,— сказал он себе,— ты всему этому положишь конец — женишься — и баста!»

И он решил влюбиться.

III

Целый месяц пан Коберец торчал у францисканского костела, присматриваясь к девицам, выходившим оттуда после «галантной» мессы. Встречая знакомых, он говорил, что ждет свою тетку, и никто не усомнился в нежных родственных чувствах пана Коберца, старого холостяка.

Пан Коберец сам немало удивлялся тому, что среди женщин, с которыми он был знаком и прежде, оказалось очень много привлекательных, а он до сих пор вовсе не замечал этого!

Но больше всех ему приглянулись две пражанки. Пан Коберец, разумеется, знал, что они не бедны, поскольку, будучи человеком рассудительным, он загодя навел о них справки. Бетушка была единственной дочерью, у Маринки был брат, зато родители ее были вдвое богаче Бетушкиных.

«Брат у нее еще мал, как бы не было с ним хлопот,— сказал себе пан Коберец,— нельзя забывать, что, беря жену, ты берешь вместе с нею и ее родных. Женюсь-ка я лучше на Бетушке, и мы счастливо заживем с нею, коли, разумеется, будет на то ее согласие».

Впрочем, в согласии Бетушки пан Коберец не сомневался. Ведь он все взвесил, прежде чем решил жениться именно на Бетушке,— как же Бетушка могла возражать против такого обдуманного решения?

В доме Бетушкиных родителей пан Коберец еще ни разу не был, да и ее-то встречал только у своего брата; теперь все дело заключалось в том, чтобы познакомиться с ней поближе.

Он слыхал, что Бетушка увлекается танцами и театром, и решил пойти к учителю танцев, чтобы тот обучил его изящной походке, поклонам и прочим пустякам, которым он раньше не придавал значения. Рождественский пост еще только начался, и до балов на масленице у пана Коберца оставалось много времени.

Учитель танцев включил его в одну из групп. С молодыми людьми, обучавшимися танцам, пан Коберец не разговаривал,— они были слишком молоды, да к тому же не представились ему с самого начала. Танцевал он только с теми девицами, которые большей частью сидели,— сам не зная почему, то ли из робости,

то ли по доброте сердечной. И тем не менее эти неблагодарные сетовали,— дескать, танцевать с ним — одно мученье: кружится он как-то по-старомодному, партнершу держит на почтительном расстоянии, так что ей приходится вертеться вокруг него, словно луне вокруг земли. Когда наступал черед дамам выбирать себе партнера, пан Коберец нисколько не удивлялся, что его не приглашали: в этом он видел проявление особого уважения к своей персоне.

Пан Коберец сам поражался, какую легкость обрело все его тело, походка стала упругой, глаза сверкали.

— Ну, вот мы и повеселились,— рассказывал он за обедом в ресторане «У города Одессы» своим друзьям.— Пятнадцать лет уж сюда хожу, а поглядите, как за год все переменилось!

— Уж не собираетесь ли вы, Ганес, покинуть нас, старых холостяков?

— Очень может быть... Как-никак, а домашняя пища совсем другое дело; что захочешь, то и подадут...

IV

Пан Коберец, когда хотел, был всеведущ. Никто не мог бы так ловко разузнать, куда ходит танцевать Бетушка! Распорядители танцев приняли нового члена весьма любезно, ибо солидность его была всем известна.

«Главное — осмотрительность! — сказал себе пан Коберец.— Просто ввалиться в зал — как бы беды не вышло». И он остался стоять у двери. За весь первый вечер он и ногой не шевельнул. Но все-таки был счастлив, счастлив как никогда. Он не спускал с Бетушки глаз, видел только ее, ее одну, и, если их взгляды встречались случайно, улыбался самым сердечным образом. Он забывал обо всем на свете, ему казалось, что он чувствует ее теплое, благоуханное дыхание, как будто сидит он у себя в комнате и бросает в печь благовония, за которыми обычно на Новый год посылал в аптеку и получал их там бесплатно, хотя все двенадцать месяцев не тратил на лекарства ни крейцера.

Наконец стояние у дверей — эти муки, это мучительно-сладостное самозабвенье — ему опротивело. Пан Коберец решился на великий шаг — и подсел к Бетушкиной матери.

— Вы не танцуете, господин Коберец? Ну разумеется, разумеется, в нашем возрасте уже не до танцев.

Пан Коберец слегка покраснел, но тут вдруг танец кончился, и Бетушка, сопровождаемая галантным кавалером, подошла к матери.

— Значит, вас всегда можно видеть в опере? — спросил тот, не выпуская Бетушкиной руки.

— О да, только разве когда болезнь помешает, да и то — стоит мне собраться в оперу, я тотчас выздоравливаю.

«Ну, пора!» — сказал себе пан Коберец и начал:

— А я никогда не бываю в опере!

— Вот как? Отчего же?

— Не знаю, как вам объяснить,— разоткровенничался пан Коберец,— по-моему, все они похожи одна на другую, никакой разницы.

— Вы, право, настоящий дикарь! — рассердилась Бетушка и слегка стукнула его веером.

«Ага, клюнуло! — подумал пан Коберец.— Оно и понятно: выгляжу я не так уж плохо, служба у меня хорошая, могу жениться,— она видит, что намерения у меня серьезные».

— Не права ли я, пан Коберец? — прервала его мысли Бетушкина матушка.

— Разумеется, сударыня, разумеется!

— Благодарю покорно! — отрезала Бетушка и потащила за собой своего партнера.

— А о чем, собственно, шла речь? Я ведь не слушал...

— Нет? Да я уж и забыла!

V

Во второй танцевальный вечер пан Коберец решил быть расторопней и еще в гардеробной пригласил Бетушку на одну «беседу» и одну кадриль. Он старался танцевать как можно лучше и уже в конце первого тура весь обливался потом.

«В перерыве между танцами нам надо обязательно поговорить!» — подумал пан Коберец. И тут же начал рассказывать Бетушке о своих родителях и братьях, тетках и прочей своей солидной родне,— пусть, мол, знает, в какую порядочную семью попадет. Бетушку все это, безусловно, весьма и весьма занимало, и пан Коберец сокрушался, что ей так часто приходится отвечать на расспросы партнера, стоявшего справа.

А чтоб она представила, что у него всего вдоволь, много сорочек, к примеру, во время кадрили он повел речь о том, когда и в каких местах он больше всего потеет,— это был естественный повод заговорить о запасах белья.

«Она довольна»,— решил пан Коберец, видя, как Бетушка улыбается, и сам был тоже доволен.

После кадрили противный партнер Бетушки снова был тут как тут, он не отставал от нее ни на шаг, что было совсем уж неприлично для благовоспитанного юноши.

— Барышня,— сказал он,— мне посчастливилось достать у танцмейстера описание «беседы» — вот оно!

— Ах, благодарю, вы так любезны! Вот обрадуются мои подруги! Я тоже не запомнила хорошенько порядка фигур.

«Пожалуй, это соперник... Хочет расположить ее к себе дешевой услугой. Погоди-ка, меня не проведешь!» — сказал про себя пан Коберец, а вслух добавил:

— У меня, как и у вас, барышня, память плохая, я всегда вступаю такта на три позже и не помню расположения фигур. Кадриль я записал, тут я могу быть вам полезен.— И он вытащил из кармана лист бумаги.

— Спасибо, господин Коберец, кадриль я танцую довольно хорошо!

— Это не помеха, передадите кому-нибудь, вам будут благодарны.

Бетушка засмеялась и заглянула в листок.

— Это по-французски, барышня, а не по-чешски! — заметил пан Коберец.

— Благодарю за указание, только в этом я и сама могу разобраться!

Стоявшие вокруг рассмеялись, и громче всех этот невоспитанный юноша.

«Может, я выкинул какую-нибудь глупость?» — подумал пан Коберец и обрушился на юношу:

— Не вижу ни малейшей причины для вашего смеха! Тут так жарко, барышня вспотела, а когда пот со лба заливает глаза, сразу можно и не разобрать...

— Я не потею так, как вы, господин Коберец! — съязвила Бетушка и сложила бумаги.

— О, пожалуйста, дайте их мне,— заспешил молодой танцор,— самой вам неудобно нести, смею просить позволенья доставить вам обе записи завтра утром домой. Заодно я перепишу ночью и текст «беседы», там кое-что неразборчиво...

«Ага, он хочет попасть к ней домой!» — мелькнуло в голове пана Коберца, и он усмехнулся в душе, вспомнив, что решил сегодня же уладить этот вопрос другим способом.

По дороге домой он смело подошел к Бетушкиной матери. Бетушка шла впереди с тем молодым ветреником, который со смешной предупредительностью выбирал для ее ножек места посуше.

— У меня к вам одна просьба, сударыня,— сказал пан Коберец, обращаясь к матери.

— Ко мне?

— Да, я достал фунт шоколаду,— говорят, очень хороший, мне хотелось бы попробовать его, да вы знаете, как у стар... я хочу сказать, холостой человек шоколада варить не умеет... и вот я...

— Вы хотите, чтоб я сварила ваш шоколад? С большим удовольствием, приносите.

— Если позволите, сударыня, я пришел бы завтра после обеда. Повеселимся, я не буду в обиде, если уйдет весь шоколад.

— Благодарствую!

— Да нет, пожалуйста, я не какой-нибудь крохобор! Ваши — булочки и немножко сливок, мой — шоколад.

— Ну что ж, хорошо!

— Шоколад как раз при мне. Не угодно ли взять его с собой...

— Пожалуйста!

— А теперь мне пора в ресторан ужинать. Мое почтенье, сударыня!

— До свиданья!

«С Бетушкой я не стану прощаться,— подумал пан Коберец.— Пусть почувствует, что мне неприятно, когда она ходит с этим молокососом! А мамаше, видать, я пришелся по душе. Как любезно она приняла и несет этот шоколад, а рукам-то, должно быть, холодно!..»

VI

На другой день пан Коберец рассказал о своих планах и надеждах друзьям в ресторане «У города Одессы», собирая с тарелок соседей по столу «обед для какого-нибудь несчастного». Свой обед он обыкновенно съедал весь до капельки, но другие, к его великому удовольствию, оставляли на тарелках кое-что, и благодаря этому он мог творить благодеяние.

— А этого бакалейщика Мартинека я просто не терплю, уж очень назойлив, нужно убрать его с дороги.

— Смотрите, Ганес, как бы он вас не обставил!

— Прошу вас, не говорите мне этого, не то я за себя не ручаюсь! Что он по сравнению со мной, сколько он классов кончил?

— Ганес думает, что для девушек важна сдача государственных экзаменов! Деньги есть, стало быть, может жениться.

— Да ведь он мальчишка! Ему и двадцати шести, пожалуй, нет. Впрочем, я сегодня же улажу дело, увидите, какой я предприимчивый человек! Я уже написал своей матери, она завтра при-

едет в Прагу, я поведу ее к невесте. Сегодня я прохаживался возле их дома и видел, как Мартинек подъехал туда в фиакре.

Ровно в четыре пан Коберец вошел в дом, где жила Бетушка. Ему пришлось подняться только во второй этаж, и хотя сам он жил гораздо выше, тут, добравшись до последней ступеньки, он насилу смог отдышаться. Однако он и мысли не допускал, что это от страха, и предпочел взвалить вину на слабое сердце.

У дверей пан Коберец еще раз осмотрел себя с головы до ног — все было в порядке, он остался доволен собой и наконец постучал.

Дома были только мать, сама Бетушка и служанка. Встретили его радушно.

Сели, поговорили о том, о сем, но гениальные или, по крайней мере, остроумные мысли как-то не шли в голову пану Коберцу. Ему казалось, что сегодня он не в ударе, что обычно он бывает «более приятным собеседником». Разговор поддерживали главным образом дамы, а пан Коберец чем дальше, тем больше терял присутствие духа. У него даже холодный пот на лбу выступил. Наконец он решил, что надо действовать напрямик.

— Сударыня, разрешите мне сказать вам несколько слов! — пробормотал он таким измученным голосом, что дамы даже вздрогнули.

— Пожалуйста, пан Коберец!

Пан Коберец встал, учтиво раскланялся, поцеловал руку матери, приложил правую ладонь к груди, выставил вперед правую ногу и начал дрожащим, проникновенным голосом:

— Дорогая матушка! Уважаемая барышня! — Левая нога его поползла вперед, правая назад.— Я мужчина, который не в силах умолчать о своих чувствах. Я не должен их также и утаивать потому, что я — человек вполне самостоятельный.— Правая нога поползла вперед, левая назад.— У меня восемьсот крон годового дохода, я обеспечен. Удивительное дело, можно долго жить без друзей. Но в конце концов начнешь их искать. Да почему бы и не искать, если ты самостоятельный. Одному нужно одно, другому — другое... И я тоже... Мир велик...

Ноги пана Коберца сменяли одна другую с такой быстротой, словно он танцевал «ржезанку», голова шла кругом, пот градом струился по лицу.

Дамы были поражены, выражение ужаса застыло на их лицах.

Пан Коберец с трудом пришел в себя и неверной походкой приблизился к столу. Там лежал принесенный им сверток. Трясущимися руками он развернул его и с неопределенной улыбкой подал содержимое Бетушке. Это была кофейная чашка с золотым

ободком и нарисованным посредине огромным сердцем, пронзенным стрелой.

— Это сердце скажет вам все!

Бетушка залилась румянцем.

— Ах, какой вы проказник, пан Коберец,— рассмеялась мать, всплеснув руками.— А сначала вы нас напугали, шалун вы этакий!

— Но как вы узнали? — смутилась Бетушка.

— Это можно угадать!

Пан Коберец рассмеялся от счастья, а сам между тем думал: «Бедняжка, как она волновалась, пока не была уверена,— у девиц уж так всегда!»

— Да кто же мог рассказать ему, сумасшедшая! Наверно, пан Мартинек сказал, или вы говорили с мужем?

— Мартинек? Ваш муж? — удивленно спросил пан Коберец, и на лице его вдруг отобразился ужас.

— Ну, не притворяйтесь! А я и не знала, что вы такой проницательный! Послушайте, приходите к нам в воскресенье, у нас помолвка. Муж и Мартинек будут рады!

— В воскресенье? — машинально переспросил пан Коберец.

— Да, да, Мартинек торопится, он должен уехать по своим торговым делам. На масленице сыграем свадьбу.

— А от вас я получаю первый подарок! — благодарила Бетушка.

Но пан Коберец ничего не слышал. Он стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и барабанил по нему пальцем самым неприличным образом.

Дамы были слишком взволнованы, чтобы заметить это и понять его состояние.

Несколько минут спустя он обернулся и сказал:

— У вас из окна... чудесный вид!

Несколько дней пан Коберец не появлялся в ресторане «У города Одессы».

А когда он пришел и его стали расспрашивать о сердечных делах, он раздраженно ответил:

— Оставьте меня в покое,— я больше с ней не разговариваю.

И купил у хозяйки обеденные талоны на полгода вперед.

О КОЛОКОЛАХ ЛОРЕТЫ

Несколько сот лет тому назад, бог весть как давно, жила на Новом Свете одна бедная вдова. Была она работящая и хозяйственная, да что толку, когда такая куча детей! Всем известно,

как на Лоретанской колокольне много колоколов; так вот у той вдовы было ровно столько же детей,— и называла она ребяток своих «лоретанскими колокольчиками». Но тогда колокола эти на башне еще не играли песен, а только отбивали раздельно время дня: которые побольше — целые часы, а которые поменьше — каждую четверть. Вдова говорила, что и дома у нее с колокольчиками дело обстоит точь-в-точь так же: которые побольше, еще пережидают, а которые поменьше — те каждую минутку чего-нибудь да просят. Единственным сокровищем бедной вдовы была нить серебряных монеток, которых тоже было ровно столько, сколько у нее ребят. Эту нить она от богатой крестной получила и для детей берегла: каждому по монетке, на память.

Нашла на Прагу моровая язва. Злей всего разгулялась она среди бедного люда, и с отчаянья пошли среди него толки, что, дескать, эту беду богатые при помощи яда устроили, чтобы всех бедных извести.

В конце концов пробралась моровая язва и в семью вдовы: старший у нее заболел. Мать от горя стала как не своя, она всех детей своих одинаково любила и думать даже не хотела о том, что вместе с ребенком у нее забот и хлопот убавится. Доктору она заплатить не могла, да и знала, что докторам теперь некогда, ни один не пойдет. Ребенок двух часов не протянул — отходить начал. Видит несчастная — не спасешь, достала нить с серебряными монетами, сняла самую крупную и отнесла ее в Лорету. Вскоре забил самый большой лоретанский колокол; скончался ребенок: это по нем звонили.

Тогда похоронные дроги целый день по Праге разъезжали: наберут мертвецов со всех домов и едут, доверху полные, на кладбище — хоронить в братской могиле. На другой день после смерти ребенка пошла бедная вдова за такими вот похоронными дрогами: хоть знать, в которой могиле покойник ее лежать будет!

А вернулась домой — видит, другой ребенок — маленькая девчурка, светловолосая — вся, как роза, алеет: тоже заболела. И двух часов не прошло — понесла мать вторую монетку в Лорету.

Так — день за днем; денежка за денежкой с нитки долой, а в Лорете каждый раз все меньший колокол звонит.

Мать с горя совсем помешалась: шагает, немая, за похоронными дрогами и с кладбища — тихо назад: за другим умирающим ухаживать. Немоту заставила ее нарушить только смерть последнего, самого младшего ребенка, младенчика совсем. Когда самый маленький лоретанский колокол зазвонил, мать подумала, что у нее сердце разорвется.

Проводила она последнего своего ребенка, а вернулась — почувствовала, что и ее тоже болезнь одолела. Легла на постель, на которой все ее сокровище погибло.

И лежала там эта горькая вдова, ниоткуда помощи не видя: воды подать — и то некому. Единственным утешением ее была мысль, что хоть детей недолго, мол, переживу.

В страшном жару горело все ее тело. Потом чувствует, небывалая слабость его охватывает, по всем членам разливается, и они один за другим словно отмирают.

— Ах, дорогие мои детки! — вздохнула она.— Я за вами ухаживала, а за мной никто не ухаживает. Я заказывала по вас в церкви звонить. Кто-то по мне закажет?

Не успела промолвить — зазвонили все лоретанские колокола, и удары их, все сильней и сильней, слились в такую прекрасную, трогательную песню, будто это ангелы пели.

— Душеньки бедных моих деток,— прошептала вдова, умирая.

С тех самых пор лоретанские колокола — поют.

ВЕНСКИЙ ДЯДЮШКА

I

Деревенские гости вовсе не доставляют своим пражским родным и знакомым такого удовольствия, как они думают. Провинциал — тот, конечно, с радостью встречает гостей, ведь у него хватит места, где их уложить, а о питании и говорить нечего. Гость ни на что особенное и не рассчитывает, а уж господь бог его не обидит и всегда пошлет лишку. В Праге совсем иное дело. Квартиры здесь снимают небольшие; хозяйке приходится спать на стульях, чтобы устроить на ночь гостя. Да и с продуктами дело плохо! За каждое яичко платят втридорога. Откуда же взять денег на угощение, если и так еле-еле сводишь концы с концами? К тому же у провинциалов свои странности. Они хорошо знают, что пражанин не может показаться на улице в сильно обтрепанном и поношенном платье, и поэтому вечно выпрашивают всякое старье,— в деревне, мол, оно вполне сойдет. Им и невдомек, что пражанин время от времени за приличную сумму сбывает поношенную одежду старьевщику-еврею, а если она уж очень обветшала, то за нее можно получить несколько крейцеров у тряпичницы. Зато деревенские гости стараются привезти что-нибудь

съестное, словно чувствуют, что должны сделать свой визит для пражан как можно более приятным. На худой конец напекут сдобных булок и столько изюма в них положат, что разрежешь, а там словно целый пчелиный рой. Пражская тетушка только плечами пожимает: дескать, тесто перекисло или пересолено и, наверно, дрожжи были плохо вымочены. Но уже от одного того, что можно поучать, как следует печь, она становится добрее к своим гостям.

И у пани Марьянки сегодня гости из деревни. Она старается быть приветливой, но это удается ей с трудом. К ней приехала сестра ее покойного супруга со своим мужем. Они явились как раз после обеда, когда пани Марьянка уже мыла посуду, и ей пришлось спешно сварить кофе, чтобы хоть чем-нибудь их угостить. На столе лежит нарезанная сдобная булка аппетитного желтоватого цвета,— видно, деревенская хозяйка не пожалела яиц и масла.

— Присаживайтесь к столу, зятек! Золовушка, угощайтесь! Молоко нынче купила неважное, зато кофеек заварила покрепче. Чем богаты, тем и рады! Принимайтесь за булку, коли принесли. Ешьте, ешьте!

— А где же наша Маринка? Нет дома? — спросила тетушка Кафкова, поправляя платок на голове.— Поди, уже совсем взрослая, а коли все такая же красивая, то и просватаете скоро.

Пани Марьянка была не лишена тщеславия и любила поговорить о своей дочери, в самом деле очень красивой.

— Да с чего ей меняться! Люди говорят, что она вся в меня. А со сватовством время терпит. Ходит тут за ней один слесарь, подмастерье, парень он неплохой, как будто порядочный и вроде работяга: но он не может жениться, пока не станет мастером. Ну, а дальше что? Скажите на милость? Мы-то знаем, как теперь живут мастеровые! Вам бы чуточку пораньше прийти, дочка забегала домой. Проглотила несколько ложек супа и опять в мастерскую. Бедняжке приходится надрываться, иначе ведь не прокормишься.

— Ну, недолго ей уже трудиться,— степенно заметил дядя Кафка, худощавый рябой мужчина высокого роста.

— Что вы имеете в виду, зятек?

— Думаю, что в скором времени вам, уважаемая невестка, моей жене и мне станет легче жить на свете. Разбогатеем, как и во сне не снилось.

— Уж не собираетесь ли вы играть в лотерею? Упаси бог, ни в коем случае на нее не рассчитывайте. Игра не доводит до добра! Я это на себе испытала! Послушайте только, милая, какой недавно я видела ясный сон,— ей-богу, все словно наяву. Будто

сижу я в лотерейной конторе, какой-то мальчик вытягивает билеты, один господин объявляет номера, а меня вроде поставили громко повторять их за ним. И я так четко во сне говорила, что тут же проснулась. Не поленившись, я встала и сразу записала эти номера на двери. Я была уверена, что они непременно выиграют, если их держать у себя до конца. Купила я пять билетов на двадцать крейцеров и на каждый номер поставила по десять крейцеров. Три розыгрыша держу их — хоть бы что! Перед четвертым Маринка сказала, чтобы я бросила это дело, а не то потеряю все свои сбережения. Я поддалась на ее уговоры, хотя какой-то голос мне все время твердил: «Марьянка, не продавай!» Но я все же продала. И в четвертом тираже выиграли все пять номеров, которые я выкрикивала во сне! Если бы человек...

— Я в лотерею играть не собираюсь, уважаемая пани Марьянка.

— Тогда что же?

— Муженек, расскажи обо всем невестке.

— Рассказать не трудно. Вы слышали о Влахе из Вены?

— Влах? Имя знакомое. Помнится, муж говорил о каких-то родственниках Влахах. Но о Влахе из Вены я ничего не знаю.

— Это наш близкий друг, он последний из той родни. Ваш муж, царство ему небесное, доводился Влаху двоюродным братом. Теперь вся родня поумирала, и ближе нас у него никого нет. Франтишек Влах еще мальчиком пришел в Вену учиться ремеслу кожевника. Потом стал подмастерьем и, как частенько случается, женился на вдове мастера. Получив за женой приличное состояние, он открыл большой кожевенный завод. Вдова была уже в годах и скоро умерла, а состояние все время росло. Влах больше так и не женился. Теперь он завод свой продал, решил отдохнуть и жить на капиталы. Ему уже скоро семьдесят стукнет, затосковал старик и надумал перед смертью еще разок повидать свои родные Засмуки. Прибыл он туда и остановился в «Новом трактире» — ведь о нас-то ему ничего не было известно. Но он сразу же стал разузнавать о родных. А трактирщик у нас новый, приехал из другого края и, кроме своих завсегдатаев-забулдыг, никого не знает, ну и, понятное дело, ничего не мог рассказать старику. Зато, когда староста привел его к нам, посмотрели бы вы, как обрадовался старый дядюшка, увидев родных. Беседуя с ним, и не подумаешь, что он так богат. Совсем простой, приветливый. Спрашивал о вас, сокрушался, что шурин уже умер, и жалел, что не сможет заехать в Прагу повидаться с вами. А когда прощался, подарил всем на память по дукату и вам один прислал.

Кафка вытащил платок, в который был завернут кошелек, достал из кошелька бумажку, развернул и вынул из нее блестящий австрийский дукат.

— Вот добрая душа! — воскликнула пани Марьянка.— Как приятно встретиться со своими родными, которые вас по-настоящему любят. Да пошли он мне на память какой-нибудь черепок, я все равно уважала бы его не меньше. Для меня цена подарка не имеет значения. А что стоит такой дукат, зятек?

— Мы продали свои по четыре гульдена и сорок крейцеров.

— Как? Вы их продали? Какая неблагодарность! Я бы ни за что не рассталась с этим дукатом!

— Ах, господи, да ведь дядюшка может нам еще больше дать и наверняка даст. Просил почаще ему писать, он, мол, нас никогда не забудет. Староста говорит, будто дядюшка дал нам понять, что от нас его сбережения не уйдут, из его речи, мол, выходит, что завещание уже составлено и весь свой капитал он оставляет самым близким родственникам, то есть моей жене и вам. Бедная Маринка сразу станет богатой и счастливой.

— Она, бедняжка, этого заслуживает.

— Я считаю, дорогая невестка, что вы могли бы написать венскому дядюшке, передать ему поклон от всех нас. Не мешало бы намекнуть, чтоб он дал нам кое-что и при жизни. Маринка ваша уже на выданье, ей нужно приданое. Мы тоже не молоды, дядя может нас пережить, тогда какой толк нам от его богатства? Попадет оно в чужие руки, а родные останутся с носом.

— Да, невестушка, я сразу сказала про вас мужу, правда, Франтишек? Она, мол, долго жила у господ и письмо напишет даже лучше нашего учителя.

— О, пани Марьянка — настоящий адвокат! А ведь мы тоже бездетны, и все, что после нас останется, опять-таки перейдет к вашей Маринке. Я люблю ее, как родную дочь!

Пани Марьянка совсем растаяла.

— По правде сказать, не так это просто, зятек,— письмо написать, но я постараюсь. Только, пожалуйста, Маринке ни слова! То-то она потом обрадуется.

— Да она только вечером придет, а мы торопимся. На Конном рынке ждут подводы, завтра мы собираемся на ярмарку в Яновице и уже наняли повозку вместе с дядей Вотршесом.

— Тогда хоть подождите, пока я письмо напишу. Я быстро, господа тоже всегда пишут коротко, зато в каждой строчке мысль, как говаривал покойный советник, у которого я служила.

Пани Марьянка принялась писать. А гости, выпив кофе с булкой и собравшись уходить, с нетерпением ждали. Однако письмо

было готово не так уж скоро. Правда, пани Марьянка, по ее словам, в писании набила руку, но ведь случай-то был особый, а если еще к тому же хочется в каждой строчке какую-нибудь мысль выразить... то ни в коем случае спешить не следует.

Наконец пани Марьянка начертала под своим посланием замысловатую закорючку, как делал покойный советник, у которого она служила.

— Вот и все. Думаю, что богатому дядюшке не придется стыдиться за своих бедных родственников. Студент и тот не написал бы лучше.

— Пожалуйста, невестушка, прочтите поскорее,— попросила тетушка Кафкова.— Муж как на иголках.

— Сию минутку, слушайте!

«Многоуважаемый дядюшка!

Мы очень обрадовались, узнав, что Вы еще живы, пребываете в полном здравии и что дела Ваши идут хорошо. А как бы обрадовался этой весточке мой покойный муж! Он, бывало, говаривал: «Господи, жив ли еще старый Влах?» Мы тоже помаленьку здоровы. Мы, то есть я и моя восемнадцатилетняя дочь Маринка, которая, по уверению дяди Кафки, как две капли воды похожа на Вас, уважаемый дядюшка! Пан Кафка и его жена тоже здоровы. Что же касается остального, то дела наши обстоят плохо, еле-еле на жизнь зарабатываем. Поэтому нам так отрадно было услышать, что Вы разбогатели. Я уже стара, дочь моя на выданье, и зять с золовкой тоже едва концы с концами сводят. Мы не сомневаемся, что наш уважаемый дядюшка без ущерба для себя поделится с нами своим богатством. Кое-что для приданого моей дочери и несколько грошей для нас, стариков, осчастливят нас навеки. Не пожелаете ли Вы переехать к нам в Прагу? Мы бы за Вами ухаживали, на руках бы Вас носили. Очень прошу Вас — приезжайте! Сообщаю Вам наш адрес, чтобы Вы знали, куда прислать письмо с квитанцией на денежный перевод. Целуем Вас тысячу раз. От имени всех остальных, остаюсь верной до гроба

Преданная Вам *Мария Ландова*».

— Ну, как вам нравится, зятек?

— Очень хорошо. Только, пожалуйста, отошлите письмо сегодня же.

— Одну минутку, конверт я сделаю сама, а вы дайте мне адрес.

— Адрес? Послушай, жена, дядя оставил тебе свой адрес?

— Нет.

— Ну и дела! — рассердилась пани Марьянка.— И о чем только вы, деревенские, думаете! Что же теперь делать?

— Не сердитесь, невестушка. Помнится, когда я провожала дядю, он сказал, что живет в доме номер двадцать. После этого я поставила на один билет двадцать крейцеров...

— Ну, слава богу! Теперь все в порядке. Как только получу ответ, напишу вам, а когда мы переедем, сразу сообщу новый адрес.

— Пойдем, жена, пойдем, а то наши уедут.

Родственники распрощались.

II

Едва деревенские гости ушли, пани Марьянка побежала в соседнюю лавочку попросить купца сделать ей конверт и написать адрес. Оттуда она направилась в другую лавку, купила девятикрейцеровую марку — и письмо пошло в Вену.

Пани Марьянка осталась дома одна. Нельзя сказать, что она была слишком легкомысленной: легкомыслия в ней было не больше, чем вообще отпущено на долю каждой женщины, а если женщины бывают более или менее тщеславны, то почему бы и пани Марьянке не быть тщеславной?

Богатство венского дядюшки вскружило ей голову. Сладостные мечты о близком счастье захватили ее целиком: она видела себя то в роскошных покоях, ухаживающей за богатым дядюшкой, то на прогулке в общественных местах — вот она едет в дорогой, хоть и небольшой карете и при этом развлекает старого дядю занимательными разговорами; представляла себе блестящее общество, в которое она вводит свою дочь, и ее называют уже не Маринкой, а каким-нибудь благородным именем. Пани Марьянка совершенно уверовала в это и нисколько не сомневалась, что венский дядюшка уделит им, по крайней мере, большую часть своего состояния. К чести пани Марьянки следует заметить, что все ее мечты и надежды неизменно сплетались с заботами о судьбе дочери: материнская любовь победила врожденное тщеславие, и никаких сомнений о будущем счастье у нее не возникало.

Погруженная в думы, пани Марьянка сидела за столом, левой рукой она подпирала голову, а правой машинально играла дукатом. И, даже поправляя случайно упавшую прядь волос, она лишь на мгновенье отвлекалась от своих мыслей,— вид дуката вновь возвращал ее к ним.

Вдруг пани Марьянка вскочила и, накинув на голову платок, закрыла дверь на ключ и снова отправилась в лавку.

— Вы опять к нам? Чем могу служить? — обратился к ней самый старший и самый пригожий приказчик, молодой человек лет двадцати трех, причесанный по моде и, несмотря на работу в лавке, опрятно одетый.

— Покажите мне сахар лучшего сорта.

— В какую цену прикажете? Есть хороший за один гульден.

— Покажите!

Приказчик проворно достал сахар ценою в гульден и обратил внимание пани на его превосходное качество. Пани Марьянка взглянула и высокомерно потребовала:

— Покажите что-нибудь получше!

— Пани учительша обычно берет этот сорт. Он только на четыре гроша дороже, а выглядит вдвое лучше.

— А подороже у вас нет?

— Есть по полтора гульдена,— усмехнулся приказчик.

— Тогда наколите мне три фунта. Взяла бы целую голову, да мы скоро переезжаем, не стоит зря таскать, запасы сделаю позднее.

— Как? Вы надумали переезжать? — удивился приказчик.— Уж не собираетесь ли вы со своей милой дочерью в деревню?

— Нет, нет, мы ждем богатого дядюшку из Вены, он хочет жить с нами, а квартирка наша маловата. Так лучше подыскать заранее.

Пани Марьянка давно заметила, что ее дочь нравится приказчику, и на всякий случай все про него разузнала. Он был сыном зажиточного торговца из провинциального городка и наверняка уделял бы Маринке больше внимания, не будь она так бедна. Пани Марьянка сразу смекнула, что если дядюшка даст в приданое всего несколько тысяч, то нет смысла пренебрегать таким женихом. А он тем временем колол и вешал сахар, бросая на пани Марьянку недоверчивые взгляды. Но та, казалось, этого не замечала.

— Видно, это тот самый дядя, которому я надписывал адрес на конверте? — поинтересовался приказчик.

— Да.

Пани Марьянка попросила взвесить ей также несколько фунтов кофе, потом вынула дукат и сказала:

— Разменяйте мне дукат. Дядюшка послал дукаты, чтобы Маринка могла купить себе красивое платье, их целая горсть, и мне интересно, сколько стоит эта мелочь.

При этом она небрежно бросила дукат на прилавок, и он скатился на пол. Приказчик быстро нагнулся и, держа дукат в руке, полностью уверовал в богатство Маринки. Теперь он мог

посвататься к девушке, уже не опасаясь, что ее бедность вызовет возражения со стороны родителей.

— Я очень рад за Маринку. Такая красивая и хорошая девушка вполне этого заслуживает. Вы знаете, мне Маринка всегда нравилась, и если сударыня разрешит...

— Пожалуйста, навестите нас как-нибудь. Но принуждать Маринку я ни к чему не буду.

Провожаемая поклонами приказчика, пани Марьянка покинула лавку.

«Пусть зайдет,— рассуждала она, вернувшись домой.— Если дядя переедет сюда и оставит нам все свое состояние, то Маринка сама скажет купчику, что не хочет идти за него; а если дядя даст небольшое приданое, он будет хорошей партией. А с этим голодранцем-слесарем Маринка должна сегодня же все порвать! Я ее уговорю! Не дело заходить так далеко! Теперь надо скорее купить ей на платье. Только где взять денег? Что же я, глупая, не послала дяде телеграмму? Завтра получила бы перевод! Ну, не беда, пока заложу, что можно».

Пани Марьянка принялась поспешно пересматривать свои вещи. Первое, что она взяла в руки и отложила для ломбарда, были большие серебряные часы покойного мужа. Предложи ей кто-нибудь раньше расстаться с ними хоть ненадолго, он получил бы резкую отповедь, а теперь она не колебалась ни минуты. Но, кроме часов, несмотря на все старания, пани Марьянка ничего подходящего для залога не находила.

После смерти мужа пани Марьянка успела распродать все ценные вещи и теперь, хорошо понимая, что за часы дадут немного, не знала, что предпринять. Вдруг ее взгляд остановился на большом узле, лежавшем на стуле возле постели.

«А что, если заложить полотно пани учительши? Нет, пожалуй, это нечестно. А что тут нечестного? Она знает, что рубашки я сошью не скоро. Заложу полотно завтра, а не позднее, чем послезавтра, придет письмо с деньгами, я все выкуплю и сразу же верну ей полотно. Зачем мне теперь шить на чужих людей!

Не следует слишком осуждать пани Марьянку. Заманчивые картины будущего благополучия так захватили ее, что она не в состоянии была рассуждать здраво, и ни капельки не сомневалась, что послезавтра сможет выкупить все вещи, даже будь их во сто раз больше. Пани Марьянка завязала полотно в чистую скатерть, нашла коробочку для серебряных часов, написала на бумажке свое настоящее имя, хотя знала, что в ломбарде принимают вещи от людей, которые, стесняясь своей бедности, приходят туда под чужим именем. Словом, она все приготовила для завтрашнего утра. Потом опять уселась и погрузилась в радужные мечты.

Так она просидела около часа. Правда, у нее уже было кое-что раскроено для заказчиков, но зачем богачу заниматься мелочами и отбивать хлеб у бедняков? Все, что раскроено, придется отдать назад, пусть дошивают другие.

Между тем уже стемнело. В это время дочь обычно возвращалась из мастерской. И действительно, скоро в коридоре послышались шаги и голоса, один — Маринкин и другой — пани Марьянка нахмурилась, узнав голос слесаря. Весь разговор был ясно слышен.

— Ты зайдешь к нам, Антонин?

— Сегодня не могу, дорогая Маринка, у меня много дел, да и мать твоя сразу поймет, что я взволнован.

— Ну что ты в самом деле! Тебе-то что до этого приказчика?

— Никто не смеет на тебя так смотреть, да еще с презрением насмехаться надо мной.

— Прошу тебя, Антонин, не огорчай меня!

— Я уже успокоился, Маринка, знаю, ты здесь ни при чем, и в доказательство, что не собираюсь затевать ссоры, я пойду по другой улице.

— А завтра зайдешь за мной?

— Да.

Маринка вошла в комнату. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, можно было разглядеть ее черные волосы, белую кожу и ясные глаза,— словом, против вкуса слесаря и приказчика ничего нельзя было возразить.

— С тобой был слесарь?

— Да, Антонин, вы могли узнать его по голосу.

— Узнала и поэтому прошу прекратить с ним всякие разговоры!

— С Антонином? Что вам пришло в голову, маменька?

— Не смей возражать! Все равно будет по-моему. Молчи!

Маринка замолчала и, надо сказать, не долго раздумывала над словами матери, считая их очередной причудой. А у пани Марьянки причуд было немало!

Они молча поужинали и легли спать.

III

Утром Маринка удивилась, что это мать так торопит ее идти в мастерскую. Обычно девушка уходила на работу около восьми, а сегодня, едва пробило семь, мать уже начала подгонять ее. Дескать, неплохо иной раз в мастерскую прийти пораньше. Хозяйке

это понравится, она станет к тебе добрее. Глядишь, в субботу добавит к получке несколько грошей, а если нет, то... мы не обеднеем.

Маринка не привыкла возражать матери и вышла из дома. Она только огорчилась, что сегодня слесарь напрасно будет ждать ее в условленное время.

Едва дочь скрылась за углом, пани Марьянка начала одеваться.

— Сегодня оденусь похуже,— сказала она себе,— в ломбарде лучше не отличаться от других баб. Теперь уж не долго носить эти тряпки! А послать кого-нибудь туда вместо себя тоже не годится. Купчик узнает, что я закладываю вещи, да и пани учительша может проведать насчет своего полотна.

Пани Марьянка быстро оделась, взяла приготовленный узел и поспешила в ломбард.

Не будем следовать за ней по этому неприятному пути и описывать, как она проталкивалась вперед, как при оценке вещей мигом подсчитала, сколько получит гульденов и что сегодня купит, не будем изображать презрительную улыбку, промелькнувшую на ее губах, когда, получая деньги, она подумала, что, видимо, уже завтра у нее в руках будет другая сумма.

Трудно выбирать товар в городских лавках тому, у кого никогда не было средств на покупку дорогих вещей, и вдруг — случайно, волею судеб,— можно пойти и взять все, что душе угодно. Но пани Марьянка была стреляный воробей, и ее нимало не смутило множество дорогой и красивой материи, выложенной на прилавках магазина, где она покупала дочери на новое платье. Она с удовольствием скупила бы все, что ей предложили, но сейчас денег было мало и приходилось ждать, пока дядя пришлет свои гульдены. А когда она выбрала товар и заплатила, смазливый продавец стал уверять ее, что барышня, для которой она купила на платье, без сомнения, останется весьма довольна; пани Марьянка была польщена.

— Это я купила для дочери,— пояснила она гордо.

Приказчик вместо ответа окинул взглядом ее поношенное платье, многозначительно усмехнулся и спросил:

— Где вы живете, сударыня?

— А вам какое дело! — огрызнулась пани Марьянка и, рассердившись, быстро покинула магазин.

Но ее злость сразу улетучилась, когда, придя домой, она показала соседкам купленную материю и услышала единодушные похвалы. Она так обрадовалась, что тут же решила позвать их на послеобеденный кофе.

— Может быть, к нам зайдет один милый гость,— обронила она, имея в виду знакомого приказчика.

Соседки обещали прийти. Когда они ушли, пани Марьянка побежала в лавку купить ванилина для кофе и пригласила приказчика. Он тоже обещал быть.

Придя домой обедать, Маринка поразилась красоте материи. У нее никогда не было такого платья. Нельзя сказать, чтобы она очень обрадовалась этой покупке. Маринка была рассудительна и не понимала, к чему ей такой роскошный наряд, если обычно она одевается очень скромно. Кроме того, ей было неясно, откуда у матери взялись деньги. На все ее вопросы мать отвечала загадочно. Но еще больше удивилась девушка, когда пани Марьянка заявила, что после обеда ей незачем идти в мастерскую, она, мол, уже пригласила гостей на кофе. Утром чуть свет погнала ее на работу, а после обеда не пускает из дому! Все это было очень странно, а необычная ласковость матери даже насторожила Маринку.

— Сегодня к нам придет тот черноволосый приказчик, будь с ним поприветливей, он мне признался, что неравнодушен к тебе,— сказала мать после обеда.

— Но, маменька...

— Я же еще не говорю о вашей свадьбе! Кто знает, может быть, вскоре он не посмеет и думать о тебе, а пока что...

— Ей-богу, я вас не понимаю, маменька, разве вы забыли об Антонине?

— Не забыла, но забуду! — вспылила мать.— Разве я не приказала тебе вчера выкинуть его из головы? Не хватало еще, чтобы этот голодранец ко мне в зятья затесался!

— Он все же побогаче нас!

— Замолчи!

Вскоре начали приходить гости, а когда появился приказчик и общество было в сборе, пани Марьянка усадила всех за стол, покрытый чистой скатертью, где уже лежали рогалики и нарезанная сдобная булка. Приказчику она указала место возле Маринки.

Вначале разговор как-то не клеился. Приказчик напрасно старался добиться признака благосклонности от Маринки, которая только из вежливости коротко ему отвечала. Соседки, услыхав от приказчика о богатом дяде, хотели было тут же поздравить пани Марьянку, но она знаком попросила их не проговориться дочери.

— Пусть это будет для нее сюрпризом,— шепнула она.

Соседки разговорились, беседа оживилась, и только приказчик, несмотря на всю свою опытность в таких делах, не добился никакого успеха.

Микулаш Алеш. Водяной.
Рисунок пером. 1889.

Примерно через час дверь приоткрылась, и в комнату вошла чья-то служанка.

— Скажите, пожалуйста, кто здесь пани Марьянка?

— Я! Чем могу служить?

— Пани учительша кланяется и просит передать, чтобы рубашки были готовы к воскресенью. Полотно ведь она уже давно вам послала.

— Пани учительша? Да, да,— несколько растерянно проговорила пани Марьянка.— Поклонитесь от меня учительше и скажите, что полотно я передала знакомой швее. Сама я больше на людей шить не буду.

— Но, маменька...

— Молчи, Маринка! До свиданья, милая!

Девушка ушла, веселье возобновилось, но в скором времени посыльная пани учительши вернулась.

— Простите, сударыня! Пани учительша очень сердится и велела сказать, чтобы полотно, раскроенное или целое, вы ей прислали сегодня же. Я за ним приду.

— Видали вы эту чиновничью спесь! — возмутилась пани Марьянка.— Я-то знаю цену этим господам! Передай своей хозяйке, моя милая, что я отнесла полотно в Старое Место и сегодня ради нее на другой конец города не побегу. Пусть подождет до завтра.

— Вряд ли она будет довольна. Впрочем, пусть сама с вами договаривается, я передам все, что вы сказали. Барышня,— обратилась она к Маринке,— вас ждут на улице, хотят с вами поговорить.

Маринка встала и вышла вместе с девушкой.

В конце коридора стоял Антонин, явно взволнованный. Маринка, увидев милого, тут же подбежала к нему.

— Как я рада, Антонин, что ты пришел, а то бы мы не увиделись сегодня.

— Не по моей вине... Скажи, Маринка, что делает у вас этот приказчик?

— Поверь мне, Антонин, я ему совсем не рада. Его позвала мать. А я ни вчера, ни сегодня вообще не могу понять, что с ней творится.

— Видно, она собирается навязать его тебе? Видишь ли, Маринка, я не говорю, что наложил бы на себя руки, если бы лишился тебя, сохрани бог, я не так легкомыслен; но без тебя мне счастья не видать!

— Антонин, поговори по-хорошему с матерью, бог знает, что взбрело ей в голову. Она к тебе всегда хорошо относилась, а ее причуды быстро пройдут!

— Маринка, с кем ты там разговариваешь? — донесся из комнаты голос матери.

— Завтра до обеда зайду к вам,— шепнул Антонин и торопливо вышел.

Если до прихода Антонина Маринка не много разговаривала с приказчиком, то теперь и того меньше. Огорченный, он, несмотря на уговоры пани Марьянки, ушел раньше всех, сославшись на неотложные дела.

IV

Наступившая ночь не была так спокойна, как предыдущая. Пани Марьянка, которой во сне представлялись картины будущей беззаботной жизни, не раз просыпалась, Маринка все думала об Антонине, а если ей на ум случайно приходил приказчик, то она тут же вновь вспоминала своего милого.

Наступило утро, и с первым лучом солнца обе были уже на ногах. Маринка все обдумывала, как бы ей предупредить мать о предстоящем приходе Антонина, а мать с нетерпением ожидала ответа от дядюшки из Вены, не сомневаясь, что обрадованный старик не заставит себя долго ждать. Но ей не хотелось, чтобы дочь присутствовала при получении письма; она решила рассказать ей обо всем позднее.

Было уже около восьми часов. Маринка, зная, что и сегодня она не пойдет в мастерскую, откладывала свой разговор с матерью. Она все еще не решила, с чего ей начать, когда мать сказала:

— Маринка!

— Что, маменька?

— Уж если ты сегодня свободна, то сходила бы к заутрене. Мы ведь целый год по будням в церкви не бываем. А на обратном пути подымись к нашей бывшей соседке, поговори с ней. Старушка будет рада.

Хотя Маринка еще не успела сказать матери о своем деле, в душе обрадовалась, что нашелся повод уйти. Будучи уверена, что Антонин сам все уладит, она быстро оделась и вышла.

Пани Марьянка с облегчением вздохнула. Около десяти часов приходит почтальон, и она сможет без свидетелей порадоваться деньгам и придумать, как сообщить Маринке о неожиданном счастье. Время тянулось бесконечно медленно. Каждый раз, заслышав шаги в коридоре, пани Марьянка испытывала адские муки, каждый раз ее ждало разочарование. Но вот наконец-то! Нет, это соседка, еле двигая ногами, прошлепала в домашних туф-

лях по коридору. Сиди тут и прислушивайся! Уже пробило девять, а никого нет! Ох, эта мучительная неопределенность! Хоть бы Маринка была дома! Наконец послышались быстрые мужские шаги. Поспешный стук в дверь, и вошел почтальон.

— Пани Мария Ландова!

— Это я,— ответила пани Марьянка, и душа у нее ушла в пятки.

Почтальон бросил письмо на стол и вышел.

Пани Марьянка не сразу решилась взять конверт в руки. Она вся дрожала, ноги у нее подкашивались. Наконец, собравшись с духом, трясущейся рукой она взяла со стола письмо. Осмотрела конверт; сумма, высланная дядей, нигде не указана. «Видно, ему не хотелось, чтобы все узнали, сколько я получу»,— подумала пани Марьянка и осторожно сломала печать. В конверте, кроме небольшого, выпавшего на пол письма, ничего не было. Пани Марьянка почти без чувств опустилась на стул. Спустя некоторое время она обрела силы, подняла листок и прочитала по слогам:

«Уважаемая невестка!

Вы и дядя с тетей Кафкой совсем спятили. С вашей стороны просто глупо рассчитывать, что я суну свои деньги в ваши родственные глотки; это даже обидно для меня. Я намереваюсь распорядиться ими иначе. Весьма удивлен, что Ваша Маринка похожа на меня, вероятно, это просто игра природы. Поскольку мне в Вене очень хорошо живется, переезжать в Прагу я не собираюсь. Впрочем, шлю вам всем сердечные приветы.

Ваш и т. д.»

Пани Марьянка была сражена. Растерявшись, она никак не могла собраться с мыслями. А когда бедняжка с трудом пришла в себя, то решила, что во всем виноваты деревенские родственники. Развеялись ее золотые сны, теперь она станет посмешищем для соседей. Заложила чужое полотно! Эта мысль сразу привела ее в чувство. Как помочь беде? Учительша наверняка с утра пришлет за полотном, нужно что-то срочно продать, а что? Что может заложить бедняк? Разве эту жалкую перину?

В таком растерянном состоянии застала свою мать Маринка. Она сразу увидела, что маменька чем-то взволнована. Девушка испугалась; может быть, к ним заходил Антонин и теперь все кончено? Она едва решилась обратиться к матери с вопросом. У той, несмотря на ее легкомыслие, хватило ума сообразить, что она не может скрыть положение дела от дочери. Пани Марьянка постаралась обелить себя перед Маринкой и свалить всю вину на деревенских родственников. Девушка утешала мать: мол, господь их

и раньше в бедности не оставил и сейчас на него уповать надо. На богатство дяди они ведь и не рассчитывали, а к тому же, кто знает,— может, оно и не пошло бы им впрок.

В это время вошла служанка пани учительши и сказала, что хозяйка просит вернуть полотно. Пани Марьянка не знала, что и говорить. Наконец она попросила передать покорную просьбу подождать до завтра. Служанка ушла.

Помощи больше ждать было неоткуда, и пришлось пани Марьянке рассказать дочери и о полотне. Маринка своим ушам не верила и, понимая, что помочь она ничем не может, заплакала. Мать тоже не могла сдержать слез. Обе сидели и тихо плакали и даже не слышали, как кто-то сильно постучал в дверь.

После повторного стука дверь отворилась, и вошел рослый молодой человек. Это был Антонин. Он обвел комнату ясным, открытым взглядом и, увидев плачущих женщин, испугался.

— Я, видно, пришел некстати?

Маринка покачала головой, а мать, ничего не сказав, вышла из комнаты. Очень скоро Антонин узнал все от Маринки, которая почти успокоилась, обрадованная его приходом.

— Беде легко помочь! Возьми у матери закладную квитанцию, и я сразу пошлю кого-нибудь выкупить полотно. Потом поговорю с ней, скажу, что уже к рождеству стану мастером, и, если она согласна отдать тебя за меня, быстро сыграем свадьбу.

В это время вошла пани Марьянка в сопровождении служанки. Служанка сказала, что пани учительше это дело кажется подозрительным, и если до обеда она не получит полотно, то пойдет жаловаться.

— Пусть ваша хозяйка в полдень пришлет за полотном,— ответил ей Антонин.

Наше повествование окончено. Добавим только, что пани Марьянка в скором времени переселилась к своей замужней дочери. И хотя квартиру она переменила, но дядю Кафку об этом в известность не поставила.

ТЕНЬ

Жара, нестерпимо жаркий бухарестский полдень. Город отобедал, и теперь солнце предписало ему почти трехчасовой отдых. Тихо, словно в пустыне; не слышно даже экипажей, грохот которых в Бухаресте не умолкает и ночью. В этой полуденной тишине есть нечто зачарованное, будто все сковано серебристым сном, и оковы эти — не сбросить.

Я сижу у открытого окна, недоступного солнечным лучам. Мне пришлось раздеться почти донага, но даже необходимая одежда тяготит. От дыма у меня горько во рту, но я не бросаю сигары. Мною овладела лень, ни о чем не думается, чувств — никаких, мне не весело, но и не скучно.

В гостинице — ни души. Только гид, по неопытности нанятый мной на столь неподходящие для прогулок часы, дремлет в тенистом углу комнаты, развалясь в плетеном кресле. Он поставил свой цилиндр на пол: «Dumneavoastră [1], ведь у вас и пол блестит, как стол!» Время от времени я смотрю, как шевелятся его седые брови, как открывается рот и отвисает нижняя челюсть и как, наконец, наполовину очнувшись при резком наклоне головы, он машинально протягивает правую руку, силясь достать свой цилиндр. Или устремляю взгляд на улицу, на недвижное небо, на крыши домов, тени которых здесь слишком длинны для южного полдня.

Безмерно высокое небо — словно огромный купол; воздух так прозрачен, что и при слабом зрении видно далеко-далеко! Древние бухарестские купола,— здесь почти над каждым домом высится купол,— похожи на фонари и покрыты жестью, выкрашенной ярко-красной или белой краской. Красный цвет при полуденном солнце точно колет глаза, а на блеск белого просто невозможно смотреть. Мой взор останавливается на соседней крыше и ближнем дворике или дворе — из своей, заслоняющей горизонт кельи я вижу только часть пространства.

Вдруг, громко хлопая крыльями, на низенькую крышу противоположного дома опускается ворона. Она быстро скачет и скрывается за трубой. Три крыши, каждая чуть повыше соседней, сходятся в этом месте, образуя множество закутков и уступов. Ворона исчезла, и вдруг снова — взмах крыльев — хлоп! хлоп! — и еще одна ворона опустилась на крышу. С любопытством вертит головой, вытягивает шею. Первая ворона, нечаянно выглянув из-за угла трубы и увидев пришельца, поспешает обратно, но вторая уже приметила ее и запрыгала следом. Однако первая, вынырнув с другой стороны, с забавной поспешностью соскакивает вниз, кружит неподалеку, взлетает повыше и снова исчезает из виду. Эту игру птицы повторяют несколько раз. Преследовательнице, игра, по-видимому, надоела; внезапно взмыв вверх, она стремительно опускается подле подружки, которая, убедившись, что ее обнаружили, соблюдает правила игры. Птицы прижимаются друг к другу в тенистом уголке, уткнувшись носиком в носик и прикрыв глаза от удовольствия.

---

[1] Вежливое обращение *(румын.)*.

На соседнем дворе что-то стукнуло и протяжно заскрипело, словно отворяют ворота. Самих ворот я не вижу, но мне удается разглядеть, как мелькает по двору тень их створок. На дворе опять что-то грохочет, и я отчетливо различаю тень дышла, тень мужчины, тянущего оглобли, и, наконец, тень кареты,— все невероятно уменьшено и как будто обрезано снизу. Мужчина — вернее, его тень — то исчезает, то вновь появляется. Судя по гибкости движений, это молодой, сильный усач высокого роста, с засученными рукавами. Он что-то чистит щеткой и тряпкой. Занятно наблюдать за работающей тенью человека, когда его самого ты не видишь. Раз десять я повторяю про себя французскую шутку:

A l'ombre d'un rocher —
je vis l'ombre d'un cocher —
qui, avec l'ombre d'une brosse —
frottait l'ombre d'une carosse [1].

Вот он принялся начищать задние колеса, но что-то остановило его, тень головы повернулась. Он уже не один — рядом возникла тень молодой и весьма элегантной женщины. У нее — длинное платье, пышные локоны, на маленькой, надвинутой на лоб, шляпке — два пера. Женская тень неожиданно становится выше, кладет руки на плечи мужчины; большие мужские руки обнимают женщину за талию. Уста их сливаются; мне даже кажется, будто и звук поцелуя обретает тень. Роскошный силуэт.

Но мгновенье — и тень женщины ускользает, вслед за ней исчезает и тень мужчины.

Неужто эта дама с перьями — могла быть возлюбленной кучера?

— Послушайте, сударь! — восклицаю я.

— Иду.— Мой гид вздрагивает и тянет руку под кресло.

— Сидите, пожалуйста,— говорю я ему,— я хотел только вас спросить, хорошо ли одеваются в Бухаресте женщины из простонародья, ну, к примеру, служанки или жены рабочих?

— Да, сударь, да! Здесь все франтят. В Бухаресте богатые дамы нарядней, чем парижанки, ну, а бедные тянутся за ними. У нас любая сгорит от стыда, если не сможет купить себе хоть раз в месяц красивое платье. А потому — бери где хочешь, зарабатывай как хочешь, а вынь да положь ей новое платье... Сущее разоренье, сударь!

---

[1] В тени скалы в горячий день
Я видел человека тень,
Который тенью твердой щетки
Усердно чистил тень пролетки. *(франц.)*

Старик со вздохом покрутил головой.

Во дворе раздался цокот конских копыт, игра теней продолжается. Я вижу, как кучер, уже в парадном костюме и цилиндре, запрягает лошадей, как они нетерпеливо вскидывают головами, бьют копытами землю, грызут удила, машут хвостами. Кучер взобрался на козлы и застывает в ожидании. Но долго ждать ему не приходится. Возле экипажа появляются новые тени, они суетятся возле коляски, сливаясь в одно пятно. Кто-то с трудом взбирается в экипаж — скорее всего, это старик, а за ним легко вспархивает молодая дама,— тень от знакомых мне двух перьев колышется на земле,— за дамой поднимается мужчина, очень стройный и молодой, карета трогается, грохочет и скрывается из глаз.

— Банкир — о, очень богатый человек. Завтра у его дочери свадьба. Жених — не знаю, откуда он,— со вчерашнего дня поселился здесь. Говорят, у жениха не велики достатки, зато барышня влюблена в него по уши. Да, молодому человеку привалило счастье!

IMPROVISATORE[1]

Если бы кто спросил меня, что такое гармония, я привел бы такой наглядный пример. Предвечернее небо — сплошная лазурь. Мы в одном из благословеннейших уголков дивного Неаполитанского залива; перед нами — изумрудный цветущий берег; горы и сады, словно подернутые дымкой сновидений; синее море, недвижное, как бы погруженное в задумчивость. Перед нами — разнообразные острова, озаренные невыразимо прекрасными лучами заходящего солнца: вот фиолетовый, вот карминовый, вот золотисто-зеленый. Мы сидим в саду под высокими лавровыми деревьями, воздух полон нежнейших ароматов и благоуханий. А в двадцати шагах от нас идет свадебный пир: щеки пылают, глаза блестят, разговор льется, как песня, то и дело прерываемый звонким смехом. Сами мы преисполнены сладостнейшего покоя, безмятежны, счастливы. Всюду и во всем согласие: все чувства наши в равной мере упоены небом и морем, природой и людьми. Вот огромная чудесная радуга: в ней налицо все краски... Вы поняли, что такое гармония?..

Невеста и подружка отдалились от пирующих и пошли садом к морю. Они поминутно обнимаются.

— Какая ты хорошая, Катарина!

— А ты какая счастливая, Мария!

— Ты тоже будешь счастливой!

[1] Импровизатор *(итал.)*.

Катарина задумчиво опускает голову.

— Скажи мне, Сальваторе еще не признавался тебе в любви? Он тебя любит, страшно любит.

— Любит-то любит...— Катарина глубоко вздохнула.— Да ничего не говорит! Все время сидит у нас, попадается мне на каждом шагу. Смотрит на меня горящим взглядом... Кажется, вот-вот признается — только начнет, как сейчас же и замолчит. Да так печально, горестно!

В воздухе зазвенели звуки мандолины.

— Инноченте! L'improvisatore! — вскрикнули девушки и побежали назад, к пирующим.

— Так долго не показывался,— с упреком промолвила невеста, подавая Инноченте руку.— Споешь нам что-нибудь, да?

— Какую-нибудь славную импровизацию! — закричали все.

— А про что? — спросил Инноченте.

— Про любовь... про что же еще? — воскликнул радостно жених, у которого вся грудь была в цветах.

— О чем хочешь, только не серди девушек. Понял? — попросила Мария.

— Ладно! — ответил молодой импровизатор с улыбкой.

Он тронул струны, взял несколько аккордов и красивым низким голосом запел:

Коль юной деве не дано
Испить любовное вино
С тем, кто всех краше и милей,
И суждено погибнуть ей,
Забвенья не найдет она —
Всем эта истина ясна!

Из гроба станет восставать,
Покою парню не давать:
Остудит кровь, загубит цвет,
Совсем сведет его на нет.
Убийцам же в аду — не мед,
И это тоже всяк поймет!
Ах, если б девушка нашлась,
Что страстью бы ко мне зажглась,
И душу бы свою спасла,
И мне б утеху принесла!
Пусть жертвой стану, не беда —
Я дома с двух до трех всегда![1]

Песня немного фривольная, но в Италии нужно знать такие песни, если хочешь понравиться веселой компании. Мужчины

[1] Перевод Е. Благининой.

аплодировали, женщины смеялись, больше всех хохотал пухлый священник. После каждого куплета он наливал себе стакан исхианского. Только Сальваторе, юноша стройный, как молодая пиния, был по-прежнему неподвижен. Он сидел напротив Катарины и не спускал с нее глаз.

— Все-таки ты рассердил нас! — пошутила Мария.— Я думала, ты споешь о том, что бывает на самом деле... Какую-нибудь балладу!

— Трудно придумать такое, что бывает на самом деле. Вот ты свадьбу свою справляешь — это на самом деле. Спеть о ней?

— А когда ваша свадьба, синьор Инноченте? — спросил священник.

— У меня невесты нету... Жениться — такое трудное дело.

— Не трудней, чем импровизировать!

— Да, правда,— вдруг согласился Инноченте и быстро окинул взглядом присутствующих.— Красавица Катарина в вашем приходе живет?

— Вы же знаете. Я еще капелланом сам крестил ее.

— Жених Дженнаро и мой друг Сальваторе, прошу вас в свидетели.

— Свидетели чего? — спросил Сальваторе, словно очнувшись.

— Бракосочетания, которое совершится сейчас же, здесь же!

Инноченте встал и поднял с места Катарину. Девушка уступила ему, смеясь.

— Заявляю перед вами, святой отец, и перед свидетелями, что беру за себя искренне любимую мною Катарину, которой буду верным и любящим мужем до самой смерти! — Лицо его дышало искренностью, голос слегка дрожал от волнения.— Добровольно ли вы идете за меня, Катарина?

— Добровольно! — отвечала девушка с притворной серьезностью.

— Моя милая, ненаглядная Катарина, теперь ты — моя жена перед людьми и перед богом! — ликуя, воскликнул Инноченте. Глаза его горели, голос на этот раз уже явно дрожал от волненья.— Ты моя, Катарина. Обними меня!

Катарина в изумлении отпрянула от него.

— Я давно втайне любил тебя,— горячо продолжал Инноченте.— Хотел посвататься к тебе, как только дострою дом... Но да здравствует лучшая моя импровизация! Я ведь знаю, Катарина, ты давно любишь меня!

Катарина в недоумении оглянулась по сторонам. Ее начало брать сомнение: уж не всерьез ли он? Она хотела было засмеяться, но улыбка не удалась. Все кругом растерянно молчали.

— Ответь... скажи, Катарина! — страстно воскликнул Инноченте.

— Ты что, спятил? — спросил шутливым тоном Дженнаро.

А Сальваторе стоял у стола, прямой как свеча, бледный, пронзая Инноченте взглядом.

Инноченте провел рукой по лбу.

— А! Вы думаете, это шутка?! Нет, я не шучу самым святым своим чувством, счастьем своей жизни. Спросите падре, разве наш брак не действителен? Ведь церковный обряд можно совершить и потом... Правда, мой отец?

Священник следил за происходящим растерянно, как и остальные.

— Конечно, это шутка... что же еще? — сказал он.

— Ах, видно, падре, выпив, забыл свои обязанности, свой сан,— холодно, язвительно возразил Инноченте.— Мы с Катариной оба католического вероисповедания, в родстве не состоим, и оба заявили, что вступаем в брак добровольно. Мы сделали это перед свидетелями и перед вами, священнослужителем. Значит, никаких препятствий больше нет. «Illicitum sed validum» — не по правилам, но действителен, как говорите о таких браках вы, священники. Разве вам, отец мой, это не известно?

Сальваторе в ужасе посмотрел на священника. Тот вытер пот со лба, растерянно покачал головой, потом вдруг улыбнулся:

— Что ж, беды нет... Раз любят друг друга... illicitum sed validum!

— Validum! — радостно воскликнул Инноченте и протянул руки к дрожащей Катарине.

В ту же минуту раздался страшный удар рукой по столу. Сальваторе взревел, в воздухе блеснул кинжал. Но Инноченте тоже рванулся вперед, отвел кинжал в сторону,— и вот он своей сильной рукой обнял Сальваторе за шею, нагибает ему голову и... так горячо целует его в губы, что вся испуганная компания слышит звук этого поцелуя.

— Осел! С ним приходится обращаться, как с портовым грузчиком, пока он надумает сказать девушке, что без ума от нее!

Все сразу опомнились. Бледности как не бывало. На мгновение воцарилась тишина. Сальваторе покраснел, словно утренняя заря. Катарина дрожала: глаза ее были полны слез; она смотрела то на Сальваторе, то на Инноченте, то на священника.

— Отсутствие согласия родителей, обязательное оглашение и другие важные подробности падре утопил в исхианском,— смеясь, сказал Инноченте.— Ну, моя роль окончена... На колени, Сальваторе!

БОСЯКИ

Этюд по наблюдениям знатоков

I

Округу лихорадило. Раньше тут было так спокойно, так тихо! Большой тракт проходил далеко за синеющими горами; по бедному проселку тащились лишь местные подводы,— деревня была замкнутым миром, и лесистые склоны гор ограждали ее от вторжения всего чуждого. Мясник, скупающий товар, еврейка-торговка да случайный шарманщик одни только и добирались сюда издалека. Лишь раз в год, на ярмарку и в церковный праздник, спускались с гор пришельцы целыми группами — но все это были добрые знакомые, приятели, родственники.

И вдруг стали твориться странные вещи! Приехал какой-то господин, обошел все окрестности и снова уехал; никто не дознался, чего же он хочет, и скоро о нем позабыли. Через некоторое время появилось два-три других господина. Они привезли с собой цепи, желтые металлические приборы, шесты с красно-белыми отметками и поселились в деревенской корчме вместе со своим слугой, который называл их «господа инженеры». Инженеры ходили по полям, по склонам гор, что-то измеряли, слуга переносил за ними цепочки, вбивал колышки и держал шесты. Во время работы разговориться с ним было невозможно. «Я человек опытный,— отвечал он,— мои господа еще молоды, и мне самому приходится следить за всем». Когда же господа делали ему знак отойти в другое место и поблизости оказывался кто-нибудь посторонний, слуга ворчал вслух: «Так я и знал — опять ошиблись!» Но в корчме он раскрыл тайну: намечают путь для железной дороги. Слова эти разлетелись по деревне. Крестьян охватил страх — как бы не отняли их поля. Потом, услышав, что им хорошо заплатят за землю, они стали желать, чтоб дорога прошла по самым плохим участкам, обойдя хорошие, да чтоб не разрезала надел надвое, захватила бы в крайнем случае клинышек, чтоб за тот клинышек заплатили, как за все поле, и так далее.

Инженеры уехали, а в деревне остались воткнутые шесты. Снова воцарилась тишина — на полгода. Потом явились новые инженеры, осмотрели шесты и перенесли их на другое место. И опять полгода ничего. Но затем пришло известие, что в Вене получено разрешение на постройку дороги, и вскоре после этого прибыл «уполномоченный общества», некий господин доктор, и

начал отрезать участки. Что тут было брани, просьб, угроз, тяжелых минут! Но, слава богу, времена эти прошли. Теперь здесь уже есть инженер, который должен наконец строить дорогу, и в пятнадцати минутах ходьбы от деревни, там, где пройдет полотно, ему уже ставят деревянный домик, простой, безыскусственный, без всяких плотничьих ухищрений.

В корчме теперь всегда полно, как в церковный праздник: все пришлые люди — бородатые, смуглые, сильные. Манеры их смелые, речь всегда громкая и грубая, взгляд умный и отважный, платье простое. Крестьянин с любопытством прислушивается, замирая в удивлении: что за народ? Всю Австрию исколесили они из конца в конец, построить несколько сотен миль железной дороги для них пустячное дело. Один работал, «когда Швейцарию просверливали от Франции до Неталии», другой — на румынских дорогах, «зашиб каких-нибудь тысчонок двадцать», третий, когда разделается здесь «с этой ерундой», отправится в Турцию строить дорогу Белград — Иерусалим. Это — так называемые «пантафиры» [1], которые берут подряды на отрезки пути и производят на них работы руками наемных рабочих. Кто хоть раз в жизни видел такого «пантафира», распознает любого из них по внешности за сто шагов, а по голосу — через пять стен. Жен они возят с собой: пантафир без жены — не пантафир.

Они поделили меж собою участки, и вот к деревне повалил народ — один бог ведает, что только за люди существуют на свете!

Каменщики и плотники в большем количестве придут позднее, сейчас сюда устремляются почти одни поденщики-землекопы — копать, возить и укладывать землю, подрывники — «айзнбаняки» [2], то есть босяки; но не вздумай назвать кого-нибудь из них босяком, рука его тверда, как камень, и шарахнет он тебя так, что лучше бы тебя камнем ударило, нежели этой рукой! Босяки — совершенно новое явление в чешских краях. Это не прежний пражский забулдыга, какие были до тысяча восемьсот сорок восьмого года, не немецкий Läufer или норвежский stavkarle, не венгерский цыган — это трудовой человек; приглядись к нему, к разнообразию типов его!

Вот по дороге дребезжит маленькая повозка. В повозку впряжена собака,— кожа да кости, сплошная парша,— ей помогает мужчина; вид у него такой, будто он только что откуда-нибудь сбежал; женщина, безобразная, как смертный грех, подталкивает сзади. Куча оборванных, чумазых ребятишек бежит следом. На

---

[1] От нем. «Partienführer» — начальник партии, подрядчик.
[2] От нем. «Eisenbahner» — железнодорожник.

повозке, расшатанной и скрипучей,— глиняная посуда, кое-какой скарб, несколько старых одеял.

Спустя некоторое время появляется рослый мужчина, он двигается медленно, тяжело: на спине он несет... жену. Прошлой зимой она отморозила ноги, стоять не может, но верный муж не бросил ее и несет на себе к новому месту работы. Вот он посадил ее на межу и отирает пот: «Ну, вроде мы и добрались, старуха!»

Громкий говор, хохот, пение; толпа молодых мужчин и женщин. На плечах — кирки и лопаты, в руках легкие узелки. Итальянцы.

Еще муж и жена, оба несут объемистые тюки,— это, видимо, более «состоятельные» люди. Сюртук у мужчины до пят. Он ворчит, и ворчит по-немецки.

А вот — господи, почему я не живописец! — еще двое: вот это да-а! Положив руки друг другу на плечи — друзья шагают по жизни в ногу, хотя и не слишком твердым шагом, и притом босиком.

Мы ребята удалые — ха!
Что нам деньги золотые? Чепуха!
Половину — шинкарю,
Девке половину.
Не останется монет —
Гонят, как скотину...[1] —

орут они истошными голосами. «Йи-ху-ху!» — взревел левый из этой пары, хотел махнуть рукой и сбросил нечаянно грязную, из бумаги, шапку с головы дружка. «Постой, брат, дай-ка я ее подыму»,— бурчит тот, нагибаясь. Мы можем пока рассмотреть их. Оба еще довольно молоды, но — что за вид!

На приятеле с *левой стороны* — пара настоящих штанов, заплатанных, солдатских, и настоящий сюртук. Сколько раз он перелицовывался, уже не разобрать, зато ясно видно, что владелец предпочитает носить его без пуговиц. Борта этого любопытного одеяния аккуратно стянуты бечевочкой, что вовсе не мешает просвечивать голому телу, как бы возглашающему, что хозяин его — настоящий холостяк, и нет у него на всем белом свете ни души, нет человека, который пришил бы какую ни на есть рубаху к найденной где-нибудь пуговице. Зато голова парня, как и полагается, прикрыта чем-то старым, не похожим ни на кепку, ни на шляпу, но — «все же оно из материи».

Два друга и один сюртук... Приятель *справа,* в свою очередь, избегает носить сюртук, «чтоб не надо было его чистить», а носит

[1] Стихотворные переводы в повести «Босяки» принадлежат Л. Белову.

он полотняную блузу с этакими симпатичными грязными разводами; подол блузы напоминает нежнейшие кружева. Подпоясан парень соломенным свяслом (не холерный ли это пояс?).

Но вот он поднял свой бумажный головной убор, и оба дружно заковыляли дальше. Сколько шуму наделали глупые американцы, пока изобрели шляпы из бумаги и жилеты из соломы,— вот, полюбуйтесь, здесь уже все это изобретено без шума, играючи!

Жители деревни смотрят на поток своих новых соседей, хозяйки крепко сжимают ключи и со стесненным сердцем пересчитывают на дворе кур. Лишняя забота! Босяк не ворует. Впрочем, будь я жареной курицей, не хотел бы я попасться такому молодцу на дороге!

II

Вскоре в деревне тесно, как в улье. Хлева, сеновалы, овины уже не вмещают пришельцев, к тому же даже последнему бедняку новые постояльцы не по душе. Зачем же встречать неприветливый взгляд, к чему сажать на шею лишнего хозяина, когда можно быть самому себе паном, не спрашивая никого «не помешаю ли»? Прочь из деревни, через несколько дней будет у босяков свой поселок! Он притулится между домиком инженера и бараком первого пантафира.

Барак пантафира — «кантина», трактир,— уже стоит. В нем два отделения: в меньшем спят «пан с пани», в большем помещалось несколько столов и лавок, наспех сбитых из досок, и «магазин». Здесь властвует пантафирка, тучная женщина с весьма решительным выражением лица, беспокойным взглядом и чересчур ярким,— я бы сказал, алкоголическим, если б речь шла не о даме,— румянцем. Одним она улыбается, на других обрушивается бурей. Вдоль стен стоят сосуды с той самой жидкостью, без которой на свете до сих пор не существовало бы ни одной железной дороги и которую называют «от стенки к стенке». Затем — бочки с селедкой, ящики с сыром, по стенам развешаны саженные ожерелья различных колбас. Сколько хороших вещей послали боги босякам — о господи, только б не надо было ради них работать!

Инженер дал лесу, сколько кому было нужно. Одни поставили несколько досок и оплели их хворостом — летняя квартира готова. Другие подумывают и о зиме: вырыли в склоне горы пещеру размером две на две сажени, устроили крышу из бревен и земли, соорудили какое ни на есть оконце и дверь. Низкий домик, что и говорить, но, с другой стороны, какой многоэтажный дом со столь

различными обитателями не напоминает нам сумасшедшего дома! Была бы охота — и в такой норе может поселиться довольство. Да в некоторых из этих жилищ не так уж и плохо. «По дому сразу видно, женат ли хозяин»: бревна внутри выбелены, все, что можно вымыть,— вымыто, тюфяки и одеяла скромно довольствуются определенным местом, земляной пол плотно утрамбован, горшки и миски чистые; на стенке, бывает, даже зеркальце прилажено, и ряд гвоздей вбит, чтоб платье вешать. Такая маленькая светлица стоит хозяйке немалых трудов, ибо не много времени остается у нее на возню с жилищем. Жена обычно помогает мужу в работе. Если несколько мужчин объединяются в артель,— только не больше шести, иначе начинаются драки! — одна из жен по очереди остается дома стряпать на всех. Ей да ангелу-хранителю поручается и забота о детях, которых в каждом домишке целая куча. Куда ее денешь, эту крикливую, озорную мелюзгу!

И вот уже стоит поселок. Будки, бараки, шалаши — в живописнейшем беспорядке, конечно, но — все же поселок; можно себе представить, на что похож, например, поселок, выросший за одну ночь там, где ищут алмазы или моют золото. Поселковый староста,— разумеется, пан инженер. И название у поселка есть: «Австралия». Не ищи его на карте, любопытный! Поселок этот внезапно вышел из моря и снова уйдет в море, как островки Тихого океана в их бесовской игре. Но кто же дал это имя — «Австралия»? Во всяком случае, тот, кто имеет на это право — а человек гениальный имеет право на все. «Heimatlos macht gottähnlich» [1] — у настоящего босяка всегда есть идеи; из ничего творит он целый мир идей. В нашей «Австралии», правда, хватает настоящих босяков, но нам повезло — двух самых настоящих мы встретили, когда они сюда шли.

Того, что в полотняной блузе, звали Франтишек Комарек; а другого, что в сюртуке — Ян Шнейдер. И почему бы нам тут же не добавить, что именно Комарек первый сказал, что «тут все, как в Австралии». Он, Комарек, правда, никогда в Австралии не бывал, но ведь все мы знаем, что такое поэтическое вдохновение. Говорят, им обладал и Шиллер. Но если Комарек дал имя, Шнейдер тоже внес свою лепту — поэзию. В первую же неделю он вдохновился, и уста его запели:

«Австралия», «Австралия»! Ах, в мире
Ты места лучше этого не жди...
Там тачку тянут вши четыре,
А пятая толкает позади...

[1] «Человек без родины подобен богу» *(нем.)*.

Остальных строф мы не сообщаем из добрых побуждений; читатель может составить себе представление уже по первой. Но как сочетаются в них географические познания с биологическими, сколько сведений об отечественной и чужестранной фауне, какое глубокое проникновение в природу — и как плавно льется речь, какие звучные рифмы!

Жаль только, что ни Шнейдеру, ни Комареку до сих пор не пришло в голову построить и для себя какое-нибудь пристанище и гением своим внести еще больше разнообразия в пестроту поселковой архитектуры! Впрочем, живется им превосходно. Барак пантафира со всеми его сокровищами всегда служит им сильнейшим магнитом, и туда отправляются они тотчас по окончании работы. Там заказывают они «половинку» (полкружки) водки, потом — другую, потом еще несколько, а когда пантафирка говорит, что уже хватит и она уже хочет спать, друзья выходят на волю и растягиваются на земле. Может быть, они молятся на луну.

Четыре дня тому назад они тоже так растянулись: Шнейдер на животе, и тотчас заснул,— видно, выпил какой-нибудь «половинкой» больше. Комарек лег на спину и тоже чуть-чуть не уснул, если б... Короче, заморосил дождь. Комарек приподнялся, гневно посмотрел на небо, потом тоже повернулся на живот, будто желая процитировать Мефистофеля: «Трижды должен ты мне повторить!» И небо повторило свое и на другой, и на третий день — и вот сегодня после работы друзья выпросили четыре доски на двоих, выбрали место напротив барака итальянцев и, вздыхая, наносили хворосту. Строили почти полчаса. Строение не хотело понять их замысла и смахивало на большой бесформенный гроб, но все же то была собственная крыша над головой — «обнажи голову перед домом твоим, ибо хранит он голову твою!» Вечером оба мирно отправились к своему очагу и завалились спать.

Едва они захрапели, из барака напротив вышел человек. Он направился прямо к новому зданию, прислушался, потом привесил к поперечине дощечку. На ней, как выяснилось на следующее утро, красовалась надпись: «Ospitale degli incurabili» [1].

Ну, подожди, итальяшка!

III

И верно! На другое утро, довольно рано, итальянец уже «съел плюшку» — или плюху, по выражению тех, кто не столь охотно раздает их. Досталось ли тому, кому следует? Может быть. Когда

[1] Убежище для неизлечимых *(итал.)*.

оба чешских Диогена вылезли утром из своего гроба, они первым долгом вопросили: «Что это?» И потом стали следить. За первым же итальянцем, который ехидно ухмыльнулся, Шнейдер отправился в кусты. Дело в том, что инженер сказал: «Чтоб мне на путях не драться! В десяти саженях от дороги — пожалуйста, хоть поубивайте друг друга!» Итальянец «не вернул плюшку» более сильному Шнейдеру и не пырнул его ножом, а так как здесь не в обычае тот изящный способ дуэли, при котором соперники связываются ремнями, а в руки, обернутые платком, берут по ножу, то фирма «Комарек и Шнейдер» была начеку, ожидая, что воспоследует дальше. «Сдается, напьемся мы сегодня»,— говорило предчувствие Комарека. И оно не обмануло. Едва начался обеденный перерыв, итальянец в сопровождении товарищей направился в «суд». Фирма с несколькими друзьями молча последовала за ними.

«Суд» был у босяка Зоубека. Он стал судьей просто потому, что его лачуга оказалась наиболее вместительной. Зоубек женат, у него работящая жена и взрослая дочь, которая, однако, не желает опускаться до босяцкого ремесла. Барушка даже избегает босяков как только может; она зарабатывает шитьем и починкой, и над ней посмеиваются, что она «поджидает какого-нибудь пана с вокзала». Как только Зоубек увидел, что к нему идут, он послал жену за «половинкой», затем поставил «баранов одесную», а «ошую» — других «баранов». Барушка тотчас села спиной к присутствующим. Все молчали, ибо суд ведь не может начаться, пока судья не напился! «Один-единственный стаканчик уже делает судью другим человеком»,— казалось, было написано на спокойно ожидающем лице бородатого, кряжистого Зоубека, а серые глаза его с каким-то удовлетворением осматривали «стороны», которые уже одним своим появлением были обречены заплатить ему по меньшей мере «половинку». Точно так же раньше во Франции тяжущиеся дарили судьям коробки конфет. Обычай этот мне нравится: он, правда, смахивает на подкуп, но лучше, чтоб у справедливости были завязаны руки, а не глаза.

«Половинка» доставлена, Зоубек пьет и передвигает свой цилиндр с одного уха на другое. Дело в том, что, став судьей, Зоубек завел себе цилиндр; но так как ему подарили один цилиндр белый, а другой черный и оба весьма-весьма дырявые, то он засунул белый в черный, и теперь у него на голове нечто... во всяком случае, нечто странное.

— Ну что? — начинает он глубоко противным басом.— Украли, что ли? Или подрались?

Излагает дело «фирма», и друзья поддерживают ее хором.

Излагает дело итальянец, и товарищи поддерживают его хором.

Хор да хор — поднимается гвалт.

— Заткните глотки! — рявкает Зоубек.— Все вы голодранцы; Шнейдер заплатит три «половинки», ибо господь бог не хочет, чтоб того... а этот плешивый итальяшка заплатит четыре, потому что того... этого... уж слишком! Кабы не полдень да не десятый день после получки, платить бы вам больше, так что благодарите господа бога! И сейчас мы все это разопьем, а потом подадите друг другу руки, ибо кто думает о раздорах, тот любит свары. Кричите аминь!

Хоры кричат «аминь», итальянец роется в карманах, а Шнейдер чешет в затылке, не зная, даст ли пани пантафирка в долг...

Через четверть часа в «суде» новый галдеж. Кого-то вышвырнули за дверь, но Зоубек бросается за ним, ловит и вталкивает обратно — не устраивать же, в самом деле, новый суд! На сегодня — прощай, работа!

Удивительно простое судопроизводство, верно? Но это — хороший народ, поверьте мне. Правда, он порой ворчит, когда ему задают работу, которая, по выражению босяков,— «настоящая могила», и часто ругается при расчете; но он никогда не поднимет большого шума, например, против своего начальства, и тот, кто абсолютно прав, всегда его урезонит. «Суд» у них — для того, чтоб утихомиривать друг друга, а их «свод законов»... Да босяк и сам чувствует, что можно, а чего нельзя, если же и не знает,— например, что такой-то источник запрещается загрязнять,— то ему это разъясняется следующим образом: возле источника вбивается кол, к нему привязывается пук соломы и вешается палка с зарубками. Сколько зарубок, столько ударов или подзатыльников провинившемуся — и это понимают босяки всего мира.

Поселок, староста, суд, законы... Вы удивляетесь? Да, кроме школы и церкви, здесь есть почти все. Да и о школе уже подумывали. О школе подумывал инженер, который ежедневно слышит визг целой кучи детей перед своим домом, где как раз самое лучшее место для игр. Он думал: построишь здание, наймешь учителя, вычтешь у каждого рабочего по два крейцера из гульдена, как это уже делается на лекарства и врача, сделаешь, одним словом, доброе дело — да так и не сделал ничего: у него много забот, и дети по-прежнему визжат под его окнами. Не боятся даже инженеровой Белянки, большой ньюфаундлендской суки: они боялись ее только в первые дни, а теперь с криком возятся в пыли вместе с собакой.

О церкви, конечно, не думал уже никто. Говорят, на свете семьдесят две с половиной религии, семьдесят два с половиной языка и семьдесят два с половиной племени человеческого, причем половинка эта — цыгане, а босякам не осталось ничего. Правда, босяки рассказывают друг другу священное предание, будто где-то в Румынии построили для них церковь — из сала,— но мыши сожрали ее за одну ночь. Увы! Не составляют босяки единого племени, и, следовательно, нет у них и единого языка! Говорят они на каком-то дочернем наречии старозвучного санскрита, несколько приукрашивая и обогащая его новыми меткими выражениями,— но до сих пор не доросли босяки до создания собственного жаргона, которому можно бы дать какое-нибудь роскошное и лестное название, как, например, «praeve liguant» («красивый язык») шведских цыган или «chochemer loschen» («язык мудрецов») немецких евреев.

Тем не менее, как уже сказано, здесь все как в большом поселке. Торговля процветает, «дома» покупаются и продаются походя. Общественных партий здесь столько же, как и в других местах, работы хватает, развлечений достаточно — дело дошло чуть ли не до основания увеселительных клубов. Вон группа итальянцев, они орут и играют в «мору»; там можно послушать рассказчика — чудесные, странные истории, полчаса назад он и сам бы им не поверил! Несколько поодаль еще один круг, и в центре его кто-то поучает, как наверняка выиграть в шестьдесят шесть; он вынул грязные карты и демонстрирует. Что же касается любви...

Босяк знает три вида супружества. Собственно, первого вида он почти не знает — ему и в голову не придет «ради розового куста покупать целое имение»; связать себя навеки — как бы не так! Второй вид «дикий», но прочный и верный: ради детей и по привычке. Третий вид — еще более дикий, его можно расторгнуть в пять минут. Босяк, собственно, очень любит жениться — хоть каждый месяц, или, по крайней мере, на каждом новом месте; ему нужен человек, который бы немного присматривал за ним и немного бы еще подрабатывал. Он женится не для любви, но и не для того, чтоб отдохнуть от любви. Любовь его похожа на ветвистый полип: каждая ветвь — самостоятельное целое. К босякам неприменимо правило, что «кто женится в первый раз, тому простительно, кто второй — тем восхищаешься, как героем, но кто в третий раз женится, пусть получит в наказание сто жен!» У босяка есть его «третий вид» супружества, а стало быть, пусть будет хотя бы и сотня жен...

Помолвка босяка не затягивается. На первом месте у него старое правило: «Я себя в обиду не дам, лучше обижу сам!» Красоты

он не ищет. Лицо жены вовсе не должно быть «как ясная полная луна», от глаз не требуется, чтоб они были «мечтательны, как лилии», а волосы «черными, как рой пчел», грудь и бока — «как лоб слона», «речь «благоуханна, как фиалка»,— лишь бы женщина была, как в песне поется:

Красные щечки,
Белое тело,
Будто в духовке
Долго сидела.

Красивая жена доставила бы много беспокойства. Не требует босяк и высоких душевных качеств,— ведь, в общем-то, хороша любая женщина, и лишь на самых верхних полочках человеческого общества водятся, говорят, эти «тонкие штучки» — хоть в добром, хоть в дурном смысле.

В конце концов только по еде познается хорошая жена: подмешает она к своей стряпне желание, чтоб вышло мужу по вкусу,— значит, жена хорошая! Конечно, глотка у нее здоровая — ну, да попробуй, вдень канат в игольное ушко, останови поток! В крайнем случае берется палка, и... «он увидит следствие, она почувствует причину». Одним словом: «Хочешь ко мне?» — «Ну, что ж, только уж больно ты пьянчуга!» — и дело слажено, и не нужно даже, как это заведено у цыган, трижды обходить вокруг можжевелового куста.

А потом — маленькие, писклявые босячата.. В могилу-то они в свое время попадут наверняка, а вот в колыбель — нет, туда они не попадают! И где будет эта могила? Разве колыбель и гроб обязательно должны быть в одном краю? Сегодня босячонок родился, а через месяц он, быть может, уже за сотню миль от места рождения; родина его — весь мир; небо, усеянное золотом звезд,— крыша его отчего дома. Растет он, и сердце его не привязывается ни к какому кусту, ни к холму, ни к лугу, ни к домашнему углу; только начнет оно оплетать что-нибудь детскими золотыми своими мечтами, только пустит сердечко где-нибудь корни, как уж они вырваны насильственно и плещут по ветру! Но все же есть у босячонка огромное богатство — *мать*. Часто она, правда, задает ему трепку, говорит с ним грубыми словами, но все же дитя — это все, что у нее есть! Она уже не принадлежит себе — она принадлежит ребенку. Она заботится о нем, работает для него, ухаживает за ним, бодрствует над ним ночами, а если ложится — то для того лишь, чтоб набраться новых сил ради своего ребенка. С места на место скитается она с ним, мерзнет, сносит обиды — лишь бы сохранить ребенка. Босячонок подрастает и разлучается с ней. Мать

еще иногда встречает свое дитя, потом иногда доходят до нее слухи, а там уж и вестей о нем никаких нет. И влачится она одна по жизни, потом где-нибудь находят ее — нищенку, замерзшую на куче камней.

IV

Нынче самый важный день для обитателей «Австралии»: день получки. Этот день всегда четырнадцатый по счету.

Раздается общий хриплый клич: «Шабаш!» — и, пошабашив, все валят в «кантину» или рассаживаются на земле поближе друг к другу и ждут. «Кантина» уже приобрела собственное, босяцкое лицо и вывеску. У входа вбита в землю жердь, на ней прилажено сверху поломанное колесо от тачки — что означает «Солнце». Над входом раскачивается дощечка с надписью: «Босым не входить!»

В нескольких шагах от трактира «Солнце» визжит шарманка. Старушка-шарманщица стоит около своего аппарата и принужденно, кисло улыбается,— она опасается за шарманку, ручку которой с силой крутит какой-то парень; да, ведь мы еще его здесь не видели! «Туннельщик» Шевчик — честь имею представить! Рост — шесть футов, плечи — два фута шириной, руки, как у гориллы, до колен, левый глаз выбит, на верхней половине тела — красный фрак, на нижней — узкие венгерские синие штаны, между фраком и штанами — голое тело. «Туннельщик» — ах, вы ведь еще не знаете, что такое «туннельщик»! «Туннельщик» — это цвет босячества. Специальность раскрывается в самом прозвище. Каждый «туннельщик» многое повидал, у каждого значительные топографические и личные знакомства, он помнит скромные начала всех предпринимателей — строителей железных дорог. То, что сам он не сделался предпринимателем, он относит за счет случая, да это не беда! Фамилии инженеров-строителей он назовет вам в алфавитном порядке; он классифицирует их на новичков и «старых рубак»; первым он без обиняков заявляет, что их «штрека» — просто дерьмо по сравнению с теми, которые он строил ранее. Он резок, решителен, не говорит, а рубит.

Шевчик работает на соседнем участке. Там, правда, нет никакого туннеля, зато есть мост через реку. Шевчик пришел сюда с каким-то поручением к инженеру и ждет, когда инженер закончит выплату рабочим.

Шарманка всхлипнула, ручка остановилась, не дойдя до низу. Шевчику уже надоело крутить ее, но старушке он все же бросил медяк.

— Эй, пани пантафирка, стаканчик! — кричит он в кантину.— Я пью только после пробы, и если ваше пойло хоть градусом слабее, чем показывает мой сакрметр (сахарометр), я всех ваших клиентов отважу! Вот у нас пойло, братья-товарищи — хо! Греет, что твоя паровозная топка! — И он присоединяется к кружку рабочих.

— Какова там у вас житуха, а? — начинает судья Зоубек.

— Э, что там — вот в Трансланнии[1] можно было жить: там нас вином поили, а тут картошкой кормят, да и ту еще перебирать приходится. Впрочем, сами знаете — главное, живы мы, и слава богу. Отсюда легче уйти, чем из Будейовиц — оттуда уйти было дело трудное. Помню, только это я навострил лыжи — глядь, а мне навстречу хозяин, у которого я столовался. Останавливает. Что же, говорю, хозяин, не вечно же нам вместе быть, дальше в лес, больше дров, говорю, счастливо оставаться — его аж слеза прошибла!

— Он мог твою форму забрать... Ну и вырядился же ты! — возражает кто-то.

— Э, что там!

Ах, кондукторская форма,
Хорошо надета,
Не штаны — сплошные дырки,
А рубашки нету!
И зачем нам рвать ботинки,
Лишь была бы чарка...
Господа в ботинках мерзнут,
Нам и босым жарко!

А потом — у самого-то у тебя что за вид? Может, ты свою рубашку где-нибудь на саван прячешь?

— И-и-и! Славная была у меня рубашечка, ей-богу, славная,— смеется подвергшийся нападению,— да что делать, в такие времена и на мыло не хватает! Я ее сжег, чтоб мелочь не тратить,— жалко грошики-то!

— А я вот,— встревает другой,— я приехал сюда с чемоданом, набитым бельем, да только плохо здесь стирают!

Смех.

— Слушай, Шевчик,— заводит кто-то,— там, на реке, плохо вам будет, верь слову, уже и нас-то тут холод до костей пробирает.

— А у меня жилье княжеское, у вас, голодранцев, ни у кого такого нет! Я под мостом пролет отгородил, из старого теса пол настлал — пусть водичка под ним течет! И для печки достал кир-

[1] Искаж. «Трансильвании».

пичей. Да, брат, не дом — скала, на сваях стоит — пропасть мы их там вколотили! Ха! Нет, мы молодцы! Эти швабы долго бы еще канителились со своим «раз-два — взяли», и мы бы до сих пор сушились под открытым небом, да я как затянул: «В Пра-хатиииицах на пригоооорке»,— так баба и пошла взлетать, будто под ней порох взорвался. Зато есть у нас теперь берлога, а у мелюзги нашей — крыша. Старухе приходится три четверти смены отрабатывать, по крайней мере, нешто одному прокормить столько ртов! А, черт, кончилась моя гулянка — вон инженер освободился.

Как раз подходит пантафир, получивший от инженера деньги для выплаты рабочим. Пантафир, бывший поденщик, кость от кости босяков, припрятал треть денег, и лицо его выражает досаду.

— Леший его побери,— начинает он, набив трубку и повернув шейный платок так, что узел оказывается у самого уха.— Инженер-то наш — тоже ворюга порядочный, холера ему в бок! Думаете, он выдал мне все, что полагается? Держи карман! Нет, я здесь не останусь. Или устраивайтесь как хотите, пусть инженер сам выплачивает.

Босяки ворчат.

— Что там бурчать, давайте сюда мерку, сами еще раз измерим!

При всеобщем недовольстве он прикладывает мерку, поворачивает ее так и эдак, считает, пересчитывает — какими-то странными, путаными словами, доходит до крика... Счастье его, что он не знает цифр! Наконец пантафир набрался мужества и объявляет:

— Целую треть не додал!

— А много ль это? — мрачно осведомляется судья Зоубек.

— Ты вместо двадцати четырех получишь восемнадцать, остальные в этом же роде.

— Ого! Еще чего не хватало!

— Ну, уж это, брат, дудки!

— Да вы что, черти болотные, да я тут все вдребезги разнесу!

— Провалиться мне, коли я кому-нибудь шею не сверну! — раздается кругом.

Пантафир чувствует себя неважно.

— Эй, вы!.. А вы тоже лентяи порядочные, ничего толком не сделали, вам бы чтоб из коровы, да сразу масла надоить!

— Что-о?! Это мы-то ничего не сделали, мы-то спину не гнем?! Мы-то... ну, знаешь!.. — Проклятия так и сыплются.

— Вот что, мне мое спокойствие дороже... Так и быть — тебе подкину два гульдена, тебе полтора, тебе тоже гульден... Так! А самому-то ничего не останется, ну и осел же я!

Одни угомонились, другие продолжают шуметь.

— Вы что же, хотите совсем меня разорить? Бездельники!.. Я... Ну, ладно, даю еще гульден тебе, и тебе тоже — это из собственного моего кармана! Оберете меня до нитки, но мне важно доброе имя... Ну, да уж выскажу я все этому пану инженеру, потолкую с ним по душам! А ты, жена, дай вон тем ребятам три бутылки водки — нет, четыре дай им. Теперь, если кто еще квакать будет, тому такую влеплю, что башка до Брно докатится!

И вот начинается выплата. Многие уже получали аванс, многие должны за водку,— беда! Наконец все подсчитано и выплачено, каждый пересчитывает денежки, прикидывает: на белье, на одежду, да отложить про черный день... Итальянцы недолго раздумывают — завтра же пойдут на ближайшую почту и пошлют по нескольку гульденов домой, с остатком денег как-нибудь перебьются, им не впервой. Они живут скромно, но достаточно хорошо для своего положения; они всегда объединяются по нескольку человек для столования: три раза в день горячая полента — и все. Немец относит несколько гульденов инженеру — «на сохранение». Он тоже обычно живет хорошо,— по крайней мере, раз в день ест горячее, хотя для этого ему приходится полчаса топать в деревню. Грустно сказать, что чехи живут, в среднем, хуже всех: дешевая колбаса, хлеб, водка — вот их неизменное меню. И откладывать деньги им никак не удается,— правда, каждый раз они горят желанием, но ведь надо сделать первый шаг, а эти чертовы первые шаги...

Все расселись в кантине, чтоб немного промочить горло. Пантафир — главный регулятор их попоек. Если он обязался за определенную плату выполнить большую работу, то спешит разделаться с ней и не сильно склоняет босяков к пьянству; если же работа оплачивается повременно, то есть через каждые две недели, сколько бы ни было сделано,— тут он соблазняет, как только умеет. А соблазнить босяка не так уж трудно!

Сегодня здесь уселись «ненадолго» все — женатые и холостые. Женатого, может, ночью жена дотащит до дому, а может, даже уговорит завтра выйти на работу. Но может быть и так, что на него найдет его «квартал». Это весьма тяжелая и непреодолимая болезнь, этот «квартал». Постигнутый знает, что он тут ничего не может поделать; сначала в пьяном угаре еще мелькают добрые намерения; когда вынимается очередной гульден, перед внутренним взором на минутку возникает еще образ жены и детей, но уж потом — кулаком по столу, чарку кверху, и...

Боже, мне пошли излишек,
Жизнь укрась мою!

Все продам — жену, детишек,
Денежки пропью.
Будь твоя, о боже, воля —
А мне все равно!..

Но что же тогда убогий сиротинка, босяк неженатый! Никто не зовет его домой, и ему некого жалеть. В его неделе четырнадцать дней, отчего ж не устроить два выходных подряд, воскресенье и понедельник, работа и до вторника подождет! Один такой сиротинка похож на другого, как яйца белой и черной курицы. Здесь все они горячо любят друг друга; трактир обладает волшебным свойством умиротворения, слышны звуки поцелуев. «Выпей, брат!» — кричат наперебой сиротинки, и просьба — «дай-ка и мне хлебнуть»,— не остается неудовлетворенной.

Все пройдет, все умрем,
Мир мы все же не пропьем.

Сначала здесь царит легкое веселье, беззаботная песня, а затем — затем веселье становится диким, отчаянным. Будто каждым овладела страсть — уже не напиться, а упиться вдрызг! Но это трудно сделать: желудок босяка — как башмаки святого Бенедикта, а они были без подметок. И кроме того, это дорого. Впрочем, «к чему деньги, раз карман все равно дырявый», и нельзя же отрицать истину, заключающуюся в отеческом поучении:

Проживай, что можно, веселись сейчас —
Ведь на том-то свете не осудят нас.

Только вот если б их было все же побольше, этих монет! Не успеет сиротина-босяк оглянуться, уж он гол, как сокол:

О святые, пресвятые,
Дайте в долг мне золотые;
А как стану сам святым,
Расплачусь я золотым.

И как же босяку не попасть в царствие небесное за свое повсеместное страдание!

Наступил понедельник; утро. Комарек и Шнейдер вышли на работу — у них было лишь одно воскресенье. Инженер ходит по участку и ругается без передышки. Он сердит — до него дошли слухи о каких-то непорядках при субботней выплате, и он уже объявил, что впредь сам будет выдавать деньги.

Шнейдер наблюдает за расхаживающим инженером, как кошка за маятником часов. Наконец он подходит, стаскивает шапку:

— Не можете ли, милостивый пан, аванс мне выдать — гульден?

— Какой там аванс! По правилам, аванс вы можете получить только начиная с завтрашнего дня!

Шнейдер молчит.

— И ведь получка только позавчера была!

Шнейдер молчит.

— Опять, поди, все пропили?

Шнейдер молчит.

— Да что это вы, в самом деле, рта раскрыть не можете!

Тогда Шнейдер раскрывает рот:

— Я не знаю — я вроде белье купил...

Инженер круто отворачивается. Досада его мигом улетучивается, он прикусывает губу и вынимает бумажник, помедлив немного.

— Вот вам два гривенника — это я в долг вам даю! А вы, Комарек, ступайте за мной!

Красные глаза Шнейдера оцепенело глядят вслед удаляющимся, потом веки его опускаются, будто он засыпает, а губы бормочут:

— Ох, и до чего же мне тошно!

V

После всего этого вы, верно, скажете: что за человек босяк! Сущий бездельник! Это, знаете ли, как посмотреть. Босяк — не будем спорить — бесконечно легкомыслен, он транжира, и, будь у него много денег, он, верно, попал бы под опеку. Но у него никогда не было столько денег, чтобы люди питали хоть капельку уважения к нему самому, и потому босяк не питает ни капли уважения к деньгам. Он хорошо знает, что никогда и не будет у него много денег: в Писании сказано, что «рабочий-пьяница не разбогатеет», а ведь надо же и босяку когда-нибудь напиться!

И, однако, босяк отнюдь не злой, не дурной человек. Он — не Каин Байрона, чтобы взывать к богу: «Зачем дал ты мне злую волю, господи!» Он только человек слабой, нестойкой воли, не больше! Конечно, через год и лучшего из них выгонишь с работы, ибо босяк — кочевник, и на месте ему не сидится, но в течение полугода в конце концов отлично уживешься и с худшим из них. Если он и поднимет голос — то только «за братьев-товарищей». Он не эгоист, он делится всем, что у него есть, как наседка. Если он что-нибудь обещал — положись на его слово; и пусть он умеет подписываться только «черенком лопаты» — тремя крестиками,— верь

этим крестикам! Есть у него еще одно чудесное свойство: он — истинный философ, он знает себя насквозь и отнюдь себя не переоценивает. Если он получит деньги, а путь к дому его лежит через перевоз, в четверти часа ходьбы от трактира,— он сперва отправится к паромщику, отдаст ему два крейцера и только после этого вернется к попойке. Если ты обещал ему пару ботинок, он попросит, чтоб ты их дал ему, «когда первый снег выпадет»,— тогда уж он их не продаст. Это — честность великая, как на краю могилы! Короче, босяки — это не сброд, это скорее человеческая дичь, а у дичи всегда есть свой специфический запах. Представьте себе вальдшнепа, который, перед тем как его застрелят, принимал бы пилюльки, чтоб отбить горький привкус! Что это будет за вальдшнеп? Другими словами, если вас занимает чья-то оригинальность — терпите.

Инженера босяки занимали. Уже давно решил он подвергнуть кого-нибудь из них испытанию. И взялся за Комарека. Вот он сидит у себя за столом и молча смотрит на свою жертву. Комарек несколько растерян, не зная, чего от него хотят.

— Из этого Шнейдера ничего уже не выйдет,— начинает наконец инженер.— Но вы, Комарек... В отношении вас я не теряю надежды! Вы разумный человек, и согласитесь, что при таком образе жизни вы просто погибнете, и конец ваш будет жалок! Неужели нужно пропивать каждый грош? Две недели ломите, как лошадь, голодный и холодный, и после этого все, в том числе и собственное здоровье, пропиваете за одну ночь! Знаете, Комарек, я не люблю людей, которые сами себе враги. Не надо быть скупым — деньгам место не в душе, а только в кармане, зато в кармане должно что-то бренчать, чтоб не был человек вечным рабом других. Мы должны владеть деньгами, а не они нами. Послушайте, Комарек, вы уже повидали белый свет и знаете, как на него смотреть; мне не приходится доказывать вам, что за деньги можно купить все, даже здоровье,— сам черт уважает деньги, без них он не заполучил бы ни одной души! Мне нужен надежный человек; я выбрал вас, и если вы в течение четырех только недель будете в порядке, я сделаю вас десятником на одном участке. Хотите быть десятником?

— Как не хотеть! — воскликнул Комарек, и глаза его, до сих пор потупленные, раскрылись и засияли.

— Ну и будете им — но только слушаться! Прежде всего... Но, господи, на что вы похожи! Хорош десятник! Собирайтесь сейчас же и отправляйтесь в ***, купите там приличную одежду. Но и туда нельзя вам идти в таких отрепьях — я дам вам свою старую рубашку и брюки, есть у меня еще солдатская шинель — возьмите. И вот вам двадцать — нет, стойте, тридцать гульденов, даю аван-

сом: видите, я вам доверяю! К полудню успеете обернуться. Ну, идите и помните о десятнике!

Комарек, не в силах вымолвить ни слова, забрал одежду, деньги, и — след его простыл. Ноги его от радости так и дрожат! Такая перемена — и так внезапно! В полдень он вернется в новой одежде, через месяц станет десятником. Шнейдер... нет, Шнейдеру он пока ничего не скажет, он скажет... впрочем, и из приятеля Шнейдера может еще получиться что-нибудь путное — было б желание, как у него, у Комарека!

Комарек быстро переоделся, и вот он уже на пути в ***. Там, правда, много кабачков, но они опасны лишь для слабого человека; у Комарека есть спасительное заклинание — каждую минуту он повторяет про себя: «Как не хотеть стать десятником!»

И в самом деле, еще не пробило полдень, а Комарек уже вернулся. Новое платье — он отдал за него все тридцать гульденов — несет в узелке. Конечно, он мог оставить старое платье у того же старьевщика и явиться сразу в новом роскошном обличье, но у Комарека доброе сердце, он помнит о Шнейдере — пусть дружок воспользуется старым гардеробом, пока и ему не улыбнется счастье! Комарек не отстанет от него, все уши ему прожужжит!

Прежний Комарек скрылся в своем «убежище для неизлечимых», и через четверть часа вышел Комарек новый — как игрушка! На нем хорошая еще шляпа,— не меньше гульдена стоит наверняка!—синяя рубашка — таких он купил две, следовательно, теперь, считая инженерову рубашку, у него их целых три! На шее пламенеет великолепный красный платок, затем — светло-зеленая куртка и светло-желтые брюки с черным поясом! Упругим шагом проследовал он к дому инженера. Тот, верно, глаз не оторвет!

Инженер сидит уже за обедом. Он со всех сторон осматривает Комарека и улыбается.

— Пока сойдет,— говорит он.— Погодите, моя хозяйка даст вам пообедать: я хочу, чтобы вы привыкли прилично питаться. А потом отправляйтесь на работу!

Сытый, разогревшийся, удовлетворенный и счастливый, идет Комарек к своему рабочему месту.

Товарищи прямо руками развели — им кажется, будто они грезят. Это... нет, ведь это... Что это?! Все подходят, спрашивают, ощупывают шляпу, проводят ладонью по куртке. «Пан инженер!» — вот единственный ответ Комарека. О месте десятника — ни гу-гу. Краем глаза смотрит он на Шнейдера: тот стоит, опершись на лопату, и в его выпученных красных глазах — глубочайшее изумление. Погоди, приятель, еще и не то увидишь!

А воздух-то сегодня — прямо весна! Каждая жилочка так и играет, сердце скачет галопом; вот так же бывает перед танцем: тревожно и сладостно.

Новое платье вроде бы еще не привыкло к работе, оно достаточно удобно, но так... так празднично! И вообще сегодня будто большой, особенный праздник в целом мире!

Кирка отброшена — нет, сегодня Комарек лучше погуляет, когда же еще и гулять-то? И вот он собрался и зашагал вдоль линии. Его останавливают. «Пан инженер!» — ответ его не меняется. Потом он сворачивает к лесу — так приятно побыть одному, когда с вами происходит большая перемена. И кто бы вчера подумал.

Но и в лесу Комарек не долго выдерживает — он так счастлив, а счастье требует компании, свидетелей, хотя бы и завистливых. И вот он возвращается и идет прямо в кантину — пантафирка его еще не видела!

— Господи боже мой, Комарек, да вы похожи на сынка сельского богатея!

Комарек самодовольно улыбается.

— И что за чудный платок! Как бы он мне пошел! Что вы за него отдали?

— Всего два гульдена,— гласит небрежный, горделивый ответ.

— Он стоит, стоит этих денег! Но где же, скажите, вы их раздобыли? Что вам налить — уланской, хлебной?

— Деньги дал пан инженер! Нет, ничего не надо, я больше не пью.— И он нехотя отворачивается, как от сильного искушения.

— Ну, рассказывайте же скорее! И куда вы свои старые-то тряпки выбросили?

— Я их не выбросил. Кое-что было еще не так уж плохо,— например, совершенно прочная шинель, но я даже ее не продал, оставил; отдам кое-кому.

— Ну уж это враки!

— Враки?! — Комарек разгорячился.— А вот я сейчас вам докажу!

Через минуту Комарек снова был здесь со своим узлом, который и швырнул на плотно убитый пол.

— Вот — и будь я проклят, если здесь не хватает хоть нитки!

— Да что же инженер — рехнулся, что ли?

— Здравствуйте, рехнулся! Глупая баба! Он хочет, чтоб я стал приличным, и тогда он сделает меня десятником! Вот как!

Теперь все выплыло наружу.

Десятником! Через пять минут кантина была переполнена.

— И ты не поставишь нам ни чарки? — со всех сторон горланят друзья.

Комарек смущен. С каким бы удовольствием показал он себя,— а в кармане ни гроша! Покосился на узел со старым платьем — нет, оно уже не принадлежит ему, он обещал его бедняку приятелю; правда, приятель этот еще и не подозревает о замышляемом даре, но... Идея! Рука Комарека тянется к шее:

— Вот платок, дайте ребятам водки на два гульдена!

И он садится, остальные — вокруг него.

— Поди сюда, братец! — кричит растроганный Комарек другу Шнейдеру.— Я тебя не оставлю, молчи! Увидишь, как я о тебе позабочусь! Только... Ну, да я еще скажу, что тебе делать!

Расшумелось, развеселилось все, на небе и на земле. Комарек превозносит инженера и пьет его здоровье. Все превозносят добрые намерения Комарека и пьют его здоровье.

Час бежит за часом, становится все веселей и веселей...

И когда «полночь призывала духов», Комарек не был уже похож на игрушку. Фигуру его снова облекала вчерашняя одежда — зато он, по крайней мере, сто раз перецеловался со Шнейдером, и вместе они уже пятьдесят раз пропели:

Пиджаки были у нас —
Черт их взял, не споря.
Вот пропьем рубашки враз
И пойдем без горя...

VI

Прошло несколько месяцев. Начались морозы, земля стала твердой, как камень.

Прошел уже и день поминовения усопших, и с ним ушли «озерники» — ушли все разом в родные места, к широким озерам вокруг Будейовиц. Иначе они не могут. Надо им видеть, как зимние туманы ползут по воде, видеть камыш, обсыпанный инеем... Детьми научились они там строить запруды и дамбы, взрослыми мужчинами укрепляют они и украшают своим живописным искусством насыпи железных дорог. Это очень уважаемые люди, босяк ставит их высоко, почти как ремесленников. И им это известно,— уже издалека распознаешь их по ленивой, исполненной достоинства походке, по широкой шляпе, большие поля которой колышутся, как крылья разжиревшей вороны, и по синему фартуку, правый нижний уголок которого полчаса свисает свободно, а следующие полчаса заткнут за пояс. В день поминовения усопших «озерники» бросают работу, а на пасху снова раз-

летаются по всей Европе. Это типы характерные, как дротари из Тренчина.

Но чем грустнее и мрачнее в природе, тем веселее босяки. Холод не дает лениться ни рукам, ни языку.

Как-то раз утром инженер вышел из своего домика. Огляделся, потер руки, смахнул слезу, выжатую морозом. Веселье отражалось на его лице. Он выдохнул клуб пара и проворчал себе под нос: «Любопытно...» Дальше он уже ничего не сказал, ибо мороз велел закрыть рот, и придется нам самим договорить за инженера. Он хотел сказать: «Любопытно, что-то у нас сегодня случится!» Дело в том, что в эту неделю над «Австралией» словно мешок с чудесами разорвался: каждый день новое, особое событие, просто спасения нет! А сегодня — суббота, и придется этой субботе порядком потрудиться, чтоб превзойти предыдущие дни!

В понедельник произошло нечто, «чего не едят постом», по выражению босяков. А именно — свадьба, настоящая свадьба!

Супруги Мареки после десятилетнего счастливого «супружества» вступали в законный брак. Другими словами, как уже уразумел внимательный читатель, они перешли из «второго» в «первый» класс. Торжество было невиданное. На участке не только целый день играла шарманка — все «австралийское» босячество сопровождало жениха с невестой до самой деревни. Свидетелями были сам пан инженер и Адам, любимый из десятников. На женихе был новый синий сюртук, невеста нарядилась в новехонькую серую юбку с оборками и серую кофточку со вздутыми рукавами: эти могут разрешить себе обновки, они — «порядочные», у них накоплена малая толика деньжат. Шафером был девятилетний их сын Тонда, подружкой — семилетняя дочурка Барушка. Весело вели они к алтарю собственных родителей. Однако веселье Тонды скоро кончилось. Кто-то вбил ему в голову, что он должен петь какую-нибудь свадебную песню, и научил мальчика одной из них; и вот, едва процессия тронулась, Тонда затянул:

Ваша дочка не плоха,
Тихая, как рыба,
За нее от жениха
Вам скажу «спасибо».
Мне отдали вы ее,
Воспитали вы ее,
За нее вам говорю:
«Я благодарю...» —

и тут же получил подзатыльник от щедрой руки жениха-отца. Но — эка невидаль, подзатыльник!..

Во вторник приходил из города жандарм за Адамом. Бедняга Адам! Его уже два раза приглашали в суд — он должен отсидеть сутки, и «не знает, за что». Месяц назад он был в деревне на танцах, и там слегка подрался: одного выбросил за двери, другого сшиб под стол, третьему разбил голову — так неужто за это?! На суде Адам признал, что «он ему проветрил башку» и думал, что на этом все и покончено между ним и помощником судьи, как это принято среди порядочных людей,— а тут вдруг садись на сутки! И за то, что он не явился в назначенный день, то есть вчера, сегодня заявился сюда полицейский! Прежде всего он спросил, где инженер; инженер куда-то делся, никто не знал, где он. Тогда жандарм осведомился, где Адам; Адама, оказывается, никто и не знал. Вот еще Комарек мог бы знать Адама, но нет, пожалуй, и не Адама, а Франту Шнопхоуна.

— А какой он из себя? — полюбопытствовал кто-то.

— Да что я, знаком с ним, что ли?! — взорвался жандарм.

— Во-во, как раз такой тут и пробегал, в точности такой — до того спешил, что все мозоли порастерял; коль побежите за ним, еще догоните!

Все стали «хороводом» вокруг жандарма — один свистел, другой визжал, третий ухал, четвертый лупил лопатой по бочке, как по турецкому барабану, пятый швырял об камни черепки, уже раздался клич: «Валяй, ребята!» — и, пожалуй, изваляли бы ребята жандарма на совесть, не подоспей тут инженер. Взял он его за руку и увел к себе. Успокоив по возможности оскорбленного блюстителя, инженер напоил его, обещал, что послезавтра Адам непременно явится для отсидки, и даже проводил жандарма немного. Мрачный вернулся инженер, упрекая всех, что они хотят втравить его в неприятности с властями.

— Адам, послезавтра вы должны отправиться туда — поняли? Иначе мы друг другу не подойдем.

Адам кивнул головой — ладно, мол. Когда же инженер удалился, он махнул рукой и сказал, обращаясь ко всем:

— Пусть меня черт заберет, если я не проведу панов — или я не Адам!

Среда пропела свою балладу еще на рассвете. Столько брани, верно, никогда еще не лилось из уст одного человека, сколько босяк Мартинка высыпал перед восходом солнца на босяка Башту. А Башта, который обычно за словом в карман не лезет, сегодня почти не отвечал. Так только, вставит порой словечко или пожмет плечами и скажет: «Н-ну-у!» Зато обступившие их «австралийцы» от смеху еле держались на ногах.

Мартинка и Башта — уже много лет неразлучные друзья, но вчера они все же поругались в своем логовище. Дело в том, что

Prioglie

Самуэл Проут. Тынская улица.

Башта снимает квартиру у Мартинки. То, что он не платит за квартиру,— наплевать, но он, лентяй, палец о палец ударить не желает: отказывается ходить в лес за мхом, даже помочь законопатить щели и то не согласен. Мартинка разозлился и выставил Башту. Зимней ночью оставил его без крова, без денег на водку!

Башта ходил вокруг логовища, как кошка, останавливался, слушал, потом вдруг нагнулся, исчез в двери и появился снова, неся в руках кафтан, штаны и башмаки Мартинки: заложит все это в деревне, и так далее...

Рано утром Башта уже снова был на своем месте, ожидая, что сделает дорогой друг. Из логовища первым долгом вырвался поток ужасных проклятий, затем высунулась лохматая голова; Мартинка озирался во все стороны, пока не увидел спокойно ожидающего Башту.

И пошло! Ругательства летели, как камни. А Башта все — ни слова; наконец он вздохнул:

— Н-ну, все же не по-христиански ты поступил — выставил друга на мороз, да еще без крейцера!

— И ты заложил вещи?!

Башта грустно кивнул.

— Где?

— В деревне.

— Как же я теперь туда попаду?

— А кто ж его знает?

Снова брань. Наконец пришел судья Зоубек и велел Баште посадить полуголого Мартинку себе на спину и донести его до деревни. И после этого помириться. Башта еще поломался, но Мартинка обещал полное прощение и три «половинки». Тогда Башта взвалил приятеля на спину. Мартинка вдруг ощутил прилив юмора, остальные босяки — тоже, одни вскочили на спину другим, и тут уже целый эскадрон с диким гиканьем помчался к деревне...

Четверг. В этот день Адам доказал, кто кого перехитрит — паны его или он панов. О, Адам — он себе на уме! Выбрал он молодого, достаточно прилично одетого босяка, заплатил ему пятерку, вручил свою повестку — и босяк Друбек отсидит эти сутки за Адама!

Босяк Друбек — парень такой, что залюбуешься. В армии он был капралом, отслужил и вернулся домой к родителям. Но не повезло ему, ибо отец его был дегтярем. Однажды послал старый Друбек молодого Друбека в местечко с бочонком колесной мази. День был жаркий. Парень вспотел, устал и остановился по дороге в босяцкой корчме.

Здесь шла карточная игра, и молодой Друбек принял в ней участие. Но когда он подсаживался к играющим, то не знал, естественно, что к вечеру этого памятного дня босяки будут разыскивать по всем чердакам и сеновалам босяка Мркоша,— который весь день самоотверженно держал банк,— чтобы его убить. Слишком поздно узнал Друбек, что Мркош приносил из местечка корчмарю совершенно новые карты, которые, правда, успел уже кто-то отметить очень точно и гармонично, под цвет узоров на рубашке. Так случилось, что бочонок с колесной мазью не дошел до местечка, а Друбек уже не вернулся к отцу.

Да что толковать — теперь-то речь ведь идет совершенно о другом. Жандарм и тюремщик не знают Адама в лицо, дело выгорит, а после как-нибудь Адам, может быть, расскажет об этой проделке помощнику судьи — то-то будет потеха! На участке уже сегодня *великий смех*, Адама будто подменили — такой он ходит веселый.

Миновал полдень. Кто это там идет? Ей-богу — Друбек!.. И с ним — гром и молния! — жандарм...

А дело развивалось совершенно естественно. Легким, упругим шагом подошел Друбек к тюремщику и подал ему «свою» повестку. Парень тюремщику понравился.

— Вы наверняка в армии служили?

— Отслужил! — гордо ответил Друбек.— Капралом был, вот мой военный билет.— И он подал тюремщику свой сохраняемый в кармане воинский документ. И все! Когда после этого Адам удалялся в обществе жандарма из «Австралии», оба смахивали на пару медведей.

Пятница, как известно, день несчастный. Млинаржик,— обычно его называли «Трубка»,— работал на катке, утрамбовывающем землю, и черт или господь знает, что он там делал, только вдруг оторвался у него мизинец на левой руке. К счастью, тут оказался доктор, объезжавший участок, и перевязал руку. Млинаржик, как ни в чем не бывало, продолжал работать, зато бросили работу несколько других босяков. Один копал у леса могилу шести футов глубиной и шести длиной, другой сколачивал гроб, а жена его шила из белых тряпок подглавник в гроб и саван. Третий сооружал носилки, четвертый плел из еловых ветвей гигантский венок. А после работы, к вечеру, были похороны — великолепные, трогательные. Оторванный мизинец обмыли, облекли в саван, положили в гроб и под всеобщий горький плач гроб заколотили.

Затем Шнейдер держал весьма прочувствованную речь, ставя возлюбленного усопшего в пример всем присутствующим; особен-

но он напирал на то, что «покойник никогда, никогда не напивался». Потом оратор отошел, и Комарек окропил носилки и гроб с помощью мокрой тряпки. Два «отрока» и две «девы» подняли носилки на плечи и пустились в путь. За гробом шла длинная процессия, по два в ряд; пары держались за руки. Впереди шли женщины, непрестанно причитая — таковы уж женщины! За ними попарно шагали более стойкие мужчины, распевая похоронную песню. Но ни разу не удалось им допеть до конца строфу:

Слезы вытрите свои,
Слезы проливные.
О родители мои,
Милые, родные... —

ибо всякий раз их прерывало всеобщее рыдание, взрыв горя, надрывающего сердце! А тотчас за гробом шел Млинаржик, как ближайший родственник усопшего.

Так что же тогда принесет с собой суббота?

Инженер направился к рабочим. Те поздоровались с ним, и один из них подошел ближе:

— Покорно прошу, пан инженер, есть у меня к вам просьба.

— Какая?

— Не откажите, пан инженер! Сегодня ночью жена у меня слегла...

— Ну конечно, а мне быть крестным отцом! Вы хотите сказать, что никого другого не нашлось... Ладно, раз уж без этого не обойтись... Когда назначите время, приходите — пошлю кого-нибудь в церковь за себя!

Это немного испортило настроение инженеру. «За последний месяц это четвертый,— значит, опять посылай за двумя серебряными монетами! Надо бы сразу целую корзину заказать! — ворчал инженер.— Плодятся, как кролики! Если так дальше пойдет, скоро каждый босяк будет называться в мою честь Пепиком или Пепичкой! Да что поделаешь...»

Утренние часы промчались быстро. Хорошее настроение не возвращалось больше к инженеру. Работа шла теперь медленно, промерзшая земля трудно поддается. «Не работа — могила!» — жаловались рабочие, а более опытные, предвидя, что трудности еще только начинаются, твердили: «Нет, тут толку не будет!» Конечно, они, несмотря на свою опытность, не разбирались в деле, но и сам инженер не был доволен.

Он обрадовался, когда подошел обеденный час, и быстрым шагом отправился домой.

Перед домиком его поджидал босяк Вашичек — вполне приличный человек, он нравился инженеру.

— С чем пришли, Вашичек?

Босяк, чем-то взволнованный, вертит в руках шапку. Смуглое лицо его побледнело, глаза странно горят, будто в страхе, губы трясутся.

— Ну, в чем дело, говорите!

— Да вы уж изволили слышать,— бормочет Вашичек.

— Что я слышал? Ничего я не слышал, говорите скорей, а то холодно.

— Так вы ничего не слыхали?

— Да говорю же вам — ничего...

— Про эту кирку...

— Про какую такую кирку?

— Это неправда! Я ее не крал. Отроду я такого не делал! — И из глаз Вашичека выкатилась слеза.

— Подумаешь, какое дело! Что, кирка у нас пропала?

— Нет, нет, не у нас, это было уже два года тому назад, под Хебом.

— Мне кажется, вы рехнулись, Вашичек!

— Господи, да нет же! Говорят, на меня уже и в суд подано!

— Кто вам это сказал?

— Товарищи в воскресенье в корчме.

— Они над вами подшутили. Из-за кирки — да не будьте смешным! Ступайте домой да пообедайте хорошенько, до свидания!

Инженер вошел в свой дом. Он пообедал, закурил, вздремнул. Выйдя снова, часа через два, из дому, он увидел спешащего, задыхающегося Зоубека.

— Пан инженер... несчастье!

— Что? Что такое?

— Вашичек повесился!

— Не может быть — ведь я же с ним...

— Он уж, верно, часа два висит...

— Да где же?

— В кустах у линии!

— Вы смеетесь — там и дерева-то ни одного нет!

— И все же — вон, взгляните сами!

Они поспешили к названному месту. На линии никто не работал, над кустами двигались головы босяков; и в этих кустах — «в десяти саженях от линии», соответственно предписанию, висел бедняга Вашичек; он даже не висел — ростом он был выше этого искривленного деревца; он привязал свой фартук к верхушке и бросился в петлю, сделанную из кожаных завязок фартука, и так

удавился. Он наполовину висел, наполовину стоял на коленях — лицо синее, глаза выкатившиеся.

Инженер подошел к нему.

— Да, здесь человеческая помощь уже не нужна — тело давно остыло! Оставьте его так, пока не прибудет комиссия, и отправляйтесь работать. Ночью придется кому-нибудь сторожить его; сами решайте, кому дежурить!

Недобрый, неладный был тот вечер в «Австралии». Чувства босяка, правда, ничего не значат, но...

«Ну подожди, сегодня ты умаслишь инженера»,— подумал к вечеру Комарек. И после работы отправился к инженеру.

Тот, угрюмый, сидел над чертежами. Угрюмо посмотрел он на Комарека, даже не ответил на приветствие. Со времени неудавшегося опыта он Комарека и видеть не хотел.

— Я буду дежурить ночью у Вашичека,— выдавил из себя Комарек.

Инженер — ни слова.

— Добровольно, пан инженер.

Инженер — ни слова.

Комарек начал переминаться с ноги на ногу.

— Замерзнете вы там в ваших тряпках — и мне жалко не будет,— заявил наконец инженер.

— Я у кого-нибудь одеяло возьму. Вот кабы хоть немного водки, только чтоб согреться...

— Напьетесь, и тогда уж наверняка замерзнете!

Комарек уничтожен.

— Нате, я вам все-таки дам несколько крейцеров на водку. Но берегитесь — вы кончите хуже, чем Вашичек. Неужели в вас не осталось ни крупинки достоинства? Неужели нет никаких средств исправить вас?!

Комарек задумчиво почесывает нос.

— Вы очень добрый и умный пан,— отвечает он наконец.— Только ведь что же — не получается...

Он завернулся в одеяло и сел в нескольких шагах от трупа.

Выпил, разворчался. Слова инженера пришли ему на память.

— Тоже мне,—бурчит он себе под нос.—«Хуже, чем Вашичек». Какое кому дело! Сила у меня есть, я еще молодой... Вот как не станет силы — тогда правда... Но — красть не буду! А что? Ремес-

ло! Знать бы хоть, какое ремесло... или вот научиться бы коням зубы подделывать, чтоб моложе казались... А, ладно — буду собирать тряпье и себя первого в корзину брошу, черт возьми! А чудно будет...

Он обернулся к мертвецу. Месяц ясно освещал посиневшее лицо и выкатившиеся глаза.

Комарек задрожал.

VII

Он сидел долго-долго, уставившись в землю.

«Вы кончите хуже!.. Неужели нет никаких средств исправить вас?»

Никак не выходят из головы Комарека слова инженера.

И как-то странно ему...

Будто не инженер говорит ему горькие эти слова, нет, будто говорит он их сам, Комарек! Будто стоит он сам перед собой, положив самому себе руки на плечи, смотрит сам себе в глаза — смотрит холодно, нелицеприятно. Будто спрашивает сам себя — в последний раз в этой жизни: «Неужели нет никаких средств?»

Вдруг острая боль пронизывает его.

Почему бы не быть такому средству, почему бы ему не быть! Только б не надо было думать о себе, исправлять себя, работать для себя! Ведь кому он нужен — теперь-то... Однажды утром нашли его, грудного, в лодочке, вытащенной на берег около лужицкого перевоза; могут теперь и мертвым где-нибудь найти! Вот был бы у него человек, ради которого стоило бы... тогда... тогда бы... Да в конце-то концов, по чьей вине стал он босяком — по своей, что ли?!

Рука его потянулась к карману за бутылкой, пробка вылетела, но будто какая-то сверхчеловеческая сила задержала бутылку около самых губ.

«Нет, сегодня нет,— я и так уж часто прикладывался... И жарко мне, жарко!»

Голова его упала на руки.

Было когда-то такое теплое, такое прекрасное полуденное июльское солнце! Сидел он с ней, с русоволосой, румяной Анной, в поле, в тени снопов, и лицо его сияло. «Нет, не пойдешь ты ни за Бартоша, ни за лесника — об этом я уже позаботился! С той недели начнут здесь строить железную дорогу, я уже записался на работу. Там, где каждый день выбрасывают миллионы,—

неужто там работящий и бережливый бедняк не сумеет отложить пару грошей? Я уже справлялся: любой поденщик, коли постарается, может заработать на собственный домик. Десятку в неделю — и через год у нас свой домик с садом, и тогда поженимся».

Он ушел на дорогу и построил себе просторную лачугу рядом с остальными.

Прошло не много времени, всего несколько недель, и Анна осиротела. Пришлось ей выбираться из материнского жилья. Она поддалась на уговоры и после воскресной проповеди переселилась в босяцкую квартиру жениха. А все потому, что священник говорил проповедь на слова Книги Руфи: «Где ты умрешь, и я хочу умереть, и там хочу погребенной быть»... Так было сломлено сопротивление Анны.

Недели и месяцы работали они вместе, жили дружно, расчетливо. Вдруг... но зачем так подробно об этом вспоминать, ведь это история, каких сотни тысяч! Ведь и верности-то женской не бывает на свете. Вдруг он увидел раз, как старшой обнимает его Анну где-то в складе,— и через час Комарека уже не было в поселке.

Где блуждал он — до сего дня и сам не знает. Бродил с места на место, тратил накопленные деньги, пил — и пил тем больше, чем больше первое впечатление теряло остроту возмущения, чем упорнее подавала голос мысль, что Анна, быть может, вовсе не так уж и виновата, как он думает. Что, может быть, он обидел и себя и ее, приняв развязную шутку за правду — или не наказав насилия.

Он воспрянул. Начал разыскивать Анну, писал домой — но Анна тоже исчезла, «из-за позора», и никто не знал, куда она скрылась.

Мутные волны босячества сомкнулись над Комареком навсегда...

Он вскочил с земли. Диким, подозрительным взглядом окинул соседние кусты, потом взор его вперился в лицо удавленника. Комарек не мог оторвать от него глаз, труп притягивал его все ближе и ближе.

— Да... ведь правда... — шептал он.— Ведь я могу убедиться, виновата ли она была! Никто еще не закрывал ему глаза, и если я спрошу, виновата ли Анна, и закрою ему левый глаз, и он больше не откроется...

И вот уже Комарек стоит перед трупом. Вылезшие из орбит глаза удавленника тускло мерцают в лунном свете, как вода, подернутая сальным налетом. Комарек поднял правую руку, уперся

четырьмя пальцами в лоб несчастного Вашичека и большим пальцем опустил левое веко. Мертвец качнулся.

Мертвый, ты пред господом витаешь,
К нам любви и злобы не питаешь.
Все скажи пред божиим судом,
А потом спи крепким, вечным сном...

Комарек отнял руку, не отрывая взгляда расширенных глаз от трупа. Одеяло свалилось с плеч, открытые губы дрожали, обе руки он поднял вверх...

Мгновение глаз удавленника оставался закрытым, потом веко легонько вздрогнуло — показалась щелочка, и постепенно, медленно веко поднялось...

— Невинна! — завопил Комарек и пал на землю.

Он рыдал, как ребенок.

Долго лежал он так, пока вдруг теплая рука не коснулась его. Комарек вскочил — перед ним стоял инженер.

— Вы плачете, Комарек,— опять напились?

Комарек отрицательно замотал головой.

— Так что же тогда с вами?

— Она была невинна! — вырвалось у Комарека; он схватил руку инженера и начал ее целовать.

— Кто?

Голова босяка упала на грудь.

— Пойдемте ко мне, сюда мы пошлем кого-нибудь другого,— сказал инженер через некоторое время, прервав рыдания Комарека. И добавил мысленно: «А то завтра комиссия найдет тут двоих».

VIII

До двадцатого февраля,— а февраль в том году выдался необычайно теплый,— в «Австралии» произошли странные вещи. Не то чтобы кого-нибудь из босяков похоронили — вообще немыслимо, чтоб кто-либо об эту пору умирал, зимой ведь земляные работы не производятся! Нет, произошли вещи куда удивительнее. Воцарилась скука — половина веселья улетучилась; казалось даже, что мороз заморозил все дружеские отношения!

Башта, например, уже не был жильцом у Мартинки. Настоящей причины, правда, никто не знал, но «Вдова Трубка», как называли Млинаржика после потери мизинца, утверждал, что както вскоре после сочельника вызвал Мартинка Башту из битком набитой корчмы, и на воле будто бы произошел следующий разговор:

— Башта, молчи,— ты украл у пантафирки булку?

— Украл.

— Эх, Йозеф, зачем ты так меня опозорил,— горестно вздохнул Мартинка и дал Баште две оплеухи.— Я с тобой больше не знаюсь!

Башта даже не защищался, и они разошлись.

И Шнейдер с Комареком уже не жили вместе! Они не разругались,— вернее всего, они и не сумели бы этого сделать,— однако все было очень странно. В трактире они садились рядом, но почти не разговаривали друг с другом, а уж об общей босяцкой песенке и речи не было! Комарек почти и не смотрел в глаза Шнейдеру, будто стыдился какого-то малодушного поступка; Шнейдер же почти не спускал с друга глаз, выражавших ту дружескую скорбь, с какой мы смотрим на дорогого нам человека, который высоко возносится, чтоб тем вернее и ниже пасть. В общих разговорах в трактире Шнейдер теперь тоже редко участвовал, а Комарек если что-нибудь и произносил, то чаще всего какую-нибудь нравственную сентенцию; при этом Шнейдера прямо передергивало, рука его со стаканом замирала в воздухе, и он, раскрыв рот, вперялся взглядом в приятеля. О Комареке было известно, что в течение последних трех месяцев он только четыре раза был пьян; о Шнейдере говорили, что этот напивался каждый день больше, чем когда-либо прежде. Комарек рано уходил спать; он работал теперь на складе инструментов и заодно был слугой инженера, у которого и жил. Шнейдер, если можно так выразиться, никогда не ходил домой. И когда Комарек отправлялся восвояси, Шнейдер либо глядел ему вслед своими кровавыми глазами и качал головой, либо же выходил за ним и выпрашивал у него в долг еще на «половинку».

Но сегодня, двадцатого февраля, случилось такое, что никто не мог понять, с чем его едят.

Белянка, собака инженера, давно уже болела. Это была славная собака, право, вполне подходящая для железнодорожника,— она никогда не лаяла на босяков. Но то, что вытворял с ней инженер, было уж чересчур. Из самой Праги приехал какой-то врач, и судья Зоубек утверждал, что слышал, как инженер говорил тому лекарю, будто он «всю ночь не спал из-за этой болезни».

Белянка с помощью врача благополучно околела, и тогда-то началось главное. Три дня лежала она на парадной постели, а сегодня утром ее положили в желтый гроб, и были похороны. В двух экипажах приехали знакомые инженера, чтоб проводить Белянку к могиле; гроб несли восемь мальчишек, которым инженер выдал по новой куртке и по длинной креповой ленте через плечо.

Могилу выкопали в крутом откосе железнодорожной насыпи. И когда Белянку похоронили, всем босячкам было приказано возить землю тачками на это место и утаптывать насыпь. На опасные рейсы инженер всегда посылал женщин. Мужчины беспечны, съезжая с откоса, они, чего доброго, сядут в тачку,— сколько раз уже случалось, что они разбивали повозку и сами вылетали из нее на две сажени вверх и падали на камни, распластавшись, как лягушка.

В тот вечер кантина была набита битком. Собрались все мужчины, ни один не отправился в деревню. Все ощущали жгучую потребность потолковать.

Но так уж всегда бывает, когда есть в чем-нибудь потребность! Они пили, чокались, сидели, стояли, временами чей-нибудь кулак с грохотом обрушивался на стол — и все же было совсем тихо, разве что рассмеется погромче тот, кто только что ударил по столу. Каждый знал, о чем ему больше всего хотелось бы поговорить с остальными, но никто не представлял, с какого конца взяться за дело.

— Комарек,— начала вдруг пани пантафирка, уже красная, как пион,— правда ли, что гроб для суки стоил пять гульденов?

В трактире воцарилась мертвая тишина.

— Пять пятьдесят,— не сразу и как-то неохотно ответил Комарек.

— И будто на гробе был герб? — продолжала женщина.

Комарек не ответил.

— О, черт! — рявкнул в тишине судья Зоубек, стукнув по столу, и замолчал. Облокотившись на стол, он уставился на свой стакан.

— А чего бы ему и не похоронить ее, коли он ее любил,— промолвил Вдова Трубка.— Человек всегда может любить пса!

— Еще бы,— подхватила пантафирка,— мне часто пес милее человека...

— А сука милей бабы,— ни с того ни с сего съязвил Шнейдер, будто с цепи сорвался.

Судья Зоубек только головой покачал да помахал кулаком, словно хотел что-то сказать.

— А что,— вмешался десятник Адам,— пес, он всему может научиться, как и человек. Есть у него какой-то разум. Пес и водку пить научится.

— А я видел собачку,— начал босяк Мартинка,— которая тащила человека из реки, из Бероунки. Да ведь знал же кто-нибудь из вас длинного Роубала! Так вот, тот Роубал был пьян вдрызг: обнял он собаку поперек тулова, так мы их и похоронили потом в одной могиле.

— Добрый человек всегда немую тварь... того... А наш инженер разве не добрый человек? — снова заговорил Адам.

— Добрый... Добрый...— послышалось со всех сторон.— Он все объясняет, даже как лучше тачку повернуть!

— И следит, чтоб не обсчитывали нас. И водку в кантине проверяет...

— И его не проведешь, нет! Как тут в «Австралии» поначалу было, помните? Обмануть его хотели, дали на пробу хорошую водку, а нам...

— И как это у тебя язык поворачивается, бездельник! — разгневался пантафир.— Чтоб я, да...

— Ну что вы, вам — все мое почтение,— забормотал Шнейдер,— а вот жена ваша — воровка!

Пантафир прикусил язык. Оглянулся на свою оскорбленную половину, но, увидев, что супруга удалилась в спальню и, следовательно, ничего не слыхала, предпочел смолчать.

— Нет, дьявол меня забери... тут что-то не по мне! — взревел снова судья Зоубек.

— А что?

— А то,— произнес Зоубек, подняв голову, но никому не глядя в глаза,— думается мне — тут что-то кроется! Тут и сука, и три дня, леший знает, и гроб... И зачем понадобилось закапывать ее так высоко в насыпи! Я говорю — не иначе, инженер там деньги свои закопал, или серебро, или еще что, я ведь не сегодня родился и уже малость в свете... того...

Наступила глубокая тишина.

И она стояла долго. Видно, романтические догадки Зоубека произвели впечатление. Лишь время от времени кто-нибудь бурчал, как медведь.

Тут поднялся Комарек.

— С меня за две «половинки», пантафир!

Он пожал руку Шнейдеру и пошел. Но, остановившись около судьи Зоубека, оперся рукой на стол и произнес, тоже никому не глядя в глаза, как можно более спокойным тоном:

— Кто что любит, пускай себе любит! А коли кто осмелится ковыряться в насыпи — сегодня ночью или когда,— застрелю. Мне все равно.

IX

«Австралию» постигла судьба всего, что есть на свете прекрасного. Когда вырастает где-нибудь новое железнодорожное полотно, босячество — его молодой, пышный цвет. Но всем известно, что когда под цветком завязался плод, когда этот плод потянулся

к солнцу — нежные лепестки цветка опадают. Работы на участке нашего инженера шли к завершению, и босяки постепенно исчезали. Они уходили в поисках новой работы в другие, далекие края, в новые временные поселки. Напрасно стали бы вы искать итальянцев и немцев, не было уже и десятника Адама, босяков Друбека, Мартинки и Башты, супругов Мареков и Вдовы Трубки, не было Шнейдера — как-то раз после получки он исчез, не попрощавшись даже с Комареком. Только судью Зоубека задерживал инженер до сих пор да еще Комарека.

Комарек поразительно изменился. Быть может, он больно переживал подчеркнуто тайный уход Шнейдера, быть может, жалел друга. Но он не спрашивал о Шнейдере и никогда не произносил его имени. Ходил Комарек теперь всегда будто объятый думой. Но инженер был доволен им. Комарек тщательно исполнял все его приказания, работал, что называется, не покладая рук. Разваливающаяся, почти исчезнувшая с лица земли «Австралия» словно вовсе уж не влекла его,— по воскресеньям и по праздникам Комарек под вечер всегда отправлялся в местечко. Возвращался всякий раз трезвым, но еще более задумчивым.

Вместо босяков-чернорабочих здесь теперь работали ремесленники, и ради них пантафир еще продолжал держать кантину. Да, по правде говоря, он и не знал, куда ему сейчас податься, а жена его настаивала на сохранении трактира, пока только возможно,— а то «где же мне напиться, когда на меня накатит?».

Столяры вытесывали шпалы, каменщики возводили стены домиков для путевых обходчиков. Инженер объявил всем: кто хочет стать путевым обходчиком, пусть сдаст экзамен, а за дальнейшее он, инженер, ручается. Но претенденты должны быть женаты. Зоубек с большой радостью тотчас подал заявление и пытался склонить и Комарека к этой карьере и к браку. Он предлагал ему в жены дочь свою Барушку: «Возьми ее, она лентяйка, будет верна тебе!» Комарек только головой качал.

Наступило и прошло еще одно воскресенье. Вечером инженер сидел в своем домике и разбирался в счетах. Вдруг он услышал шаги и голос возвращающегося Комарека.

Тот, постучав, вошел в комнату.

— Мне ничего не надо, я уже поужинал,— сказал инженер, даже не подняв головы.

Комарек неподвижно стоял у двери и мял в руках шляпу. Лицо его выражало волнение, он со страхом смотрел на инженера.

Через некоторое время инженер наконец обратил на него внимание.

— Вам что-нибудь надо?

Комарек молчал. Потом вдруг быстро подошел к инженеру, упал на колени и, дрожа, начал целовать ему руку.

— Я... Я нашел свою Анну! — выдавил он.

— Вот как! И хотите стать обходчиком и жениться на ней?

— Да, если вы еще раз поможете мне, пан...

— Помогу. Да встаньте же, вы словно дитя малое! Как вы ее нашли? Где она?

Комарек опустил глаза — у него перехватило дыхание.

— Здесь она,— с трудом проговорил он,— я привел ее сюда, чтоб она тоже просила... Переночует она у пани пантафирки, утром вернется в местечко — я ей там квартиру приготовил поприличнее, но... Я ее сейчас приведу! — добавил он быстро, словно желая поскорее разделаться с чем-то неприятным.

И через минуту он ввел в комнату свою Анну. Она торопливо подошла к инженеру и тоже хотела поцеловать ему руку, но инженер отступил, и она остановилась как вкопанная, опустив голову. С удивлением всматривался инженер в ее лицо — еще молодое, но уже несущее на себе печать, видимо, бурно прожитой темной жизни,— лицо, преждевременно увядшее под румянами; смотрел на ее фигуру — сильную, но теперь, перед ним, будто сломленную.

Комарек не отрывал глаз от инженера и, казалось, следовал за каждой его мыслью: во взгляде молодого человека трепетал смертельный страх, губы его дрожали. Наконец он снова бросился к ногам инженера и, обхватив его колени, горестно закричал — закричал так, что слезы выступили у инженера:

— Она не виновата!

X

Прошло два года, а может быть, и три, сразу не вспомнишь.

Ехал я раз из Германии в Чехию и случайно, на какой-то станции, встретился с инженером. Сели мы с ним в одно купе у открытого окна — была летняя ночь — и, беседуя, смотрели на гористый край, прекрасный, несмотря на серое покрывало ночи.

Постепенно светало; солнце еще было скрыто далеко за горами, но легкий, свежий ветерок, пробежавший по земле, и резкое охлаждение воздуха предвещали уже новый день. Мы проезжали границу Чехии.

— Помните Комарека? — спросил инженер.

— Босяка? Да.

— Сейчас мы увидим его самого или его жену. Отсчитайте еще четыре сторожки — в пятой живет он.

— Одна...— стал я считать, высунув голову в окно.— Вторая... Третья, четвертая... Ага, вижу!

Комарек стоял, встречая поезд; в утренних сумерках он был похож на мертвеца. Окно в его сторожке было распахнуто, в комнате горела лампочка у маленького гроба, над которым склонилась женщина — она как раз целовала трупик.

Все это мелькнуло мимо — и исчезло. Мы завернулись в наши пледы — утренний воздух был такой холодный...

МАЛОСТРАНСКИЕ ПОВЕСТИ

НЕДЕЛЯ В ТИХОМ ДОМЕ

I. В РУБАШКЕ

Мы чувствуем, что находимся в наглухо закрытом помещении. Кругом непроглядная тьма, ни в одну щель не пробивается свет. Темнота такова, что если на мгновение мы видим что-то светлое, то это красные круги, которые возникают в нашем воображении.

Когда напряжены все органы чувств, замечаешь самые ничтожные признаки жизни. Обоняние говорит нам, что воздух в комнате какой-то густой и спертый. Мы чувствуем запахи еловых или сосновых дров, топленого масла или сала, сушеных слив, тмина, чеснока и даже водки. Слышно тикание часов. Должно быть, это старые стенные часы с длинным маятником, на конце которого тонкий жестяной круг, наверняка немного покрививший-ся. Иногда равномерно качающийся маятник словно запинается, и жестяной круг слегка вздрагивает. Эти перебои повторяются регулярно, и они тоже однообразны.

Мы слышим дыхание спящих. Здесь, должно быть, спят несколько человек. Они дышат несогласно, вперебой: один вдруг словно замолкает — другой дышит громче, один словно запинается вместе с часами — другой торопится; в эту смесь звуков вдруг врывается чье-то более мощное дыхание, как новая глава повести о сне.

Часы тоже глубоко вздыхают, и в них что-то трещит. Кажется, что после этого их тиканье становится более приглушенным. Один из спящих пошевелился, и его одеяло зашелестело, деревянная кровать скрипнула.

В часах снова затрещало, раздались два быстрых металлических удара — раз, два, и тотчас вслед за боем дважды глухо про-

куковала кукушка. Спящий опять пошевелился. Слышно, как он приподнялся на постели и откинул одеяло. Вот он задел ногой спинку кровати, стукнул тяжелыми шлепанцами, сунул в них ноги, встал и сделал несколько осторожных шагов. Потом остановился, шаря по какой-то деревянной поверхности; в руке у него что-то зашуршало, явно спички.

Несколько раз он чиркает спичкой, несколько раз возникает фосфорная вспышка, снова чирканье, потрескивает дерево, человек бормочет что-то, опять чиркает. Наконец появляется огонек и освещает фигуру в ночной рубашке. Огонек гаснет, но костлявая старческая рука уже зажгла наполненную маслом и водой коптилку с черным фитильком, плавающим на пробке. Огонек замерцал, как крохотная звездочка. Спичка полетела на пол, звездочка стала понемногу разгораться. Над ней стоит старуха в рубашке, спросонья протирает глаза и зевает.

Женщина стоит у стола, около выкрашенной темной краской деревянной перегородки, разделяющей помещение пополам. Свет коптилки слишком слаб, чтобы мы могли увидеть, что делается за перегородкой, но обоняние нас не обмануло: мы на задней половине бакалейной лавочки. Видимо, одно и то же помещение служит и лавкой и жильем. В лавке много товару, всюду стоят мешки, высятся нагруженные доверху корзины и кошелки, со стен свисают связки и пучки.

Вздрогнув от ночной прохлады, женщина берет со стола коптилку и ставит ее на прилавок, среди горшков со сливочным и топленым маслом. Здесь же стоят весы и висят связки чеснока и лука. Женщина садится к прилавку, подтягивает ноги чуть ли не к подбородку и вынимает из ящика шкатулку с нитками, ножницами и прочей мелочью. Она извлекает все это и добирается до дна шкатулки. Там хранятся книги и какие-то бумаги, испещренные цифрами. Бумаги старуху не интересуют. Она берет одну из книг и раскрывает ее. Это так называемый «Большой сонник». Старуха некоторое время перелистывает страницы, потом, позевывая, погружается в чтение.

За перегородкой слышится ровное дыхание уже только одного спящего: другой, разбуженный шумом или мерцающим светом, пошевелился на постели.

— Ну, в чем там дело? — заворчал хриплый стариковский голос.

Женщина не отвечала.

— Что с тобой, старая?

— Ничего,— сказала она.— Лежи. Ничего со мной не случилось. Вот только озябла я что-то.

И она зевнула.

— А что ты там возишься?

— Приснился мне покойник отец. К утру сон забудется, вот я и пошла посмотреть в сонник. Такой хороший сон никогда мне не снился... Но до чего холодно, а ведь июнь на дворе!

Она продолжала читать, покачивая головой. С минуту было тихо.

— А который час? — раздалось из-за перегородки.

— Уже два.

Дыхание третьего спящего стало прерывистым, он просыпался, разбуженный громким разговором.

— Ну, кончай уж скорей, дай нам выспаться. Ты только и думаешь что о своей лотерее! — сказал старик.

— А от тебя нет ни минуты покоя. Спи и не приставай.

За перегородкой раздался глубокий вздох. Человек на третьей постели тоже проснулся. Старик продолжал ворчать:

— Сын, гуляка, приходит домой к полуночи, а ночью меня будит эта лотерейщица. Ну и жизнь!

— Отвяжись ты, не приставай! Работаешь как проклятая, а в награду одни попреки. Даже от собственного мужа... Лучше бы образумил сына, было бы полезней! Я уж замучилась совсем, выбиваюсь из последних сил.

— Возьми его в руки, попробуй обуздай этого кутилу.

— Чего вам опять от меня надо, папаша? — спросил молодой мужской голос.

— Молчи, тебя тут не хватало.

— Я, однако же, не понимаю...

— Он не понимает! — язвительно сказал старик.— Ах, бездельник!

— Но...

— Молчи!

— Он еще будет оправдываться! Хорошего сынка вырастили себе на радость,— вставила мать и снова зевнула.

— Сын! Да разве это сын! Это же кровопийца!

— Как же я пью вашу кровь, ежели я сплю?

— Бродяга ты, бродяга!

— Ну и выродок!

— Хорош цветочек.

— Негодяй!

Сын лежа начал тихонько насвистывать песенку «О Матильда!».

— Посмотри на него, он еще насмехается над нами.

— Погоди, бог его накажет! — сказала мать и написала на деревянной перегородке мелом цифры 16, 23 и 8.— Мы еще дождемся этого часа, а потом можно будет умереть спокойно.— Она

закрыла шкатулку, погасила свет и прошлепала к своей постели.— Раскается, да поздно... Да замолчишь ли ты?

Сын перестал насвистывать.

— Ногтями согласился бы разрывать могилу, да уж не выкопаешь. Я тебе говорю, ногтями согласился бы...

— Прошу тебя, жена, оставь ты эти свои ногти в покое, сосни, да и мне дай спать!

— Ну конечно, я все должна терпеть! Боже, боже, что за наказание!

— С ума можно с вами сойти!

— Что за люди! Что за люди!

— Ночью все люди плохи,— поддразнивал родителей парень.

— Что он там болтает?

— Кто его знает, у него всегда какой-нибудь вздор на уме, у этого безбожника.

— Свали на него шкаф, или давай выгоним его из дому, сейчас выгоним!

— Прошу тебя, успокойся наконец! У меня голова идет кругом! — воскликнул старик.

Старуха заворчала ему в ответ, парень промолчал.

Некоторое время было слышно, как люди ворчат, отплевываются, но эти звуки становились все тише и тише. Старуха уснула, старик еще раз повернулся на кровати и последовал ее примеру. Сын снова тихонько, будто шмель, начал было гудеть «О Матильда!», но не докончил и тоже заснул.

В густом воздухе, как и раньше, с запинкой качался маятник. Кроме этого звука, слышалось лишь дыхание трех спящих. Они дышали несогласно, вперебой, каждый на свой лад.

II. ДОМ ПОЧТИ ПРОСНУЛСЯ

Утреннее июньское солнце уже довольно долго освещало двор дома, когда проснулись его обитатели. Первые шаги по двору прозвучали гулко, как под сводами; даже грохот тяжелых возов, донесшийся с улицы, не смог заглушить их. Поодиночке, словно одна ждала, пока уйдет другая, из квартир выходили женщины, простоволосые и нечесаные, некоторые в платочках, низко надвинутых на лоб, чтобы солнце не било в заспанные глаза. Женщин было немного, и все они походили на неряшливых служанок: одеты кое-как, на ногах стоптанные туфли, в руках кринки, порожние или уже с молоком.

Постепенно двор ожил. На окнах поднимались белые занавески, некоторые окна открывались, в них появлялись люди, огляды-

вали небо и холм Петршин и сообщали находившимся в глубине комнаты, что сегодня с утра погода отличная. На лестницах и галереях женщины, встречаясь, желали друг другу доброго утра.

В крайнем окне второго этажа фасадной стороны дома появился высокий человек с красным угреватым лицом и всклокоченными седыми волосами. Опершись о подоконник, он высунулся из окна; рубашка у него на груди распахнулась, открыв мощную грудь, укутанную во фланель, несмотря на июнь. Взглянув на соседнее окно со все еще спущенной шторой, он повернулся и сказал в глубину комнаты:

— Еще нет семи.

Но тут это окно стукнуло и открылось. В нем появился мужчина высокого роста, но помоложе первого. Волосы у него были черные, заботливо уложенные, это свидетельствовало о том, что ежедневно он делает одну и ту же прическу. Круглое, гладко выбритое лицо мужчины на первый взгляд не отличалось особой выразительностью. Облачен он был в элегантный серый халат, а в руках держал шелковый желтый платочек, которым протирал стекла золотых очков. Вот он еще раз дохнул на них, снова протер и, надев очки, повернулся в нашу сторону. Как у всех близоруких, его лицо без очков сохраняло несколько беспомощное выражение, теперь оно стало определеннее. Это был добряк с приветливым и веселым взглядом. Однако все черты его лица говорили о том, что ему уже далеко за сорок. А глазу опытного наблюдателя было сразу видно, что он старый холостяк. Священника и старого холостяка узнаешь в любом наряде.

Старый холостяк расположился на подоконнике, на белоснежной, красиво вышитой подушке, и оглядел синее небо и сверкающий зеленью Петршин. Улыбка утра отразилась и на его физиономии. «Какая красота! Надо вставать пораньше»,— прошептал он. Тут он перевел взгляд на третий этаж флигеля. Там в чистом и прозрачном окне мелькнуло женское платье. Улыбка на лице старого холостяка стала шире. «Ну конечно, Пепичка... Йозефинка уже на кухне»,— снова прошептал он. Он пошевелился, и большой бриллиант, украшавший палец его правой руки, сверкнул на солнце, что привлекло внимание старого холостяка к собственной особе. Он слегка повернул кольцо так, чтобы бриллиант находился точно над серединой сустава, подтянул манжеты и с явным удовольствием посмотрел на свои полные белые руки. «Неплохо, если бы они загорели немного, это полезно для здоровья»,— прошептал он и поднял правую руку к носу, словно для того, чтобы понюхать ее и убедиться в своем укрепляющемся здоровье.

Напротив, в третьем этаже, скрипнула дверь, и на балкон вышла хорошенькая девушка лет восемнадцати. Воплощенное утро!

Фигура у нее была прелестная, стройная. Густые темные вьющиеся волосы, схваченные простой бархатной лентой, спускались волнами на плечи. Лицо было круглое, глаза светло-синие, взгляд открытый, кожа розовая и нежная, рот маленький и яркий. Вся она производила очень приятное впечатление, хотя вы смутно сознавали, что черты у нее вовсе не классические. Но разве можно сразу заметить это, если весь облик девушки так приятен. В маленьком изящном ушке изъяна явно не было, ведь именно это ушко хотелось поцеловать, хотя его украшали только небольшие и дешевые серебряные серьги. Кроме серег, на девушке не было никаких украшений. Правда, ее белоснежную шейку обвивал тонкий черный шнурок, но драгоценность, которую он поддерживал, скрывалась на упругой груди. На девушке было светлое в узкую полоску платье, закрытое до самой шеи. Простота этого платья делала ее еще прелестнее.

Девушка несла в руке коричневый кувшинчик с жестяной крышкой.

— Доброе утро, Йозефинка,— произнес звучный тенор.

— Доброе утро, доктор! — отозвалась Йозефинка и с приветливой улыбкой посмотрела на окно напротив.

— Кому это вы несете завтрак?

— Вниз, барышне Жанине. Она хворает, и я несу ей мясного бульону. Оставила для нее немного со вчерашнего дня.

— Жанина больна! Ничуть не удивительно, ведь она живет там, словно в каземате. Целый год окна не откроет, да еще держит у себя этого мерзкого пса. Сегодня он лаял и выл всю ночь. Надо будет позвать живодера!

— Ах, что вы! — испугалась Йозефинка.— Барышня с ума сойдет!

— А чем она, собственно, больна?

— Старость,— печально ответила Йозефинка и пошла к винтовой лестнице.

— Добрая душа эта Пепичка... Йозефинка,— пробормотал холостяк, не сводя глаз с того места во втором этаже, где должна была появиться девушка, а когда она промелькнула там, перевел взгляд к выходу, внизу во дворе.

Йозефинка пересекла двор и подошла к двери в первом этаже. Она взялась за ручку, но дверь была заперта. Девушка повертела ручку, постучала в дверь, но никто не отозвался.

— Постучите в окно! — посоветовал ей сверху холостяк.

— Не поможет. Надо не стучать, а колотить. Пепичка этого не умеет. Постойте, я стукну,— раздался голос с лесенки, которая вела во двор, и молодой человек лет двадцати двумя прыжками

перемахнул через ступеньки и очутился возле Йозефинки. На нем был легкий летний костюм серого цвета, голова не покрыта. Волосы его были густые и черные, лицо длинное, глаза живые.

— Ну, так помогите мне, пан Бавор,— попросила Йозефинка.

— Сперва посмотрим, что тут в кувшинчике,— пошутил молодой человек и протянул руку.

— Ну, ну, ну! — заворчал наверху холостяк, но замолчал, увидев, что девушка ловко увернулась.

— Я сама постучу.

Но молодой человек уже стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Внутри послышался пронзительный вой пса, и снова все стихло. Присутствующие подождали с минуту. Однако никаких признаков жизни не было. Молодой человек подошел к другому окну и изо всех сил застучал по раме. Опять отозвался пес; он лаял долго и ожесточенно и закончил пронзительным воем.

— Барышня на вас рассердится! — сказала Йозефинка.

— Э, что там! — возразил молодой человек и застучал снова. Потом он приложил ухо к двери и прислушался. Слышно было только, как скулит пес.

Стук взбудоражил весь дом. Рядом с холостяком высунулись из соседнего окна уже виденный нами высокий мужчина с красным угреватым лицом и две женщины, одна постарше, другая помоложе. На балкон напротив вышла рослая мать, а за ней маленькая, хворая и сгорбленная старшая сестра Йозефинки. На балконе второго этажа появились трое — полуодетый лысоватый мужчина, женщина примерно одних с ним лет, тоже в неглиже, и девица лет двадцати, в нижней юбке и небрежно наброшенном платке, вся в папильотках. По лестнице, ведущей на двор, спустились еще две женщины в совсем простеньких платьях. Та, что пониже, живая и подвижная особа, на ходу обернулась и крикнула:

— Маринка, побудь в трактире, на случай если кто зайдет.

Вторая, повыше ростом,— уже знакомая нам толковательница снов из предыдущей главы. Потому ли, что ей к лицу белоснежный чепец, или потому, что в солнечном свете все люди выглядят — и бывают — приятнее, весь ее облик показался нам сейчас симпатичным.

— Что тут случилось, Вацлав? — обратилась она к молодому человеку.

— Сдается мне, что барышня Жанина померла,— сказал тот.— Постучу-ка я еще!

И он замолотил в дверь изо всех сил.

— Зря это, сходите-ка за слесарем! — крикнул сверху холостяк.— Я сейчас тоже спущусь.

Юный Бавор уже исчез со двора. Со всех сторон слышались вопросы и ответы, все говорили наперебой, но вполголоса.

Холостяк, уже совсем одетый, спустился вниз, и едва он успел сказать перепуганной Йозефинке, что ни к чему все время держать в руках кувшинчик, как юный Бавор уже привел подмастерья слесаря.

Замок был быстро взломан, и дверь открыта. Некоторое время никто не решался войти. Потом Вацлав собрался с духом и смело вошел в комнату, за ним последовал холостяк, у порога столпились женщины.

В большой комнате было сумрачно и жутко. Окна, выходившие во двор и на Петршин, были занавешены, свет еле проникал в них. В затхлом воздухе пахло пухом и плесенью. С потолка свисала густая, черная, заросшая пылью паутина. На голых побуревших стенах висело несколько темных картин, украшенных старыми бумажными цветами, на которых толстым слоем лежала пыль. В мебели, правда, не ощущалось недостатка, но вся она была ветхая и старомодная, наверное, много-много лет стоявшая без употребления. На низкой кровати из-под грязного желтого одеяла виднелись бледные тощие руки и сухонькая, лысая голова. Остекленевшие, погасшие глаза смотрели в потолок. Старый, косматый, безобразный пес бегал по кровати от ног к изголовью и отчаянно лаял на вошедших.

— Куш, Азор! — сказал Вацлав сдавленным голосом, как будто боялся глубоко вдохнуть этот воздух.

— Я полагаю, что она уже умерла, иначе пес не выл бы,— тихо заметил холостяк.

— Уже в царствии небесном. Прости ей бог все прегрешения и нам тоже. Будь нашей заступницей, святая богородица! — заикаясь, бормотала старуха Баворова, и по лицу ее покатились крупные слезы.

— Если в доме после похорон свадьба, быть браку счастливым,— сказала ошеломленной Йозефинке маленькая трактирщица. Смертельно бледная девушка вспыхнула и, не сказав ни слова, повернулась и вышла.

— Сперва надо убрать собаку... как бы она нас не покусала... у нее на зубах уже может быть трупный яд,— заметил холостяк и отступил на два шага.

— Сейчас мы ее уберем,— сказал Вацлав и подступил к одичавшему стражу покойницы. Пес все больше свирепел, хотя хорошо знал всех присутствующих. Оглушительно лая, он отскочил к изголовью кровати, когда Вацлав, что-то ласково приговаривая, подошел к нему. Вацлав протянул левую руку и, как только пес

кинулся на нее, схватил его правой рукой и поднял. Пес яростно забился у него в руках, но молодой человек крепко держал его.

— Куда его деть?.. Дайте мне, мамаша, ключ от дровяного сарая, я пока посажу его там в ящик,— сказал он и ушел, унося завывающего пса.

— Говорят, барышня-собачница померла? — гаркнул в дверях громкий голос. Он принадлежал лысоватому мужчине, которого мы видели на балконе второго этажа. Лысое темя его прикрывал потертый и выцветший цилиндр, форма которого говорила о том, что такие шляпы были модны много лет назад. Жидкие светлые волосы были тщательно уложены на висках. Кожа на щеках свисала круглыми складками, как бывает у сильно похудевших толстяков: каждая щека походила на опустевший мех. Фигура у него была угловатая, грудь впалая, руки болтались как-то без толку.

— Да, умерла.

— Так надо поскорее перевезти ее в часовню, чтобы в доме не было покойницы, да и расходов будет меньше.

— О расходах не беспокойтесь, пан домохозяин,— успокоительно сказал холостяк, который тем временем рылся в шкатулке с бумагами, стоявшей на столе.— Покойница сама за все заплатит. Она, очевидно, была готова к смерти и еще вчера разбирала свои бумаги. Вот тут, под этим кудрявым париком, я обнаружил документ, подтверждающий, что Жанина состояла в Сватогашта́льском союзе ремесленников, а вот членская книжка «Общества христианской любви». Ее погребение будет оплачено и панихида тоже.

— Бедная барышня-собачница, а ведь она получала пенсию всего восемьдесять гульденов в год! Мой сын писал для нее квартальные расписки,— удивилась старая Баворова.

Было ясно, что «собачницей» покойную называли не в насмешку, а просто по привычке.

— Пособие на погребение составит пятьдесят гульденов; кроме того, она получит хорошую могилку и освященную позолоченную дощечку с надписью,— заметила трактирщица.

— А что там еще за бумаги? — полюбопытствовал вернувшийся Вацлав.

— Ничего ценного. Личные письма многолетней давности,— ответил холостяк, рассматривая бумаги.

— Дайте мне их почитать! Воспоминания старой девы — это интересно. Я залезу на крышу и там прочту. Сегодня понедельник, во всем доме стирка, и всюду так пахнет мылом и горохом,— в день стирки все варят гороховый суп,— что некуда деться, кроме как на крышу... Писатель должен все читать, а ведь я хочу стать писателем. Время у меня есть, я в отпуску до четверга,— верно, пан домохозяин?

— Только смотрите не потеряйте ни одного листка, принесите потом все назад.

— А кто позаботится о погребении и всех формальностях? — спросил домохозяин.— Возьмитесь за это вы, пан доктор. Denn diese Leute kennen's nicht [1].

— Кабы мой сын не служил с тобой вместе, показала бы я тебе за это «кенэнс-нихт»,— проворчала про себя Баворова.

— Придется взяться мне,— добродушно сказал холостяк.— Я схожу в церковь, к нотариусу и в приходское управление, но раньше вы, пан Бавор, сходите-ка за врачом. Когда он напишет справку, принесите ее мне на службу.

Вацлав охотно принял поручение и не медля отправился за врачом.

— А мы с трактирщицей обмоем и уберем покойницу. Окажем ей последнюю услугу,— сказала Баворова.

— Вы очень добры,— подхватил холостяк.— Однако же мне пора.

— Мне тоже,— сказал домохозяин.

И мужчины ушли.

— Что поделываете, соседка?

— Да вот рассуждаю о житье-бытье.

— А что за сон вам приснился? — продолжала трактирщица.— Вы хотели рассказать.

— Ах да, прекрасный сон. Мне приснилось, что ко мне пришел мой покойный отец, дай ему, господи, царствие небесное, он скончался двадцать с лишним лет тому назад. Мать умерла раньше него, и он совсем потерял покой, все ходил на кладбище, пока сам не помер. Легкая была смерть. Они любили друг друга, как дети. Помню, как они убивались из-за того, что во время войны с французами им нечем было кормить нас, ребятишек...

— А как звали папашу?

— Яном, поэтому в соннике номер шестнадцать... И вот вижу я во сне, что стоит отец передо мной у нас в лавке. Только я хотела сказать: «Откуда вы взялись, папенька?» — а он подает мне целую груду пирожков — их было двадцать три, счастливое число! — и говорит: «Берут меня в солдаты, надо идти». Увидеть рекрута во сне — это к веселью... номер восьмой. Повернулся он и ушел...

— Повернулся? Номер шестьдесят один!

— Смотрите-ка, я и не подумала об этом. Так, значит, шестьдесят один, двадцать три и восемь.

---

[1] Ведь эти люди не разбираются в таких делах! *(нем.)*

— Поставим на эти номера целых пятьдесят крейцеров, раз это такой ясный сон, а?

— Почему бы и не поставить?

— Выиграем много денег, и... ведь ваш Вацлав и моя Маринка нравятся друг другу.

III. В СЕМЬЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

Пора, однако, более определенно обрисовать и место действия, и моих героев. Герои, правда, сами в ходе событий будут выдвигаться на передний план. О месте же действия можно сразу сказать, что это один из самых тихих домов тихой Малой Страны. Дом этот своеобразной архитектуры, которая, однако, далеко не редкость на крутом косогоре Оструговой улицы. Здание вытянуто в глубину и фасадом выходит на Оструговую улицу, а задней частью в глухую, словно вымершую Сватоянскую уличку. Из-за этого косогора получается, что задний трехэтажный флигель дома ниже, чем двухэтажный передний. Главное здание и флигель не связаны между собой строениями, между ними высятся слепые стены соседних домов.

В фасадном корпусе налево видна с улицы мелочная лавка, направо трактир. Чтобы попасть во второй этаж, надо подняться по лестнице, ведущей во двор, оттуда пройти направо по короткой галерейке к винтовой лестнице, подняться по ней на следующую галерейку и оттуда — в короткий коридор второго этажа. Весь этаж занимает одна квартира, окна которой выходят на улицу и во двор. Здесь живет отставной чиновник финансового ведомства с женой и дочерью. Холостяк, он же «пан доктор», вернее делопроизводитель-практик без диплома, Йозеф Лоукота, снимает у них комнату, ход в которую через кухню.

Винтовая лестница ведет дальше на чердак. Внизу, по обе стороны лестницы, тянутся дровяные сараи. Двор сильно покатый. В нижнем этаже флигеля находится уже известная нам квартира покойной Жанины. Ступеньки рядом ведут в подвал, а еще дальше винтовая лестница соединяет два этажа, опоясанные длинными балконами, и чердак. В третьем этаже живет Йозефинка с болезненной старшей сестрой и матерью; ее покойный отец служил в каком-то имении. Их квартира невелика, хотя и занимает весь этаж, и ее окна выходят во двор и на Петршин.

Во втором этаже обитает домовладелец с семьей, которую мы уже видели мельком на балконе. Нанесем же им первый визит вежливости.

Через кухню, где мы снова встречаемся со старой Баворовой, на этот раз в роли служанки, у корыта с бельем, мы попадаем в комнаты второго этажа. Мебель тут довольно простая и неказистая. Налево постель под вязаным покрывалом, направо комод и высокий платяной шкаф, несколько стульев и посередине круглый стол, покрытый выцветшим и немного рваным ковром. У окон столики для шитья, стулья и скамеечки для ног, в простенке большое зеркало, стены пусты. Комната выкрашена в зеленый цвет. Комод и рама зеркала покрыты пылью, но это неважно, ведь гостей принимают в гостиной, а эту комнату Баворова называет передней, vorzimmer. В соседней — гостиной, значит,— стены украшены несколькими хромолитографиями, и меблировка ее состоит из рояля, канапе, стола, шести расставленных вокруг него кресел в белых чехлах и кровати. Кровать еще не застелена, и на ней сейчас валяется девочка, вторая дочь хозяйки. В третьей комнате — спальня родителей.

В первой комнате у окна сидит хозяйка, у другого окна ее дочь. Мамаша все еще полуодета, девица в нижней юбке, хотя уже одиннадцатый час.

Хозяйка — дама с резкими чертами приплюснутого лица и острым подбородком. На носу у нее очки, и она что-то усердно шьет из грубого полотна. По черному штемпелю на полотне видно, что это казенное солдатское белье. Девица — если описать ее возможно короче — унылая, бесцветная блондинка. Лицом она похожа на мать, только черты не так резки и острый подбородок сохраняет прелесть молодости. Глаза у нее блекло-голубые, волосы, все еще закрученные на папильотки, видимо, не особенно густы. Мы замечаем теперь, что ей уже далеко за *двадцать*.

На окне стоит корзинка с шитьем, а на стуле лежит тонкое белье. Рядом моток красных ниток. Девица, очевидно, начала метить белье или, по крайней мере, собралась делать это. На столике, который ходит ходуном при каждом ее движении, стоит чернильница и лежит раскрытый альбом с записями на память. Перед девицей разложена старая газета, на ней чистый лист бумаги, а на подоконнике, под рукой,— раскрытая тетрадь с немецкими стихами. Девица, видимо, намерена переписать какой-то стишок, но перо у нее что-то капризничает, она пробует его на старой газете и всячески приводит в порядок, о чем свидетельствуют ее измазаные чернилами губы.

Мать поднимает голову и, поглядев на дочь, качает головой.

— И охота тебе заниматься этим? А?

— А вот буду!

— Ты была в кухне, Матильда, когда утром Лоукота смотрел на наше окно? Это у него каждый день, как утренняя молитва.

— Какое мне до него дело, пусть глядит! — пронзительным голосом отвечает Матильда.

— Ну, поверь, я бы его предпочла тому обер-лейтенанту.

— А я нет.

— Он помоложе и достойный человек, мы знаем его уже не первый год. И денег у него немало накоплено.

— Ах, маменька, ты такая скучная!

— А ты дура!

— Что же это я — тряпка? Что ты вечно за меня цепляешься? Позволь мпе все-таки поступать, как я хочу.

— Позволю, позволю, ты меня выведешь из себя! — сказала мать и, отложив шитье, ушла в кухню.

Девице, видимо, тоже не хотелось расстраиваться. Она спокойно положила перед собой тетрадку со стихами, еще раз обмакнула перо и начала списывать стихи, старательно выводя букву за буквой. Дело шло медленно и давалось не без труда. Наконец первая строчка была готова, после порядочной паузы — вторая и третья, а после получасовых усилий на бумаге красовался весь куплет:

Rosen verwelken Marthe bricht
Aber wahre Freundschaft nicht;
Wahre Freundschaft soll nicht brechen
Bis man einst von mir wird sprechen: «Sie ist nicht mehr»! [1]

Четверостишье было написано готическим шрифтом, многозначительная последняя строчка — латинским. Матильда с удовлетворением созерцала это поэтическое произведение, дважды прочитала его вслух, с особой выразительностью повторив прекрасную заключительную строку. Потом она стала подписывать свое имя, изобразив букву «М» половину «а», но тут на пере иссякли чернила. Девица снова обмакнула перо, опустила его на бумагу... и посадила возле «а» громадную кляксу. Быстро схватив листок, она единым махом слизнула ее.

Клякса явно не смутила Матильду, и было ясно, что из-за этого она не станет снова переписывать стишок. Держа листок в руках, она ждала, пока чернила просохнут. В этот момент из кухни торопливо вошла мать.

— К нам идут Бауэровы, а ты еще не одета. Скорей надень что-нибудь.

---

[1] Все завянет в свой черед,
Только дружба не умрет,
Дружба жить должна дотоле,
Пока нас не станет боле! *(нем.)*

— Чего еще надо этим сычихам? — сердито сказала дочь и спрятала листок в бювар. Она встала и подошла к постели, где лежала белая домашняя кофточка. Мать тем временем быстро собрала грубое солдатское полотно и бросила его в соседнюю комнату. «Валинка, не вставай, к нам идут!» — сказала она лежавшей там дочери и снова закрыла дверь.

В кухне уже слышались женские голоса. Матильда кинулась на свое место и взяла в руки моток красных ниток, ее мамаша тоже устремилась к окну и стала рыться в шкатулке для шитья.

Раздался стук.

— Кто там? — спросила хозяйка.

Появились две женщины, делавшие вид, что они стесняются войти.

— Ах, пани Бауэрова! Матильда, посмотри, кто к нам пришел!

— Ах, ах, какая радость! — воскликнула добрейшая Матильда и радостно захлопала в ладоши.— Хороша же ты, Мария, так долго не показываешься!

И она пылко обняла младшую гостью.

— Мы только на минуточку, фрау фон Эбер,— сказала старшая.— Мы идем наверх, к дядюшке-канонику, а Мария пристала ко мне — хочу повидать Матильду. А почему вы к нам не заглядываете? Вот и выходит, что мы у вас чаще бываем, чем вы у нас. Но сегодня мы в самом деле только зашли по дороге. Еще придем невпопад, говорю я Марии, сегодня ведь понедельник, стирка.

— Ах, что вы! — возразила хозяйка.— Что ж из того, что в кухне стирают? Посидите у нас. Вон девочек все равно не оторвешь друг от друга, так обрадовались встрече. Смотри не задуши ее, Матильда!

Она усадила дам у окна. Старшей гостье было лет пятьдесят, младшей лет тридцать, обе были очень элегантно одеты. Сухое, как у матери, лицо Марии носило отпечаток крайней усталости, которой не могла скрыть даже притворная улыбка, несколько оживлявшая ее лицо. Колючий взгляд с любопытством перебегал с предмета на предмет.

Разговор шел то по-чешски, то по-немецки.

— Надеюсь, у вас нигде не сквозит,— сказала, усаживаясь, старая дама,— у меня, знаете ли, от сквозняка ноют зубы... Мы соблазнились хорошей погодой. Вы видели, какое прекрасное небо, Матильда?

— Видела. Действительно, прекрасное, элегантное.

— О да, очень элегантное! — подтвердила и Мария.

— Вы, кажется, уже шили сегодня? — осведомилась Бауэрова и подняла с полу обрезок ткани.— Это похоже на казенное полотно!

— Д-да, полотно... казенное полотно...— неохотно подтвердила смущенная хозяйка.— Наша служанка, бедная женщина, шьет для интендантства, а сегодня она стирает, так вот я ей немного помогаю... Жаль бедняжку, исколет себе все руки, пока заработает пятьдесят крайцеров в неделю. Тяжелым трудом живет это простонародье!

— Да, бедняжка!

— А ты чем занята, Матильда? Метишь белье? Покажи, какие у тебя метки,— поддержала разговор Мария.— «М. К.»? Ах, да, припоминаю, я слышала, что ты выходишь замуж, надо тебя поздравить. Говорят, за обер-лейтенанта Коржинека? Я его немного знаю, видела как-то у дяди... Ты его любишь?

Матильду не смутил этот вопрос. К чему стесняться перед подругой?

— Да, я решила выйти за него,— объявила она.— Чего ждать, скажи, пожалуйста? Порядочный человек и любит меня. К чему мне еще киснуть?

— Я не рассмотрела его как следует, он, кажется, блондин... или седой? — с невинным видом осведомилась Мария, перелистывая альбом.

— Коржинек совсем не стар,— слегка покраснев, сказала Матильда.— Просто, когда он жил в Граце, у него была плохая квартира и он всегда спал головой к сырой стене. От этого он и поседел. Он сам мне рассказывал. Совсем он не старый.

— Значит, он только строит из себя старика. Каков хитрец! Мужчинам ни в чем нельзя верить!

— О, он хитер! Вчера так меня рассмешил! Я его дразнила, что он много курит, и спросила почему. А он говорит: «Хочу дать губам хоть какую-нибудь работу, пока они не получат настоящую — целоваться. Der ist witzig! [1]

Мария тихонько хихикнула, давая понять, что разделяет такую оценку.

— А почему он перешел со строевой службы в интендантство, если еще так бодр?

— Его хотели послать в Далмацию, вот он и ушел из полка, потому что у него слабеет память.

— ...и он не нашел бы дороги домой из такого далекого края,— сочувственно подсказала Мария.

— У каждого мужчины есть свои недостатки, зато Коржинек состоятельный человек,— быстро продолжала Матильда.— Его отец разбогател во время французской войны.

---

[1] Остроумный мужчина! *(нем.)*

— Да, я слышала, что он торговал деревянными ногами или что-то в этом роде... Но мы, барышни, в этом не разбираемся,— снова сделав невинный вид, сказала Мария.— Вижу, вижу, какой чудный стишок он написал тебе на память.— И она вполголоса прочла:

Dein treues Herz und Tugend Pracht
Hat mich in dich verliebt gemacht,
Mein Herz ist dir von mir gegeben
Vergissmeinnicht in Tod und Leben.
W. Korzineck
Oberlieutenant [1].

— А почему он не написал имя полностью? Как его зовут, Вольфганг, Виктор или как?

— Вацлав. Но ему не нравится это имя, он говорит, что хочет его переменить.

— Да тут у тебя целая тетрадка стихов!

— Это Коржинек мне одолжил.

— Ага, и ты тоже выпишешь для него какой-нибудь стишок? Как мило! Мама, нам не пора?

Мамаши беседовали на хозяйственные темы.

— Пойдем, в самом деле пора. Жаль, что мы не повидались с вашим супругом, но он, конечно, на службе. А где же мой ангелочек, где Вальбурга, разве ее нет дома?

— Дома, но она еще не вставала. Я велю ей до полудня лежать, это, говорят, полезно для голоса. Валинка будет певицей, от нее все в восторге. Она охоча до музыки, как дьяволенок, и, когда отходит от фортепьяно, так от него прямо дым клубится.

— Я должна обнять ее, не могу же я уйти, не поцеловав ангела Валинку. Она тут рядом, не правда ли? — И Бауэрова подошла к дверям в другую комнату.

— Ах, у нас там еще не прибрано! — возразила хозяйка.

— Что за церемонии между своими людьми, пани Эберова! Ведь и у нас бывает не прибрано.— И гостья проскользнула в дверь.

Другим собеседницам поневоле пришлось последовать за ней. Бауэрова заметила на полу груду казенного полотна, и легкая усмешка мелькнула на ее губах, но она не сказала ни слова и поспешила к кровати.

---

[1] О дева, свет моих очей!
Пленен и полон я тоски.
Люблю! И жажду я твоей
Любви до гробовой доски!
В. Коржинек
обер-лейтенант (нем.)

PRAGUE

Самуэл Проут. Староместская башня Карлова моста.

— Не надо, я не хочу! — сопротивлялась ее объятиям Валинка.

— Веди себя как следует, это что еще? — одернула ее мать.— Да, кстати, пани Бауэрова! В четверг мы устраиваем маленький концерт, приходите. Матильда, уговори Марию обязательно прийти!

— Придем, придем полюбоваться на ангелочка! — любезно говорила Бауэрова.

Вторая комната, «парадная», была величиной с кухню и первую комнату вместе, два окна ее выходили на двор. Девицы, взявшись за руки, подошли к одному из них. Они увидели юного Бавора, который вышел из квартиры Жанины и, с пачкой писем в руке, поспешил к винтовой лестнице.

— Кто это? — спросила Мария.

— Чижик, сын лавочницы, которая нам прислуживает. Он страшно важничает и франтит.

— Чижик — это его фамилия?

— Нет, фамилия его Бавор, а мы его прозвали чижиком. Однажды у нас улетел чижик, папа увидел его на крыше, вылез туда, а оказалось, что это край пиджака молодого Бавора. Он всегда вылезает на крышу зубрить. Вот и сейчас, смотри.

— Он студент?

— Нет, он служит вместе с моим папой, но папа говорит, что из него не выйдет толку, лучше бы, мол, этот Бавор прыгнул с с моста в воду, как святой Ян.

— Прощайтесь, прощайтесь, девочки, нам пора идти, Мария! — воскликнула Бауэрова.

Девицы обнялись. Долго продолжались поцелуи и взаимные комплименты по пути через комнаты и кухню к лестнице.

Хозяйка и Матильда остались на балконе.

— Ты слышала, Матильда, как она боялась простудить зубы,— сказала мать, когда гостьи спустились во двор.— А у самой все до одного вставные.

— Еще бы! Служанка всегда моет ее вставную челюсть вместе с посудой после обеда.

Внизу Бауэрова еще раз обернулась и приветливо помахала рукой. Мария послала подруге несколько воздушных поцелуев. Потом гостьи исчезли в темной подворотне.

— Уж сколько раз эта Матильда метила белье своими будущими инициалами и сколько раз спарывала метки,— заметила Мария, поправляя на себе мантильку.— И еще, наверное, не раз будет спарывать.

— Ну, а как же с Коржинеком? Ведь дядя имел его в виду для тебя. Что ты на это скажешь?

— М-м-м...— произнесла Мария и вышла на улицу.

Прошел день, и наступил вечер понедельника. На месте нашего действия тоже вечер. Луна стоит высоко в небе и светит так ярко, что звезды рядом с ней потускнели и только на некотором расстоянии начинают опасливо мерцать. Луна гордо расстелила по земле свой светлый плащ, накрыла им воды рек и зелень берегов, обширные поля и большой город, набросила на площади и улицы,— повсюду, даже в каждое открытое окно, бросила лоскуток этого золотистого плаща.

Проникла она и в распахнутое окно комнатки знакомого нам холостяка и долго была единственной посетительницей этой тщательно обставленной, чистенькой и даже элегантной комнатки. Луне здесь понравилось. Она облила своим светом цветы на столике у окна, покрыв их словно серебряным инеем, улеглась на белоснежной постели, которая от этого стала еще белее, расселась в удобном кресле, осветила письменные принадлежности на столе и даже растянулась на ковре.

Так продолжалось до позднего вечера. Наконец щелкнула ручка, лениво скрипнула дверь, и в комнату вошел хозяин. Он повесил соломенную шляпу на стоячую вешалку у дверей, воткнул трость в особую подставку и потер руки.

— А, вот оно что, вижу, вижу,— тихо пробормотал он,— у меня гостья! Добро пожаловать, госпожа луна! Все ли здоровы у вас дома?.. Ах, проклятое колено!

Последнее восклицание было уже довольно громким, и квартирант, наклонившись, стал растирать ногу. На его освещенном луной лице застыла кислая улыбка. Лоукота выпрямился и стал снимать сюртук. Открывая шкаф, чтобы повесить его туда, он снова забормотал,— нет, на этот раз запел: «Доктор Бартоло... доктор Бартоло, доктор Бартоло-ло-ло... ло-ло-ло». Он снял с вешалки серый халат, надел его, подпоясался красным шелковым шнуром и, все еще мурлыкая «ло-ло», подошел к открытому окну.

— Йозефинка, наверное, уже спит... М-м, кошечка, видит во сне что-нибудь приятное. Этакая прелестная кошечка, и такой хороший характер!

Он снова нагнулся и потер колено, на этот раз молча. Потом сел на подоконник.

— Квартира у них большая, даже велика для них. Жить мы останемся там... только обставим заново... Гм, к матери и к хворой сестре Катюше мы будем относиться хорошо, они достойные женщины. Других родичей у нее нет. Этот ее баварский кузен будет шафером у нас на свадьбе. Йозефинке нужен на свадьбе шафер,

еще бы! Кошечка! Справим свадьбу без шума... «Бартоло-ло-ло!..» Привязалась сегодня ко мне эта ария из «Севильского цирюльника»... «Бартоло, Бартоло!..» Я еще не стар и хорошо сохранился, ого! Для меня промедление еще не подобно смерти. Могу не бояться, что «красивей, чем сейчас, мне в жизни не бывать». Начну новую жизнь, буду всем доволен, а когда человек доволен жизнью, он молодеет.— Холостяк взглянул на круглую луну.— Снится ли ей сейчас что-нибудь? Где там, этакое дитя, спит, наверное, как убитая... Я бы ей нашептал сон...

Он повернулся, снял со стены гитару и, став у окна, взял несколько аккордов.

Внизу во дворе раздался приглушенный собачий вой.

— Азор выбрался-таки во двор,— сказал себе холостяк и высунулся из окна.— Азор, смирно, молчать! — Пес не откликался.— Не буду дразнить его, бедняжку,— решил доктор, повесил гитару на место, закрыл окно и опустил штору.

Подойдя к письменному столу, он зажег свечу и уселся в кресло. У него была привычка наедине разговаривать с собой. И сейчас он продолжал рассуждать.

— Я уже достаточно стар, чтобы не делать глупостей. В моем возрасте такое дело надо провести быстро, но не слишком, не совсем без поэзии. Мой план правилен... Проклятое колено, здорово я треснулся! — Он распахнул халат и осмотрел брюки. На правом колене они были порваны.— Новые брюки! — огорчился Лоукота.— Вот к чему приводит излишняя деликатность. Парочка стояла слева в подворотне,— наверняка это были Вацлав и Маринка! — я подался вправо и налетел на каток для белья. Проклятый Вацлав! Надо будет отговорить его от этих ухаживаний. Они бог весть куда заведут, а ведь он всего-навсего практикант. Жаль парня, он способный, этого у него не отнимешь. Лучше всего ему было бы учиться, но у них нет денег. Надо будет поговорить с ним и об этих его стихах, ни к чему они, пусть лучше думает о службе, раз уж служит. Когда придет за моим отзывом, скажу ему, чтобы бросил писать стихи, все это ничего не стоит.

Он взял со стола толстую тетрадь и начал ее просматривать. В тетради были закладки, и Лоукота открыл тетрадь на первой из них.

— Мой план готов,— продолжал он про себя.— Мне нужны стихи, а сам я сочинять не умею, значит, воспользуемся этими. Не будь их, я достал бы другие, не все ли равно. Йозефинка не узнает, Вацлав тоже, потому что выкинет их по моему совету. Итак, завтра посылаю первое, пока без подписи, но она догадается. Пошлю вот это.

И он прочел вслух:

Ты вся — как горная страна
В те дни, когда шумит весна!
Твоих волос дремучий лес,
Твой взор — как синева небес,
Ланиты — горные цветы,
А голос — трели соловья,
Прекрасен мир, когда в нем ты,
О горная страна моя!
Как горы, ты подчас мрачна,
Как горы, ты подчас ясна,
Изменчива, как горный край,
Но для поэта — вечный рай!
Вернется ль в горной той стране,
Как эхо, песнь моя ко мне?
Или, как горная страна,
Холодным камнем ты полна?

Молодчина! Как описал наши горы, а ведь в жизни их не видывал, уж я-то знаю. «Лес — небес»... очень хорошо! А «голос — трели соловья» — это, пожалуй, уж слишком. Вот что я сделаю, подчеркну эту строчку: «Но для поэта — вечный рай». Мол, только для меня! Девушкам стихи кружат голову. А через недельку бросим вторую бомбу, уже с подписью. Вот что я пошлю во второй раз:

Твой смуглый лик и чернь волос
Навеял мне прохладу грез,
Но пылкий взгляд, рассеяв тень,
Вернет обратно жаркий день.

О солнце смуглое мое!
Скажи, во мраке ночи
Мне путеводным маяком
Твои засветят очи?

О темный месяц в вышине,
Скажи, в сей жизни скучной
Не ты ль дана судьбою мне,
Мой спутник неразлучный?

Однако он умеет писать стихи! Ха-ха! Он кружил бы головы девушкам. Но это, видно, писано для какой-нибудь еврейки, Йозефинка не такая смуглая... Ладно, она не заметит, главное — это звучные стихи и то, что она здесь названа солнцем. Эти стихи вскружат ей голову. Такой пыл и пламень!

Он перевернул еще несколько страниц.

Пусть грянет выстрел прямо в грудь,
Пусть я умру на месте,
Ты в сердце у меня живешь,
И ты умрешь с ним вместе.

Не страшен мне смертельный миг!
Дорогой неземною,
Как узник сердца моего,
И ты пойдешь со мною!

— Это просто ошеломительно, прямо, как выстрел, валит с ног! Девушка, конечно, не устоит, когда влюбленный грозит застрелиться. Так или иначе, мы угостим Йозефинку на третье и этой пилюлей. Это еще укрепит ее чувства... Написано, словно по заказу, для меня... Однако пора спать, спать.— Лоукота сладко зевнул и начал раздеваться.— Самое лучшее место это: «Как узник сердца моего, и ты пойдешь со мною»,— бормотал он, раздеваясь и с педантической аккуратностью складывая одежду на кресле и на тумбочке возле кровати.— Поэт хочет сказать, что запер ее в своем сердце, и если прострелит себе сердце, то убьет и ее. Ха-ха, как же, как же!.. Прочь из сердца... Сегодня тепло, можно спать и без одеяла,— продолжал он, откинул одеяло, погасил свечу и лег.

В постели он удовлетворенно вздохнул.

— «Бартоло...» Ох-ох-хо... «Как узник сердца моего...» Как бишь там дальше?.. «И ты пойдешь со мною!»

И заснул.

Внизу во дворе завыл Азор. Было слышно, как он скребется в дверь. Словно не в силах подавить тревоги, но боясь разбудить людей, пес тихо выл всю ночь.

V. «СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК — НЕ ВЕЗЕТ ЕМУ НИКАК»

(Пословица)

Чиновника финансового ведомства, у которого наш холостяк снимал комнату, звали Лакмус. Он жил в Праге только три года и своего квартиранта получил в наследство от прежнего хозяина квартиры.

Вскоре после того, как семейство Лакмуса поселилось в нашем доме, все его обитатели уже знали, что они кое-какой капиталец сколотили: муж получает солидную пенсию и довольствие. Поэтому соседи уважали Лакмусов, хотя те мало общались с ними. Глава семьи Лакмусова была не очень разговорчива. Если к ней обращались с какой-нибудь просьбой, она делала, что могла, охотно платила вперед за квартиру, когда домохозяин просил об этом, ссужала соседкам муку или масло, когда у тех была срочная надобность, отвечала на приветствия и даже здоровалась первой, но в долгие разговоры не вступала. Из этого, однако, не следует делать вывод,

что она была молчалива,— ее ораторские упражнения часто слышны были из окна всему дому.

Лакмусова, хоть ей и было за сорок, отличалась большой живостью. Ее кругленькая фигура все еще сохраняла свежесть, на лице не заметно было морщин, глаза весело сияли,— в общем, она выглядела, как бойкая вдовушка, хотя у нее уже дочь была на выданье.

Клара, девица двадцати с лишним лет, не походила на мать. Долговязая, как жердь, она не унаследовала пышных форм матери. Ее голубые глаза гармонировали с пышными русыми волосами, а на щеках продолговатого лица еще виднелся здоровый деревенский румянец. Клара была даже менее общительна, чем мать, поэтому Матильда давно отказалась от попыток сблизиться с ней.

Самого Лакмуса соседи редко видели где-либо, кроме как у окна. Его больная нога постоянно требовала домашнего ухода. Раз в несколько месяцев он выходил из дому, а остальное время проводил у себя — глядел из окна на улицу или лечил ногу, лежа на диване, укутанный во фланель и влажные компрессы. Говорили, что он изрядно пьет. При взгляде на его угреватое лицо это казалось вполне вероятным.

Настал второй день нашего повествования, и время уже близилось к полудню, когда Лакмус, не без труда поднявшись с кресла у окна, где он обычно проводил утренние часы, медленно направился к дивану. Он сел, положил ногу на диван и со вздохом, в котором слышалось нетерпение, взглянул на большие, громко стучавшие часы под стеклом, такие же не новые, как и вся мебель в комнате, но говорившие об определенном достатке. Стрелка показывала без нескольких минут двенадцать.

С часов его взгляд перешел на Клару, которая прилежно шила у другого окна.

— Сегодня вы мне даже и супу не подаете,— сказал он с кислой улыбкой, желая не ссориться, а лишь напомнить.

Клара подняла голову, но в этот момент открылась дверь, и в комнату вошла Лакмусова с дымящейся чашкой на тарелке. Лицо ее мужа прояснилось.

— Поди на кухню, Кларинка, приготовь пудинг,— распорядилась мать,— да смотри не испорти, чтобы не оскандалиться перед доктором.

Клара вышла.

— Сегодня я приготовила тебе винный. Мясной бульон, наверное, тебе уже надоел, а, муженек? — приветливо сказала Лакмусова и поставила чашку перед мужем. Лакмус поднял голову и както недоверчиво взглянул на свою супругу, словно эта заботливость

показалась ему подозрительной. Однако он, видимо, был приучен к послушанию, ибо без дальнейших проявлений недоверия принялся за предложенное ему блюдо.

Лакмусова взяла стул и поставила его к столу около дивана, где лежал супруг. Она уселась, положила руки на стол и посмотрела на мужа.

— Слушай-ка, муженек, что нам делать с Кларой?

— С Кларой? А что, собственно, мы с ней должны делать? — отозвался Лакмус, хлебая суп.

— Девочка по уши влюблена. Чем все это кончится? Влюблена в Лоукоту, сам знаешь.

— Она мне об этом ничего не говорила.

— Разве она тебе скажет! А мне она все говорит, ничего не утаивает. Нынче ночью мне пришлось увести ее из кухни. Говорит, что слышала, как доктор читал вслух у себя в комнате такие прекрасные стихи, что она не могла сдвинуться с места. Говорю тебе, она от него без ума. К чему это приведет? Пусть уж лучше выходит за него замуж, а?

Лакмус утер со лба пот, выступивший после обильной винной похлебки, и, помолчав, сказал:

— Он для нее слишком стар.

— Стар! Ты тоже не был юношей, когда я за тебя выходила.

Лакмус промолчал.

— Он крепкий мужчина, хорошо сохранился и не выглядит старым. Да он и не стар! Уж лучше он — мы его знаем,— чем какой-нибудь ветрогон, тем более что с Кларой прямо сладу нет. У него сэкономлено несколько тысяч, жену прокормить сумеет, почему бы не отдать за него Клару, а? Ну, говори же!

— Кто знает, захочет ли еще он на ней жениться,— отважился возразить Лакмус.

— Ну конечно, мы не станем навязываться, если он не захочет,— недовольно сказала супруга.— Этого еще не хватало! Я с ним поговорю... Клара хороша собой, он всегда так мил с ней, она держит его комнату в таком порядке, а он порядок обожает... Я думаю, что ему нужна как раз такая девушка, и дело только в том, что он не уверен в себе, потому что... ну, потому, что он уже не юноша. Ну конечно, это так, и я все устрою,— довольно заключила она. Потом вдруг остановилась и прислушалась.— Ей-богу, он уже дома! И так рано. Он уже поговорил в кухне с Кларинкой, а потом ушел в свою комнату. Пойду туда и все устрою.

Лакмусова вышла в кухню. Клара стояла у стола и месила в квашне тесто. Мать подошла к ней, обхватила руками ее голову и повернула к себе.

— Ты раскраснелась, как роза,— ласково сказала она,— и вся дрожишь. Ах, девочка, девочка! Не бойся, все будет в порядке.

Она взглянула в маленькое зеркало на стене, поправила чепец и рукава и подошла к двери квартиранта. Постучала. В ответ ни звука. Лакмусова постучала еще раз, сильнее.

Лоукоте сегодня не сиделось на службе. Он был рассеян, даже мрачен, им владело мучительное и вместе с тем приятное беспокойство, некий поэтический трепет. Кому знаком этот трепет, тот знает, как он мешает заниматься будничными делами. Какая-то неясная мысль, словно гусеница, точит ваше сознание, блуждает в мозгу, беспокоя то один, то другой нерв, и, наконец, вас охватывает возбуждение. Нечего делать, приходится бросить работу и целиком предаться этой мысли, пока она не выкристаллизуется с полной ясностью, пока, как гусеница, не пристроится где-нибудь и не совьет прочный кокон. И если солнце фантазии достаточно горячо, кокон потом лопнет, и из него вылетит бабочка поэзии.

Бабочка в виде стишка о «Горной стране» прилетела к холостяку рано утром. Он приколол ее пером на розовую почтовую бумагу, вложил в конверт, залепил душистой облаткой и вручил городской почте. Волнение поздней любви вскоре охватило его и, все усиливаясь, выгнало наконец со службы. Лоукота медленно брел домой. Проходя по двору, он даже не взглянул, как обычно, наверх, на Йозефинкины окна. Нетвердыми шагами вошел в кухню своей квартиры с таким чувством, словно счастливо миновал какую-то опасность. Он перевел дыхание, кровь спокойнее побежала по его жилам, и, когда он здоровался с Кларой, голос его дрогнул, чего раньше не случалось. Он ненадолго задержался в кухне и прошел к себе в комнату.

Войдя, он закрыл дверь. Голова склонилась на грудь. Он машинально начал снимать сюртук и, выпростав из рукава одну руку, задумался. Его тянуло к окну. Он не знал, пришло ли посланное им утром письмо, прочла ли уже Йозефинка стихи. Словно боясь какой-то кары, он остался стоять в трех шагах от окна и в щелочку между рамой и занавеской глядел на противоположные окна. И вдруг вздрогнул,— по винтовой лестнице флигеля поднимался почтальон.

Лоукота отскочил от окна. В этот момент в дверь постучали.

— Войдите! — с усилием сказал он и покраснел, как пион.

Дверь открылась, и появилась Лакмусова.

Лоукота торопливо сунул руку в рукав сюртука и изобразил на лице улыбку.

— Не помешаю, пан доктор? — осведомилась хозяйка, закрывая за собой дверь.

— Ах нет, пожалуйста, моя дорогая хозяйка,— бормотал, заикаясь, жилец, попав наконец в рукав.

— Сегодня вы, против обыкновения, рано вернулись домой... Уж не больны ли?

— Что вы имеете в виду, моя дорогая хозяйка? — глупо спросил Лоукота, все еще находясь в полном смятении.

— Позвольте,— продолжала Лакмусова и, подойдя к нему, коснулась лба.— Да, вам явно нездоровится. Вы раскраснелись, как девушка. Наверное...

— Это от быстрой ходьбы... я всегда быстро хожу... я, дорогая моя хозяйка...— бормотал Лоукота.

— Может, приготовить компресс?

— Нет, нет, со мной ничего, совсем ничего, присядьте, пожалуйста, моя дорогая хозяйка, чтобы вы мне этот сон...— приглашал Лоукота и подвел хозяйку к креслу.

Она села, а он расположился в кресле напротив.

— Вы все время называете меня «дорогая», словно я действительно дорога вам,— улыбнулась она так кокетливо, что, будь Лоукота в более спокойном состоянии, он удивился бы.— Если бы я не была замужем, кто знает... Но мой муж — такая добрая душа... Приходится уступить вас той, что помоложе,— продолжала она в том же шутливом тоне.

Лоукота слегка улыбнулся и, не зная, что сказать, промычал.

— Не думаете ли вы, пан доктор, что приятно, когда есть, кому сказать «моя дорогая»?

— Ну да... а как же... когда сливаются сердца... особенно весной...— с трудом откликнулся Лоукота.

— Ах, вот как вы заговорили, проказник. Что ж удивляться, если вы думаете о любви! Вы в зрелом возрасте, цветущего здоровья, были финансовым...

Лоукота сидел как на иголках. «Хозяйка все знает о тайной любви к Йозефинке и о стихах»,— решил он. Этот вывод вдруг ободрил его.

— Во всяком случае, могу о себе сказать, что берег и деньги и здоровье,— не без гордости заметил он.

— Ну конечно,— согласилась Лакмусова.— Вы можете жениться и на молоденькой.

— На старой я бы и не женился, сложившуюся натуру не воспитаешь по-своему, она уже сформирована другим,— осторожно сказал Лоукота.— Я взял бы молодую, добродетельную, послушную, покладистую, кто вполне еще может приноровиться к тебе.

— Разумеется! — согласилась Лакмусова.— Только такую! А скажите, но только искренне, вполне искренне, как если бы вы

говорили с матерью девушки, которую выбрали себе в жены.— Взяв Лоукоту за руку, она пристально посмотрела ему в глаза.— Скажите, не подумываете ли вы уже об этом?

«Она все знает, к чему стесняться!» — мелькнуло у Лоукоты, и он чистосердечно признался:

— Да!

— Ну вот, я так и говорила мужу,— радостно всплеснула руками Лакмусова.

— Как!.. Пану Лакмусу?

— Ну конечно! Вы подумайте: он сказал: «Неизвестно, захочет ли еще он на ней жениться».

— Как же мне не захотеть!

— Я так и знала! Ах вы проказник, все-то за материнской спиной, чтобы мать ничего не знала!

— Мать? Зачем же ей знать? Я думал, никто ничего не знает, даже дочь.

— Дочь-то не знала, но от матери ничего не скроется. Как девочка была несчастна! Совсем помешалась, днем только и разговоров что о вас, ночью бредит во сне. Право слово, я тоже была молода, но отродясь ничего подобного не видывала.

Лоукота от удивления раскрыл рот. В его взоре отразилось недоумение, и на губах появилась смущенная, несколько самодовольная улыбка.

— Все к лучшему,— продолжала хозяйка.— Когда мы сюда переехали, я не хотела квартиранта, а теперь рада, что вы у нас живете. Клара будет счастлива!

— Барышня Клара?! — произнес Лоукота, приподнимаясь с кресла.

— Говорю вам, она прямо с ума сходит. Венчаться надо поскорей. Вы живете у нас, могут пойти сплетни, да и чего еще ждать? Мы знаем вас, вы знаете нас... знаете, что бог нас не обидел, все будет хорошо.

— Но позвольте,— забормотал Лоукота, шагая по комнате,— насколько мне известно, у барышни Клары был какой-то поклонник, адъюнкт из провинции...

— Был, но теперь его уже нет. Женился на вдове мельника! Вы думаете, Клара жалела о нем? Боже упаси, она уже тогда любила вас! Ее словно подменили. Я ей все твердила: «И не думай, не женится пан доктор на девушке, которая уже с кем-то целовалась»,— но разве ее уговоришь! Оно, конечно, один поклонник все равно что ничего.

Лоукота не знал, что делать, и далее хозяйка развивала свою мысль уже одна.

— Со свадьбой не будем мешкать. У вас, конечно, документы в порядке, вы ведь такой аккуратный человек!

Лоукота покачал головой, Лакмусова поняла это по-своему.

— Итак, подготовьте все необходимые бумаги, вы ведь знаете, что нужно... Обедать сегодня будете, конечно, у нас?

— Нет, нет! — энергично воскликнул доктор.— Пожалуйста, подайте мне обед сюда.

— Вы застенчивы, как юноша,— засмеялась довольная теща.— Клара о еде и думать не сможет, когда я ей обо всем расскажу.

— Умоляю, не говорите, прошу вас, ничего не говорите! — упрашивал взволнованный Лоукота.

Хозяйке это показалось смешным.

— Если бы не помощь более опытных людей, хотела бы я знать, как бы вы довели дело до конца! Только приготовьте нужные бумаги, доктор. Больше вам ничего не потребуется.

— Нет!

— Тогда пока всего хорошего!

— Честь имею кланяться!

Остолбеневший Лоукота долго стоял посреди комнаты. Наконец он глубоко вздохнул и вскинул голову.

— Хорошенькое дело! — проворчал он сердито.— Да, я приготовлю бумаги, непрошеная пани теща, но не для вашей дочки. Считайте себя снова в отставке... Ничего не поделаешь, надо спешить. Завтра пошлю второе стихотворение, послезавтра третье, а на третий день,— э, нет, не годится, это будет пятница, кто знает, что может случиться в пятницу? — стало быть, послезавтра же к вечеру сделаю предложение! А потом спешно перееду отсюда, ибо, бог мой, мало радости будет каждый день возвращаться сюда со службы, а там...

Он замолк, потому что открылась дверь и вошла хозяйка в сопровождении служанки, которая несла столовый прибор.

— Я вынула для вас серебряный прибор, пан доктор,— сказала будущая теща, ставя посуду на стол.— К чему вечно держать наше серебро под спудом? — Она подошла к Лоукоте и, положив ему руку на плечо, сообщила полушепотом.— А Кларинке-то я уже все рассказала!

VI. РУКОПИСЬ И ГРОЗА

Закончив предыдущую главу, мы тотчас же начинаем следующую рассказом о том, как вернулся со службы домовладелец Эбер. Супруга его, занятая на кухне, почти испугалась, увидев входив-

шего мужа. Обычно он приходил около трех часов дня, а сегодня явился в первом часу и держался очень странно,— она давно его таким не видела.

Выглядел он совсем не так, как утром: потертый цилиндр, надвинутый на густые и колючие брови, бросал резкие тени на некогда полные щеки. Волосы, аккуратно причесанные утром, сейчас торчали из-под цилиндра. В обычно тусклых глазах появилось выражение значительности, большой рот был крепко сжат, так что подбородок выдавался даже несколько более обычного, впалая грудь была слегка выпячена.

В правой руке Эбер держал какой-то продолговатый бумажный свиток, а левая его рука временами дергалась, как у марионетки, когда оператор не знает, что с ней делать.

Жена взглянула на него, в голове у нее мелькнула догадка, и ее острое лицо вытянулось еще больше.

— Уж не выгнали ли тебя со службы? — спросила она внезапно охрипшим голосом.

Супруг качнул головой, уязвленный таким вопросом.

— Позови мне сюда старую Баворову,— мрачно сказал он.

При других обстоятельствах жена едва ли примирилась бы с таким ответом, но необычный вид мужа подействовал на нее, и недовольство не успело прорваться. Пани Эберова выглянула в окно.

— Вон она как раз идет сюда,— сказала она, увидев спускавшуюся по лестнице Баворову.

Эбер вошел в комнату, подошел к столу и остался стоять, ни на кого не глядя. Он уставился на стол, не сняв цилиндра и не положив свитка. Видно было, что он подготовил эффект и не хотел и не в силах был отказаться от него.

Матильда удивленно посмотрела на отца и разразилась смехом.

— Папенька! — воскликнула она.— Ты надулся, как индюк.

Папенька лишь слегка пошевелился с крайне недовольным видом.

Но тут дверь открылась, и вошла его жена, а с ней старая Баворова.

— Вот она. Скажи ей, что ты хотел,— молвила жена.

Домовладелец повернулся вполоборота к вошедшей. Его взор уперся в землю, рот раскрылся, и он начал торжественно монотонным голосом:

— Сожалею, пани Баворова, но ничего не могу сделать, от меня это уже не зависит. Дела вашего сына плохи. Он легкомыслен, небрежен и все прочее. Дела плохи! Он осмелился написать возмутительный пасквиль о нашем учреждении, о всех нас и даже о самом президенте, нашем начальнике. Да, да! Он писал это на службе и, уйдя в отпуск, оставил в ящике письменного стола.

Даже на ключ не запер, такой неряшливый человек! Рукопись нашли. Начали читать эту гадость, написано по-чешски. Президент, зная, что я лучше всех владею чешским, дал мне этот пасквиль на заключение. Говорят, там написано нечто ужасное... Не знаю, не знаю, все может быть. Дело может кончиться самым скверным образом. Вы мать, и я считаю своим долгом предупредить вас. Будьте готовы ко всему. Жена, дай-ка мне умыться и принеси свежую воду для питья. Да никого ко мне не пускай, разве что придут со службы. К обеду меня не зови, я приду сам... Будьте здоровы, мамаша.

Баворова побелела как мел. Губы у нее дрожали, глаза горели.

— Ради бога, умоляю вас, ваша милость, мы бедняки!..— пронзительно закричала она.

Домовладелец прервал ее отрицательным жестом.

— Не могу и не смею! Уже поздно, и все пропало. Долг есть долг, и правосудие должно свершиться. Не хватает, чтобы мальчишка... Ну ладно, сейчас у меня нет времени.

Он сделал несколько мелких, нетвердых шагов и исчез в соседней комнате. Закрыв за собой дверь, он шагнул вправо, потом влево, затем снял шляпу, подошел к письменному столу и осторожно положил на него рукопись, словно боясь повредить ее.

Обычно, приходя домой, пан Эбер переодевался в домашний костюм. Сегодня он, наоборот, став перед зеркалом, застегнулся на все пуговицы, потом осмотрел перья на столе, стряхнул пыль с бювара и несколько раз передвинул кресло, прежде чем сесть.

Наконец он взял рукопись и, высоко подняв брови, важно воззрился на нее.

VII. ИЗ ЗАПИСОК ПРАКТИКАНТА

Служебное задание выполнено, чем же заняться? Сдать работу можно только завтра, ведь прошлый раз мне попало за то, что я сдал ее слишком рано,— сказали, что она не может быть хорошей и наверняка поверхностна, ибо сделана чересчур быстро.

Начну фельетонные зарисовки нашего учреждения, его будней, опишу характер и биографии моих коллег и начальства, увековечу на бумаге перлы канцелярской жизни, сочиню песенки практиканта. Английский сатирик описал путешествие по собственному письменному столу, а я поеду дальше, заверну на все соседние столы, объеду всю империю нашего президента, опишу эту страну и ее народ. Но найду ли я здесь материал для острой сатиры? А почему бы и нет? Только абсолютно умный человек или абсолютный глупец не годятся для сатиры... Глядя на первого, сатира залилась бы горючими слезами, а другим — должна была бы

заинтересоваться с высоты космических сфер и прокисла бы, доказывая, что в сравнении с вечностью все, чем мы занимаемся,— делается смешным.

Вон к тому прилизанному чиновнику не приходится подходить с космическим мерилом, для него достаточно карманного зеркальца, в которое он так усердно смотрится, он приветлив со мной, потому что в первый день моей работы в этом учреждении подслушал мой вопрос о нем: «Кто этот красавец?» Ну, а остальные — остальные прилежно строчат, усердствуют. Что за лица, головы, глаза! Такие ни у кого другого не могут быть, только у чиновников, тут все по циркуляру! Видно, что работа совершенно не обременяет их духовно, ни одна мысль не возносится над служебной рутиной. Сейчас они топчутся по кругу казенных циркуляров, но наверняка им было бы все равно, если бы их, как тягловых лошадей в Банате, погнали на гумно ходить по кругу и топтать зерно. Шаг за шагом, и все по ранжиру. И все же, быть может, среди этих интеллектуальных битюгов найдутся и троянские кони: снаружи — дерево, а изнутри — герои, греческие воины? Посмотрим.

Один лишь советник не утруждает себя работой и читает газету. Вот он отложил ее...

Как он посмотрел, когда я попросил дать почитать газету и мне! Не сказал ни слова, а я сгорел со стыда. У меня даже в глазах потемнело, когда я садился за свой стол. Я не замечал никого вокруг, но чувствовал, что у всех чиновников от изумления раскрылись рты: этакая смелость со стороны практиканта!

Эх, кабы мне снова учиться в университете и опять обрести надежду добиться всего... или ничего на свете! Здесь мои горизонты сужаются... Не знаю, не знаю, чего я достигну.

Для испытания моих стилистических способностей мне в первый день велели изложить мысли, возникающие у меня при виде паровоза. Я запряг в паровоз Пегаса и смело выехал в царство прогресса. Говорят, президент качал головой над моим сочинением и сказал, что я чудак.

Я еще и словом не обмолвился, но уже слышал, что меня здесь прозвали «прогрессист». Трудновато будет и тут ужиться. Эх, скорей бы снова попасть в университет. Да никак это не выходит!

Ну и духота. Говорят, что Прометеева глина пахла человечьим мясом, здесь же люди пахнут глиной, в которой нет ни капли человеческой крови. Страшные люди! Они примерно на том умственном уровне, на котором я был еще школьником, когда играл в детские игры и дрался с мальчишками. Помню, я читал тогда «Робинзона» по-немецки, путал «Insel» и «inslicht» [1], но книга мне все-

[1] «Остров» и «жир» *(нем.)*.

таки нравилась. У здешних чиновников такое же немудреное представление о мире, и все же он им нравится. Идеи они считают государственной монополией, вроде соли или табака. Ну и чушь же я предполагал насчет «троянского коня»! Снаружи все они деревянные и внутри тоже,— как ни обстукивай, сплошное дерево!

Вчера я сказал им, что парижские дамы носят перья бразильских обезьян; позавчера — что парадный экипаж архиепископа сделан по образцу колесницы Ильи-пророка. Завтра я состригу клочок шерсти с хвоста Азора и скажу им, что это волосы, которые рвала на себе Изида над гробом Озириса.

Меня считают страшно ученым и охотно со мной разговаривают. Но при советнике они не смеют отвлекаться от дела, разве только он сам отпустит шутку. Тогда все, как по команде, начинают упражняться в смехе. Когда же советник на минуту выходит из комнаты, настает всеобщее оживление, все лица светлеют, согбенные спины выпрямляются. Это также входит в распорядок дня, и чиновники вынимают часы, следя, не пора ли во всем пунктуальному советнику пойти прогуляться.

Легенда о моей учености все ширится. Я сумел прочитать написанную по-сербски служебную бумагу, и все были поражены. Советник из пятого отделения, проходя мимо, потрепал меня по плечу и сказал: «Все может пригодиться, но держите курс на практические знания».

У этого советника слава пишущего человека. Он, говорят, даже издал какой-то труд, мне думается, по «онучелогии», то есть руководство, как сподручнее наматывать онучи...

Ничего подобного я больше в жизни не увижу!

Глава нашего учреждения пришел в наш отдел за каким-то документом. Одну ногу он поставил на ступеньку стремянки, а когда снял ее, то наступил на ногу чиновника Главачека. Этот старый осел, из почтения к начальству, не решился сказать президенту, что тот стоит на его ноге, чем напомнил мне Лаокоона. По лицу Главачека было видно, что ему очень больно, в то же время с него не сходила непременно-почтительная улыбка мелкого чинуши. Наконец президент обратил внимание, что кто-то стоит вплотную за его спиной, и хотел уже обрушиться на непочтительного, но заметил, что сам стоит не на пачке бумаги, а на чьей-то ноге. «Ах, пардон!» — сказал он с милостивой улыбкой. Но Главачек уже устремился к своему столу и, несмотря на нестерпимые боли

свои, все улыбался, являя истинный образец благородной впечатляющей пластики. Другие наверняка позавидовали ему, ибо, кто знает, может, этот случай принесет ему благосклонность начальства!..

Президент изволили осведомиться, нет ли у меня сестры. Я сразу понял, куда метит старый холостяк. Погоди, этот вопрос тебе дорого обойдется! Ведь я знаю, пан президент, где живет избранница вашего сердца, мне сообщил об этом наш красавец. Говорят, ваша любовница очень хороша собой. Еще лучше она будет для меня, ведь я моложе вас. Поглядим на нее! А если она не достанется мне, то, наверное, ее покорит красавчик чиновник, который считает себя Нарциссом. Что-нибудь да произойдет!

Президент изволил вызвать всех нас к себе в кабинет. Собралось много чиновников, впереди полукругом стояли советники. Господа советники шептались, мы же, сделав подобающий поклон спине президента, стояли неподвижно.

Президент долго сидел и писал, не обращая на нас внимания. Рядом со мной стоял еще один столь же ничтожный, как и я, практикант, но в довольно приличном человеческом издании. Я прошептал ему на ухо какую-то остроту, очевидно, плохую, потому что он даже не улыбнулся. Это меня задело, я повторил остроту и пощекотал его. Такое комбинированное остроумие возымело свое действие: мой коллега-практикант прыснул со смеху, а все испугались и зашикали. Президент встал, выпрямился и начал речь:

— Я велел созвать вас, чтобы сказать, что слог, которым вы пишете служебные бумаги, позорит наше учреждение перед всеми высшими инстанциями. Одни из вас сочиняют длиннейшие периоды, другие пишут какими-то обрывками фраз. Умеренного, то есть достаточно длинного и тщательно составленного периода я не читал в ваших бумагах уже много лет,— собственно, никогда не читал. Все это оттого, что вы строчите, не думая: если же вам случится подумать, всякая мысль вам сразу надоедает, ибо в вас нет серьезности, нет настоящего усердия, нет доскональности. А кроме того, заметно, что вы плохо владеете немецким языком, и я вам скажу почему: потому что между собой вы вечно судачите по-чешски. А посему властью, мне данной, запрещаю вам на службе говорить по-чешски и советую каждому из вас, по-дружески и как начальник, не пользоваться им и вне службы, а кроме того, больше читать и тем улучшить свой слог. Возвращайтесь на свои места, господа, и запомните, что чиновники с плохим слогом не дождутся никакого продвижения по службе.

После этого среди чиновников был большой переполох, они то и дело бегали друг к другу за немецкой духовной пищей. Тех,

у кого дома были комплекты номеров журнала «Богемия», считали чем-то вроде авторитетов. Разговоры на родном языке прекратились. Лишь изредка коллеги, которые доверяют друг другу, перекидываются словечком по-чешски где-нибудь в коридоре или в тиши архива. Они представляются мне тайными грешниками.

Только я продолжаю вслух говорить по-чешски, и все меня сторонятся.

Кончился первый акт сегодняшнего служебного спектакля. Советник вышел из отдела, как уходит за сцену мольеровский «мнимый больной» в конце первого акта. Началась интермедия.

Разговор у стола направо от меня:

— Сегодня пятница, я уже предвкушаю, что у нас дома будут кнедлики. Жена их делает так, что они прямо тают во рту!

— Вы по пятницам не едите мяса?

— Нет, почему же, полфунта на всех, как обычно. А что же еще готовить? Мы соблюдаем только главные посты и тогда едим рыбу. Изредка это полезно для здоровья.

— М-да, кусочек рыбы с кнедликом, да еще кусочек жареной! А для детей что-нибудь мучное. Впрочем, вы бездетный... В прошлом году свояченица прислала нам съедобных улиток, жена приготовила из них очень вкусное блюдо.

— Когда в пост едят диких уток, это я еще понимаю, они живут на воде. Но улитка-то ведь ползает в саду.

— Я внушил себе, что улитки когда-то жили в воде. Кроме того, они ползают так, словно плывут, и немы, как рыбы, так что, в общем, нет никакой разницы... А ведь вот что удивительно, рыбы не едят мяса. Словно знают, что они сами — постное блюдо!

Разговор за столом налево:

— Пан президент прав. Право, такие болваны! Несут всякую чушь! Немецкий язык нам нужен, как же иначе вести переписку! А кто хочет учить своих детей французскому, тоже хорошо.

— Это им не повредит.

— Моя дочь ни за что не стала бы на улице говорить по-чешски. Иной раз я забудусь и заговорю с ней, она вся вспыхнет — и мне с упреком: «Ах, папа, ты совсем не думаешь о том, как себя ведешь!»

— Да, да, это верно.

— Как-то я читал в газете, что хотят придумать международный язык. Какой вздор!

— Господь бог этого не допустит.

— Пусть каждый научится по-немецки, и вопрос решен.

— Ну да.

Чиновник, сидящий у дверей, предостерегающе свистит. Все тотчас разбегаются по своим местам.

Входит советник в расстегнутом жилете.

— Сдается мне, что я скоро лопну, так растолстел,— острит он,— придется мне обратиться к доктору или к повивальной бабке...

Упражнение в смехе.

При такой духовой нищете неизбежна и бедность материальная. Так оно и есть! Удивляюсь тому, какую с виду благополучную, а по сути жалкую жизнь ведут эти люди. У двух третей из них жалованье получает по доверенности ростовщик, а им остается только то, что он из милости дает им первого числа. Ходит к нам торговка булками. Первого числа чиновники рассчитываются с ней за старое, а со второго снова начинают брать в долг. Ни разу еще не довелось слышать, чтобы они приглашали друг друга в гости,— видно, каждый стесняется показать другому, как убого он живет.

После этого многое становится понятно!

Сегодня я получил предписание начальства остричь свои немножко отросшие волосы. Да что я, спятил!

Теперь у меня есть союзник. Красавчик, по моему наущению, начал подписываться на казенных бумагах «Венцл *Нарцисс* Вальтер». Одна такая бумага попала в руки президента, и тот накинулся на красавчика,— дескать, пора бы уже выбросить из головы подобные глупости и прилежно работать, а не то от него, мол, прямо смердит леностью. Narcissus poeticus и смердит!

Я-то знаю, за что президент имеет зуб на красавчика. За то, что тот ходит под некими окнами!

В надежде, что Эбер меня не выдаст, я исхлопотал себе отпуск, соврав, будто у меня умирает бабушка, наследником коей я являюсь. Советник отпуск разрешил, но строго заметил, что практиканту не следовало бы иметь бабушку.

VIII. НА ПОХОРОНАХ

На третий день, в среду после полудня, дом готовился проводить в последний путь старую Жанину.

В тенистом углу двора на крытых черным сукном носилках стоит простой, но красивый блестящий черный гроб на четырех золоченых ножках. На крышке позолоченный крест, обрамленный зеленым миртовым венком, с которого свисает широкая белая лента. К носилкам с обеих сторон приставлены для украшения черные декоративные щиты с серебряными барельефами, знаками погребального братства.

За исключением Лакмуса, который смотрит из окна, и хворой сестры Йозефинки, что, поднявшись на приступочку, свесилась через перила балкона третьего этажа,— все известные нам обитатели дома, в траурных одеждах, собрались внизу во дворе дома. Среди них мы видим несколько незнакомых нам мужчин и женщин. Не нужно особой проницательности, чтобы по их безразличным, но притворно-скорбным лицам догадаться, что это родственники покойной. Множество женщин и детей из соседних домов толпятся во дворе и на лестнице.

Священник с причетником и певчими уже пришел, и панихида началась. У самых дверей квартиры покойной стоят рядом старая Баворова и трактирщица. Первые же слова монотонного погребального речитатива глубоко растрогали Баворову: глаза ее наполнились слезами, подбородок покраснел и затрясся от непритворных рыданий. Трактирщица осталась спокойной. Не обращая внимания на слезы своей соседки, она наклонилась к ней и заговорила:

— Ишь примчались родственнички! Как жива была, никто о ней не заботился, а сейчас кинулись на наследство. Дай им, господи, но к чему было запирать все в квартире и ставить гроб во дворе? Мы бы у них ничего не украли... Отблагодарили они вас за ваши услуги? Дали чего?

— Ни булавки! — прошептала Баворова нетвердым голосом.

— И не дадут!

— Я и не прошу. Пошли ей бог царствие небесное, я ей послужила из христианской любви.

Богослужение было закончено, гроб окроплен святой водой. Черный «брат» забрал свои щиты с барельефами, служители подняли гроб и вынесли на улицу.

За катафалком стояло несколько фиакров. В первые сели родственники Жанины, в следующие — домовладелец с женой и Матильдой, Йозефинка с матерью, и в последний — пани Лакмусова и Клара. Пани Лакмусова пригласила пана доктора, и так как в экипаже оставалось свободное место, она оглядывалась, высматривая, кто еще хотел бы поехать.

У ворот стояли трактирщица, Баворова и Вацлав.

— Пани трактирщица, пани Баворова!— окликнула их Лакмусова.— Кто-нибудь садитесь к нам.

Обе женщины поспешили к фиакру. Трактирщица искоса взглянула на старую Баворову. Обе подошли одновременно, и каждая занесла было ногу на ступеньку. Этого трактирщица не стерпела. Ухватившись за ручку дверцы, она обернулась в злобном недоумении к старой Баворовой. «Как-никак, все же я мещанка!» — резко бросила она и влезла в экипаж.

Пораженная Баворова остолбенела от неожиданности. Вацлав видел всю эту сцену и подошел к матери.

— Мама,— сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо.— Мы с вами пойдем за гробом, а то никто больше за ним не идет. У городских ворот возьмем извозчика, если захотим вместе со всеми доехать до кладбища.

После вчерашнего сообщения домовладельца о служебных делах молодого Бавора мать даже не разговаривала с сыном. Сейчас ей тоже не хотелось говорить с ним: с минуту в ней шла внутренняя борьба, потом она сказала:

— Ну конечно, пойдем пешком. Мне вредно ездить, так что извозчика брать не будем. Если хочешь, дойдем до Коширже. Я провожу ее, бедняжку, пешком. При жизни я сделала ей немало добра, послужила и после смерти. Почему же не пройти немножко пешком из христианской любви к покойнице?

— Тогда возьмите меня под руку,— мягко сказал Вацлав, подавая ей руку.

— Я по-городски ходить не хочу... да и не умею.

— Да это не по-городски. Я только поддержу вас, ведь путь-то не близкий, а вы утомлены и расстроены, обопритесь на меня, маменька.

И, взяв ее руку, он сам положил ее на свой согнутый локоть.

Катафалк тронулся, за ним шли только молодой Бавор с матерью. Вацлав выступал гордо, словно рядом с высокородной княгиней. У его матери было так легко на душе, что она и объяснить бы этого не могла. Ей казалось, что это она одна устроила похороны убогой Жанины.

IX. НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Близился час летних посиделок. Дневной свет еще не померк, но в его белизне появилось что-то исподволь, осторожно напоминавшее о близости сумерек и сна. Люди еле двигались; наступил именно такой момент, когда работа уже замирала, а тяга к вечерним встречам и развлечениям еще не возникла.

Лоукота сидел за письменным столом. Лицо его выражало глубокую задумчивость. Было видно, что размышляет он о чем-то важном и что-то важное готовится совершить. Он передвигал чернильницу, перекладывал с места на место перья с красивыми костяными вставочками, без конца рассматривал их. Потом выдвинул ящик и вынул оттуда полпачки хорошей бумаги. Взяв один лист, он минуту подержал его в руке, потом полураскрытые его губы широко раскрылись, и звучное «да» вырвалось из полной гру-

ди. Он сложил лист пополам, как полагается для официальных бумаг.

Этот важный шаг, очевидно, давался ему не без внутренней борьбы, ибо он тут же поднялся и начал, словно отдыхая, прохаживаться по комнате. Ходил он как-то странно: делая два шага вперед и один назад, при этом голова падала ему на грудь, но он вскидывал ее, словно подбадривая себя.

— Да! — со вздохом произнес он.— Уж если этому суждено быть,— а оно, конечно, так,— то нечего медлить. Я попал в такую переделку, что надо спешить вовсю. Старая Лакмусова не захочет меня отпустить... И Клара тоже... О, это хорошая девушка, но я уже сделал свой выбор. Здесь я не могу оставаться — все должно быть закончено в ближайшие дни. Завтра я лично преподнесу Йозефинке третье стихотворение. Завяжу разговор, дам ей прочитать, буду следить за каждым движением в лице моей кошечки... А потом быстро доведу дело до конца... Официальное заявление напишу еще сегодня, сейчас я как раз в подходящем расположении духа.

Лоукота запахнул халат и опоясался шнуром, словно ему было холодно. Решительно сел за стол, обмакнул перо, испробовал его несколько раз на клочке бумаги, потом взмахнул им, опустил на бумагу и изобразил большое замысловатое «Д».

Затем он стал писать не останавливаясь, ровные красивые буквы ложились на лист.

«Достопочтимому магистру Королевской столицы Праги. Нижеподписавшийся с почтением извещает о своем намерении вступить в законный брак с девицей...»

Взглянув на написанное, он покачал головой.

— Очки тут не виноваты; темнеет, надо спустить штору и зажечь свет.

Вдруг послышался легонький стук в дверь. Лоукота торопливо схватил чистый лист бумаги и накрыл им написанное, потом с неохотой негромко произнес:

— Войдите!

В комнату вошел Вацлав.

— Я не обеспокою вас, пан доктор? — спросил он, закрывая дверь.

— Нет, нет, заходите,— пробормотал Лоукота неожиданно охрипшим голосом.— Я, правда, собирался кое-чем заняться... да садитесь, пожалуйста. А что это вы опять принесли?

Он задал этот вопрос машинально, не замечая бумажного свертка в руке Вацлава. Задумчивость туманила взгляд Лоукоты, и он не рассмотрел пока как следует своего гостя.

Вацлав сел.

— Принес вам легкое чтение для беспокойных минут, когда вам понадобится успокоить нервы. Это сочинение в прозе, подобное бутылке газированной воды, «шипучка». Оно не претендует на особые высоты духа, но может освежить читателя, как прохладительный напиток. Идея, возможно, довольно примитивна, даже скудна, зато форма своеобразна. Мне претят избитые литературные формы и темы. Посмотрим, что вы скажете о моем первом прозаическом опыте.

Он положил рукопись на письменный стол. Каждое движение Вацлава было гибким и молодым.

— Все вы забавляетесь... Ну, молодость! — улыбнулся Лоукота.— А как ваши дела, пан Вацлав?

— Плохо, и, надо надеяться, будут хуже!.. Меня скорее всего выгонят со службы. Там нашли какие-то мои записки с сатирическими замечаниями о президенте. Нашему домовладельцу поручено дать заключение о моем творении и о том, изгонять ли меня со службы.

— Несчастный, неосмотрительный молодой человек! — всплеснул руками Лоукота.— Что же вы собираетесь делать?

— Что делать? Ничего! Стану писателем.

— Ну, ну, ну!

— Все равно рано или поздно я этого не избежал бы... Мне кажется, я уже достаточно созрел, или вы, доктор, считаете, что у меня не хватит таланта?

— Для того чтобы стать большим писателем, нужен большой талант, а маленькие писатели нашему народу не помогут. Они лишь свидетельствуют о нашей духовной ограниченности и идейно ослабляют наш народ. Поэтому тот, кому хочется прочитать действительно выдающееся произведение, обращается к иностранной литературе. Вступать в литературу вправе только человек, способный дать нечто новое и совершенно своеобразное. Ловких ремесленников у нас и без того больше, чем надо.

— Вы правы, доктор. Я питаю к вам безграничное доверие именно потому, что у вас такие трезвые взгляды. Я согласен с вами и прилагаю ваше мерило к себе. Не будем говорить о «великих» и «маленьких», я просто скажу смело и, быть может, даже дерзко, что сознаю величие цели. А кто хорошо знает свою цель и смело стремится к ней, тот обязательно чего-нибудь добьется; в таком человеке что-нибудь да есть! Я не стану заниматься затыканием литературных дыр, не буду работать по шаблону, я подойду к литературе с общеевропейской точки зрения, буду писать в современном духе, правдиво, брать своих героев из жизни, изображать действительность в неприкрашенном виде, говорить напрямик, что я думаю и чувствую. Неужто я не пробьюсь после этого!

— Гм... А деньги у вас есть?

— Сейчас, с собой, вы хотите сказать? Гульдена два, не больше, так что одолжить не могу...

— Нет, нет, я хочу сказать, есть ли у вас состояние?

— Вы же знаете...

— Ну так, значит, вы не пробьетесь. Будь у вас достаточно средств, чтобы вы могли на них жить да еще за собственный счет издавать каждое свое зрелое произведение, вы лет за десять добились бы признания, и тогда вам уже не пришлось бы самому издавать свои книги. А без денег вы ничего не достигнете. Первое ваше произведение, написанное не по шаблону, вы издадите в долг, и оно не разойдется, а до второй книги вообще дело не дойдет. На вас обрушатся, во-первых, за вашу независимость, которой не терпят в маленьких семьях и у малых народов, во-вторых, за то, что, живописуя правду, вы обидели маленький мирок и маленьких людей. Наиболее язвительные журналы скажут, что вы бесталанны и вообще сумасшедший, более снисходительные назовут вас сумасбродом. Рекламы у вас не будет...

— Кому нужна реклама!

— На первых порах она необходима. Наша публика верит печатному слову и не интересуется тем, о ком не читала похвал. Зато, в пику вам, будут рекламироваться сочинения других авторов. Они выдвинутся, а вы застрянете, озлобитесь, возможно, затеете какие-нибудь литературные глупости, или вам вообще опротивит писать. Кроме того, вас всегда будут одолевать материальные заботы. Хочешь не хочешь, придется взяться за литературное ремесленничество. В результате вы опять почувствуете отвращение к перу, будете писать как можно меньше, только чтобы заработать на жизнь, закиснете или обленитесь, и кончена ваша литературная карьера, сначала ведь не начнешь...

— Нет, так это все-таки не произойдет. Я надеюсь, что уже первое мое литературное произведение принесет мне успех... Скажите, пожалуйста, прочли вы мои стихи?

— Прочел.

— Ну и что скажете?

— Гм... читаются они легко... некоторые недурны... Но скажите, пожалуйста, кому сейчас нужны лирические стихи? Лучше всего сожгите их.

Вацлав вскочил со стула. Поднялся и Лоукота, оперся руками о стол. С минуту было тихо.

Вацлав подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Помолчав, спросил сдавленным голосом:

— Вы будете в воскресенье на свадьбе, пан доктор?

— На свадьбе? На какой свадьбе?

— Пепичка говорила мне, что она приглашает вас свидетелем, а я буду шафером.

— А кто женится?

— Разве вы не знаете, что Пепичка обручается с машинистом Бавораком?

У Лоукоты потемнело в глазах, закружилась голова, и он тяжело опустился в кресло. Вацлав подбежал и нагнулся над ним.

— Что с вами? Вам нехорошо?

Ответа не было, слышался только хрип, свидетельствовавший о том, что необходима помощь. Вацлав подскочил к двери и крикнул:

— Пани Лакмусова, барышня Клара, скорей дайте воды и свет! Доктору плохо.

Потом он подошел к Лоукоте и стал снимать с него галстук и расстегивать халат.

Лакмусова прибежала с зажженной лампой, вслед за ней появилась Клара.

— Воды, скорей воды! — командовал Вацлав.

Но Лоукота уже открыл глаза. Он слышал слова Вацлава.

— Нет, не надо воды,— с трудом произнес он.— Мне уже лучше... Это так, от жары... Летом со мной это случается.

— Сбегай, Клара,— распорядилась Лакмусова,— принеси шипучки и немного малинового сиропа, у нас есть дома. Беги, Кларина.

Клара поспешила из комнаты.

— Ему уже лучше,— заметил Вацлав.— Ну и перепугался я!.. А ведь сегодня совсем не жарко... Ну, теперь все в порядке, вы в надежных руках, я могу откланяться. До свидания, пан доктор, до свидания, сударыня!

— Всего хорошего! — принужденно улыбнулся доктор.— Все, что я вам говорил, было сказано по-дружески.

— Я не сомневаюсь в этом и благодарен вам. Всего хорошего!

И Вацлав ушел. Клара принесла на подносе воду с сиропом и порошки. Лоукота сопротивлялся, но был вынужден выпить прохладительный напиток.

— Пейте, пейте, милый зятек! — потчевала Лакмусова.— Мы побудем немножко с вами. Я как раз собиралась сегодня с Кларой преподнести вам сюрприз. И вы и она робки и нерешительны, как дети. Если бы не я, вы бы не поженились... Ах, ах, что я наделала, впопыхах поставила лампу на вашу чистую бумагу. Не поглядела, куда ставила!

Она подняла лампу и отложила бумаги в сторону. Верхний лист сдвинулся, и Лакмусова увидела написанное. Ошеломленный Лоукота лишился дара речи. Лицо Лакмусовой просияло.

— Как это мило, как мило! — пропела она.— Погляди, Кларинка, доктор уже ходатайствует о разрешении на ваш брак. Он как раз собирался вписать твое имя!.. Доктор, вы должны доставить удовольствие Кларинке и сделать это при ней... Пожалуйста, возьмите перо!

Лоукота сидел как громом пораженный.

— Ну, ну, не стесняйтесь!— Лакмусова обмакнула перо и всунула его в руку доктора.— Кларинка, поди погляди.

Внезапная решимость, как молния, озарила Лоукоту. Он схватил перо, с грохотом придвинул кресло и написал: «Кларой Лакмусовой».

Лакмусова радостно всплеснула руками.

— А теперь поцелуйтесь! Теперь вы имеете право. Не упирайся, дура ты этакая!

X. В МИНУТЫ ДУШЕВНОГО СМЯТЕНИЯ

Над Петршином сияет луна, ясная и сверкающая. Лесистый склон залит ее призрачным светом и выглядит волшебно и поэтично, словно подводный лес, видимый сквозь чистую морскую воду. Многие взоры блуждают и подолгу задерживаются на этом склоне, каждый в глубоком раздумье или в смятении чувств.

В третьем этаже флигеля Йозефинка, облокотясь на подоконник, смотрит на освещенный луной Петршин. Подле нее — жених. Яркий лунный свет позволяет нам разглядеть прекрасные черты молодого человека; его круглое лицо обрамлено густой русой бородкой; глаза излучают жизненную силу. Йозефинка молча глядит на залитый лунным светом пейзаж, жених то и дело поглядывает на девушку, талию которой он обвил правой рукой, и каждый раз легко, легонько привлекает ее к себе, словно боясь нарушить очарование минуты.

Вот он наклоняется и касается губами ее кудрей. Йозефинка оборачивается к нему, берет его руку и прижимает к губам. Потом дотрагивается до красивой густой мирты, которая стоит на подоконнике.

— Сколько лет было бы теперь твоей сестричке? — спрашивает она приглушенным голосом.

— Цвела бы сейчас, как и ты.

— Твоя мама даже не знает, какую радость она доставила мне, послав эту мирту к свадьбе. И так издалека!

— Нет, знает! У нас каждый твердо верит, что мирта, взятая от покойника и сохранившаяся до свадьбы, приносит счастье. С того дня, как я взял эту мирту из рук сестры, лежавшей в гробу, и по-

садил ее в землю, мать каждый день молилась и плакала над ней. Мама у нас добрая-добрая.

— Как ты! — вздохнула девушка и еще теснее прижалась к жениху.

Оба молчали, глядя в ясное небо, словно в мечты о будущем.

— Ты сегодня необычно молчалив,— прошептала наконец Йозефинка.

— Настоящее чувство безмолвно. Я вне себя, вне себя от счастья, так что, наверное, никогда не найду слов, чтобы выразить это блаженство. Разве у тебя не так же на душе?

— Я даже не знаю, что чувствую. Мне кажется, что я стала какая-то иная: лучше, благороднее. Если этому чувству не суждено продлиться, я бы предпочла сегодня умереть.

— И пан доктор излил бы свою скорбь стихами,— поддразнил ее жених.— Вот видишь,— продолжал он уже серьезно,— что бы там ни было, а по-моему, тот, кто по-настоящему любит, не может писать таких стихов. Я, конечно, вообще никогда бы ничего подобного не сумел написать... но, что касается доктора, мне кажется, он разыгрывает перед тобой комедию.

— Нет, он хороший человек.

— Ишь как ты защищаешь его! Что ни говори, а эти стихи тебе льстят!

— Но...

— Ага, так я и знал! Все женщины одинаковы. Обязательно вам нужны лакомства да сласти на стороне. Хотел бы я знать, чем я заслужил такое отношение?

— Карел! — испуганно произнесла Йозефинка и в упор посмотрела в глаза жениху, словно не узнавая его.

— Да ведь это правда! — взволнованно продолжал молодой человек.— Ты была благосклонна не только ко мне, но и к нему, иначе доктор не отважился бы...

И он слегка отстранил Йозефинку. Его правая рука соскользнула с ее талии и только левая осталась в руке девушки. В их прикосновении не было жизни.

Оба молча глядели в пространство. Долго стояли они так — тихо, чуть дыша. Вдруг Карел почувствовал, что на руку ему капнула горячая слеза. Он вздрогнул и прижал к себе всхлипывающую девушку.

— Прости меня, Йозефинка, прости,— просил он.

Девушка плакала навзрыд.

— Только не плачь! Сердись на меня, но не плачь! Молчи... я был неправ, я ведь знаю, что ты не можешь обманывать, что ты любишь меня всей душой, как и я тебя!

— Ты меня не любил, когда отталкивал!

— Правда, это было нехорошо. Я не думал, что способен на такую глупую ревность!.. Странно, мне в самом деле показалось, что я подавил в себе любовь... Я забыл, что ты молода и хороша собой. Ведь я знаю, глупец, что всякая девушка, если она не горбата и не уродлива...

Что-то зашуршало за спиной влюбленных, и они быстро обернулись. Горбатая сестра Йозефинки Катюша все время была в комнате. Она неподвижно сидела во время спора влюбленных, и они забыли о ней. Но при последних словах Карела Катюша быстро поднялась, сделала несколько шагов и с плачем упала в кресло.

— Катюша... ради бога... милая Катюша,— говорила подавленная Йозефинка.

Взволнованные влюбленные стояли возле плачущей больной Катюши. На глазах у них были слезы, губы дрожали, но они не решались произнести слова утешения.

XI. ПЕРВЫЙ ОПЫТ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ, ПРОСЯЩЕГО СНИСХОДИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Странное ощущение охватило пана доктора Йозефа Лоукоту, когда на следующее утро он проснулся, разбуженный ласковыми лучами прекраснейшего в мире солнца. Голова у него кружилась, мозг, казалось, лопался, а нервы дрожали, как в лихорадке. Необычные образы возникали в его воображении: мелькали Йозефинка, Баворова, Клара, Лакмусова, Вацлав, мерещились другие, совсем незнакомые люди, животные и так далее...

Вдруг его озарила ясная и отчетливая мысль: он жених! Мороз пробежал по коже Лоукоты, он приподнялся на постели. Взгляд его упал на столик у кровати, где лежала какая-то рукопись. В голове у Лоукоты совсем прояснилось, и он вспомнил, что вчера, страдая от волнения и бессонницы, он воспользовался предложенным Вацлавом средством — его «беллетристической шипучкой».

Я не стану подробно описывать нервное возбуждение, владевшее Лоукотой; мои читатели, обладая сами достаточным воображением и зная характер героя и происшедшие события, представят себе его душевное состояние. Но я считаю своим долгом передать здесь содержание рассказа, который прочел на сон грядущий наш герой, чтобы тем самым помочь читателю воссоздать пестрое сновидение Лоукоты. Вот этот рассказ.

«О НЕКОТОРЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Полуофициальная идиллия, написанная Вацлавом Бавором

Из записной книжки Ондржея Дилца, стр. 17

...ому мастеру недоплачу, как пить дать недоплачу, чего там, штукатурка ему стоит гроши, да еще может рабочему недодать пятерку. Знал бы я, как пойдет дело, вообще не затевал бы этого ремонта, и уж больше ни в какую не стану затевать. Я-то знаю, что из этого может выйти, ведь у нее, кроме трактира, ни гроша за душой, да еще сынишка на руках. Трактир не очень доходный, но я бы его поставил как следует. Однако же ее мальчонка да мой — это уже двое детей, а бог весть сколько их еще прибудет. Когда женишься на вдове, надо думать об этом. Конечно, дом у меня изрядный, и кто знает, что я еще предприму в будущем, но сейчас ничего не стану делать. Всю ночь я из-за нее не спал, хоть и зол на нее. Хочет меня завлечь тем, что крутит с молокососом, но из этого ничего не выйдет. Этакая солидная женщина должна бы вести себя благоразумнее! Не важно, что он уже кончил ученье, поглядим еще, выйдет ли из него доктор, учитель или журналист... Жалко, что в арендном договоре сказано, что я должен предупредить о выселении за полгода, а то бы я ее тотчас вытурил. Он на ней не женится, она и сама это знает, а все-таки нарочно злит меня. Погоди, я с тобой расквитаюсь! Домохозяин, чего захочет, всегда добьется. Я начну действовать сегодня же! Тогда она не станет больше делать вид, что не видит, когда я иду по двору, не станет кричать «цып-цып-цып», чтобы не здороваться со мной. Сегодня же...

Частное письмо практиканта в магистрате Яна Стшепеничко чиновнику того же магистрата Йозефу Писчику

Дорогой друг и покровитель!

Простите великодушно, что обращаюсь к Вам с просьбой. Вы изволили обещать мне содействие моей служебной карьере с помощью Вашего влияния и богатого опыта. Извините, что не обращаюсь к Вам устно, но Вы сами знаете, что советники не любят, чтобы их практиканты бегали в другие отделы, они предпочитают, чтобы мы постоянно сидели на своих местах.

Итак, дабы не обременять Вас излишним словоизлиянием, перехожу к сути моей просьбы. Секретарь поручил мне рассортировать всю вчерашнюю почту согласно номенклатуре. Мне кажется, что он решил таким путем проверить мои способности, я же, в силу своей неопытности, испытываю затруднения с одним письмом. Раз-

решите познакомить Вас с содержанием этого поставившего меня в затруднение документа.

Пражский домовладелец Ондржей Дилец, дом номер 1213, в первом районе, подает исковую жалобу на трактирщицу Елену Велебову, ибо она, для собственного развлечения, держит множество кур, петухов и каплунов, каковые кукареканьем и кудахтаньем тревожат с раннего утра сон жильцов означенного дома. Истец ходатайствует о запрещении вышеупомянутой Велебовой держать домашнюю птицу.

Таково содержание письма, которое я не знаю, к какому разделу отнести. Я охотно послал бы Вам и само письмо, но Вы хорошо знаете, что я не вправе распоряжаться казенным документом. Прошу Вас сделать одолжение и прислать хотя бы краткий совет; не сердитесь также на просьбу о том, чтобы Ваш ответ был в запечатанном конверте.

Глубоко преданный Вам *Я. Стшепеничко.*

Повестка № 13211 доктору медицины пану Эдуарду Юнгману

Ставлю Вас в известность, что, по поручению президиума, Вам надлежит 4 августа прибыть в городскую управу (комната 35), дабы оттуда, в составе комиссии, состоящей из Вас и одного чиновника, отправиться в дом № 1213 первого района на предмет санитарного обследования.

Прага, 2 августа 1858 года.
Заместитель председателя *Вержей.*

Письмо трактирщицы Елены Велебовой ее сестре Алоизии Троусиловой, жене учителя в Хрудиме

Милая сестра! Приветствую тебя и целую несчетно раз, и Тоник тоже шлет тебе много поцелуев, а ты ему пошли что-нибудь в подарок. Спроси своего мужа, помнит ли он еще Еника Калготку, того самого, что был младший из братьев. Нынче он уже взрослый, выучился и будет учителем. Наверно, твой муж помнит его, потому что Еник приезжал домой на каникулы. Я уж совсем забыла его, да и ты бы его не узнала, так он вырос и возмужал. Он два месяца столовался у меня, а потом мы столковались. Платить-то ему было нечем, сама знаешь, как у студентов с деньгами, особенно у симпатичных. Но он не дармоед, ученье уже закончил и кланяется тебе и твоему мужу.

Калготка веселый человек и часто меня смешит. Он сочинил стихи и напечатал их в журнале. Сверху было написано «Ей», а

она — это я! В стихах про меня сказаны разные глупости, ты ведь сама знаешь, недаром ты жена учителя. Там сказано, что я звездная ночь и всякое такое. Я думала, что лопну со смеха.

Скажи мужу, не его забота, выйду я замуж или нет, нечего меня дразнить. Ясное дело, я слишком молода, чтобы жить одной, мальчишке тоже отец нужен, а женихов нынче хватает. Наш домохозяин Дилец не прочь на мне жениться, но он недотепа и охоч до больших денег, а у меня их нету: что заработаю, то и проживу.

У Дилца котелок не очень-то варит, и он ревнует меня к Калготке, а потому подал на меня жалобу в магистрат за то, что, мол, я держу слишком много кур и петухов и они по утрам беспокоят жильцов. Ко мне приходили из магистрата, и то-то было смеха, когда они захотели видеть стаи петухов, да не нашли: птицы у меня самая малость, только для гостей да для своего стола. Домохозяин будет злиться, так ему и надо, пусть не пишет кляуз...

Посылаю тебе ту шляпку для Фанички. Вместо розочек я велела прицепить на нее черешни,— надеюсь, ты это одобришь. Напиши мне, пожалуйста, почем можно купить у вас топленое масло, наверное, это будет дешевле, чем в Праге. Не сердись, что столько тебе обо всем написала, с кем же мне и поговорить, коли у меня, кроме тебя, никого нет, а ведь характер у меня общительный.

Не забывай свою любящую сестру *Елену*.

P. S. Тороплюсь.

Протокол заседания магистратного суда от 15 сентября 1858 года, стр. 4

...по предложению советника Вержея приняты к рассмотрению наиболее важные дела.

Дело № 7. Советник Вержей излагает исковую жалобу Ондржея Дилца на трактирщицу Елену Велебову. Дилец утверждает, что трактирщица Велебова развела много домашней птицы, которая по утрам беспокоит всех жильцов его дома. Зачитывается заключение комиссии, состоящей из доктора медицины Эдуарда Юнгмана и чиновника Йозефа Писчика. Из заключения явствует, что комиссия, детально ознакомившись на месте с обстоятельствами дела, установила, что ответчица держит во дворе только двух кур, одного петуха и одного каплуна, необходимых ей на случай, если кто-либо из посетителей ее трактира пожелает заказать птицу.

Председательствующий высказывает мнение, что суду не следует ничего предпринимать, поскольку курятник ответчицы невелик и ей, как трактирщице, нельзя запретить содержание некоторого количества живой птицы.

Докладывающий по этому делу советник Вержей указывает также на то обстоятельство, что истец немного глуховат, так что кудахтанье кур едва ли его сильно беспокоит.

Внесено предложение отклонить иск.

Предложение единогласно принимается. Засим суд переходит к делу номер...

Письмо трактирщицы Елены Велебовой ее сестре Алоизии Троусиловой, жене учителя в Хрудиме

Сестра!

Приветствую и целую тебя несчетно раз, и Тоник тоже. Я на тебя сердита. Нечего строить из себя старшую, как-никак ты помоложе меня, а что у тебя муж учитель, ты от этого не умнее меня. Еще неизвестно, что бы ты делала, кабы была вдовой, как я.

Я замуж за Дилца не пойду, и нечего мне его навязывать. Ты бы тоже не пошла замуж за человека, который тебя обидел. Что ему за дело до того, толстая я или худая, чего он дразнится, что я в обхвате как бочка? Не нравлюсь ему, пусть за мной не ходит. Я его знать не хочу. А если нравлюсь, то зачем он подавал на меня в суд? Проиграл дело и теперь на меня спокойно глядеть не может. Ну, я еще с ним рассчитаюсь, все уже обдумано. Один господин (не думай, что это опять Калготка, я не какая-нибудь молодая ветрогонка, чтобы трепаться со студентами, хотя до этого никому нет дела и я сама себе хозяйка и никому не дам мной командовать, а Калготка гораздо лучше, чем вы думаете!) вспомнил, что в Праге законом запрещено держать свиней, а у Дилца в садике бегают два поросенка. Тоник с ними играет, но мы все равно уже подали жалобу. Дилец озлится, ну и пускай!

Ты всем недовольна, и мне досадно, что шляпка, по-твоему, кричащая. Ты возьми и сама на нее покричи! А на меня не сердись, ты меня знаешь, у меня что на уме, то и на языке, уж такая у меня натура, а потом, что за церемонии между сестрами.

Не забывай свою любящую сестру *Елену*.

P. S. Тороплюсь.

Записка бургомистра Королевской столицы Праги советнику магистрата Вержею

Милостивый государь!

Поскольку сегодня я уже не увижу Вас и не смогу устно обсудить с Вами одно дело, а завтра останусь у себя за городом и не буду в магистрате, пишу Вам эту записку. Речь идет об исковой

жалобе трактирщицы Елены Велебовой на владельца дома № 1213 в первом районе Праги Ондржея Дилца. Основание — закон о запрете содержания свиней. Этот иск вручен повторно и составлен на сей раз адвокатом Заичеком, который, как вам известно, является противником нынешних городских властей. Мне доложили, что это дело уже рассматривалось, но не было доведено до конца. Квартальный надзиратель и районный врач якобы установили, что Дилец держит только двух поросят для собственных надобностей, после чего никаких мер принято не было.

Неправильно было, пан советник, решать столь важное дело единолично, по собственному усмотрению, без заседателей. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что поросята тоже являются свиньями, содержание коих в Праге строго возбраняется. Сейчас, в начале осени, когда обычно вспыхивает холерная эпидемия, нам пришлось бы за это дело серьезно отвечать, к чему, конечно, будет стремиться адвокат Заичек.

Для быстрого и верного решения дела благоволите, пан советник, безотлагательно распорядиться о новом расследовании и последующем рассмотрении дела в суде, в моем присутствии, причем Ваше заключение должно быть составлено так, чтобы суд принял решение о ликвидации противозаконно содержащихся свиней в восьмидневный срок.

Прага, 17 сентября, 1858 года.

Письмо кандидата в учителя г-на Калготки его другу Эмилю Блажичке, младшему учителю в Писке

По воле божией сообщаю тебе отрадную весть: я назначен младшим учителем в Градец Кралове — город с крепостью и гимназией. Итак, я еду и начну работать на благо будущего Чехии и трудиться, как и ты, «на наследственной ниве народной» (эту цитату ты уже, наверное, где-нибудь встречал). Я от души радуюсь предстоящему мне благородному поприщу и своему новому жизненному пути, в частности, еще потому, что, как говорят, в Кралове Градце очень хороши девушки, до которых я великий охотник. Везет мне в этом деле сказочно, я мог бы ничего не делать, только заниматься любовью, а остальное пошло бы само собой, и жилось бы мне неплохо.

В последнее время у меня не было ни гроша, что со мной частенько бывает, но жил я как барон, вернее, как благоденствующий трактирщик. Все это, видишь ли, благодаря молодой трактирщице (вдове), к тому же моей землячке... А я парень во цвете лет... Словом, расходов на жизнь у меня было мало, очень мало. Но моей землячке не очень-то везет, задумал на ней жениться ее домохо-

Самуэл Проут. Староместская площадь

зяин, а она отвергла его из-за меня. Теперь он отказал ей от квартиры, и та не знает, куда деться. Я не бездушный человек, деньги у меня теперь появились, и я к ней больше не хожу, чтобы не стоять поперек дороги. Женщины ловки, особенно вдовы, она уж выкрутится как-нибудь. В конце концов я должен признать, что она и домохозяин будут хорошей парой; я уже представляю себе, как они по воскресеньям дружно едят почки с салатом... Ты догадываешься, что я не кривил душой, она мне и впрямь была не безразлична, иначе я не писал бы так много о ней. Но что было, то прошло.

Кончаю сердечным пожеланием, чтобы и тебе жилось хорошо...

Твой...

Резолюция градоначальника на апелляцию по поводу решения магистратного суда по делу Ондржея Дилца, владельца дома № 1213, в первом районе Праги

...изложенные в апелляции мотивы не могут быть признаны уважительными, ибо содержание свиней в Праге строго запрещено, указание же на то, что бургомистр держит двух лошадей, от которых якобы еще больше грязи и неудобств для окружающих, чем от поросят, не имеет никакого отношения к делу. Ондржей Дилец присуждается к уплате штрафа в сумме пяти гульденов, и ему вменяется в обязанность в трехдневный срок умертвить имеющихся у него поросят или удалить их из Праги, в противном случае это будет осуществлено в принудительном порядке.

Прага, 14 октября 1858 года.

Письмо трактирщицы Елены Велебовой ее сестре Алоизии Троусиловой, жене учителя в Хрудиме

Милая сестра!

Ты была права, видишь, я сама признаю это. Все это потому, что ты научилась уму-разуму от мужа, а я, бедная вдова, осталась глупой. За Калготку ты меня больше не упрекай, ведь с ним все кончено. Он от меня удрал. Сама знаешь, что и вся их семья была плохая, наша мамаша всегда их недолюбливала. Но я не виновата, он все уговаривал да уговаривал, а ведь женское сердце не камень.

Насчет Дилца ты тоже права. Тогда мне стоило только захотеть, а вот теперь не знаю, как взяться за дело. Он похудел, прямо страх! Видно, что мучается, но упрям и воображает, что если он домовладелец, то уж это бог весть что. Правда, долгов у него нет,

и вообще видно, что человек он хороший. На днях я тут играла с его мальчонкой — этакий славный бутуз, большие синие глаза и щеки такие, что ущипнуть хочется; он всего на полгода моложе моего Тоника, они уже опять играют вместе, и Тоник ходит к ним наверх... Так вот, говорю, играла я с его мальчишкой, а тут как раз идет Дилец домой. Я прикинулась, что не вижу его, а сама ласкаю мальчишку. Он остановился, слова не сказал, потом пошел дальше и не прислал тотчас за мальчишкой, как бывало раньше.

Спасибо тебе за масло, хотя оно и не вышло дешевле, чем в Праге. Здесь я бы его купила на рынке по той же цене. Но масло хорошее.

До святой Катерины еще пять недель; завтра я сама понесу Дилцу арендную плату. Говорю тебе, что мне будет стыдно, но ведь он такой деликатный, даже не напоминает мне о деньгах.

Тоник шлет тебе много поцелуев, и ты тоже пошли ему что-нибудь.

Целую тебя и твоего мужа и остаюсь всегда верная тебе сестра *Елена.*

P. S. Тороплюсь!

Из записной книжки Ондржея Дилца, стр. 31

...Такого приятного рождества у меня еще не бывало. Елена хорошая хозяйка и отлично готовит. Она меня очень любит и совсем не такая строптивая, как я думал, во всем меня слушается. Она, пожалуй, даже лучше, чем покойница первая жена, царствие ей небесное. Теперь я верю, что этот студентик вовсе не нравился Елене, просто она хотела меня подразнить,— так женщины поступают с теми, кого по-настоящему любят. Если у нас и дальше пойдет, как сейчас,— а уже видно, что так оно и будет,— она не пожалеет, что за меня вышла, и увидит, что я буду хорошим отцом ее ребенку и не забуду о ней на случай, если скоро умру. Весной я побелю дом, а в садике устроим ресторан с музыкой. Теперь дело пойдет куда лучше, чем когда Елена была одна и без средств. Да и эти судейские господа тоже, наверное, оставят меня в покое. Сегодня ко мне приходили какие-то двое и сказали, что после моей апелляции в Вену — а я уже забыл о ней и гляжу на них, никак не соображу, в чем дело! — пришел оттуда приказ все дело расследовать в подробностях с самого начала. Как, однако, они будут расследовать, ежели поросят этих мы уже съели, сегодня была последняя печенка на завтрак? Елена смеялась до упаду: сало от поросят у нее давно уже перетоплено в кухне. Так что не знаю, кто теперь выиграет это дело...

XII. ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

Слабое детское сопрано захлебнулось на высокой ноте, юная Валинка закрыла ноты, аккомпаниатор взял несколько заключительных аккордов, и хорошо заученная улыбка и книксен завершили концерт.

— Как замечательно! Она станет великой певицей... Вы будете счастливым человеком, господин фон Эбер,— умилялась Бауэрова. Кончив аплодировать, она в непритворном восторге вскочила с места, чтобы от избытка чувств обнять Валинку. Ее примеру последовали другие гости, сидевшие в два ряда в гостиной,— их было человек двадцать,— и на Валинку обрушился ливень поцелуев. Девочка, едва переводя дыхание, закричала: «Моя прическа!.. Мама! Мама!»

Эбер, в течение всего концерта недвижно стоявший у окна, был тронут. Он закрывал и открывал глаза и наконец взволнованно сказал:

— Еще два года будем ее учить, а потом пусть дает концерты. Ей, правда, исполнится всего четырнадцать лет, и публика будет удивляться, но что поделаешь, коли она так талантлива! Вы не поверите, пани Бауэрова, какие успехи она сделала во французском языке за двадцать уроков. Уже свободно болтает с учителем.

Бауэрова удивленно всплеснула руками.

— Быть не может! Валинка, это правда?

— Oui, madame [1],— подтвердила Валинка.

— Вот видите! Я сам ушам своим не верил. Дело, конечно, также в хороших учителях. Особенно хорошо ведет свой курс учитель пения. У него отличный метод, ни одной мелочи не упускает, даже вставляет ученице палец в рот, когда она его недостаточно открывает... В Праге мы Валинку не оставим!

— Грешно было бы! — подтвердила Бауэрова, усаживаясь рядом со своей дочерью.

Барышня Мария, слева от которой сидел жених ее приятельницы обер-лейтенант Коржинек, в конце выступления Валинки нарочно сняла обе перчатки, чтобы громче хлопать. Вместе с ней аплодировал Коржинек, тощий и хворый человек с застывшей улыбкой беззубого рта.

— Мне даже жалко стало! — кончив хлопать, томно сказала Мария своему все еще трудившемуся соседу.— Мы, девушки, так слабы! Хорошо пела Валинка, не правда ли?

---

[1] Да, мадам *(франц.)*.

— О, конечно! — согласился обер-лейтенант.— Особенно хорошо было заключительное «до».

— А может быть, это было «фа»,— заметила барышня.

— Вовсе нет, это было «до»! А до того еще одно «до». Высокие ноты всегда бывают «до».

Лицо Марии вытянулось и стало неподвижным.

— Вы, стало быть, тоже занимаетесь музыкой? — спросила она, чтобы сказать что-нибудь.

— Я? Нет, говорят, что у меня нет способностей. Но мой брат играл с листа. Каждую пьесу он мог сыграть в точности по нотам.

— И у меня был такой брат,— вздохнула Мария.— Умер, бедняжка! У него был прекрасный тенор. Он брал ноты от верхнего «до», о котором вы говорили, до самого нижнего «ля», уверяю вас.

— Это, наверное, было великолепно!

— Вы очень любите музыку?

— О, конечно!

— Видимо, часто ходите в оперу?

— Я? Ну, нет. Это слишком дорогое удовольствие для одной пары ушей. Однажды я был в опере, которая мне страшно понравилась... никак не вспомню название... но хорошая была опера. Иногда мне опера не по душе, во мне слишком говорит солдат, когда я вижу в оркестре здоровенного парня, который мог бы бить в турецкий барабан, а он там играет на скрипке. Потом мне не нравится, когда певица начинает пускать свои трели... или как они называются?..

Мария вдруг повернулась к своей матери.

— Ну, как он тебя развлекает? — шепнула та.

— Хорошо... По-моему, он ничего не смыслит даже в самых пустяковых делах.

— Это не беда.

— Конечно, не беда,— шепотом отозвалась Мария и снова обернулась к соседу.— Но как все-таки благородно со стороны Эберов давать такое образование ребенку! Ведь у них ни гроша за душой. Они в долгу как в шелку. У нас тоже есть доля в этом доме, и я всегда говорю маме, чтобы она была осмотрительнее, но она такая добрая душа!

Коржинека передернуло при этих словах, он хотел что-то сказать, о чем-то расспросить, но шум возвестил, что общество уже начало расходиться. Мария и ее мать тоже поднялись.

— Нам так далеко домой, а идем мы одни,— жаловалась Мария обер-лейтенанту.— Поклонников у меня никогда не было, а по-настоящему галантных мужчин так мало!

— Осмелюсь ли...— учтиво и с охотой осведомился обер-лейтенант.

— Ах, это было бы так мило!.. Маменька, пан Коржинек проводит нас.

— Но ведь мы живем так далеко! Впрочем, пан Коржинек сможет остаться у нас на ужин, и мы отлично проведем время.

Хозяйка дома поочередно провожала гостей, а Матильда, которой пришлось на минуту оставить Коржинека, чтобы попрощаться с уходящими, раздавала поцелуи направо и налево. Мать что-то шепнула ей на ухо. Матильда подошла к обер-лейтенанту и тихо сказала ему:

— Вы останетесь у нас, мамаша приглашает вас отведать нашей ветчины.

— Я... я уже...

— Душечка Матильда! — подскочила Мария и начала пылко обнимать приятельницу.— Какое удовольствие мы получили! Жаль, что так рано кончилось! С попутчиком мы бы не побоялись и позже возвращаться домой, а пан Коржинек только что обещал проводить нас, ведь мы так далеко живем. До свиданья, мой ангел, поцелуй меня еще раз! Вот так! Разрешите откланяться, милостивая государыня!

Матильда остолбенела, вся кровь отлила от ее лица.

— Ну, проводи же Марию,— подтолкнула ее мать.— Что с тобой? — Но, увидев, что Коржинек уходит с гостями, она только ахнула.

— Всего, мой ангел! — кивнула Мария и проплыла к дверям.

Матильда стояла, словно пораженная громом.

XIII. ПОСЛЕ ТИРАЖА

Старая Баворова с удобством сидела за прилавком. В пятницу после полудня, до прихода вечерних покупателей, в мелочной лавке обычно бывает очень тихо. Муж ушел в город по торговым делам. Вацлав вообще редко бывал дома, и Баворова сидела одна, занимаясь сонниками, листочками со столбцами цифр и т. д. Она приятно проводила время и хотя иногда зевала, но была явно довольна собой, лицо ее сияло, глаза мягко поблескивали за стеклами стареньких очков.

Кто-то показался на пороге; лавочница взглянула в ту сторону. Это была трактирщица. Баворова сделала вид, что не замечает вошедшей, и продолжала заниматься своими цифрами. Можно не сомневаться, что инцидент во время похорон Жанины еще и сегодня омрачал отношения этих женщин.

Трактирщица вошла в лавку.

— Да прославится имя господне! — сказала она.

— Во веки веков! — отозвалась Баворова, не поднимая головы.

— Ну как, выиграли мы? — начала трактирщица.

— Вместе-то мы не очень много выиграли,— был холодный ответ с ударением на первых двух словах.

— Вместе... гм... правда, мне сказали, что вы снова поставили на ту серию, о которой говорили мне еще раньше, до того, как мы условились, и на нее пал крупный выигрыш.

Тон трактирщицы был резкий, вызывающий.

— Да, когда я слушаюсь своего старого ума, всегда бывает толк.

— Мне тоже причитается доля этого выигрыша.

— А при чем тут вы?

— Ну, уж это нечестно!

Баворова побелела как мел, но не подняла головы и не спеша ответила ледяным тоном:

— Разве вы доплачивали мне что-нибудь на эту серию? Вы ведь советовали мне переменить номер, поставили на эту замену и получили полвыигрыша. Значит, мы в расчете.

Спокойствие Баворовой, хотя и притворное, подействовало на трактирщицу.

— Не будем из-за этого ссориться,— сказала она тоже с деланным спокойствием.— Я каждому желаю то, что дает ему бог, почему ж не пожелать и вам? К тому же ваш Вацлав и моя Маринка любят друг друга...

— Это не к спеху, они еще молоды... И я не люблю гордецов. Мой Вацлав — сын лавочника и будет тем, чем сможет стать, вот что.

— Не думаете ли вы, что я буду навязываться? Очень надо! Моя дочь мещанка, и этого у нее никто не отнимет!

— Ну и пусть себе подавится своим мещанством,— язвительно ответила Баворова и сняла очки.

— Честь есть честь, и у кого ее нет, тому ее никогда не иметь,— прошипела трактирщица.— Меня принимают всюду, а из дровосека не сделаешь барина, хоть его озолоти. Вот мое мнение, и больше я разговаривать не желаю... будьте здоровы!

И она выскочила из лавки.

— Слуга покорная! — крикнула вдогонку Баворова и только теперь подняла голову. Минуту она смотрела вслед трактирщице. Лицо ее снова раскраснелось, глаза засверкали.

— Меня не проведешь! — вслух сказала она, видимо, довольная тем, что не вышла из себя, потом снова надела очки и продолжала заниматься своими сонниками и цифрами, ибо была фанатичной «лотерейщицей» и во всем квартале пользовалась славой знатока законов этой игры. Настоящая лотерейщица никогда

не довольствуется достигнутым; если она не хочет растерять своих возможностей, ей нужно использовать каждую свободную минуту.

Никто не поверит, какая длительная подготовка нужна для того, чтобы один раз наверняка сыграть в лотерею. Правильный номер не определишь ни холодным разумом, ни внезапным наитием, разве что в виде великого исключения, на которое не станет рассчитывать здравомыслящий человек. Правильный номер — это не математическая величина и не астральное видение, он не родится ни в мозгу, ни в фантазии; он подобен цветку, вернее, кристаллу, для выращивания которого нужно время и надежная почва; этой почвой является человеческое сердце. Да, именно в сердце рождается счастливый лотерейный номер, а так как человеческое сердце связано со всем миром и на него влияет даже магнетическая сила далеких звезд, то и рождение номера связано со всем окружающим миром. Ну, а раз номер рождается в сердце, стало быть, эта сфера — бесспорная привилегия женского пола. Стоит сюда впутаться мужчине, он тотчас же сбивается с правильного пути, поддается рационалистическим расчетам и тонет в них, как в трясине.

Старая Баворова все это отлично понимала, хотя и не могла сформулировать так ясно, как мы. Она пестовала номера, как садовник выращивает из семян цветы, и была равно далека от случайной игры с «надерганными» номерами вывешенных у продавцов лотерейных билетов и от сложных расчетов. Основой ее обширных операций был сонник, именуемый «Кумбрлик».

Столь же загадочным, как это название, было полное заглавие замечательного сочинения. Оно называлось: «Толкования мысленного явления некоторых снов, кои, по различным причинам, относятся к различным племенам, а также определение с их помощию счастливых номеров для игры в лотерею». В предисловии цитировались изречения старинных мудрецов, говорилось об Аристотеле и о супруге Гектора, о Севере и матери Вергилия, о лестнице Иакова и коровах фараоновых, о сновидениях трех волхвов и Навуходоносоре в Вавилоне. Все это было написано таким же стилем, что и заглавие,— стилем, который невозможно постичь одним лишь рассудком, ибо он взывает к чувствам.

Верное толкование снов — основа игры в лотерею, а для верного толкования служит «Кумбрлик». Однако не всякий сон годится для истолкования. Во-первых, есть месяцы, в которых очень мало счастливых дней. Это хорошо известно каждой лотерейщице, ибо это «умозаключения, от старых звездочетов происходящие и главным кормчим всех планет подтвержденные». Счастливый день тоже не сразу приносит свои дары, ибо только профан не знает,

что сны суть семи племен и только пятое племя — правильное и годится для толкований. Из толкования сразу же исключаются все сны, происходящие от злого духа (племя восьмое), а также и те, кои видятся набожным людям как явления (племя седьмое). Не годятся для толкования и сны, вызванные «корнем какой-либо болезни», горячностью крови и мыслей или виденные человеком, у которого есть влага в печени или в легких. Сны же пятого племени видят те, кто «вкушает на ночь мало еды или совсем не вкушает ее, и притом является человеком здоровой и спокойной мысли». Настоящая лотерейщица должна, следовательно, соблюдать особый режим, способствующий правильным сновидениям, и старая Баворова придерживалась такого режима.

Толкование сна и соответствующую ему счастливую цифру для лотереи следует искать в «Кумбрлике». Существует, правда, еще много других сонников, в том числе иллюстрированные, но «Кумбрлик» высится над ними, как Снежка над всеми горами. Выбранные таким образом номера не являются, правда, совершенно бесспорными, но ими следует воспользоваться при ближайшем тираже, так сказать, для почину: если они выиграют — хорошо, не выиграют — тоже не беда. Их не следует выбрасывать, а надо записывать.

Время сна гадальщицы делят на четыре пояса: в каждом по три часа. Первый пояс начинается в семь часов вечера; система эта, как видим, несколько старозаветная. По поясу, в котором было сновидение, определяется, когда можно рассчитывать на его выполнение — в течение восьми дней, или трех тиражей, или трех месяцев, или трех, а иногда и двенадцати лет. Очень важно, стало быть, чтобы лотерейщица вела тщательные записи всех старых номеров.

Этим, однако, гадательная наука о лотерее не исчерпывается. Старая Баворова, правда, не признавала таких, например, глупостей, как вкладывание девяноста нарезанных номерков в банку с пауком, чтобы он их «вытянул» своей паутиной. Для этого Баворова была слишком рассудительна. Зато у нее был длинный холщовый мешочек с девяноста перенумерованными шариками, и она каждый день вынимала на счастье три шарика левой рукой и три правой. Эти цифры и дату она заносила на отдельную бумажку с пометкой «Я», а кроме того, давала также тянуть мужу, сыну и симпатичным ей людям и все номера, даты и имена записывала. Номера лотерейных билетов, вышедших в тираж, она фиксировала отдельно, ибо это тоже имеет свой смысл; правда, нельзя с полной определенностью установить закономерность их повторения, но подчас, когда просматриваешь эти записи, тебя при виде какого-нибудь номера вдруг словно осеняет. Это и есть наитие.

И, наконец, приходит время, когда сон «хорошего дня и племени» должен сбыться. Если в это же время правая и левая рука вытаскивают ту же цифру и о ней же тебе говорит наитие, тогда иди и ставь на нее, нет никакого сомнения в том, что ты выиграешь. Всем этим руководствовалась Баворова — она поставила на свое неизменное число, поставила в твердой уверенности в нем, и выиграла.

Я уже сказал, что настоящая лотерейщица никогда не довольствуется достигнутым; если она не хочет растерять своих возможностей, ей нужно использовать каждую свободную минуту. Один крупный выигрыш — это, конечно, не причина отказаться от своего излюбленного занятия; лотерея была стихией Баворовой, горнилом ее духа, отрадой сердца. Вот почему мы опять находим ее за сонником и записями.

Она писала, переписывала и сопоставляла, когда вошел Вацлав. Поздоровавшись, он остановился у прилавка. Мать кивнула головой, взяла холщовый мешочек, встряхнула его и протянула Вацлаву.

— Ты сегодня еще не тянул... Сперва правой! Знаешь уже, что тебя прогнали со службы? — спокойно спросила мать.

— Что? — заикнулся было Вацлав и быстро взглянул на мать, спокойный тон которой озадачил его.

— И ты вытянул тот же номер! Удивительно! У меня все время вынимается тридцатка... Домохозяин заходил к нам и велел тебе передать насчет службы... Слушай, а что там такое случилось вчера с парикмахером? Была у меня тут эта шальная дочка домохозяина и говорила, что страшно тебя благодарит, ты оказал ей великую услугу.

— Да ничего, пустяки! У них вчера был домашний концерт: парикмахер, который должен был завивать девочку, в темной подворотне свалился за каток для белья и никак не мог выбраться. Я влез туда и помог ему. Маринка тоже была там...

— С этой Маринкой ты у меня брось! Не спрашивай почему, я не велю, и все. Ее мать лживая и недостойная женщина,— сказала Баворова уже менее спокойным тоном, записывая вытянутые Вацлавом номера.— Так, а теперь вынимай левой рукой... Эта шальная барышня все время тут вертелась и извинялась, что вчера тебя не позвали на концерт. Она, мол, постеснялась,— словно она умеет стесняться! — а старуха, мол, забыла и потом сама огорчалась, что тебя нет. Знаю я, куда они гнут! Кругом в долгах, а теперь узнали от этого болтуна-торговца... да, ты ведь еще не знаешь, что я выиграла на серию и на номер.

— На серию и на номер?! — воскликнул Вацлав.

— Да, мы получим несколько тысяч.

— Правда, маменька? — обрадовался Вацлав, всплеснув руками.

— Разве твоя мать когда-нибудь врала?

Вацлав бросился за прилавок и стал обнимать и целовать мать.

— Ну, ну, сумасшедший, когда ты образумишься! — защищалась Баворова.— Я знала, что наконец выиграю. А ты... теперь ты возьми себя в руки и закончи образование.

У Вацлава засверкали глаза. Он вскочил и снял связку ключей с гвоздика.

— Ты куда?

— На крышу.

— Зачем?

— Строить планы новой жизни.

XIV. В ТИХОМ СЕМЕЙСТВЕ

Домохозяин ходил по комнате. Он был еще в утреннем туалете — брюках без помочей и расстегнутой на груди сорочке. Его нечесаные волосы торчали во все стороны. Грубое лицо выражало растерянность, руки, как грабли, без толку болтались вокруг тела.

Его супруга, тоже в неглиже, стояла у комода с тряпкой в руке. Она делала вид, что стирает пыль, но все ее движения свидетельствовали о замешательстве.

Причиной замешательства обоих супругов было третье лицо, сидевшее в кресле у стола. Глазу опытного наблюдателя положение сразу становилось ясным: черты незнакомца свидетельствовали о том, что он сын того народа, который некогда дал миру, как об этом говорит Библия, единственного человека, вернувшего полученные деньги,— легендарного Иуду. Незнакомец явно уже не впервые появлялся в семье Эберов и чувствовал себя здесь как дома. Он то снимал, то вновь надевал потертую шляпу на свою облысевшую, с редкой сединой, голову, барабанил пальцами по столу и бесцеремонно сплевывал на пол. Глаза его выражали сознание своей власти, на губах играла пренебрежительная усмешка.

Он вдруг сделал резкое движение, оперся о стол и встал.

— Я вижу, что мои денежки плакали,— громко сказал он.— Но я не дам себя в обиду. И больше не одолжу вам ни крейцера.

Хозяйка повернулась к нему и сказала с принужденной любезной улыбкой:

— Еще только пятьдесят гульденов, пан Менке, выручите нас, и мы будем вам очень благодарны.

— Что значит «благодарны»,— ухмыльнулся ростовщик.— Я тоже буду благодарен, если кто-нибудь подарит мне пятьдесят гульденов.

— Но ведь мы ручаемся вам за возврат, пан Менке, у нас есть дом.

— Дом! В Праге много домов и много домовладельцев. Знаете ли вы, кто, собственно, настоящий хозяин дома? У меня, правда, есть доверенность на получение вашего жалованья, но что мне с него толку, когда там не хватает даже на проценты! Если до вторника вы не заплатите процентов, я пойду к вашему президенту.

И он направился к дверям.

— Но, пан Менке...

— Нет! У меня дети, и я не позволю обирать себя! Честь имею кланяться!

Он ушел, оставив дверь настежь.

Эбер замахал руками и зажевал губами, словно желая что-то сказать. Его супруга сердито подскочила к двери и захлопнула ее.

Дверь в соседнюю комнату, дотоле полуоткрытая, распахнулась, и вошла Матильда. Она была в нижней юбке и зевала, сонно оглядывая комнату.

— Не понимаю, зачем вы с ним разговариваете,— беспечно сказала она.— Я бы его просто выгнала.

Эбер, причесываясь, стоял перед зеркалом. Слова дочери рассердили его, он быстро обернулся и резко сказал:

— Молчи, что ты понимаешь!

— Ну конечно! — невозмутимо заметила Матильда. Она подошла к окну и продолжала зевать, глядя на улицу, где начинался прекрасный день.

Пани Эберова демонстративно молчала и так энергично вытирала пыль, что комод трещал.

Наступила долгая пауза, пан Эбер одевался, а его супруга металась по комнате, брала в руки то один, то другой предмет и снова ставила его на место. Эберу было ясно, что это молчание ненадолго, и он предпочел нарушить его сам.

— Подай же мне кофе, жена, знаешь ведь, что мне пора на службу,— сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее.

— Кофе еще не согрелся,— сухо ответила жена, открывая дверцу большого платяного шкафа.

— Не согрелся! Уж не хочешь ли ты сказать, что для меня греется вчерашний кофе? Надеюсь, это не так?

— А почему бы и нет? Не таковы твои доходы, чтобы в кухне варили целый день. Заработай-ка на свежий кофе!

Матильда отвернулась от окна и уселась сложа руки. Она поочередно поглядывала то на отца, то на мать и радовалась развле-

чению. Эбер знал свою супругу и предпочел переменить тему, не желая еще раз ввязываться в ссору.

— Что у нас сегодня на обед? — спросил он, делая вид, что забыл о завтраке.

— Молочные кнедлики с хреном,— был отрывистый ответ.

Эбер терпеть не мог это блюдо и, усмотрев здесь злой умысел, рассердился.

— Почему именно сегодня выбрано это чертово блюдо, осмелюсь спросить, милостивая государыня? — с трудом выдавил он из себя.

— А потому! Сегодня весь день уборка, а в такие дни я ничего другого не варю.— Супруга что-то искала в шкафу и, не находя, начала срывать с вешалки платья и швырять их на пол.

— Та-ак-с! Весь день — уборка... А мне куда прикажете деться?

— Куда хочешь! Хорош отец, ни разу за весь год не сходит с ребенком погулять! Возьми Валинку и уйди куда-нибудь на полдня.

— Больше ты ничего не скажешь? — в бешенстве захрипел Эбер.

— Можешь стать где-нибудь на углу и просить милостыню,— добавила жена и, не в силах что-то достать из шкафа, почти влезла в него.— При твоих способностях нам скоро ничего другого не останется. Вот увидишь, я отравлюсь или проглочу толченое стекло. Теперь нам с Матильдой приходится спасать положение. Еще неизвестно, удастся ли ей влюбить его в себя... Зачем тебе надо было выживать молодого Бавора со службы? Строишь из себя вельможу, а самому грош цена!..

Она не договорила. Не владея более собой, Эбер подскочил к ней, втолкнул ее в шкаф, захлопнул дверь и повернул ключ.

Матильда в восторге захлопала в ладоши.

Из шкафа слышался шум и стук, шкаф ходил ходуном. Эбер схватил стакан и швырнул его о шкаф, так что полетели осколки. Матильда снова зааплодировала.

Шум в шкафу усилился. Эбер торопливо надел сюртук, взял шляпу и остановился в колебании — открыть шкаф или нет.

Заметив его нерешительность, Матильда быстро сказала:

— Пускай посидит там. Чтоб не кричала!

— Правильно,— согласился отец.— Выпусти ее, когда я буду на улице. Ну, я пошел.

Он вышел. Матильду вдруг озарила новая мысль. Она подбежала к шкафу, распахнула его и закричала бледной от злости матери:

— Скорей! Он удирает!

Но мамашу не надо было торопить, она уже летела к дверям. Дочь поспешала за ней, стараясь не упустить захватывающего зрелища. В кухне мамаша схватила веник и ринулась на балкон. Эбер еще спускался по винтовой лестнице, мимо служанки, занятой мытьем ступеней.

— Вылей на него ушат, облей его! — закричала служанке Эберова.

Супруг так заторопился, что чуть не упал с лестницы. Едва он выбежал во двор, как мимо пролетел веник, на счастье не задев его. При виде своей неудачи, Эберова сорвала с головы чепчик и швырнула в убегавшего супруга. При этом она вопила на весь дом:

— Кровопийца, разбойник! Ходит как барин! Хорош бы ты был, если бы на тебе не было шести локтей фланели! Негодяй! И это называется муж: получает в год триста гульденов и строит из себя барина! Плевать мне на такого мужа! Неделю не возвращайся домой, слышишь?

Но Эбер уже был за воротами и не слышал этого доброго совета.

Вся сцена развивалась и закончилась в таком стремительном темпе, что жильцы, поспешившие к окнам, увидели только, как Матильда радостно обнимает возвратившуюся мать.

XV. КОНЕЦ НЕДЕЛИ

Настало воскресенье. Хотя свадьба Йозефинки состоялась рано утром, во дворе толпились любопытные соседи, а перед домом и в воротах собралась толпа. Соседки наблюдали за происходящим самым внимательным образом и вынесли суждение, что это «бледная свадьба».

Это выражение не означало, что свадьба была скудной, нет, жених не ударил лицом в грязь, невеста получила от него прекрасное шелковое платье, а в свадебном поезде было достаточно экипажей. И все же соседки были правы: знакомые им участники свадебной церемонии были сегодня необычно бледны, словно что-то стряслось перед самым выездом. Можно было не удивляться смертельной бледности невесты, ибо «бледная невеста — веселая жена». Но за невестой шли бледный жених и вечно бесцветная подружка Клара; по воле случая лица остальных гостей отличались тем же оттенком. Даже круглая и обычно румяная физиономия брачного свидетеля Лоукоты сегодня обращала на себя внимание непривычной бледностью. Один лишь шафер Вацлав смеял-

ся и балагурил, как всегда, но у него ведь нет ничего святого, это всем известно...

Днем Лоукота стоял перед домом, натягивая перчатки, оглядывался, словно ожидая кого-то. Из лавки вышел празднично одетый Вацлав и подошел к нему.

— На прогулку, пан доктор?

— Да, в Стромовку.

— Один?

— Д-да... один, то есть пани Лакмусова тоже собирается туда.

— Ага, значит, и барышня Клара! Сегодня она была так хорошо одета!

Лоукота бросил быстрый взгляд вдоль улицы.

— А вы куда, Вацлав?

— В Шарку.

— Не один, конечно. Наверное, с Маринкой?

— Вот и нет,— засмеялся Вацлав.— С домохозяевами.

В воротах уже слышались голоса Лакмусов и семейства Эберов.

— С домохозяевами? — удивился Лоукота.— Неужто вы хотите всерьез влипнуть, приятель?

— Я знаю, что делаю, пан доктор... Я только мщу за наш пол. И вы, наверное, тоже мстите, а?

Доктор смущенно замигал. Он открыл было рот для ответа и снова закрыл его. Потом, легонько кашлянув, сказал:

— Тише, они уже близко.

ПАН РЫШАНЕК И ПАН ШЛЕГЛ

I

Смешно было бы предполагать, что кто-нибудь из моих читателей не знает ресторана «Штайниц» на Малой Стране. Он там на самом видном месте: первый дом налево от башни, на углу Мостецкой и Лазеньской улиц. Широкие окна, большие стеклянные двери. Это единственный ресторан, который смело распахнул свои двери прямо на самой оживленной улице. Все другие рестораны, со свойственной малостранцам скромностью, либо расположились в боковых улицах, либо предложили своим клиентам входить в них через дом или под арку. Поэтому коренной житель Малой Страны, сын тихих, молчаливых улиц, где так много поэтических уголков, не ходит к «Штайницу». Гости «Штайница» — это чиновники посолиднее, учителя, офицеры, которых случай занес на Малую Стра-

ну и скоро, видимо, унесет оттуда, несколько пенсионеров и старых состоятельных домовладельцев, давно удалившихся от дел. Вот и весь круг посетителей этого ресторана — бюрократически-аристократический.

Много лет назад, когда я был еще гимназистом, общество у «Штайница» тоже собиралось избранное, но в каком-то смысле иное. Словом, это был малостранский Олимп, где сходились местные боги. История неопровержимо подтвердила, что народы создают богов по своему образу и подобию. Иегова был бог мрачный, злой, мстительный, жестокий и кровожадный, как весь народ иудейский. Боги древних были изящны, остроумны, красивы и веселы — настоящие эллины. Славянские боги... впрочем, извините меня, у нас, славян, не хватило гибкости и силы ни на организацию больших государств, ни на создание характерных богов. Наши былые боги, что бы там ни писали Эрбены и Костомаровы, все еще представляются нам расплывчатой группой мягкотелых и неопределившихся фигур. Когда-нибудь я, наверное, напишу отдельную статью — особо проникновенную — об этом сходстве богов с людьми, а сейчас хочу только сказать, что боги, собиравшиеся у «Штайница», вне всяких сомнений, были настоящими богами Малой Страны. В этом уголке Праги — я говорю о домах и людях — есть что-то тихое, солидное, стародавнее, дремотное; все это было характерно и для посетителей «Штайница» — даже дрема. Правда, это были, как и нынче, чиновники, военные, учителя, пенсионеры, но в те времена чиновников и военных не гоняли так из страны в страну, как теперь. Отец, бывало, давал сыну образование в Праге, устраивал его тут же на службу и благодаря связям добивался того, что сынок навсегда оставался там. Когда несколько гостей того ресторана останавливались на тротуаре у входа, с ними здоровались все прохожие, их знали все.

Для нас, гимназистов, Олимп «Штайница» был тем величественнее, что там восседали и все наши старые учителя. Старые! К чему говорить — старые? Я хорошо знал всех их, этих богов нашей милой Малой Страны, и мне всегда казалось, что никто из них никогда не был молод, вернее, что они даже детьми выглядели, как взрослые, только ростом были поменьше.

Как сейчас, вижу их перед собой! Вот советник юстиции — долговязый, сухопарый, всеми уважаемый. Я никогда не мог себе представить, в чем заключалась его служебная деятельность. Когда мы в десять часов утра шли из школы, он еще только выходил из своего дома на Кармелитской улице и солидно направлялся в винный погребок на Оструговой. Когда по четвергам у нас в школе не было послеобеденных уроков и мы носились по Марианским валам, он гулял там в саду, а в пять часов уже входил к «Штайницу».

Тогда я твердо был уверен, что буду хорошо учиться и тоже стану советником юстиции, но потом как-то забыл об этом намерении.

Вот одноглазый граф. На Малой Стране, правда, всегда хватало графов, но только одноглазый граф ходил в малостранский ресторан, по крайней мере, в те времена. Это был громадный, костлявый, краснолицый мужчина с короткими седыми волосами, с черной повязкой на левом глазу. Перед рестораном «Штайниц» он, случалось, простаивал по два часа, и я в таких случаях обходил его стороной. Дело в том, что природа наделила дворян особым профилем, который именуется аристократическим, а это делало графа очень похожим на хищную птицу. Граф на самом деле напоминал мне того сокола, который с жестокой последовательностью ежедневно, около полудня, с голубем в клюве, садился на купол собора святого Микулаша и там терзал свою жертву, так что перья летели даже на площадь. И так вот, в смутном опасении, что граф долбанет меня клювом, я обходил его стороной.

Затем толстый штаб-лекарь, человек совсем еще не старый, но уже в отставке. Рассказывали, что однажды весьма высокопоставленное лицо осматривало пражские больницы и делало различные замечания, а наш штаб-лекарь сказал высокопоставленному лицу, что не понимает по-немецки. Этим он снискал себе немилость и отставку, но одновременно нашу любовь, потому что нам, мальчишкам, он казался чуть ли не революционером. Был он приветлив и любил поговорить. Встречая мальчика, который ему нравился,— этот мальчик мог быть и девочкой,— доктор останавливал его, гладил по щеке и говорил: «Передай привет папеньке»,— хотя с папенькой даже не был знаком.

Все эти старики постепенно старели — чем дальше, тем больше — и умирали. Не будем вызывать их тени с того света. С восторгом вспоминаю минуты, которые я, исполненный гордости, проводил в их обществе: каким самостоятельным, мужественным и даже величественным я себе казался, когда, став студентом, в первый раз, не боясь учителей, вошел к «Штайницу» и вступил в круг этих высших существ. Правда, они не обращали на меня внимания и попросту даже вовсе меня не замечали. Только однажды, впервые за несколько недель, штаб-лекарь, направляясь к выходу мимо моего столика, обратился ко мне со словами: «Да, да, молодой человек, пиво сегодня никуда не годится, что бы они там ни говорили!» И пренебрежительно кивнул в сторону тех, с кем только что сидел. Настоящий Брут! Осмеливаюсь утверждать, что он и самому Цезарю бросил бы в лицо упрек, что тот ничего не понимает в пиве.

Зато мое внимание было приковано к ним. Слышать их разговоры мне доводилось редко, но наблюдал я за ними пристально.

Я считаю себя лишь жалкой копией этих людей, хотя все, что есть во мне возвышенного, воспринято от них. Самыми же незабвенными для меня будут двое, глубоко запавшие мне в душу — пан Рышанек и пан Шлегл.

Эти два человека терпеть не могли друг друга... Но, извинившись еще раз, я начну свой рассказ иначе.

Если войти к «Штайницу» с Мостецкой улицы, то в первом зале, где стоит бильярд, вы увидите три окна, выходящие на Лазеньскую улицу. В нишах этих окон стоят маленькие столики и скамьи в виде подковы. За столиком могут поместиться три гостя, причем один будет сидеть спиной к окну, а двое других или лицом друг к другу, или, по желанию, тоже спиной к окну, повернувшись к бильярду и наблюдая игру.

За столиком, что у третьего окна, направо от входа, изо дня в день, с шести до восьми вечера, сидели всеми уважаемые обитатели Малой Страны — пан Рышанек и пан Шлегл. Никто никогда не занимал их мест. Порядочный и нравственный обитатель Малой Страны считал просто невозможным сесть на чье-нибудь привычное место, потому что... ну, потому что об этом и думать нечего! Места у третьего окна всегда оставались свободными, и пан Шлегл садился на том конце скамьи, который ближе к входу, а пан Рышанек — напротив. Оба всегда сидели спиной к окну, и, следовательно, наполовину отвернувшись от столика и друг от друга, и смотрели на бильярд; к столику они поворачивались, только чтобы отхлебнуть пива из кружки или набить трубку. Одиннадцать лет сидели они так изо дня в день. И за эти одиннадцать лет не сказали один другому ни слова и даже не поглядели друг на друга.

Вся Малая Страна знала, что они заклятые враги. Вражда эта была старая и непримиримая. Причину тоже все знали, это была первопричина всех бед — женщина. Оба полюбили одну и ту же. Сначала она склонилась было к пану Рышанеку, жениху более состоятельному, который уже давно имел свою торговлю, но потом вдруг, сделав неожиданный поворот, очутилась в объятиях пана Шлегла. Быть может, это произошло потому, что пан Шлегл был почти на десять лет моложе. И вот она стала пани Шлегловой.

Не знаю, была ли пани Шлеглова так хороша собой, чтобы это оправдывало столь длительную безутешность пана Рышанека и его пожизненное безбрачие. Пани Шлеглова уже давно на том свете, она умерла вскоре после родов, оставив мужу дочку. Девочка, кажется, была очень похожа на мать. В то время, о котором идет речь, барышне Шлегловой было двадцать два года. Я знал ее, она часто заходила в квартиру над нами, к Польди, дочери капитана, той, что спотыкается на улице через каждые двадцать шагов. Говорили, что барышня Шлеглова — красавица. Может быть, но раз-

ве что во мнении архитектора. Все у нее на своем месте, все правильных пропорций, и вообще в ее наружности нет никаких неясностей. Но если вы не архитектор, вы пришли бы в отчаяние. В лице девушки было столько же подвижности, сколько на фасаде дворца. Ее блестящие глаза напоминали хорошо вымытые окна. Ротик, прелестный, впрочем, как архитектурный орнамент, открывался медленно, как ворота, и оставался открытым или так же медленно закрывался. Цвет лица напоминал о только что побеленном здании. Быть может, теперь, если дочь Шлегла еще жива, она уже не так прекрасна, но стала приятнее: такие строения выглядят уютнее, когда обветшали.

К сожалению, я не могу рассказать читателю, как вышло, что пан Рышанек и пан Шлегл очутились вместе за одним столиком у третьего окна. Тому была виною проклятая случайность, пожелавшая портить жизнь стариков изо дня в день. Когда случай свел их там в первый раз, мужская гордость удержала их на местах. Во второй раз они не разошлись из упрямства. А затем уже оставались, чтобы доказать свою непреклонность и чтобы «люди не говорили». И теперь каждому посетителю «Штайница» давно было ясно, что для пана Рышанека и пана Шлегла это стало вопросом личного достоинства и что ни тот, ни другой не может отступить.

Оба они приходили в шесть часов, один на минуту раньше, другой на минуту позже, причем и в этом чередовались ежедневно. Каждый вежливо здоровался со всеми присутствующими, кроме своего недруга. Летом кельнер брал у них шляпы и трости, зимой — мохнатые шапки и пальто и вешал на крючок за их столиком. Каждый из них после этого встряхивал, как голубь, верхней частью туловища,— так делают пожилые люди перед тем как сесть,— опирался о свой край стола (пан Рышанек левой рукой, а пан Шлегл — правой) и неторопливо садился спиной к окну, а лицом к бильярду. Когда толстый ресторатор, вечно улыбавшийся и тараторивший, подходил угостить их первой понюшкой табаку, ему приходилось отдельно для каждого сделать замечание о хорошей погоде и постучать по табакерке. Иначе другой не взял бы табаку и не обратил бы внимания на приветственную фразу. Никому никогда не удавалось разговаривать с обоими одновременно. Они третировали друг друга, держа себя так, словно за столиком никого больше не было.

Кельнер ставил перед ними по кружке пива. Через минуту — но ни в коем случае не одновременно, ибо, несмотря на безразличный вид, оба следили друг за другом,— они поворачивались к столу, каждый вынимал из нагрудного кармана большую, окованную серебром, пенковую трубку, а из заднего — кисет с табаком, набивал трубку, закуривал и снова отворачивался. Так они просижи-

вали два часа, выпивали по три кружки пива, потом вставали — один на минуту раньше, другой на минуту позже, засовывали трубки в карманы, убирали кисеты, кельнер помогал им одеться, и они прощались со всеми, только не друг с другом.

Я нарочно садился к соседнему столику у печки. Оттуда были хорошо видны лица пана Рышанека и пана Шлегла и можно было за ними удобно и незаметно наблюдать.

Пан Рышанек когда-то торговал канифасом, а пан Шлегл — скобяным товаром. Они уже давно удалились от дел и стали состоятельными домовладельцами, но их лица все еще носили отпечаток прежнего занятия. Лицо пана Рышанека всегда напоминало мне красно-белый в полоску канифас, а пан Шлегл походил на старую ступку.

Пан Рышанек был выше ростом, суше и, как уже сказано, старше. Здоровье у него было неважное, он часто чувствовал слабость, нижняя челюсть у него отвисала, серые глаза были защищены очками в черной роговой оправе. Он носил светлый парик, и по его не совсем поседевшим бровям можно было судить, что когда-то он был блондином. Щеки у него впали и были бледные-бледные, длинный нос краснел, становясь прямо карминовым. Видно, поэтому на конце его часто висела капля, словно слеза, выкатившаяся из самой глубины души. Как добросовестный биограф, не могу не отметить того, что иногда пан Рышанек несколько опаздывал вытереть эту слезу, и она падала ему на колени.

Пан Шлегл был приземист, точно без шеи, голова у него была как бомба, волосы черные, с сильной проседью, лицо в бритых местах сизое, в остальных — красное, и это чередование яркого мяса и черноты напоминало потемневшие портреты кисти Рембрандта.

Я испытал глубокое уважение к этим двум героям,— да, да, я восхищался ими. Каждый день, сидя здесь, они вступали в великую битву, жестокую и беспощадную. Их оружием было язвительное молчание и глубочайшее презрение. И исход сражения вечно оставался неясным. Кто же наконец поставит ногу на выю поверженного врага? Пан Шлегл был физически крепче, говорил он решительно и лаконично, и его голос звучал как выстрел с башни. У пана Рышанека голос был протяжный и мягкий, пан Рышанек вообще был слабее, но умел молчать и ненавидеть с не меньшим мужеством.

II

И вот произошло событие. Однажды в среду, незадолго до пасхи, пан Шлегл пришел и сел, как обычно. Усевшись, набил трубку и выпустил облако дыма, который повалил, как из горна. Вошел

ресторатор и направился прямо к нему. Постучав по табакерке, он угостил пана Шлегла понюшкой табаку, потом закрыл табакерку, встряхнул ее и сказал, глядя в сторону:

— Значит, пана Рышанека мы здесь сегодня не увидим.

Пан Шлегл не ответил и с каменным равнодушием продолжал смотреть прямо перед собой.

— Штаб-лекарь, вот он там сидит... — продолжал ресторатор, став спиной к дверям, поворачиваясь, он бросил быстрый взгляд на лицо пана Шлегла,— говорит, что пан Рышанек утром встал, как всегда, но вдруг его так затрясла лихорадка, что пришлось скорей снова лечь в постель и послать за врачом... Воспаление легких. Штаб-лекарь сегодня уже трижды был у него... Старый человек, и... Но ничего, он в надежных руках. Будем надеяться!

Пан Шлегл что-то промычал, не открывая рта. Он не сказал ни слова и даже бровью не повел. Ресторатор подошел к другому столику.

Я впился взглядом в лицо пана Шлегла. Долго оставалось оно неподвижным, только губы слегка приоткрывались, выпуская табачный дым, да трубка иногда передвигалась из одного угла рта в другой. Потом к нему подошел какой-то знакомый, они разговорились, и пан Шлегл несколько раз громко рассмеялся. Мне был неприятен этот смех.

Вообще в тот день пан Шлегл держался решительно не так, как раньше. Обычно он сидел на своем месте, словно солдат в караульной будке, теперь же стал беспокоен и непоседлив. Он даже взялся играть в бильярд с лавочником Келером. Ему везло в каждой партии, пока дело не доходило до дуплета, и, признаюсь, я был рад, когда он, не сделав ни одного последнего дуплета, остался в проигрыше.

Потом он опять сел за столик, курил и пил пиво. Когда к нему кто-нибудь подходил, пан Шлегл говорил громче и пространнее, чем обычно. Ни одно самое незначительное его движение не ускользнуло от меня, и я ясно видел, что в глубине души пан Шлегл доволен и у него нет ни малейшего сочувствия к больному недругу. Он стал мне противен.

Несколько раз он косился в сторону буфета, где сидел штаб-лекарь. Наверняка он был бы очень благодарен лекарю, если бы тот не особенно старался вылечить больного. Дурной человек, несомненно, дурной!

Около восьми часов штаб-лекарь ушел. Уходя, он задержался у третьего столика и сказал:

— Доброй ночи! Мне сегодня нужно еще раз зайти к Рышанеку. За ним надо хорошенько следить.

— Всего хорошего,— холодно отозвался пан Шлегл.

В этот вечер пан Шлегл выпил четыре кружки пива и оставался у «Штейница» до половины девятого.

Проходили дни и недели. Холодный, туманный апрель сменился теплым маем, весна выдалась отличная. Если в мае хорошая погода, на Малой Стране — рай. Петршин окутан белым цветом, словно погружен в молоко, и вся Малая Страна благоухает сиренью.

Пан Рышанек был уже вне опасности. Весна действовала на него как целительный бальзам. Я уже встречал его на прогулке в садах. Он ступал медленно, опираясь на палку. Худощавый и раньше, Рышанек теперь просто высох, нижняя челюсть его совсем отвисла. Казалось, остается только подвязать ему подбородок платком, опустить веки на мутные глаза и положить в гроб. И все же он постепенно поправлялся.

К «Штейницу» он не ходил. Там за третьим столиком царил пан Шлегл, поворачиваясь и садясь, как ему вздумается.

Только в конце июня, в день святого Петра и Павла, я опять увидел пана Рышанека и пана Шлегла рядом. Пан Шлегл снова сидел как прикованный, и оба отворачивались друг от друга.

Подходили соседи и знакомые и пожимали пану Рышанеку руку. Каждый от души приветствовал его, и старик испытывал радостное волнение, улыбался, был со всеми любезен, говорил мягким голосом. Пан Шлегл созерцал бильярд и курил.

Когда рядом не было никого из знакомых, пан Рышанек неизменно бросал преданный взгляд на буфет, около которого сидел штаб-лекарь. Благодарная душа!

Он как раз загляделся на доктора, когда пан Шлегл вдруг слегка повернул голову. Его взгляд медленно поднялся на пана Рышанека, окинул острые колени соседа, дополз до его костлявой, как у скелета, руки, лежавшей на столе, минуту задержался на ней и прокрался выше, к отвисшей челюсти и осунувшемуся лицу, слегка коснулся его... и Шлегл уже отвел взгляд и отвернулся.

— А-а, выздоровели, встали... вот хорошо! — закричал ресторатор, который до того был где-то на кухне или в погребе. Войдя в зал, он увидел пана Рышанека и поспешил к нему.— Значит, вы опять здоровы и снова среди нас. Ну, слава богу!

— Слава богу, слава богу! — улыбаясь, говорил пан Рышанек.— Все-таки выкарабкался. Уже чувствую себя как подобает.

— Но вы еще не курите? Еще не тянет к табачку?

— Сегодня впервые потянуло, пожалуй, закурю.

— Так, так, это хороший признак,— заключил ресторатор, захлопнул табакерку, постучал по ней, потом снова открыл, протянул пану Шлеглу, сделав какое-то замечание, и пошел дальше.

Пан Рышанек вынул трубку и сунул руку в задний карман за кисетом. Качая головой, он долго шарил там, потом подозвал мальчишку-кельнера.

— Сбегай ко мне, знаешь, где я живу? Ну да, здесь на углу. Скажи, чтобы тебе дали мой кисет с табаком, он должен лежать на столе.

Мальчишка побежал.

Пан Шлегл вдруг пошевелился. Он медленно протянул правую руку к своему открытому кисету и подвинул его к пану Рышанеку.

— Если пожелаете... У меня табак марки «Трех красных королей»,— сказал он, как всегда отрывисто, и кашлянул.

Пан Рышанек не отвечал. Пан Рышанек не глядел на своего недруга. Отвернувшись, он сидел с каменным, безразличным лицом, как все эти одиннадцать лет.

Но рука его несколько раз дрогнула, и рот закрылся.

Правая рука пана Шлегла продолжала лежать на кисете, взор его был опущен, он то пыхтел трубкой, то откашливался.

Мальчишка вернулся с кисетом.

— Спасибо, мой кисет уже со мной! — сказал наконец пан Рышанек, не глядя на пана Шлегла. И, помолчав, добавил, точно чувствуя, что надо что-то еще сказать: — Я тоже курю табак «Три красных короля».

И, набив трубку табаком пана Шлегла, он зажег ее и затянулся.

— Нравится табак? — проворчал пан Шлегл гораздо более хриплым голосом, чем обычно.

— Нравится, слава богу.

— Нравится, слава богу,— повторил пан Шлегл. На лице его, как молнии на темном небосклоне, вздрагивали мышцы около рта.— А уж мы тут боялись за вас... — добавил он торопливо.

Только теперь пан Рышанек медленно повернул голову. Взгляды их встретились.

С той поры пан Рышанек и пан Шлегл с третьего стола разговаривали друг с другом.

ОНА РАЗОРИЛА НИЩЕГО

Я собираюсь рассказать грустную историю, но, словно веселая заставка к ней, встает в моей памяти облик Войтишека. У него была такая сияющая, здоровая и румяная физиономия, блестящая, будто политая маслом воскресная булочка. По субботам, ко-

гда его круглый подбородок уже изрядно обрастал белым пушком и тот блестел, словно густая сметана,— Войтишек брился только по воскресеньям,— он казался мне еще красивее. Нравились мне и его волосы. Их было немного, и они начинались на висках, по краю круглой лысины, и цветом были не серебряные, а слегка желтоватые. Мягкие, как шелк, они развевались вокруг головы. Шапку Войтишек всегда носил в руках и покрывал ею голову, только когда приходилось идти под палящим солнцем. В общем, Войтишек мне очень нравился, потому что его голубые глаза смотрели простодушно и все лицо было похоже на большой круглый приветливый глаз.

Войтишек был нищим. Чем он занимался раньше, я не знаю. Но, судя по его известности на Малой Стране, нищенствовал он уже давно и по здоровью своему мог продолжать это занятие еще долго, потому что был крепок, как дуб. Я даже знаю, сколько ему в то время было лет. Однажды я видел, как он, поднявшись своими мелкими шажками по Сватоянскому холму на Остругову улицу, подошел к полицейскому Шимру, который, удобно облокотившись о перила, грелся на солнышке. Шимр был из породы полицейских-толстяков. Его серый мундир чуть не лопался по швам, а голова сзади походила на несколько жирных колбас, истекающих салом... извините меня за это сравнение. Блестящий шлем на его большой голове ерзал при каждом движении, и когда ему нужно было догнать какого-нибудь мастерового, который без зазрения совести и вопреки всем установлениям переходил улицу с дымящейся трубкой в зубах, Шимр вынужден был снимать шлем и брать его в руку. Мы, дети, видя это, смеялись и приплясывали, но стоило ему взглянуть на нас, как мы тотчас же замолкали. Шимр был немец из Шлуknова. Надеюсь, что он еще жив, и ручаюсь, что и до сих пор так же плохо говорит по-чешски, как тогда. «Вот видите,— говаривал он,— я выучился по-чешски всего за год».

Вот, значит, взял Войтишек свою синюю шапку под мышку, а правую руку засунул глубоко в карман длинного сюртука. При этом он приветствовал зевающего Шимра словами: «Бог в помощь!» — а Шимр приложил пальцы к козырьку. Затем Войтишек извлек свою скромную табакерку из бересты, открыл ее, потянул за кожаную петельку на крышке и предложил Шимру. Тот взял понюшку табаку и сказал:

— А ведь вы изрядно постарели. Сколько вам лет?

— Да,— усмехнулся Войтишек.— Сдается, вот уж восемьдесят лет прошло с тех пор, как отец произвел меня на свет, людям добрым на потеху.

Внимательный читатель, конечно, удивится, что нищий Войтишек осмеливается так запросто разговаривать с полицейским, а

тот даже не говорит ему «ты», как сказал бы какому-нибудь деревенщине или подчиненному. А ведь чем тогда был полицейский! Для жителей Малой Страны это был не «постовой номер такой-то». Это был пан Новак, или пан Шимр, или пан Кедлицкий, или пан Вейс. Именно они поочередно несли службу на нашей улице. Это был или коротышка Новак из Слабиц, предпочитавший стоять поближе к лавкам из-за своего пристрастия к сливовице, или толстяк Шимр из Шлуknова, или Кедлицкий, родом из Вышеграда, хмурый мужчина, но добряк, или, наконец, Вейс из Рожмиталя, рослый детина с необычайно длинными желтыми зубами. О каждом было известно, откуда он родом, как долго служил в армии и сколько у него детей. С каждым из них мы, ребятишки из соседних домов, водили знакомство, а он знал всех жителей квартала и всегда мог сказать матери, куда побежал ее постреленок. Когда в тысяча восемьсот сорок четвертом году полицейский Вейс погиб при пожаре в Рантхаузе, за его гробом шла вся Оструговa улица.

Но Войтишек тоже был не простым нищим. Он даже не особенно заботился о нищенской внешности и ходил довольно чисто, по крайней мере, в начале недели; платок у него на шее был аккуратно завязан, а если на сюртуке и красовалась заплатка, она не выглядела, как кусок прибитой жести, и цветом не слишком разнилась от основной ткани.

За неделю Войтишек обходил всю Малую Страну. Нигде ему не отказывали, и хозяйки, заслышав во дворе его мягкий голос, без промедления несли ему полкрейцера. Тогда это было изрядным подаянием. Войтишек собирал милостыню с утра до полудня, потом отправлялся в храм святого Микулаша на богослужение, которое начиналось в половине двенадцатого. Около храма он никогда не просил и не обращал внимания на торчавших там нищенок. Потом он шел куда-нибудь поесть,— он знал семьи, где ему поочередно оставляли от обеда целую миску. Было что-то свободное и спокойное во всем его образе жизни и поведении,— то, что, наверное, побудило Шторма написать трогательные и смешные слова: «Ach, koenur ich betteln geh'n ueber die braune naid» [1].

Только трактирщик из нашего дома, Герцл, никогда не давал Войтишеку денег. Долговязый Герцл был малость скуповат, но, в общем, неплохой человек. Вместо денег он обычно пересыпал из своей табакерки немного табаку в табакерку Войтишека. И они всегда — это бывало по субботам — обменивались одними и теми же фразами:

— Ох-ох-ох, пан Войтишек, плохие времена!

---

[1] «Когда бы я мог в полях бродить и подаяние просить» *(нем.)*.

— Верно, что плохие, и не станут лучше, пока лев из замка не сядет на вышеградские качели.

Он имел в виду льва на башне храма святого Вита. Признаюсь, что эти слова Войтишека меня озадачивали. Как рассудительный молодой человек,— мне было тогда уже восемь лет,— я ни на минуту не сомневался в том, что упомянутый лев может перейти по Каменному мосту,— как я сам в дни храмовых праздников,— подняться на Вышеград и там сесть на хорошо всем нам известные качели. Но почему от этого времена станут лучше — вот чего я никак не мог постичь!

Был прекрасный июньский день. Войтишек вышел из храма святого Микулаша, надел шапку, потому что сильно припекало солнце, и не спеша пошел через нынешнюю Штепанскую площадь. У изваяния святой троицы он остановился и сел на ступеньку. За спиной у него звучно плескалась вода в фонтане, солнышко светило, было очень славно! Сегодня Войтишек, очевидно, обедал в доме, где садились за стол после полудня.

Как только он сел, одна из нищенок, стоявших у дверей костела, направилась к нему. Ее прозвище было «Миллионщица», потому что, в отличие от других нищенок, которые сулили своим благодетелям, что господь бог возместит им подаяние сторицей, она клялась, что даятелю воздастся «в миллион раз». Именно поэтому чиновница Германова, не пропускавшая ни одного аукциона в Праге, всегда подавала только Миллионщице. Миллионщица умела ходить прихрамывая или не прихрамывая, в зависимости от того, как ей было нужно. Сейчас она шла ровной походкой, направляясь прямо к Войтишеку, сидевшему около памятника. Холщовая юбка бесшумно болталась вокруг ее тощих ног, натянутая на лоб синяя косынка ерзала вверх и вниз. Ее лицо всегда казалось мне очень противным. Все оно было в мелких, как тонкая лапша, морщинах, собравшихся у острого носа и рта. Глаза у нее были желто-зеленые, как у кошки.

Она подошла поближе к Войтишеку и сказала, выпячивая губы:

— Хвала господу Иисусу Христу!

Войтишек кивнул в знак согласия.

Миллионщица тоже села на ступеньку и чихнула.

— Брр! — сказала она.— Я не люблю солнца, всегда от него чихаю...

Войтишек ни слова.

Миллионщица сдвинула косынку назад так, что открылось все ее лицо. Она щурила глаза, как кошка на солнце: они были то

зажмурены, то вспыхивали зелеными огоньками. Она все время что-то жевала, и, когда губы раздвигались, был виден единственный верхний зуб, весь черный.

— Пан Войтишек,— начала она снова,— я всегда говорю: стоит вам только захотеть...

Войтишек молчал. Повернувшись к ней, он глядел на ее рот.

— Я всегда говорю: «Эх, если б пан Войтишек захотел, он мог бы нам сказать, где щедро подают».

Войтишек ни слова.

— Что вы на меня так уставились? — помолчав, спросила Миллионщица.— Что такое у меня неладно?

— Зуб! Удивительно, что у вас остался этот зуб!

— Ах, зуб,— сказала она, вздохнув.— Вы ведь знаете, что, когда выпадает зуб, это значит, что вы теряете доброго друга. Нет уже на белом свете тех, кто желал мне добра и хорошо ко мне относился. Все умерли. Только один остался, да я не знаю его... Не знаю, где этот добрый друг, которого милосердный бог еще послал мне в жизни. Ах, боже, я так одинока!

Войтишек глядел перед собой и молчал.

Что-то похожее на радостную усмешку мелькнуло на лице нищенки, но усмешка эта была безобразна. Старуха поджала губы, и все ее лицо как-то подтянулось.

— Пан Войтишек!

— Пан Войтишек, мы с вами еще можем быть счастливы. Я часто вижу вас во сне... Видно, на то воля божья. Вы одиноки, некому о вас позаботиться. К вам всюду так хорошо относятся, у вас много щедрых благодетелей... Я бы охотно к вам переехала. Перина у меня есть...

Войтишек медленно поднялся с места. Он выпрямился и правой рукой поправил кожаный козырек фуражки.

— Скорее отравлюсь! — буркнул он наконец, отвернулся и, не попрощавшись, медленно пошел к Оструговой улице. Два зеленоватых глаза следили за ним, пока он не скрылся за углом. Потом Миллионщица надвинула косынку на лицо и долго сидела не шевелясь. Наверное, задремала.

Странные слухи вдруг поползли по Малой Стране. Люди почесывали затылки и задумывались. Там и сям только и слышалось: «Войтишек».

Вскоре я все узнал. Говорили, что Войтишек совсем не бедняк. У него, мол, на том берегу два собственных дома. А что он живет где-то в Бруске, под замком, это, мол, все неправда.

Стало быть, он дурачил добросердечных жителей Малой Страны! И как долго!

Все были возмущены. Мужчины сердились, чувствуя себя оскорбленными, стыдились своей легковерности.

— Ах, мошенник! — говорил один.

— А ведь и в самом деле,— рассуждал другой,— видели мы когда-нибудь, чтобы он ходил побираться по воскресеньям? Нет! Сидел небось дома в своих хоромах и ел жаркое.

Женщины еще колебались. Добродушное лицо Войтишека казалось им слишком бесхитростным. Но выяснились новые подробности: у него две дочери и обе живут как барышни. Одна просватана за лейтенанта, а другая метит в актрисы. Обе носят перчатки и ездят гулять в Стромовку.

Это убедило и женщин.

Так за двое суток решилась судьба Войтишека. Всюду ему стали отказывать, ссылаясь на «трудные времена». В домах, где он, бывало, обедал, ему теперь говорили: «Сегодня ничего не осталось», или: «Мы люди бедные, ели сегодня один горох, это не для вас». Озорные мальчишки прыгали вокруг него и кричали: «Домовладелец, домовладелец!»

В субботу я играл около дома и увидел, как подошел Войтишек. Трактирщик Герцл стоял, как обычно, в своем белом фартуке, опершись о дверной косяк. Объятый каким-то непостижимым испугом, я вдруг вбежал во двор и спрятался за ворота. В щель я хорошо видел Войтишека. Шапка тряслась в его руках. На лице не было обычной ясной улыбки. Он повесил голову, желтоватые волосы его были растрепаны.

— Слава господу Иисусу Христу,— поздоровался он, как обычно. При этом он поднял голову. Щеки его были бледны, глаза помутнели.

— Вот хорошо, что вы пришли,— заметил Герцл.— Пан Войтишек, одолжите мне двадцать тысяч. Не бойтесь, деньги не пропадут, я прошу под надежную закладную... А кстати, если хотите, можете теперь же купить себе дом, вот тут рядом... «У лебедя».

У Войтишека брызнули слезы из глаз.

— Да ведь я... да ведь я... — всхлипывал он.— Я в жизни никого не обманывал!

Пошатываясь, он перешел улицу, опустился на землю, положил свою седую голову на колени и громко зарыдал.

Дрожа всем телом, я вбежал в комнату к родителям. Мать стояла у окна и смотрела на улицу.

— Что ему сказал Герцл? — спросила она.

Я стал у окна и не сводил глаз с плачущего старика. Мать стряпала, но каждую минуту подходила к окну, выглядывала и качала головой. Она увидела, что Войтишек медленно встает с земли. Быстро отрезав ломоть хлеба, она положила его на кружку с кофе и поспешила на улицу. Она звала, кивала головой с порога, но Войтишек не видел и не слышал. Тогда она подошла к нему и подала кружку. Старик молча смотрел на нее.

— Спасибо вам,— прошептал он наконец.— Но сейчас мне кусок не лезет в горло...

Больше Войтишек не ходил за подаянием по Малой Стране. На том берегу он тоже, разумеется, не мог побираться, потому что там его не знали ни жители, ни полиция. Он нашел себе место на площади близ Клементинума, как раз напротив караулки, что стояла у моста. Я видел его там всякий раз, когда мы по четвергам, в свободное послеобеденное время, ходили в Старое Место поглядеть на книги, которые раскладывали букинисты. Голова Войтишека была опущена, на земле перед ним лежал картуз, в руке он держал четки. Никто не обращал на него внимания. Его лысина, щеки, руки не блестели больше, пожелтевшая чешуйчатая кожа еще более сморщилась.

Признаться или нет? Почему бы мне и не сказать вам, что я не отваживался прямо подойти к Войтишеку, а всегда крадучись приближался сзади, прячась за колонной, бросал ему в шапку бумажный грош — все состояние, которым я располагал в тот день,— и быстро убегал.

Однажды я встретил его на мосту. Полицейский вел его на Малую Страну. Больше я его уже никогда не видел...

Было морозное февральское утро. Еще не рассеялись сумерки, окна толстым слоем покрывала узорная изморозь, на которой играл оранжевый отсвет огня из топившейся печи. Перед нашим домом остановился возок, послышался собачий лай.

— Сбегай возьми две кварты молока,— сказала мне мать.— Только закутай хорошенько горло.

На улице стояла молочница, а рядом с ее возком — полицейский Кедлицкий. Сальный огарок мерцал в четырехугольном стеклянном фонаре.

— Да неужели? Войтишек?! — переспросила молочница и перестала мешать молоко ложкой. Она делала это, чтобы молоко казалось более жирным, что было официально запрещено, но, как мы уже сказали, Кедлицкий был добродушный человек.

— Да,— ответил он,— мы нашли его ночью на Уезде, возле канонерских казарм. Он замерз, и мы отвезли его в покойницкую к кармелиткам. Еще бы, в одном драном сюртуке и брюках, даже без рубашки...

О МЯГКОМ СЕРДЦЕ ПАНИ РУСКИ

Йозеф Велш был одним из самых богатых торговцев на Малой Стране. В его лавке было, мне кажется, все, что привозят из Индии и Африки,— от ванили и жженой слоновой кости для политуры до золотой краски. Лавка находилась на площади, и в ней постоянно толпились покупатели. Пан Велш проводил там весь день, за исключением воскресений, когда происходили большие богослужения в соборе святого Вита, и тех случаев, когда пражское городское ополчение устраивало парады, ибо пан Велш числился стрелком первой сотни, первой шеренги, третий от лейтенанта Недомы на правом фланге.

В лавке он всегда старался обслужить покупателей сам, хотя у него было два приказчика и два ученика, а кого не успевал обслужить, тех приветствовал, кланялся им, улыбался. Собственно говоря, пан Велш улыбался всегда — в магазине, на улице, в церкви, всюду с его уст не сходила, словно въевшаяся в них, предупредительная улыбка. Небольшого роста, приятно сложенный, круглый, толстенький, он вечно покачивал головой и улыбался. В лавке он ходил в плоском картузе и кожаном фартуке, на улице — в длинном синем сюртуке с золотыми пуговицами и в котелке.

У меня была одна нелепая фантазия о пане Велше. В доме у него при его жизни я никогда не бывал, но стоило мне подумать, как он выглядит дома, в мыслях неизменно возникала такая картина: пан Велш без картуза, но в фартуке сидит за столом, перед ним тарелка горячего супа; локтем пан Велш оперся о стол, в другой руке у него полная ложка, он держит ее между тарелкой и улыбающимся ртом и сидит как изваяние. И ложка не движется ни туда, ни сюда. Глупая картина, я знаю.

Но в день, когда начинается наше повествование,— третьего мая 184... года в четыре часа дня,— пана Велша уже не было в живых. Он лежал во втором этаже, над магазином, лежал в красивом гробу, стоявшем в парадной комнате его квартиры. Гроб был еще открыт, но пан Велш улыбался даже после смерти, когда ему закрыли глаза.

Похороны были назначены на четыре часа. Катафалк уже стоял на площади перед домом. Здесь же собралась сотня ополченцев с духовым оркестром.

В гостиной было полно народу, все именитые жители Малой Страны. Все знали, что священник с причтом немного запоздают, это было обычаем при каждых солидных похоронах, чтобы не говорили, будто покойника стараются поскорей отправить к праотцам. В гостиной было душно. Солнце освещало комнату, отражаясь в больших зеркалах, массивные восковые свечи около гроба горели желтыми огоньками и чадили, в теплом воздухе пахло свежим лаком от черного гроба, стружками, подложенными под покойника, и уже, кажется, немного трупом. Царила тишина, люди говорили шепотом. Никто не плакал, потому что близких родственников у пана Велша не было, а дальние обычно говорят: «Ах, если бы я мог выплакаться, да нет слез, прямо сердце разрывается»,— «Да, да, так еще тяжелее».

В гостиную вошли пани Руска, вдова ресторатора из Графского сада, где устраивались великолепнейшие балы канонеров. Поскольку до этого, собственно, никому нет дела, упомяну лишь мимоходом, что говорят о том, как овдовела пани Руска. В те времена в каждом артиллерийском полку была особая рота бомбардиров, состоявшая из молодых, здоровенных парней, кровь с молоком. Покойный супруг пани Руски эту роту прямо-таки ненавидел, как говорят, из-за своей женушки, и однажды бомбардиры нещадно избили его. Но до этого, как уже сказано, никому нет дела.

Пани Руска пятый год ела вдовий хлеб, живя одиноко в своем доме на Сельском рынке, и если бы кто-нибудь спросил, чем она занимается, ему бы ответили: ходит на похороны.

Пани Руска протолкалась к гробу. Это была видная дама лет пятидесяти, ростом выше среднего. С ее плеч ниспадала черная шелковая мантилька, круглое, простодушное лицо обрамлял черный чепец со светло-зелеными лентами. Карие глаза вдовы остановились на покойнике, лицо перекосилось, губы задрожали, из глаз хлынули слезы. Она громко заплакала. Потом быстро утерла глаза и губы белым платочком и оглядела соседок слева и справа. Налево стояла торговка восковым товаром, пани Гиртова, и молилась, глядя в молитвенник. Направо — какая-то хорошо одетая дамочка, ее пани Руска не знала; если эта дамочка — пражанка, то, наверное, с того берега Влтавы. Пани Руска обратилась к ней:

— Пошли ему, господи, царствие небесное! Лежит здесь, как живой, и улыбается.— Пани Руска опять утерла нахлынувшие слезы.— Ушел от нас... оставил нас навеки... и все свое добро оставил тоже. Смерть — это грабительница, да!

Незнакомка не отвечала.

— Однажды я была на еврейских похоронах,— полушепотом продолжала пани Руска.— Но это неинтересно. Все зеркала у них завешены, чтобы не виден был покойник, пусть люди глаза девают,

куда хотят. Вот у нас куда лучше, покойничка видно со всех сторон... Гроб, я думаю, стоит не меньше двадцати серебряных гульденов, этакая красота! Но он заслужил это, добрая душа, вон словно улыбается нам в зеркале. Совсем не изменился после смерти, только лицо чуть-чуть вытянулось. Как живой, а?

— Я не знала пана Велша живым,— сказала незнакомая дамочка.

— Не знали? Ну, я-то очень хорошо знала! Еще холостым знала, и жену его знала девицей, дай ей господь вечный покой! Как сейчас, вижу их свадьбу. Она с утра заливалась слезами. Ну, к чему, скажите, пожалуйста, плакать целый день, если она знала его девять лет? Глупо, а? Девять лет он ее ждал, а лучше бы ждал девяносто! Ох, это была и штучка! Злыдня, скажу вам! Считала себя самой красивой и самой умной, и хозяйки, мол, лучше нет, чем она. На рынке час торговалась из-за гроша, при стирке всегда старалась дать бедняге поденщице поменьше воды, а прислуга у нее вечно жила впроголодь. Велш — тот хватил с ней лиха. Две мои прислуги раньше служили у нее, я от них все разузнала. Ему от жены минуты покоя не было. Она так думала, что, мол, муж только потому ведет себя смирно, что боится ее, а если и не перечит ей, то тоже нарочно. Она, знаете, была, как говорится, романтическая натура и хотела, чтобы весь мир ее жалел. Вечно жаловалась, что муж ее тиранит. Если бы он ее со злости отравил, она бы обрадовалась, а если бы он сам повесился, обрадовалась бы тоже, потому что тогда все бы ее жалели...

Пани Руска снова взглянула в сторону незнакомки, но той уже не было рядом. Увлекшись, пани Руска не заметила, что соседка все больше краснела и где-то в середине ее речи исчезла. Сейчас незнакомка разговаривала в глубине комнаты с родственником покойного, сухопарым чиновником казначейства Умюлем.

Пани Руска еще раз поглядела на неподвижное лицо покойника. У нее снова задрожали губы и из глаз полились слезы.

— Бедняга! — сказала она довольно громко, обращаясь к торговке воском пани Гиртовой.— Бог-то, он каждого карает. Каждого. Покойник был не без греха, что уж говорить. Кабы он женился на бедной Тонде, которая прижила от него ребенка...

— Приехала, ведьма на помеле? — громко прошипел сзади чей-то голос, и костлявая рука легла ей на плечо. Присутствующие вздрогнули, и все взоры обратились на пани Руску и стоявшего за ней пана Умюля.

Пан Умюль, указывая рукой на дверь, повелел своим сиплым, но пронзительным голосом:

— Вон!

— Что там такое? — спросил стоявший в дверях другой

Умюль, тогдашний полицейский комиссар Малой Страны, такой же сухопарый, как его брат.

— Эта ведьма втерлась сюда и злословит о мертвых. Язык у нее что жало.

— Да гони ты ее в шею.

— Она всегда так на похоронах,— раздались возгласы со всех сторон.— И на кладбище устраивала скандалы!..

— Ну-ка, марш отсюда, сию минуту! — сказал полицейский комиссар, ухватив пани Руску за руку.

Она шла, всхлипывая.

— Такой скандал на таких солидных похоронах,— говорили в публике.

— Теперь тихо! — приказал комиссар пани Руске, когда они были в передней, ибо в квартиру как раз входил священник с причтом. Потом он вывел ее на лестницу. Пани Руска пыталась что-то сказать, но комиссар неумолимо вел ее дальше.

Перед домом он кивнул полицейскому:

— Отведите эту женщину домой, чтобы не безобразничала на похоронах!

Пани Руска, красная, как пион, не понимала в чем дело.

— Скандал! И на таких солидных похоронах! — раздавалось в толпе перед домом.

Братья Умюли, сыновья Умюля, городского писаря, были, как видно, строгие господа. А пани Руска снискала неприязнь всей Малой Страны, я сказал бы даже, всего света, если бы Малая Страна представляла собой целый мир, чего я, как малостранец, конечно, желал бы.

На следующий день пани Руску вызвали в полицейский комиссариат на Мостецкой улице. В те времена там бывало довольно оживленно. Когда летом в комиссариате работали при открытых окнах, шум раздавался на всю улицу. Там орали и топали ногами на каждого. Вежливого обращения, которое теперь так украшает действия полиции, тогда не было и в помине. Известный малостранский бунтовщик, арфист Йозеф, частенько останавливался на тротуаре под окнами полицейского комиссариата. Когда кто-нибудь из нас, мальчиков, шел мимо, Йозеф подмигивал и, спокойно ухмыляясь, поднимал палец и говорил: «Лаются!» Надеюсь, что это не было проявлением непочтительности и что Йозеф просто стремился выразить свою мысль с предельной точностью.

И вот, четвертого мая 184... года, в полдень, пани Руска в своей мантильке и чепце с зелеными лентами предстала перед строгим полицейским комиссаром. Она была подавлена, глядела в пол и не отвечала на вопросы. Когда комиссар кончил суровое наставление словами: «Не вздумайте больше ходить на похороны.

Франтишек Сандман. Малостранская башня Карлова моста.

Можете идти»,— пани Руска вышла. В те времена полицейский комиссар мог запретить даже умереть, а не то что ходить на похороны.

Когда пани Руски уже не было в канцелярии, комиссар поглядел на младшего чиновника и сказал с усмешкой:

— Она не может ничего с собой поделать. Вроде пилы — пилит, что ей ни подложи.

— Надо бы обложить ее налогом в пользу глухонемых,— отозвался чиновник.

Они рассмеялись и снова обрели хорошее настроение.

Но пани Руска долго не могла прийти в себя. Наконец она нашла выход.

Примерно через полгода она выехала из своего домика и сняла квартиру около Уездных ворот. Здесь проходили все похоронные процессии. И добрая пани Руска всегда выходила из дома и плакала от души.

ВЕЧЕРНЯЯ БОЛТОВНЯ

Прекрасная теплая июньская ночь. Звезды чуть мерцают, луна светит так весело, и весь воздух пронизан серебряным светом.

Но охотнее всего луна, казалось, светит на крыши Оструговой улицы, особенно на тихие крыши двух соседних домов, носящих названия «У двух солнц» и «Глубокий погреб». Это удивительные крыши: шутя перелезешь с одной на другую, и все они состоят из закоулков, коньков, желобов и переходов. Особенно причудлива крыша дома «У двух солнц» — у нее так называемый седлообразный профиль, с двойным фронтоном на улицу и двойным во двор. Между обоими коньками проходит широкий желоб, в середине его пересекает косой чердачный ход. Этот ход тоже крыт круглой черепицей, образующей на крыше сотни мелких стоков. Два больших слуховых окна выходят в широкий средний желоб, который идет через весь дом, как тщательный пробор на голове пражского франта.

В слуховом окне вдруг раздался звук, похожий на мышиный писк. Звук повторился, и вскоре из слухового окна, обращенного во двор, показалась голова, и какой-то человек легко выпрыгнул в желоб. Это был юноша лет двадцати, черноволосый, кудрявый, с худощавым, смуглым лицом и чуть заметными усиками. На голове у него была феска, в руке длинный, черный чубук с глиняной трубкой. Одет он был в куртку, жилет и брюки, все серого цвета. Познакомьтесь с ним: Ян Говора, студент философского факультета.

— Я сигналю, а в караулке никого нет! — пробормотал он и подошел к трубе. На ней была прилеплена четвертушка бумаги. Говора взглянул на нее и протер глаза.— Кто-то был здесь и подменил. Э-э, нет, не подменил, это ж моя бумага! Однако... — Он еще раз всмотрелся и хлопнул себя по лбу.— Ага, солнце похитило мой стишок! Еще бы, ведь это такой перл! Совсем как у Петефи. Теперь бедняга Купка не будет воспет в канун дня своего ангела. А идея была хорошая, сам святой Антоний внушил мне ее!

Он сорвал листок и, скомкав, бросил его вниз, потом сел, набил трубку и закурил. Растянувшись на теплых черепицах, он вытянул ноги и уперся ими в желоб.

Снова послышался мышиный писк, и Говора, не поворачивая головы, ответил тем же звуком. В желоб спрыгнул другой молодой человек. Он был поменьше ростом, бледный, светловолосый, в синей шапочке, какие носили студенты-повстанцы в тысяча восемьсот сорок восьмом году. На нем была куртка и брюки из светлой парусины. В зубах торчала сигара.

— Привет, Говора!

— Привет, Купка!

— Что поделываешь? — И будущий инженер растянулся на крыше рядом с приятелем.

— Что поделываю? Наелся жидкой каши и жду, пока меня замутит. А ты ужинал?

— Я ужинал, как господь бог!

— А что бывает на ужин у господа бога?

— Ничего.

— А-а!.. А что ты все время вертишься?

— Хотел бы разуться. Надо бы завести скамеечку для снимания сапог, чтобы в нашем салоне была хоть какая-нибудь мебель.

— Скамеечка для сапог не мебель, она — член семьи.— Говора лениво повернул голову к Купке.— Сделай милость, скажи, что за сигару ты куришь? Плохую или самую скверную?

— А мне наш салон все-таки нравится: потолок хорош! — заметил Купка.

— И так дешево обходится!

— Чем квартира больше, тем она дешевле. У господа бога самая большая, и он ничего не платит.

— Что-то ты стал очень набожен в канун своих именин.

— «Крыши, крыши, люблю вас безмерно!» — напевал Купка, чертя сигарой в воздухе.— Я завидовал бы трубочистам, если бы у них не был такой черный взгляд на жизнь.

Разговор шел вполголоса, легко, неторопливо, с ленивыми паузами. Странное дело; в высоком лесу, в уединенных местах, в горах люди невольно понижают голос.

— Роскошная ночь,— продолжал Купка.— Какая тишина! Слышно, как шумит вода на плотинах. А соловьи на Петршине как заливаются! Восторг! Слышишь?

— Через три дня праздник святого Вита, а после они уже перестанут петь. Как здесь красиво! Ни за что на свете не хотел бы я жить в Старом Месте.

— Там на четыре мили кругом не найдешь птицы. Разве что кто-нибудь принесет с рынка домой жареное гусиное крылышко. А то они и не знали бы, как выглядит птица!

— Ага, тут уже двое! — сказал густой тенор в слуховом окне.

— Привет, Новомлинский! — воскликнули Купка и Говора.

Новомлинский — ему было за тридцать — не спеша, на четвереньках, лез по желобу.

— Чертовщина! — прогудел он, медленно выпрямляясь.— Это дело не для меня, я к нему непривычен.

Новомлинский был выше среднего роста и очень увесист. Лицо у него было смуглое, гладкое и круглое, глаза голубые, улыбчивые, под носом — пышные усы. Голову украшала феска, а костюм состоял из черного сюртука и светлых брюк.

— Ну,— сказал он,— в таком парадном облачении я не могу развалиться на черепицах, как вы. Сядьте-ка пристойным образом!

Купка и Говора сели. Напускное спокойствие на их лицах сменилось легкой улыбкой, они смотрели на Новомлинского с явной симпатией. Было заметно, что он, как старший, верховодит в этой компании. Он сел против них на скате крыши, закурил сигару.

— Так что поделываете, ребята?

— Я воспеваю Малую Страну,— сознался Говора.

— А я созерцаю луну,— сказал Купка,— этого мертвеца с живым сердцем...

— Теперь каждый норовит глазеть на луну,— улыбнулся Новомлинский.— Сидели бы вы в канцелярии за цифирью, как я! — Он говорил громко, совсем не понижая звучного голоса. И в лесу, и на горах или в пустыне Новомлинский говорил бы таким же полным голосом.— Ну, что нового? Да, скажите, это правда, что Екл вчера тонул близ Императорской мельницы? — спросил он и развеселился.

— Истинная правда,— улыбнувшись, кивнул Говора.— Он ведь плавает, как жернов. В двух шагах от меня попал в омут. Забурлило ужасно, пошли пузыри! Возни было — его вытаскивать! Верно, Купка? Потом я его спрашиваю, о чем он думал, когда тонул, а он говорит, что очень смеялся над этим, потому, мол, и пускал пузыри!

Все трое рассмеялись, смех Новомлинского прозвучал как колокол.

— А что за шум был сегодня на квартире учителя? — продолжал расспрашивать Новомлинский.— Вы потом вышли оттуда, Говора.

— Пикантный случай,— ухмыльнулся Говора.— Учительница нашла в столе у мужа письмо от женщины, исполненное страсти и любовного пыла. Оно было... написано ею самой лет двадцать назад. Сегодня она его нашла нераспечатанным! Представляете, как она разозлилась?!

— Комедия! — засмеялся Новомлинский. Он вытянул ноги и заворчал на Купку, который тем временем дошел до конца желоба, чуть наклонился на краю крыши и вглядывался во двор. Потом он вернулся, довольный своей вылазкой.— Купка, куда вас вечно черти носят? Кого вы там высматриваете? Сверзитесь когда-нибудь!

— Кого высматриваю? Переплетчика. Вы небось и не знаете, что он уже двадцать лет ежевечерне читает биографию Яна Гуса и всякий раз проливает над ней слезы. Я посмотрел, плакал ли он уже сегодня. Оказывается, еще нет.

— Ерунда это! Лучше бы вы, молодые люди, поглядывали на что-нибудь другое, а не на переплетчика,— сказал Новомлинский, щелкнув пальцами.— Заметили вы, например, новую кормилицу напротив, у гончарного мастера? Вот это девочка, а?

— Новомлинский — что хорошая хозяйка: больше всего ему хлопот со служанками,— сделав сочувственное лицо, серьезно сказал Говора.

— Да, хлопот ему хватает,— поддержал Купка.— Даже поспать не может вволю: в пять утра он уже на улице, потому что самые хорошенькие ходят по воду рано утром, чтобы их не видели с ведрами.

— Помалкивайте! Я умею быстро засыпать, потому и встаю рано. А впрочем... — Новомлинский стряхнул пепел с сигары и заговорил с явным удовольствием.— Бывало, всякое бывало! Я был страшный франт, восемь пар перчаток изнашивал за год. Меня и до сих пор преследует несчастье — успех у женского пола. Что поделаешь, я не виноват, что уродился таким красавцем. Видели бы вы меня, когда я признаюсь в любви! Глядеть страшно! Однако ж,— продолжал он,— развлекайте меня чем-нибудь! Чья очередь сегодня придумывать развлечение?

— Екла.

— Ну, значит, он не придет,— совершенно уверенно сказал Новомлинский.— Я однажды состоял в «Кружке любителей поужинать». Ужинали мы каждый вечер, а платить должны были по очереди. Тот, чья была очередь, никогда не являлся.

Новомлинский случайно поднял взгляд к гребню противоположной крыши и воскликнул в притворном испуге:

— Утопленник!

Купка и Говора быстро обернулись. Над гребнем крыши виднелась еще одна феска, и под ней улыбалось широкое, румяное лицо Екла.

— Скорей сюда, живо! — закричали ему приятели.

Екл понемногу поднимался, над гребнем крыши появились его плечи, грудь, живот.

— Ему конца нет,— проворчал Новомлинский.— Этот парень мог бы выходить с продолжениями.

Екл перекинул через гребень длинную правую ногу, затем левую, поскользнулся и с грохотом скатился к ногам своих приятелей. Те громко засмеялись. Казалось, что смеется вся крыша и даже луна на небосклоне.

Больше всех смеялся сам Екл. Он лежал ничком и бил ногами по крыше. Понадобилось несколько дружеских пинков и тумаков, чтобы поднять его на ноги. Екл медленно встал во весь саженный рост и осмотрел свой летний костюм неопределенного цвета.

— Нигде даже шов не разошелся,— удовлетворенно сказал он и уселся рядом с Новомлинским.

— Ну, что ты придумал на сегодня?

Екл охватил руками колени и с минуту покачивался взад и вперед. Потом лениво сказал:

— Я вот что придумал... пусть каждый из нас расскажет самое раннее воспоминание детства, какое у него сохранилось. Понимаете, самое раннее.

— Я так и знал, что он придумает какую-нибудь глупость,— заворчал Новомлинский.— Ужасно глупая выдумка для юриста, который уже сдал столько экзаменов!

— Вы тоже не отличаетесь особым умом! — рассердился Екл.

— Я? Простите! Меня мать носила шестнадцать месяцев, и когда я родился, то сразу заговорил. Потом я учился в двух дюжинах латинских школ, и каждое слово, которое я знаю, обошлось отцу в двадцать крейцеров.

— Может, это и не так глупо,— заметил Говора, выбивая трубку.— Давайте попробуем. У тебя готово воспоминание, Екл?

— Разумеется,— подтвердил Екл, продолжая покачиваться.— Я помню один случай, когда мне не было еще и двух лет от роду. Матери нужно было сбегать куда-то напротив, взять меня с собой она не могла, отца не было дома, и вот я остался один,— мы жили без прислуги. Чтобы я не скучал, мать взяла из кухни в ком-

нату большого гуся, которого она откармливала. Мне от одиночества стало не по себе, я судорожно обнял гуся за шею и ревел со страху, а гусь гоготал, тоже с перепугу... Чудная сценка, а?

— Расчудесная! — прогудел Новомлинский.

Собеседники на минуту задумались. Говора уже три раза зажигал спичку и прикладывал ее к трубке, но все забывал затянуться. Наконец он сделал затяжку и объявил:

— Ага, воспоминание уже вылупилось. Я помню, как был с отцом в монастыре и монашки брали меня на колени и целовали.

— Это еще получше гуся! — загудел Новомлинский.— А что у вас хорошего, Купка?

— Мой дед был звонарем в Раковнике. Он дожил до глубокой старости. Однажды ему пришло в голову, что он сам отзвонил себе отходную. Он пошел домой, лег и помер. Меня подвели к покойнику — он был уже одет — и велели поцеловать у него большие пальцы ног в белых чулках,— уж не знаю, откуда идет этот обычай. Потом я играл около столяра, нашего соседа, который делал гроб.

— Здорово идет у нас дело! — порадовался Екл.— Теперь вы, Новомлинский!

Новомлинский нахмурился и молчал. Наконец он заговорил:

— У меня нет самого раннего воспоминания... вернее, есть два, и я не знаю, какое из них старше. Во-первых, я помню, как мы меняли квартиру, переезжали с Новозамецкой вниз к «Слонам». Я ни за что не хотел ехать, пока за мной не понесли мою колыбельку. Второе — это как я однажды сказал своей сестренке бранное слово... знаете, совсем неприличное. Мать меня отшлепала и поставила в угол к задней ножке рояля... А ведь интересное существо ребенок! Этакая комичная копия взрослого человека. Такое это неразумное, такое беззаботное существо, что невольно поверишь в ангела-хранителя. Мой первый молитвенник был на немецком языке, а я тогда еще не понимал ни слова по-немецки. И целый год я читал Gebet für schwangere Frauen [1], но никакого плохого влияния это на меня не оказало.

Екл снова замолотил ногами по крыше. Новомлинский, довольный, посмотрел на него.

— Знаете, что мне нравится в Екле? Скажешь что-нибудь остроумное и тотчас видишь на нем результат.

— Я и не думал смеяться над вашими остротами! — взорвался Екл.— Мне вдруг пришла страшно глупая мысль... У древних римлян ведь тоже бывали дети, а?

— Похоже на то.

---

[1] Молитву для беременных женщин *(нем.)*.

— И, наверное, они не сразу начинали говорить, как Цицерон, а тоже болтали, как и наши малыши. Представьте себе классическую латынь в детском произношении! Hanibai ante pojtas! [1]

— Ну и ну! Ох, батюшки!

Екл прямо-таки неистово замолотил по крыше. Все смеялись — собеседники, крыша, даже луна вместе со звездами словно подхихикнули им.

— Екл сегодня в ударе,— заметил Говора.

— Да,— подтвердил Купка.— Интересно, почему?

Екл уже утихомирился. Он сидел, выпрямившись и простодушно глядя на Купку.

— Гм... почему! А впрочем, почему бы и не сказать вам, новость так и распирает меня. Скажу! Я влюблен.. вернее, уже нет, но... женюсь, тоже нет... в общем, не знаю, как вам сразу объяснить.

— Хорошенькая? — быстро спросил Купка.

— Разве он осрамил бы своих приятелей, взяв уродину в жены? — вступился за друга Говора.

— Женитьба... гм! Что ж, я тоже — за семейную жизнь, только вот мужья мне всегда мешают,— сказал, конечно, Новомлинский.— Деньги?

— Э, что деньги! Я не интересуюсь деньгами и приданым. Все равно его пропьешь, как только выдадутся несколько засушливых лет.

— Такой молодой и такой благородный!

— А кто же невеста? — спросили оба приятеля.

— Лизонька.

— Какая Лизонька?

— Знаете Пералека, портного, что живет на Сеноважной улице?

— А как же! — подтвердил Говора.— У него три дочери. Старшая — Мария, я ее терпеть не могу. Как взгляну на нее, от зевоты сводит скулы. Средняя — Лизонька. А младшая — Карла, такая сухопарая.

— Она такая сухая, что не может закрыть рот, не облизнувши губы! И все-таки Карла первая вышла замуж,— удивился Купка.

Опытный Новомлинский поднял палец.

— Из трех сестер *всегда* первой выходит замуж самая уродливая, это вы имейте в виду!

— Болтайте, болтайте,— проворчал Екл.— Терпеть не могу, когда люди много болтают, слова вставить нельзя.

---

[1] Искаженное на детский манер — «Ганнибал у ворот!» *(лат.)*

— Да, Лизонька хороша собой.

— Я думаю!

— А давно ли у вас любовь?

— Да уже восемнадцать лет.— Лицо Екла приняло ироническое выражение.— Я ходил во вторую школу, а она в первую, что рядом. Я увидел ее зимой и сразу влюбился... навеки! Прелестная была девочка! Изящная головка, длинные золотистые косы, щечки как розы. Она носила зеленую шелковую шляпку, а на плечах — желто-зеленую накидку. На школьном ранце у нее был вышит белый пудель на синем фоне,— ах, этот пудель... Девочка недолго оставалась в неизвестности относительно моих чувств. Однажды я набрался духа и начал швырять в нее снежками, а когда она побежала, догнал и сорвал с нее шляпку. С тех пор она мне улыбалась. Поняла. Заговорить с ней я, конечно, и потом не решался, но снежками кидал часто.

Года через два я уже стал репетитором ученика младших классов, который жил в конце Сеноважной улицы. Каждый день я проходил мимо дома Пералека, и Лизонька обычно стояла перед домом. Без шляпки и накидочки она была еще красивее. Ее невинные ясно-голубые глаза всегда приветливо глядели на меня; каждый раз я не мог удержаться от того, чтобы не покраснеть. Знакомство наше укреплялось. Однажды она стояла там и ела хлеб с маслом. Я расхрабрился и остановился около нее. «Дай мне кусочек»,— говорю. «На»,— говорит она и разламывает хлеб пополам. «Я хочу больший кусок!» — сказал я галантно. «Тогда мне ничего не останется, а я проголодалась!» — обольстительно улыбнулась она. Я, блаженствуя, пошел дальше и издалека еще раз показал Лизоньке свой кусок хлеба... К сожалению, вскоре родители того мальчика, с которым я занимался, взяли другого репетитора под тем нелепым предлогом, что мы, мол, вместе только играем, а не учимся.

Потом я не виделся с Лизонькой лет пятнадцать. До нынешнего года. Первого мая было воскресенье, и мне вздумалось пойти погулять за городские ворота... Сам не знаю почему, ведь я целый год за город носу не казал. Наверное, голос сердца! Иду в Шарку, в ресторан Чистецкого. Там сидит старый Пералек с женой, Марией и Лизонькой. Лизонька расцвела, как роза. Плечи округлые, как период у Гете. Взгляд такой же невинный и чистый, как у ребенка. Через минуту я был так же влюблен, как мальчишкой восемнадцать лет назад.

За столом, к которому я присел, ругали Пералека.

«Несносный глупец! — сказал один из собеседников.— Когда говорит, всегда показывает на лоб, чтобы люди думали, что у

него в голове бог весть сколько мыслей!» — «Говорят, он бьет своих дочерей, если их не приглашают танцевать»,— сказал другой.

Я встал из-за стола. Бедная Лизонька! Рядом под открытым небом танцевала молодежь. Я не люблю танцев, слишком я долговяз, не шегольнешь грацией. Но тут уж я не думал, идет мне это или нет. За столиком Пералеков сидел старый... как бишь его, этот старый капитан в отставке?.. Да, Витек! Он оживленно разговаривал с Марией. Вот я подошел к нему и поздоровался с сидящими за столом. Лизонька улыбнулась и покраснела. Вскоре я пригласил ее танцевать. Она переглянулась с матерью и пообещала мне кадриль,— в круг ей, мол, не хочется идти. Мне это было очень на руку.

Кадриль мы протанцевали почти молча. Потом пошли пройтись вдоль реки, и здесь-то завязался разговор. Я спросил ее, помнит ли она меня. Она склонила голову и искоса посмотрела на меня своими невинными глазами. Я почувствовал, что я снова малый ребенок, и начал вспоминать с ней снежки, пуделя на ранце и хлеб с маслом... Она переживала то же, что и я, я это чувствовал. Ну, потом я проводил ее домой. Она устала от ходьбы, и я взял ее под руку. «Так, так, молодые люди льнут друг к другу»,— заметил Витек. Этакий противный тип! Правда, до влюбленных иногда не доходит и доброжелательное замечание.

Через несколько дней я получил от Лизоньки записку: «Um 3 Uhr bei St. Niclus zu kommen» [1].

Я задрожал от блаженства. От храма мы дошли до Вальдштейнского сада и там поклялись друг другу в вечной любви, а я пообещал ей, что до августа сдам последние экзамены, и не пройдет двух лет, как она станет моей женой. Потом она представила меня своим родителям, и я увидел, что Пералек — милый человек, а его жена весьма разумная женщина. Только Мария мне не нравилась, и смотрела она на меня как-то странно.

Вскоре после этого — с тех пор прошел уже месяц — Лизоньке пришлось срочно поехать в Клатов, где ее тетка лежала при смерти. А вчера зашел ко мне знакомый медик Буреш и спрашивает между прочим: «Ты знаешь Лизоньку Пералекову?» — «Знаю».— «Сегодня она родила мальчика у нас, в родильном отделении...»

Приятели, затаив дыхание, слушали рассказ Екла, но при последних словах все вдруг словно забыли о рассказе и, насторожившись, оглянулись на слуховое окно.

---

[1] Придите в 3 часа к храму св. Николая *(искаж. нем.)*.

— ...А днем в больницу пришел старый капитан Витек и справлялся, кто родился и как себя чувствует роженица,— добавил Екл.

— Девушки из дома нас подслушивают... вот хихикают,— быстро прошептал Новомлинский. И, вскочив, с невероятным проворством исчез в слуховом окне. За ним быстро последовали Купка и Говора.

Луна на небе вытянула шею и навострила уши... Ей показалось, что она слышит под крышей приглушенный девичий писк, а потом чмоканье.

Екл тоже, видимо, услышал это. Он опять обхватил колени своими длинными руками и, раскачиваясь взад и вперед, зубрил: «Совершение кражи под покровом ночной тьмы является усугубляющим вину обстоятельством...»

ДОКТОР ВСЕХГУБИЛ

Его не всегда называли так, причиной тому было настолько необычайное происшествие, что оно даже попало в газеты. Фамилия доктора была Гериберт, а имя его... какое-то замысловатое, я уже не помню. Гериберт был врачом, но, по правде говоря, он, хотя и получил диплом доктора медицины, никогда никого не лечил. Он сам вам признался бы, что с тех пор, как еще студентом посещал клиники, не лечил ни одного больного, признался бы,— и, наверное, даже охотно,— если бы вообще с кем-нибудь разговаривал. Но он был очень странный человек.

Доктор Гериберт был сыном доктора Гериберта-старшего, когда-то очень популярного на Малой Стране. Мать его умерла вскоре после рождения сына, а отец — незадолго до окончания сыном университета. Гериберту-младшему достался в наследство двухэтажный домик и, вероятно, кое-какие деньги, но небольшие. В этом домике и обитал Гериберт-младший. Он получал небольшой доход от сдачи внаем двух торговых помещений в первом этаже и квартиры с видом на улицу во втором. Сам доктор жил в том же этаже, в комнатах, окна которых выходили во двор. Вход к нему был отдельный, прямо со двора, по открытой лестнице с решетчатой дверцей, запиравшейся внизу. Как выглядела квартира доктора, мне неизвестно, знаю только, что жил он очень скромно. Одна из лавок в его доме была бакалейная, и лавочница помогала ему по хозяйству; я тогда дружил с ее сыном Йозефом, но наша дружба уже давно кончилась. Йозеф стал кучером у архиепископа и заважничал. От него я в свое время узнал, что доктор Гери-

берт сам стряпает себе завтрак, обедать ходит в какой-то дешевый ресторан в Старом Месте, а ужинает как придется.

Если бы только доктор Гериберт-младший захотел — у него была бы большая практика на Малой Стране. После смерти отца пациенты перенесли свое доверие на сына, но тот отвергал всех пациентов, и богатых и бедных, ни о ком и слышать не хотел и никуда не ходил. Постепенно доверие к нему исчезло, окрестные жители стали считать его чем-то вроде недоучки, а позднее вообще посмеивались: «Ах, доктор? Ну, я бы у него и кошку не стал лечить!»

Но доктора Гериберта это, судя по всему, очень мало трогало. Он вообще чуждался людей, ни с кем не здоровался и даже не отвечал на приветствия. На улице он походил на лист, гонимый ветром: сухонький, маленький,— по новым мерам, метра этак полтора. При ходьбе он маневрировал так, чтобы быть не меньше чем в двух шагах от остальных прохожих. Поэтому он и мотался из стороны в сторону. Его голубые глаза глядели застенчиво и чем-то напоминали глаза побитой собаки. Все лицо заросло светло-каштановой бородой, что, по тогдашним понятиям, было просто неприлично. Зимой он носил серую грубошерстную шубу, и его голова в суконной шапочке едва виднелась из дешевого меха воротника, а летом ходил в сером клетчатом или в легком полотняном костюме, и как-то неуверенно покачивал головой, словно она сидела на тонком стебельке.

Летом доктор уже в четыре часа утра выходил в сад, что у Марианских валов, и садился там с книжкой на самой уединенной скамье. Случалось, что к нему подсаживался какой-нибудь добродушный сосед и заговаривал с ним. Доктор Гериберт вставал, захлопывал книгу и уходил, не сказав ни слова. В конце концов все оставили его в покое. Он так далеко зашел в нелюдимости, что ни одна из местных невест не метила на него, хотя ему еще не было сорока лет.

Но однажды произошло событие, которое, как я уже говорил, попало даже в газеты. О нем-то я и хотел рассказать.

Был прекрасный июньский день, один из тех дней, когда кажется, что во всем мире и на лицах всех людей разлита улыбка довольства. В этот день, уже к вечеру, великолепная погребальная процессия направлялась по Уезду к городским воротам. Хоронили советника земского, или, как тогда говорили, сословного, банка Шепелера. Бог нам простит, но, честное слово, умиротворенная улыбка этого дня отражалась даже на похоронах. Лица покойника, разумеется, не было видно, ибо у нас нет обычая южан — нести покойника на кладбище в открытом гробу, чтобы он, прежде чем быть засыпанным землей, в последний раз

погрелся на солнце. Но на лицах людей, шедших за гробом в этот чудесный день, нельзя было не заметить, кроме достойной серьезности, еще и некоего всеобщего довольства. Ну что тут будешь делать!

Самыми довольными были практиканты земского банка, которые несли гроб советника. Они отстояли свое право на это. Два дня практиканты волновались и бегали из отдела в отдел, теперь они гордо шагали размеренной походкой, неся свою ношу, и каждый был уверен, что взоры всего мира обращены на него и что все шепчут: «Это практикант из земского банка!»

Доволен был долговязый доктор Линк, который за восьмидневное лечение покойного получил от его вдовы двадцать дукатов, о чем уже знала вся Малая Страна. Доктор шел сейчас, слегка наклонив голову, словно размышляя.

Доволен был и шорник Остроградский, сосед и ближайший родственник покойного. При жизни дядюшка-советник не жаловал его вниманием, но теперь — Остроградский уже знал это — племяннику причиталось пять тысяч золотых, отказанных ему в завещании. И Остроградский уже несколько раз говорил шагавшему с ним рядом пивовару Кейржику: «А все-таки сердце у него было доброе!»

Остроградский шел сразу за гробом, рядом с толстым, пышущим здоровьем Кейржиком, лучшим другом покойного. За ними шли сослуживцы — Кдоек, Мужик и Гоман. Они тоже были советниками, но ниже Шепелера по должности. И они, очевидно, также были довольны.

Наконец мы вынуждены с прискорбием отметить, что даже Мария Шепелерова, одиноко сидевшая в первом фиакре, поддалась общему настроению, но, к сожалению, у нее это настроение было вызвано не только июньской погодой. Всеобщее горячее соболезнование в течение трех последних дней, разумеется, льстило этой милой даме, как и всякой женщине. Кроме того, к ее стройной фигуре шло траурное платье, а всегда немного бледное лицо в обрамлении черной вуали выглядело особенно красиво.

Единственный, кто тяжело переносил смерть советника и все никак не мог избавиться от тяжелых впечатлений, был пивовар Кейржик, старый холостяк и, как уже сказано, лучший и самый верный друг покойного. Молодая вдова вчера выразила надежду, что будет заслуженно вознаграждена за то, что была верна ему еще при жизни мужа... И когда сосед Остроградский впервые сказал сегодня Кейржику свою фразу: «А все-таки сердце у него было доброе!» — Кейржик хмуро ответил: «Не было, иначе он не помер бы так рано!» И больше не откликался на замечания Остроградского.

Процессия медленно дошла до городских ворот. Тогда эти ворота еще не были такими ажурными, как ныне, и миновать их было не так-то просто: городские стены были очень широкие, и ворота представляли собой два длинных, кривых и полутемных проезда — подходящее преддверие к находившемуся за ними кладбищу.

Катафалк, двигавшийся впереди процессии, остановился у ворот. Священники обернулись, практиканты опустили носилки, и началось окропление. Потом кучера выдвинули подвижный помост катафалка, а молодые люди подняли гроб, чтобы поставить его на этот помост. Тут-то оно и случилось! То ли один конец гроба был поднят слишком быстро, то ли на обоих концах его плохо держали, но гроб вдруг соскочил, уперся узким концом в землю, и крышка с треском сорвалась с него. Покойник, правда, остался в гробу, но колени его согнулись и правая рука перекинулась через борт.

Испуг был всеобщий. Разом настала такая тишина, что было слышно, как стучат часы в кармане соседа. Взоры всех так и впились в недвижное лицо советника. А у самого гроба оказался... доктор Гериберт! Он как раз проходил через ворота, возвращаясь с прогулки, и хотя, по обыкновению, маневрировал в толпе, внезапно вынужден был остановиться около священника, и теперь его серый сюртук виднелся рядом с черным саваном покойника.

Прошло несколько секунд. Как-то невольно доктор Гериберт схватил руку покойника,— видимо, чтобы положить ее обратно в гроб, но задержал ее в своей руке, и пальцы его беспокойно зашевелились, а глаза испытующе уставились на мертвое лицо. Потом он протянул руку и поднял правое веко покойного.

— Ну, что еще там такое? — пробасил в этот момент Остроградский.— Почему его не уложат? Долго мы будем так стоять?

Практиканты протянули руки.

— Остановитесь! — воскликнул маленький Гериберт необычайно громким и звучным голосом.— Этот человек жив!

— Вздор! Вы с ума сошли! — заворчал доктор Линк.

— Где полицейский? — шумел Остроградский.

На всех лицах выражалась полнейшая растерянность. Только пивовар Кейржик быстро подошел к невозмутимому Гериберту.

— Что нужно сделать? — взволнованно спросил он.— Он действительно жив?

— Жив. Это только летаргия. Отнесите его поскорее в какое-нибудь помещение, попробуем его спасти.

— Это величайшее безумие! — кричал доктор Линк.— Уж если он не мертв, то...

— Кто этот человек? — спросил Остроградский, кивнув в сторону Гериберта.

— Говорят, доктор...

— Доктор Всехгубил, вот он кто!.. Полиция! — закричал шорник, внезапно взволнованный мыслью о пяти тысячах.

— Доктор Всехгубил! — повторили советники Кдоек и Мужик.

Но преданный Кейржик и несколько практикантов уже осторожно вносили гроб в ближайший трактир «На известке».

На улице поднялись шум и гвалт. Катафалк повернул обратно, за ним повернули фиакры, советник Кдоек кричал: «Пойдем туда и узнаем все!» — но никто не знал, что делать.

— Хорошо, что вы пришли, пан комиссар! — воскликнул Остроградский, завидев подходившего полицейского чиновника.— Здесь творится страшная, недопустимая комедия... оскверняют труп среди бела дня... на глазах чуть ли не у всей Праги.— И он последовал за комиссаром в зал трактира. Доктор Линк исчез.

Через минуту Остроградский снова вышел на улицу, за ним комиссар.

— Прошу всех разойтись! — обратился комиссар к собравшимся.— Внутрь никто не войдет! Доктор Гериберт решительно утверждает, что вернет советника к жизни.

Жена покойного хотела выйти из фиакра, но потеряла сознание. (От радости иногда можно даже умереть!) Из трактира решительным шагом вышел Кейржик и поспешил к фиакру, где дамы хлопотали около бесчувственной советницы.

— Отвезите ее потихоньку домой,— сказал он.— Там она придет в себя. «А все-таки она хороша... очень хороша»,— подумал он, потом повернулся, вскочил в другой фиакр и поехал выполнять поручение доктора Гериберта.

Экипажи разъехались, траурная процессия разбрелась. Но около трактира оставалась толпа, и полиции приходилось поддерживать порядок. Стоя кучками, люди рассказывали самые невероятные вещи. Одни поносили доктора Линка и распространяли о нем всякие небылицы, другие насмехались над доктором Гирибертом. Время от времени появлялся запыхавшийся Кейржик и говорил сияя: «Все идет на лад!», «Я сам уже слышал пульс!», «Этот доктор — кудесник!»

— Дышит! — воскликнул он в последний раз вне себя от радости и кинулся в ожидавший его фиакр, чтобы поспешить к советнице с этой радостной вестью.

Наконец, уже в десятом часу вечера, из трактира вынесли крытые носилки. С одной стороны шли доктор Гериберт и Кейржик, с другой — полицейский комиссар.

В тот день не было ни одного трактира на Малой Стране, где бы гости разошлись раньше полуночи. Ни о чем другом не говорилось — обсуждали лишь воскресение советника Шепелера и особу доктора Гериберта. Обсуждали в лихорадочном возбуждении.

— Сразу видно, стоит взглянуть на него!

— Еще его отец был отличным доктором! Отличным! Это у них в крови.

— Почему же он не хочет практиковать? Гонорары небось получал бы царские!

— Видно, у него и без того есть деньги — вот что!

— А почему его называют доктор Всехгубил!

— Всехгубил? Я не слышал.

— Я сегодня слышал это раз сто...

Через два месяца советник Шепелер снова восседал в своем служебном кабинете. «На небе господь бог, на земле доктор Гериберт,— говорил он. И прибавлял: — А Кейржик — золотой человек!»

Весь город говорил о Гериберте. Газеты всего мира писали о нем. Малая Страна гордилась этим событием. Рассказывали вещи удивительные: дескать, бароны, графы, князья наперебой приглашали доктора Гериберта в личные врачи, и даже какой-то монарх сделал ему неслыханно выгодное предложение. В общем, его услуг добивались все те, чья смерть порадовала бы многих. Но доктор Гериберт был глух ко всем предложениям. Уверяли даже, что, когда жена советника принесла ему полный мешочек дукатов, он не впустил ее к себе да еще облил водой с балкона.

Доктор оставался все таким же нелюдимым. С ним здоровались, он не отвечал. По-прежнему он обходил людей на улице, и его маленькая голова тряслась, как одуванчик. Принимать больных он отказывался наотрез. Теперь все звали его «доктор Всехгубил». Это прозвище прочно привилось.

Я не видел его больше десяти лет и не знаю, жив ли он. Его маленький домик стоит на Уезде, как и стоял. Надо будет расспросить соседей...

ВОДЯНОЙ

Головной убор он всегда носил в руке. Ни в мороз, ни в жару не надевал своего низкого круглого цилиндра с широким дном, а разве что придерживал его над головой, на манер зонтика. Седые волосы у него были гладко причесаны и сзади соединялись в ко-

сичку, так крепко заплетенную и связанную, что она даже не болталась; это была одна из последних косичек в Праге — таких уже тогда оставалось две или три на весь город. Зеленый фрачок его был коротко вырезан спереди, зато длинные фалды болтались около тощих икр. Впалую грудь маленького и тщедушного Рыбаржа покрывал белый жилет. Короткие брюки были скреплены у колен серебряными пряжками, ноги обтянуты белоснежными чулками, а на больших туфлях тоже была пара пряжек. Менял ли он когда-нибудь обувь — не знаю, но эти туфли всегда выглядели так, словно они были сделаны из потрескавшейся кожи самого старого фиакра.

На сухом, остреньком лице Рыбаржа всегда сияла улыбка. Своеобразное зрелище он представлял на улице: через каждые двадцать шагов останавливался, поглядывая направо и налево. Казалось, что его мысли не с ним, а учтиво следуют в двух шагах от него и все время развлекают веселыми выдумками, поэтому Рыбарж усмехается и то и дело оборачивается на шутников. Когда с ним здоровались, он поднимал указательный палец правой руки и издавал легкий свист. Этим же звуком он начинал всякий разговор, причем предварительно произносил: «Дьо!» — что примерно означало: «Так, так!»

Пан Рыбарж жил на Глубокой улице, по левой стороне, сразу как спуститесь вниз; оттуда хорошо виден Петршин. Когда он, бывало, встречал каких-нибудь приезжих, поворачивавших вправо, к Градчанам, то, даже если был уже почти дома, шел с ними. Приезжие останавливались на вышке и любовались красотой нашей Праги, а Рыбарж становился рядом, поднимал палец и присвистывал:

— Дьо! Море! Почему мы не живем у моря?!

Потом он шел с приезжими в Град, и, когда они заходили в часовню святого Вацлава и любовались там чешскими самоцветами, которыми выложены стены часовни, Рыбарж присвистывал во второй раз:

— Еще бы! У нас в Чехии бывает, что пастух швырнет в стадо камнем, а камень стоит дороже, чем все стадо.

Больше он не говорил ничего.

За его имя, зеленый фрачок и мечты о море мы прозвали его «Водяной». Его уважали все: и стар и млад. Рыбарж служил когда-то в судебном ведомстве и теперь был в отставке. В Праге он жил у своей близкой родственницы, молодой женщины, жены мелкого чиновника, матери двух или трех детей. Говорили, что пан Рыбарж прямо сказочно богат, но не деньгами, а драгоценными каменьями. У него, мол, в комнатке стоит большой черный шкаф, а в шкафу полно плоских четырехугольных шкатулок, чер-

ных и довольно больших. Каждая шкатулка внутри разделена белоснежной картонной перегородкой на ячейки, и в каждой ячейке лежит на вате блестящий драгоценный камень. Кое-кто из соседей видел их собственными глазами. Все эти самоцветы Рыбарж сам собрал на Козаковой горе. Мы, дети, рассказывали друг другу, что, когда у Шайвлов,— так звали семью, где жил пан Рыбарж,— моют пол, то его потом посыпают сахарным песком вместо простого. По субботам — день мытья полов — мы страшно завидовали детям Шайвла.

Однажды я устроился недалеко от дана Рыбаржа, на валу, что слева от Бруских ворот. В погожие дни он всегда проводил там часок, сидя на траве и покуривая свою коротенькую трубку. В тот день мимо проходили два студента. Один из них фыркнул и сказал:

— Этот курит вату из старой маминой юбки.

С той поры я считал, что курить вату из маминой юбки — это удовольствие, которое могут позволить себе только очень состоятельные люди.

Водяной,— впрочем, не будем называть его так, мы ведь уже не дети,— всегда гулял у Бруской стены. Встречая кого-нибудь из каноников, которые тоже прогуливались здесь, он останавливался и произносил несколько приветливых слов. Я любил подслушивать разговоры взрослых и однажды слышал, как он беседовал с двумя канониками, отдыхавшими на скамейке. Рыбарж стоял рядом и говорил удивительные вещи о Франции и о какой-то «свободе». Подняв палец, он вдруг воскликнул:

— Дьо! Я согласен с Розенау, который говорит: «Свобода все равно что жирная пища и крепкие вина. Привыкшим к ним организмам они идут впрок, укрепляют их, а для слабых они слишком тяжелы, хмельны и вредны».

Потом он махнул шляпой и пошел своей дорогой.

Толстый каноник, повыше ростом, сказал:

— Что это он все толкует о Розенау?

Другой, поменьше ростом, но тоже толстый, ответил:

— Наверное, писатель.

Я, однако, запомнил эти слова, как выражение великой мудрости. Оба они, Розенау и пан Рыбарж, казались мне светочами разума. Когда я вырос и стал читать различную литературу, я обнаружил, что пан Рыбарж довольно верно привел цитату. Разница была только в том, что эта фраза принадлежала не Розенау, а Руссо. Коварная опечатка, очевидно, ввела пана Рыбаржа в заблуждение.

Это, однако, не уменьшало моего уважения к старику. Добрый, бесконечно добрый был человек!

Это случилось в солнечный августовский день, приблизительно в третьем часу пополудни. Люди, проходившие по Оструговой улице, останавливались; те, кто стоял у своих домиков, поспешно звали домашних, покупатели выбегали из лавок. Все смотрели на Рыбаржа, шествовавшего вниз по улице.

— Он идет хвалиться своим богатством,— сказал хозяин распивочной «У двух солнцев» пан Герцл. Я подчеркиваю, что родительный падеж множественного числа для слова «солнце» на языке малостранцев совершенно отчетливо звучит как «солнцев».

— Ого! — воскликнул пан Витоуш, владелец угловой лавки.— Видно, туго пришлось. Несет продавать.

С прискорбием я должен отметить, что пан Витоуш не пользовался особенным уважением соседей. Поговаривали, что однажды он чуть не разорился, а почтенный житель Малой Страны еще и поныне относится к «прогоревшему» совсем иначе, чем другие люди.

Пан Рыбарж спокойно шел дальше, пожалуй, только чуть быстрее обычного. Под мышкой он нес одну из пресловутых черных шкатулок. Пан Рыбарж крепко прижимал ее к телу, так что шляпа, которую он держал в руке, казалась приклеенной к ноге. В другой, правой руке у него была трость с плоским набалдашником из слоновой кости — признак того, что старик идет с визитом, так как обычно он не носил трости. В ответ на приветствия он поднимал палку и насвистывал громче обычного.

Спустившись по Оструговой улице, он пересек Сватомикулашскую площадь и вошел в дом Жамберецкого. Там, в третьем этаже, жил учитель гимназии Мюльвенцель, математик и естественник, человек по тем временам весьма образованный.

Визит продолжался недолго. Учитель был в отличном расположении духа. Этот грузный и уже рыхлый мужчина только что поднялся после хорошего послеобеденного отдыха. Его длинные седые волосы, обрамлявшие лысое темя, торчали во все стороны. Умные и приветливые голубые глаза сияли, всегда румяные щеки разгорелись еще больше. Широкое добродушное лицо учителя было сильно изъедено оспой, что давало ему повод к неизменной остроте. «Вот каков мир! — говаривал он.— Ямочками на щеках смеющейся девушки все восхищаются, а когда засмеюсь я,— а у меня сто ямочек! — все говорят, что я урод!»

Он кивком пригласил пана Рыбаржа сесть на диван и спросил:

— Чем могу служить?

Пан Рыбарж поставил шкатулку на стол и открыл ее. Разноцветные камни засияли.

— Я только... хотел бы узнать... какую ценность имеет все это...— заикаясь произнес он и сел, опершись подбородком на трость.

Учитель начал осматривать камни. Он вынул один из них, темный, прикинул на руке его вес и посмотрел камень на свет.

— Это молдавит,— сказал он.

— Что?

— Молдавит.

— Дьо! Молдавит! — присвистнул Рыбарж. По его лицу было видно, что он в жизни не слыхал этого слова.

— Он пригодился бы для нашей школьной коллекции, эти камни встречаются довольно редко. Мы могли бы купить его.

— Посмотрим. А... за сколько?

— Три гульдена вы за него получите. Согласны?

— Три гульдена! — тихо присвистнул пан Рыбарж, поднял подбородок и снова опустил его на трость.— А остальные? — помолчав, с трудом прошептал он.

— Остальные — это халцедоны, ясписы, аметисты, дымчатые топазы. Они ничего не стоят.

Вскоре пан Рыбарж снова показался на углу Оструговой улицы. Он медленно подымался в гору. Впервые соседи увидели на его голове шляпу. Старик никого не замечал и ни разу не присвистнул. Ни разу не обернулся. Видимо, сегодня мысли не следовали за ним, а все скрылись в нем, глубоко внутри.

В тот день он не вышел на прогулку ни на валы, ни за Бруску. А день был такой погожий!

Близилась полночь. Небо синело, как утром, луна лила свой самый яркий и чарующий свет, звезды сверкали, как белые искры. Петршин был окутан великолепным серебряным туманом, вся Прага тонула в серебристой дымке.

Веселый лунный свет лился и в оба распахнутых настежь окна комнатки старого Рыбаржа. Пан Рыбарж недвижно стоял у окна. Как изваяние. Издалека доносился глухой мощный шум воды на плотинах. Слышал ли его старик?

Вдруг он вздрогнул.

— Море... Почему здесь нет моря? — шепнул он, и губы у него задрожали.

Тоска заливала его, как бушующие волны.

— Эх,— снова вздрогнул он и отвернулся. Его взгляд упал на открытые шкатулки, стоявшие на полу. Он медленно поднял ближайшую из них и взял камешки в руку.— Тьфу, голыши! — произнес он и швырнул их в окно. Внизу звякнуло стекло. Сегодня пан Рыбарж совсем забыл, что внизу, в садике, оранжерея.

— Что вы делаете, дядюшка? — произнес приятный мужской голос, видимо, из соседнего окна.

Пан Рыбарж невольно сделал шаг назад. Дверь скрипнула, и вошел пан Шайвл. Быть может, прекрасная ночь задержала его у окна. Быть может, он заметил необычное беспокойство старого дяди и слышал долгую возню в его комнатке. А может быть, и вздохи старика донеслись до его окна...

— Дядя, не собираетесь ли вы выкинуть эти прекрасные камешки?

Старик вздрогнул и прошептал, уставясь на Петршин:

— Они ничего не стоят... Простые камни, голыши...

— Я знаю, что они недорого стоят, я и сам в них разбираюсь. И все же они дороги и вам и нам. Вы так старательно их собирали... Дядя, прошу вас, оставьте их для детей. Дети будут по ним учиться, вы им будете объяснять...

— Вы, наверное, думали,— монотонно и с трудом прошептал старик,— что я богат... А на самом деле...

— Дядюшка,— твердо, но ласково сказал пан Шайвл, беря старика за руку,— разве вы сами по себе не сокровище для нас? Не будь вас, у моих детей не было бы дедушки, у жены — отца. Вы же видите, как мы счастливы тем, что вы с нами, вы — радость для нашего дома...

Старик вдруг подошел к самому окну. Губы у него дрожали, к глазам подступили слезы. Он поглядел в окно, но не увидел ничего, все трепетало, как жидкий бриллиант, все волновалось, словно волны поднимались к окну... к его глазам... Это было море, да, море!..

На этом я кончу и дальше рассказывать не буду, не сумею.

КАК ПАН ВОРЕЛ ОБКУРИВАЛ СВОЮ ТРУБКУ

Шестнадцатого февраля тысяча восемьсот сорок такого-то года пан Ворел открыл торговлю «Мука и крупы» в доме «У зеленого ангела».

— Du Poldi, hoerst [1],— сказала капитанша, жившая в квартире над нами,— ее дочь как раз шла на рынок и уже была в коридоре.— Крупу возьми тут, у того, нового, надо попробовать.

Иной легкомысленный человек, быть может, подумает, что открытие новой бакалейной лавки — совсем незначительное собы-

[1] Слушай-ка, Польди *(нем.)*.

тие. Такому профану я бы сказал только: «Эх ты, несмышленыш!» — или вообще ничего не сказал, а лишь пожал бы плечами. В те времена случалось, что провинциал лет двадцать не бывал в Праге, а потом попадал на Остругову улицу — и находил в лавке того же купца, который был там два десятка лет назад, булочника под той же вывеской и бакалейщика в том же доме. Тогда для всего было свое определенное место, и открыть бакалею там, где раньше была, например, галантерейная лавка, считалось столь неразумным, что никто не отважился бы на такой поступок. Торговля переходила по наследству от отца к сыну, а если и попадала в руки лавочника, переселившегося на Малую Страну из другого района Праги или из провинции, старожилы смотрели на такого человека снисходительно, не считая его совсем чужим,— ведь он подчинялся их укладу и не смущал их новшествами.

Но пан Ворел не только был чужаком, он открыл торговлю в доме «У зеленого ангела», где до того испокон веков не было никакой лавки, да еще для этой цели пробил в стене дверь на улицу! Раньше там было только сводчатое окно, у которого с утра до вечера просиживала старая Станькова. Каждый проходивший мимо видел ее там с молитвенником в руках и зеленым козырьком над глазами.

Старушку вдову три месяца назад свезли на кладбище в Коширже, и теперь... Но к чему там лавка! На Оструговой улице уже есть одна торговля мукой и крупами, хоть она и находится в самом низу, под горой. К чему другая такая же лавка? В те времена у людей водились деньги, и муку они покупали по большей части прямо на мельнице. Но пан Ворел, видно, подумал: «Ничего, пойдет дело!» Пан Ворел, видно, подумал не без самодовольства, что он молод, пригож собой, круглолиц, синеглаз, строен, как девушка, да еще холост... Небось придут хозяйки покупать! Но дело обернулось иначе.

Пан Ворел всего три месяца жил на Оструговой улице. Он приехал откуда-то из провинции. О нем знали только, что он сын мельника. Он бы охотно рассказал о себе и больше, но его никто не расспрашивал. Старожилы с пренебрежением относились к пришельцу. Вечерами он приходил в трактир «В желтом домике» посидеть за кружкой пива, но всегда оставался в одиночестве на своем месте около печки. Его не замечали и в ответ на его приветствие только кивали головой. Завсегдатаи, приходившие после него, бросали на пана Ворела взгляд, как на человека, который попал сюда впервые. Если же он приходил позже других, то случалось, что общий разговор затихал при его появлении. Даже вчера на него никто не обратил внимания, а ведь вчера было такое большое торжество: почтовый чиновник Ярмарка праздновал

серебряную свадьбу. Ярмарка, правда, старый холостяк, но ровно двадцать пять лет назад он почти женился. Его невеста умерла накануне свадьбы, и Ярмарка отказался от всякой мысли о браке. Он остался верен ей и всерьез отмечал вчера эту серебряную свадьбу. Остальные соседи, добрые люди, не видели в этом ничего особенного, и когда, в довершение обычной выпивки, Ярмарка поставил всей компании еще три бутылки мельницкого, они от души выпили вместе с ним. Рюмки пошли вкруговую, потому что у трактирщицы их было всего две,— но ни одна из них не дошла до пана Ворела. А ведь в руке у него была сегодня новая трубка, отделанная серебром, которую он нарочно купил, чтобы выглядеть как заправский старожил.

Итак, шестнадцатого февраля в шесть часов утра пан Ворел открыл свою лавку в доме «У зеленого ангела». Все было готово еще с вечера, лавка блестела новизной. Лари и открытые мешки были полны мукой, более белой, чем свежевыбеленные стены, а горох был желтее ярко отполированной деревянной утвари. Соседки, проходя мимо, на ходу заглядывали в лавку, а иные даже отступали назад, чтобы поглядеть еще разок. Но в лавку не входил никто.

— Придут! — сказал себе в семь часов пан Ворел, одетый в короткий серый тулупчик и белые суконные брюки.

— Скорей бы первый почин! — произнес он в восемь часов, закурил свою новую трубку и затянулся.

В девять часов он стоял в дверях и нетерпеливо поглядывал на улицу в ожидании почина. На улице появилась капитанская дочка Польди. Фигурка у нее была кругленькая, приземистая, широкая в боках и в плечах, лет ей было немногим более двадцати. Уже раза четыре распространялся слух, будто она выходит замуж, и в ее светлых глазах было то выражение безразличия, вернее, усталости, которое принимают глаза девушки, чье замужество как-то не ладится. Шла она, слегка переваливаясь с боку на бок, а кроме того, в ее походке была еще одна особенность: через определенные промежутки барышня Польди спотыкалась и при этом хваталась за свои юбки, словно наступила на них. Мне эта походка напоминала длинную эпическую поэму, разделенную на строфы с равным количеством стоп.

Взгляд лавочника устремился на барышню Польди. С кошелкой в руке она подошла к лавке, словно чему-то удивляясь, потом, споткнувшись, переступила порог и вот уже стояла в дверях. Но едва она вошла в лавку, как поспешно прижала платочек к носу, потому что Ворел от нечего делать усердно пыхтел своей трубкой и в лавке было сильно накурено.

— Низко кланяюсь, чего изволите? — услужливо спросил лавочник, отступив на два шага и положив трубку на прилавок.

— Две мерки манной крупы среднего помола,— сказала барышня Польди и высунула нос из лавки.

Пан Ворел захлопотал. Он отмерил две мерки манной, с походом чуть не в полмерки, и всыпал ее в бумажный пакет. Чувствуя, что надо что-то сказать, он пробормотал:

— Будете довольны, милая барышня. Пожалуйте, вот товар!

— А сколько стоит? — спросила Польди, задерживая дыхание, и кашлянула в платочек.

— Четыре крейцера... Так. Низко кланяюсь! Почин от красивой барышни принесет мне удачу.

Польди взглянула на него с холодным удивлением. Какой-то пришлый лавочник! Может радоваться, если за него пойдет рыжая дочка мыловара, а позволяет себе развязные замечания... Ничего не ответив, она вышла из лавки.

Пан Ворел потер руки. Он снова выглянул на улицу и увидел нищего Войтишека. Через минуту тот уже стоял на пороге, протягивая шапку.

— Вот вам полкрейцера,— сказал человеколюбивый пан Ворел.— Можете приходить за ним каждую среду.

Войтишек весело поблагодарил и пошел дальше. Пан Ворел снова потер руки и сказал себе: «Мне думается, что, если я пристально посмотрю на какого-нибудь человека, он обязательно завернет ко мне в лавку. Дело пойдет на лад!»

Тем временем в доме «У глубокого погреба» барышня Польди говорила соседке Кдоековой:

— У него там так накурено, все словно прокопченное!

А когда днем на стол был подан суп с манной крупой, Польди решительно заявила, что «он отдает табачным дымом», и не стала есть.

К вечеру соседи уже говорили, что в лавке пана Ворела все пропахло табачищем, мука словно паленая, а крупы копченые. И пана Ворела уже называли не иначе, как «копченый лавочник». Судьба его была решена.

Пан Ворел ничего не подозревал. Первый день не повезло, ладно. Второй, третий день тоже... Ну, дело еще пойдет! К концу недели он не наторговал и на два гульдена, это же черт знает что!

Так продолжалось без перемен. Никто из соседей не покупал в его лавке, а случайных покупателей тоже почти не было. Регулярно являлся только пан Войтишек. Единственным утешением лавочника оставалась его трубка. Чем хуже было у него настроение, тем более мощные клубы дыма выпускал он изо рта. Щеки его бледнели, лоб покрывался морщинами, а трубка темнела с

каждым днем и лоснилась от усиленного обкуривания. Полицейские с Оструговой улицы с саркастическим видом заглядывали в лавку — что это за неутомимый курильщик, хоть бы раз он вышел со своей трубкой на улицу! Особенно один из полицейских, коротышка Новак, чего бы только не дал за то, чтобы выбить дымящуюся трубку изо рта этого курильщика! Полицейские инстинктивно разделяли антипатию старожилов к пришельцу. Но пан Ворел мрачно сидел за прилавком и не двигался с места.

Лавка хирела и приходила в запустение. Через пять месяцев к пану Ворелу повадились заходить подозрительные фигуры, евреи-ростовщики. Принимая такие визиты, пан Ворел прикрывал стеклянную дверь лавки. Соседи с уверенностью говорили, что Малая Страна вскоре увидит банкротство. «Кто связался с ростовщиками, тот прогорит!»

Ко дню святого Гавла уже говорили, что лавочника Ворела выселяют и что домовладелец снова передает помещение под жилье. Накануне выселения лавка была на замке.

На следующий день перед запертой лавкой пана Ворела с утра до вечера толпились люди. Рассказывали, что домохозяин, нигде не находя пана Ворела, велел взломать дверь лавки, и оттуда выпала на улицу скамейка, а под потолком болтался на веревке незадачливый лавочник.

В десять часов явились следственные власти и со двора вошли в лавку. Самоубийцу сняли с веревки. Здесь же присутствовал полицейский комиссар Малой Страны Умюль. Он сунул руку в карман тулупчика самоубийцы и вынул оттуда трубку. Поднеся ее к свету, он заметил: «Такой великолепно обкуренной трубки я еще не видывал. Поглядите-ка!»

«У ТРЕХ ЛИЛИЙ»

Мне кажется, что тогда я просто обезумел. Каждая жилка во мне играла, кровь кипела.

Была теплая, но темная летняя ночь. Тяжелый, мертвый воздух последних дней наконец сгустился в черные тучи. С вечера их гонял порывистый ветер, потом разразилась сильнейшая гроза, пошел ливень; и гроза и ливень продолжались до поздней ночи. Я сидел под деревянными аркадами кабачка «У трех лилий», недалеко от ворот Страговского монастыря. Этот маленький кабачок в те годы обычно бывал полон лишь по воскресеньям, когда в зале под аккомпанемент пианино отплясывали кадеты и капралы. Сегодня было как раз воскресенье. Я сидел у окна под аркадами в

полном одиночестве. Сильные раскаты грома слышались почти беспрерывно, ливень стучал по черепичной крыше над моей головой, вода, журча, втекала пенистыми ручейками на землю, и пианино в зальце отдыхало лишь краткие мгновения. Порою я смотрел через открытое окно на мелькающие, смеющиеся пары; потом снова обращал свои взгляды в темноту сада. Иногда, когда сверкала более яркая молния, я различал у садовой стены и в конце аркад груды человеческих костей. Когда-то здесь было небольшое кладбище, и как раз на этой неделе из могил выкопали останки, чтобы перевезти их куда-то в другое место. Земля вокруг была распахана, могилы раскрыты.

Однако я не мог долго усидеть за своим столом. Время от времени я поднимался и подходил к распахнутым настежь дверям зала, чтобы лучше рассмотреть танцующих. Меня тянуло взглянуть на хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку. Стройная фигурка, мягкие теплые формы, недлинные, свободно падающие темные волосы, чистый округлый овал лица, светлые глаза — красивая девушка! Но особенно хороши были у нее глаза! Прозрачные, как вода, загадочные, как омут, ненасытные глаза,— когда в них смотришь, тут же на память приходят слова: «Скорее огонь насытится древом и море водою, чем прекрасноокая насытится любовью мужчин».

Танцевала она почти без передышки. И отлично видела, что я не свожу с нее глаз. Оказываясь около дверей, где я стоял, она смотрела на меня в упор, а кружась в вихре танца где-то в другом конце зала, при каждом повороте взглядывала на меня — я это видел и чувствовал. Я не заметил, чтобы она с кем-нибудь разговаривала.

Я опять застыл на своем излюбленном месте у дверей. Наши взгляды мгновенно встретились, хотя она танцевала в последней паре. Кадриль близилась к концу, уже протанцевали пятый тур, когда в зал вбежала девушка, запыхавшаяся и промокшая. Она пробралась между танцующими прямо к прекрасноокой. Прозвучали первые такты шестого тура. Девушка прошептала что-то на ухо моей красавице, и та молча кивнула в ответ. Шестой тур длился несколько дольше обычного — распорядителем был ловкий кадетик. Когда танец кончился, красавица бросила взгляд на двери, ведущие в сад, и направилась к передним дверям зала. Я видел, как она на улице накинула на голову пальто и исчезла.

Я снова сел на свое место. Гроза разбушевалась с новой силой, как будто бы она и не грохотала раньше, ветер неистовствовал, молнии сверкали. С волнением я прислушивался к грозе, но думал только о девушке, о ее чарующих глазах. О том, чтобы идти домой, все равно нечего было и думать.

Через четверть часа я снова заглянул в двери зала. Прекрасноокая снова была там. Расправив на себе промокшее и прилипшее к телу платье, она вытирала влажные волосы. Пожилая женщина прислуживала ей.

— Зачем же ты в такую непогоду побежала домой? — спросила служанка.

— Сестра приходила.— Я впервые услышал ее голос, бархатный, мягкий, звучный.

— Дома что-нибудь случилось?

— Скончалась мама.

Я содрогнулся.

Красавица повернулась и вышла ко мне под аркады. Она встала рядом и пристально смотрела на меня. Я почувствовал ее мягкую руку возле своей дрожащей руки. Схватив ее, я, не произнося ни слова, увлекал девушку все дальше и дальше от дверей в глубь аркад. Она не сопротивлялась.

Гроза достигла своего апогея. Ветер шумел, как наводнение, земля и небо стонали, над нашими головами грохотали громы, при блеске молний казалось, будто мертвые рвутся из своих могил.

Она прижалась ко мне. Я ощутил прикосновение ее мокрого платья, гибкого тела, я ощутил теплое дыхание, и мне показалось, что своим поцелуем я должен испить все злодейство ее души.

МЕССА СВЯТОГО ВАЦЛАВА

Едва дыша, я сидел на нижних ступеньках лестницы, которая вела на хоры. Через прикрытые решетчатые двери мне был хорошо виден весь храм — направо, до серебряного надгробного памятника святому Яну и дальше до ризницы. Послеобеденная служба уже давно кончилась, и храм святого Вита опустел. Только у гробницы святого Яна все еще молилась, стоя на коленях, моя мать, а со стороны часовни святого Вацлава шел старый церковный сторож, совершая свой последний обход, перед тем как запереть храм. Он прошел в трех шагах от меня, направился к выходу мимо королевской кафедры, с шумом вставил ключ, повернул его в замке и для проверки нажал дверную ручку. Потом он двинулся дальше, и тогда моя мать встала, перекрестилась и пошла рядом с ним. Мне не было видно их за памятником, но я слышал гулкие шаги и звуки разговора. Потом оба показались по другую сторону ризницы. Сторож захлопнул там двери, снова прогрохотал ключ, щелкнула ручка, и они пошли к правым дверям. Еще дважды раздался звук замыкаемых дверей, и вот я остался один в запер-

том храме. Странное чувство охватило меня, холодок пробежал по спине, но это чувство не было неприятным.

Я проворно вскочил на ноги, вынул из кармана носовой платок и как можно крепче связал им решетчатые двери, которые запирались лишь ручкой. Потом я быстро поднялся на нижние хоры и сел на ступеньку, прислонившись к стене. Все это я сделал из предосторожности, твердо уверенный, что дверь храма откроется еще раз и в нее длинными прыжками вбегут псы — ночные сторожа храма. Правда, мы, министранты, никогда не видели этих псов, нам даже не довелось слышать их лая, но мы рассказывали друг другу, что в храм впускают трех псов... рослых, пегих, злых, точно таких, как пес короля Вацлава на картине, висящей за главным алтарем. Они никогда не лают, а уж это значит, что они страшно свирепые.

Я знал, что большие собаки умеют открывать ручки двери, вот почему я завязал дверь на хоры еще и платком. Храмовые псы не доберутся до меня, а рано утром, когда сторож уведет их, я смогу безопасно спуститься вниз... Да, да, я собирался провести ночь в храме святого Вита. Разумеется, тайком. Это была очень серьезная затея. Мы, мальчики, знали наверняка, что еженощно, в полночный час, святой Вацлав служит мессу в своей часовне. Признаться, я сам распространил среди друзей эту весть. Но я узнал о ней из совершенно надежного источника. Храмовый сторож Гавел — за длинный и блестящий нос его прозвали «Гавел Индюк» — рассказывал об этом у нас дома моим родителям и так странно косился на меня, что я тотчас догадался: он не хочет, чтобы я знал об этой тайне! Я поведал о ней двум моим лучшим друзьям, и мы решили посмотреть на эту полночную службу. За мной, как за главным хранителем тайны, разумеется, было право первенства, и вот сегодня я, первым из нашей тройки, сидел на нижних хорах, запертый и изолированный от всего мира.

Я знал, что дома меня сегодня не хватятся. С хитростью смышленого девятилетнего мальчугана я наврал матери, что тетка, живущая в Старом Месте, приглашает меня к себе вечером. Само собой разумеется, я останусь у нее ночевать и рано утром приду прямо в храм выполнять свои обязанности министранта. А если я позднее признаюсь, что провел ночь в храме, это не беда, ведь я одновременно смогу рассказать, как святой Вацлав служит мессу. Я стану такой же знаменитостью, как старуха Вимрова — мать градчанского столяра Вимра, которая в холерный год собственными глазами видела деву Марию; дева Мария в золотистом одеянии шла ночью по Лоретанской площади и кропила дома святой водой. Жители этих домов надеялись, что их не тронет холера. Однако именно в этих домах холера впоследствии особенно

свирепствовала, и только тогда люди угадали подлинный смысл явления: богородица сама кропила святой водой тех, кто должен был скоро войти в царствие небесное.

Каждый из вас, наверное, бывал в пустом храме и знает, как действует на воображение полное безмолвие и простор. На мальчика с разыгравшейся фантазией, ожидающего чудес необычайных, они действовали еще сильнее. Я подождал; часы пробили четверть, потом половину,— их бой тонул в глубине храма, словно в омуте,— но нигде у дверей не было слышно ни звука. Может быть, сегодня решили обойтись без собак? Или их спустят только к ночи?

Я встал со ступеньки и не спеша выпрямился. В ближайшее окно слабо проникал серый дневной свет. Был конец ноября, прошел день святой Катерины, и дни стали короткие. С улицы изредка доносились звуки, каждый из них был отчетлив и громок. К вечеру около храма воцаряется обычно прямо-таки щемящая тишина. Иногда слышались шаги прохожих. Потом прозвучали рядом и раздались шаги, грубые голоса: прошло двое мужчин. Откуда-то долетел глухой грохот, наверное, тяжелый воз проехал в ворота Града. Грохот все усиливался,— воз, видимо, въезжал во двор,— и он все приближался и приближался, щелкали копыта, звякала тяжелая цепь, стучали большие колеса... Очевидно, какая-то военная повозка едет к Сватоирским казармам. Грохот был такой, что стекла в окнах слегка задрожали, а на верхних хорах тревожно запищали воробьи. Услышав этот писк, я с облегчением вздохнул,— мне стало спокойнее при мысли, что, кроме меня, здесь есть еще живые существа.

Впрочем, не могу сказать, что, оставшись в храме один, я ощущал смущение или страх. Да и отчего бы? Я, правда, сознавал необычность своей затеи, но не чувствовал никакой вины. Сознание греха не угнетало и не сжимало душу мою, напротив, я ощущал восторг и вдохновение. Религиозный экстаз, охвативший меня, словно сотворил из меня некое особенное, возвышенное существо; никогда прежде и, признаюсь, никогда потом я не чувствовал себя столь совершенным, достойным зависти. Я бы, наверное, поклонился самому себе, если бы дитя обладало способностью быть таким же глупо тщеславным, каким бывает взрослый человек. В другом месте я ночью боялся бы привидений, но ведь здесь, в храме, у них нет никакой силы! Ну, а духи покоящихся здесь святых? Я сегодня в гостях только у святого Вацлава, а он, конечно, мог лишь порадоваться, что я отважился на такой смелый поступок ради того, чтобы видеть его славу и то, как он служит богу. Если он пожелает, я с великой охотой пойду к нему министрантом. Я буду петь таким высоким голосом и так

старательно переносить псалтырь из одного притвора в другой, тщательно следя за тем, чтобы не звякнуть колокольчиком ни разу против положенного, что святой Вацлав прослезится, положит руки мне на голову и скажет: «Милое дитя!»

Громкий удар часов — пробило пять — вывел меня из раздумья. Из школьной сумки, висевшей у меня на ремне через плечо, я вынул хрестоматию, положил ее на перила и стал читать. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, мои молодые глаза еще различали буквы. Однако каждый, даже слабый, звук снаружи отвлекал меня, и я переставал читать, пока снова не становилось тихо. Вдруг послышались торопливые мелкие шаги и замерли под окном. Я обрадовался, сообразив, что это мои друзья. Наш условный свист раздался на дворе. Я вздрогнул от радости. Друзья не забывают обо мне, они прибежали сюда; дома им влетит за это, беднягам! Я гордился тем, что они сейчас восхищаются мною и хотят быть на моем месте, хотя бы на часок... Всю ночь небось не будут спать от волнения! Ах, как хорошо было бы впустить их сюда!

Вот свистнул Фрицек, сын сапожника, Фрицек, как же мне не узнать его! Я так любил Фрицека, а сегодня весь день ему не везло. Утром, на раннем богослужении, он пролил воду на ноги священнику,— вечно этот Фрицек смотрит не на священника, а по сторонам! — а днем учитель застиг его, когда он целовался с директорской Аничкой и передавал ей письмецо. Мы все трое любили Аничку, и она тоже любила всех нас... А вот взвизгнул Кубичек... Эй ты, Кубичек! Я охотно откликнулся бы им голосом, или свистом, или хотя бы громким словом, но нельзя, я в храме!

Мальчики говорили громко, чтобы мне было слышно, иногда они кричали, и только тогда я разбирал слова: «Ты та-ам?.. Тебе-е не страшно?» Да, я здесь, и мне не страшно!

Когда появлялся прохожий, они отбегали в сторону, а потом снова возвращались. Мне казалось, что я сквозь стену вижу все их движения, и я чувствовал, что с моих губ не сходит улыбка. Вот что-то стукнуло в окно... я даже испугался. Это они, наверное, бросили камешком. Еще раз! На площади вдруг раздался громкий мужской голос, брань... и мои приятели пустились наутек. Больше они уже не вернулись, напрасно я ждал.

У меня вдруг защемило сердце. Я сунул книгу в сумку, подошел к другим перилам и стал смотреть вниз. Весь храм сегодня выглядел печальнее, чем раньше, но причиной этого не были сумерки. Все здесь было печально само по себе. Я хорошо различал все предметы и мог бы ориентироваться среди них даже в темноте, потому что все здесь было мне хорошо знакомо. Колонны и алтари уже покрылись синими полотнами теней, и все стало заволакиваться одноцветным, вернее, бесцветным, сумраком. Я пере-

гнулся через перила. Направо от меня, как раз под королевским балконом, горел неугасимый светильник. Его держал в руках каменный шахтер — подпирающая свод раскрашенная кариатида. Огонек сиял тихонечко, словно маленькая звездочка на небе, и даже не мигал. Под ним виднелся освещенный участок узорного каменного пола, напротив поблескивали темно-коричневые скамьи, а на ближайшем алтаре слабо отсвечивала золотая полоска на одеянии деревянной крашеной фигурки какого-то святого. Мне не удавалось вспомнить, как выглядит этот святой при дневном свете. Взгляд мой снова соскользнул на кариатиду. Лицо шахтера было освещено снизу, его округлые формы походили на неровный грязно-красный шар; выпученных глаз, которых мы побаивались даже днем, не было видно. Немного подальше светлым пятном виднелся надгробный памятник святому Яну, на котором я, кроме более светлого тона, не мог различить ничего. Я снова перевел взгляд на шахтера, и мне показалось, что он как-то нарочито откинул голову, словно смеется, и что он такой красный оттого, что сдерживает смех. Наверное, он косится на меня и смеется надо мной. Мне вдруг стало страшно. Я зажмурился и стал молиться. Когда мне немного полегчало, я встал, сердито поглядел на шахтера. Огонек в его руках светил, как прежде.

На башне пробило семь. И тут я пережил еще одно неприятное ощущение. Я вдруг взрогнул от холода. На улице стоял сухой мороз, в храме тоже, разумеется, было холодно, и хотя я был тепло одет, холод стал ощутимым. К тому же давал себя знать голод. Время ужина уже прошло, а я забыл захватить с собой что-нибудь съестное. Но я решил доблестно вытерпеть голод, да-да, ибо в добровольном посте своем видел достойное приготовление к близящемуся полуночному блаженству. Однако холод не преодолеешь одной лишь силой воли, надо согреться, подвигаться. Я стал ходить по хорам, дошел до нижней части органа, за которой лесенка вела наверх, к главным хорам. Я хорошо знал здесь каждый уголок и поднялся по лесенке. Ступенька скрипнула, и я затаил дыхание, потом продолжал подниматься, медленно, осторожно, как мы обычно делали на праздниках, стараясь, чтобы привратник не заметил нас и не прогнал вниз, прежде чем мы спрячемся наверху за спины хористов.

Вот я уже и на главных хорах. Медленно, шаг за шагом, я прохожу вперед. Входя сюда, мы всегда чувствовали смущение и благоговейный трепет; сейчас я здесь один, за мной не наблюдает никто. По обеим сторонам органа поднимаются сиденья, похожие на скамьи античного цирка. Я сел на нижнюю ступень, как раз возле тимпанов. Кто может сейчас помешать мне поиграть с эти-

ми тимпанами, в которых всегда таилась для нас особая прелесть? Легонько, совсем легонько я касаюсь ближайшего из них, так легко, что и пыли с него не стер бы, потом снова трогаю его пальцем, чуточку сильнее, прислушиваюсь к едва уловимому звуку и оставляю тимпан в покое. Мне показалось, будто я совершил прегрешение.

Передо мной на пюпитрах и высоких перилах темнеют псалтыри. Я могу сейчас потрогать их и попытаться приподнять... Днем я не удержался бы от такого искушения. Эти огромные псалтыри всегда казались нам такими загадочными. Их переплеты потрескались, они окованы тяжелой бронзой, пергаментные листы на деревянных колышках сильно захватаны по краям. На этих листах блестят золотые и цветные заглавные буквы, виден черный старинный шрифт, а черные и красные ноты на широких нотных линейках так крупны, что их можно читать с самой верхней ступеньки. Этакие псалтыри, наверное, страшно тяжелы, ведь худощавый тенор из хора даже не может сдвинуть их с места; мы, мальчики, презирали этого долговязого тенора,— и когда надо было переместить какую-нибудь из этих книг, за нее брался толстый краснолицый бас, да и он кряхтел при этом. Баса мы любили, во время шествия всегда держались возле него, его мощный голос заставлял нас вздрагивать, нас словно пронизывал звуковой поток. Вот здесь, как раз передо мной, обычно стоит бас на праздничных богослуженьях, а вместе с ним по нотам поют еще два баса, но не такого красивого тембра. Левее стоят обычно два тенора... но куда они годятся, эти тенора! Впрочем, одного из них, меньшего, мы уважали. Кроме пения, он бил в тимпаны, и когда он брал в руки палочки, а рядом с ним купец Ройко, владелец дома «Каменная птица», поднимал тромбон, для нас, мальчиков, наступал самый торжественный момент...

Еще левее стоят обычно юные певчие и с ними всемогущий регент. Я словно сейчас слышу его наставления перед началом мессы, шорох нот, звон колоколов на башне... Вот звякает колокольчик в ризнице, звучит прелюдия, глубокие протяжные звуки органа наполняют весь храм, регент вытягивает шею по направлению к главному алтарю, потом резко взмахивает дирижерской палочкой, и волна звучной, прекрасной, торжественной фуги взмывает к сводам... Я словно слышу певчих, музыку, целую мессу,— с начала и до «Dona nobic paceni» [1], прекраснее ее не было и не могло быть, ибо она исполнялась в душе моей. Неповторимо звучит бас, то и дело вступают тромбон и тимпаны. Не знаю, долго ли длилось это богослужение, но мне казалось, что оно все

[1] «Тебя, господи, хвалим» *(лат.)*.

повторяется, и, пока неслись волшебные звуки, на башне несколько раз пробили часы.

Внезапно я снова почувствовал, что сильно озяб, и встал. Весь высокий простор нефа залит легким серебряным сиянием. В окна пробивается свет звездной ночи и, кажется, свет луны. Я подхожу к перилам и гляжу вниз, глубоко вдыхаю своеобразные церковные запахи — смесь благовоний и плесени. Подо мной белеет большая мраморная гробница, напротив, у главного алтаря, мерцает второй неугасимый светильник, а на золотых стенах алтаря словно дрожит розовый отблеск. Я волнуюсь. Какова-то будет эта месса святого Вацлава! Колокол на башне, конечно, не зазвонит, ведь его услышал бы весь город и месса перестала бы быть тайной. Но, наверное, прозвенит колокольчик в ризнице, заиграет орган, и процессия, озаренная тусклым светом, медленно пойдет вокруг главного алтаря и через правый притвор к часовне святого Вацлава. Процессия, наверное, будет такая же, как бывает у нас по воскресеньям на дневном богослужении, другой я не мог себе представить. Впереди понесут блестящие металлические фонари на красных шестах... Понесут их, наверное, ангелы, кому же еще! Потом... А кто же пойдет за певчих? Наверное, те каменные раскрашенные бюсты, что стоят наверху в трифории: чешские короли, королевы Люксембургской династии, архиепископы, каноники, зодчие храма. Нынешних каноников там наверняка не будет, они этого недостойны, особенно каноник Пешна, он чаще других оскорблял меня. Однажды, когда на богослужении я нес тяжелый бронзовый фонарь и держал его немного криво, Пешна дал мне подзатыльник. В другой раз звонарь пустил меня на колокольню, я впервые звонил в большой колокол, называемый «Иосиф», и был там один господином этих медных великанов, а когда спустился вниз, полный радостного возбуждения, каноник Пешна стоял у входа на колокольню и спрашивал звонаря: «Какой осел там звонил? И куда гнал!»

Мысленно я уже видел, как все эти старые господа с каменными очами открывают шествие, но мне, как ни странно, не удавалось вообразить себе их туловища и ноги. Шли одни бюсты, но двигались так, словно они шагали... За ними, наверное, пойдут архиепископы, что лежат сзади, в Кинской часовне, а потом серебряные ангелы святого Яна и с ними, держа распятие в руке, сам святой Ян. За ним вслед — мощи святого Сигизмунда, всего несколько костей на красной подушечке, но подушка тоже как бы идет. Потом шествуют рыцари в латах, короли и полководцы из всех здешних гробниц. Одни из них в прекрасных одеяниях из красного мрамора, другие, в том числе Иржи Подебрад, в белом. И, наконец, с окутанной серебряным покровом чашей в руках по-

Микулаш Алеш. Революция 1848 года.
Рисунок пером. 1881.

является сам святой Вацлав. У него высокая и юношески сильная фигура, на голове простая железная каска, поверх боевой кольчуги надета риза из блестящего белого шелка. Каштановые волосы Вацлава рассыпались кудрявыми волнами, на лице его величественное спокойствие и приветливость. Я совсем ясно представляю себе это лицо, большие голубые глаза, цветущие щеки, мягкие волнистые волосы... Мечтая о том, как пойдет это шествие, я закрыл глаза. Тишина, усталость и дремотная фантазия взяли свое — меня охватила сонливость, ноги подо мной подкосились. Я быстро выпрямился и обвел взглядом пустой храм. Тихо и мертво, как и прежде! Но теперь эта мертвая тишина вдруг подействовала на меня иначе: усталость стала нестерпимой, тело коченело от холода, и ко всему этому меня обуял безотчетный, но непреодолимый страх. Я не знал, чего я боюсь, но мне было страшно, детское сознание вдруг лишилось всякой нравственной опоры.

Я бессильно опустился на ступеньку и горько заплакал. Слезы лились ручьем, грудь судорожно сжималась, и я тщетно сдерживал рыдания. Минутами они прорывались особенно громко и, разносясь в тишине храма, еще усиливали мой страх. Если бы не быть таким одиноким в этом громадном храме! Или хотя бы не быть запертым здесь.

Я застонал еще громче, и, словно в ответ, над головой у меня послышался птичий писк... Да ведь я не один, воробьи ночуют вместе со мной! Я хорошо знал, где они прячутся,— там, между балок, наверху, над амфитеатром хора. Это было подлинное убежище в храме, безопасное даже от наших мальчишеских посягательств; каждый из нас легко мог рукой достать до балок, но мы никогда не трогали воробьев.

Я быстро решился и, затаив дыхание, медленно прокрался по ступеням амфитеатра наверх, к балкам, осторожно отдышался, протянул руку... и вот воробей уже у меня в ладони. Перепуганная птичка пронзительно пищит и сильно клюет мне пальцы, но я не выпускаю ее. Я слышу биение маленького теплого сердца, и мой страх как рукой снимает. Я больше не одинок, и из нас двоих я сильнее; сознание этого сразу наполняет меня отвагой.

Буду держать его в руке, решаю я. Тогда мне не будет страшно и я не усну. До полуночи, видно, уже недолго. Надо внимательно слушать бой часов, чтобы не прозевать. Прилягу-ка я здесь, на ступеньках, руку с воробьем приложу к груди, а лицом обернусь к окну часовни святого Вацлава, чтобы сразу увидеть, когда там зажжется чудесный свет.

Расположившись таким образом, я уставился на окно часовни. Оно было темно-серым. Не знаю, долго ли я смотрел на него, но постепенно оно стало светлеть, в нем появилась яркая голу-

бизна, словно я глядел в небо. Часы на башне начали бить, удар звучал за ударом, им не было конца...

Я проснулся, чувствуя, что страшно озяб. Все тело окоченело, кости ломило, словно меня избили. В глазах мутилось, в ушах стоял нестерпимый шум. Постепенно я осознал, где нахожусь. Я лежал на тех же ступеньках, рука моя все была прижата к груди, но пуста... Напротив виднелось освещенное изнутри окно часовни святого Вацлава, и слышались хорошо знакомые мне звуки богослужения.

Значит, святой Вацлав служит мессу?

Я нерешительно встал: подошел к окну, выходившему на нижние хоры, и поглядел через стекло вниз.

Наш священник служил в алтаре мессу, министрантом у него был один из церковных сторожей, и он как раз звонил в колокольчик.

Мой взгляд со страхом устремился на знакомое место у скамей. Там стояла на коленях одна моя мать и, опустив голову, била себя в грудь. А около нее стояла... тетя из Старого Места!

Мать подняла голову, и я увидел, что по лицу ее текут слезы.

Я понял все и ощутил нестерпимый стыд, голова моя закружилась, словно я попал в смерч. Жалость к матери, которая оплакивала меня как погибшего, которой я причинил это безмерное горе, сжала мне сердце и перехватила дыхание. Я хотел тотчас бежать вниз, подойти к ней, но ноги мои подкосились, голова поникла, и я очутился на полу. Счастье еще, что я почти сразу же расплакался. Сначала слезы жгли меня, как огонь, потом принесли облегчение.

Было еще темно, и с неба падал мелкий, холодный дождь.

Прихожане расходились с утреннего богослужения. Подавленный и разочарованный, «мученик» стоял у дверей храма. Никто не обращал на него внимания, но когда старая мать, вместе с теткой, вышли из храма, к ее морщинистой руке вдруг припали горячие губы.

ПОЧЕМУ АВСТРИЯ НЕ БЫЛА РАЗГРОМЛЕНА 20 АВГУСТА 1849 ГОДА В ПОЛОВИНЕ ПЕРВОГО ПОПОЛУДНИ

Двадцатого августа 1849 года, в половине первого, Австрийская империя должна была быть разгромлена. Так решил «Союз пистолета». Не помню уж, чем провинилась Австрийская империя, но несомненно, что «Союз пистолета» действовал по зрелом

размышлении. Австрия была обречена; решение о ней принято, скреплено клятвой, и исполнение его передано в верные руки «Яна Жижки из Троцнова», «Прокопа Голого», «Прокупека» и «Микулаша из Гус» — иными словами, мне, сыну колбасника Йозефу Румпалу, сыну сапожника Франтику Мастному и нашему четвертому дружку Антонину Гохману, уроженцу Раковника, посланному старшим братом учиться в Прагу. Имена Яна Жижки и других исторических героев мы приняли не случайно, а по заслугам. Я стал «Жижкой», потому что был смуглее всех, отличался решительностью речей и на первое же тайное сборище нашего союза (оно состоялось на чердаке у Румпалов) явился с черной повязкой на левом глазу, чем вызвал всеобщее восхищение. Потом мне пришлось надевать ее всякий раз, когда мы собирались,— это было не очень-то удобно, но ничего не поделаешь... У других заговорщиков были не менее веские основания принять исторические имена.

К свержению Австрийской империи мы готовились на редкость продуманно. Весь год, при каждой нашей встрече, мы практиковались в метании камней из пращи. Прекрасный материал для пращи поставлял Мастный — Прокупек, и мы изловчились за сто шагов попадать в дерево толщиной не более человека. Но, разумеется, это было еще не все. Весь год мы копили деньги, откладывая каждый крейцер — не всегда добытый вполне честным путем — и создали «пистолетный фонд»; отсюда и возникло потом название нашего союза. Мы собрали целых одиннадцать гульденов и неделю назад купили в магазине на Пршикопах «бамбитку бельгийской работы», как сказал нам продавец. Все наши сборища — во время каникул ежедневные — были теперь посвящены созерцанию бамбитки; она ходила по рукам, и каждый из нас подтверждал, что это и впрямь всамделишная бельгийская работа. Правда, мы еще ни разу не выстрелили из бамбитки,— ведь у нас не было пороха, а кроме того, в Праге все еще не сняли осадное положение, так что приходилось соблюдать осторожность. Мы вообще были очень осмотрительны и, чтобы избежать провала, не принимали в наш союз больше никого. Достаточно того, что в нем есть четверо главных вождей. На оставшиеся шесть гульденов можно было купить еще одну бамбитку и тем самым удвоить наш арсенал, но мы предпочли зарезервировать эту сумму на покупку пороха, тем более что никто из нас не знал, сколько он стоит. Впрочем, для плана, который мы разработали, довольно было и одной бамбитки. Кроме того, общим достоянием союза была фарфоровая трубка, которую за всех нас курил на наших сборищах Прокупек. Трубка была отличная, внушительная, с изображением чаши, цепов и копья, но, конечно, не она решала дело. И, наконец, мы

еще владели машинкой для электричества; брат Прокопа Голого, слесарный подмастерье, сделал ее из старинной медной монеты, но машинка почему-то не действовала. Пришлось оставить ее дома.

А теперь изложу вам наш план, и пусть каждый восхищается. Главная цель — низвергнуть Австрийскую империю. Исходное задание — захватить Прагу. Тактика: захват Бельведерской крепости на Марианских валах, после чего мы будем господствовать над городом, и никто не сможет обстрелять нас. Сроки и порядок боевых операций: цитадель будет атакована ровно в полдень. Если вспомнить, что с незапамятных времен существует обычай нападать на крепости в полночь, а потому стража всегда начеку именно в полночный час, нельзя не признать, что наш замысел был дьявольски хитер. В полдень же караул в крепости пустяковый, всего шесть или восемь солдат. Один охраняет железные ворота, что ведут во двор; эти ворота всегда полуоткрыты, и видно, как там неторопливо прохаживается часовой. Другой караульный пост находится около нескольких пушек на валу, выходящем в сторону Праги. Мы, как ни в чем не бывало, приблизимся к воротам,— мы, четверо, и еще некто, сейчас вы узнаете кто,— набросимся на часового, уложим его, возьмем его ружье. Потом метнем своими пращами несколько камней в окна караулки, где бездельничает остальная охрана, ворвемся туда, всех поубиваем и захватим оружие. Остается второй часовой. Он, наверное, сдастся сам, мы его свяжем и отнимем ружье. Не захочет сдаться — тем хуже для него, мы его пристукнем. Затем мы быстро подкатим одну из пушек к воротам, зажжем смолистый венок, который висит там на шесте, и провозгласим с вала всей Праге, что произошла революция. Разумеется, против нас пошлют солдат, но они не смогут перебраться через крепостную стену, а мы, сидя под ее защитой, будем то и дело открывать ворота, палить в противника из пушки и тотчас запирать ворота. Так мы уложим первые атакующие шеренги, остальной гарнизон сдастся, потому что со всех сторон на него двинутся революционеры... Если же не сдастся, тем хуже для него. Мы выступим из крепости, соединимся с пражанами и первым делом освободим всех политических узников, томящихся на Градчанах. Все остальное ясно как день. Мы заманим австрийскую армию к Немецкому Броду и нанесем ей там тяжелое поражение. Второе победоносное сражение мы дадим на Моравском поле, ибо дух Пршемысла Отокара вопиет о мести. Потом мы захватим Вену и свергнем Австрийскую империю. При этом нам будут помогать уже и мадьяры. А после этого расправимся и с ними... Это будет замечательно!

С самого начала кровавых событий в них должен был сыграть важнейшую роль некий пятый участник, который пока еще ни-

чего не знал об этом и должен был все узнать лишь в последний момент. Это был мелкий торговец Погорак. Он жил где-то в Енче, за Белой Горой, и трижды в неделю привозил в Прагу на продажу цыплят и голубей. Его-то имел в виду военачальник Румпал, он же Прокоп Голый, когда мы обсуждали важнейший вопрос — как добыть порох. В то время это было очень трудно, порох продавали только тем, у кого было особое разрешение. Прокоп Голый — у его отца Погорак покупал колбасы — сообщил нам, что Погорак обычно закупает в Праге порох для какого-то торговца в Енче. Наш товарищ спросил у Погорака, не купит ли он пороха и для него, за хорошую приплату. Тот согласился. Девятнадцатого августа Прокоп Голый вручил Погораку крупную сумму в шесть гульденов, из коих четыре предназначались на порох, а два были царской наградой за услугу. Погорак обещал, что на следующий день пораньше управится с продажей товара, купит порох и на обратном пути поедет со своей тележкой не через Страговские ворота, а через Бруску, где и отдаст порох Прокопу Голому. Там-то он и увидит, какая нас сила, выпряжет своего белого пса из тележки, оставит ее на дороге, а сам присоединится к нам. В том, что он присоединится, не могло быть сомнений,— ведь он получил два гульдена. А кроме того, это такая честь! В награду мы потом назначим его на какую-нибудь высокую должность, в этом он может быть уверен. Прокоп Голый сообщил нам кстати, что Погорак рассказывал ему, как в прошлом году на храмовый праздник он расправился с неким гусаром — где-то в поле стащил его с коня.

— У Белой Горы живут самые сильные силачи во всей Чехии,— заметил при этом Прокоп Голый.

— И под Раковником тоже! — добавил Микулаш из Гус и взмахнул здоровенным кулаком.

Скажу откровенно: участие Погорака меня очень устраивало. Ручаюсь, что так же отнеслись к нему и остальные полководцы. Как я уже подробно рассказал вам, наш план предусматривал прежде всего устранение часового у ворот. И тут в нашей памяти сразу всплывал один случай, о котором мы все еще не могли забыть. Произошло это несколько месяцев назад. Компания мальчиков, в том числе и мы четверо, играла на валах в мяч. Наша военная игра называлась «Большой пастух» — мы несколько часов гоняли мяч туда и сюда. Мяч был отличный, резиновый, ценой не дешевле сорока крейцеров. Играли мы лихо: проходивший мимо гренадер остановился поглядеть. Он довольно долго стоял, потом с удобством расположился на траве. Вдруг мяч покатился прямо к нему. Гренадер, перевалившись на живот, лениво протянул руку и схватил мяч. Потом он неторопливо встал,— это вставание длилось бесконечно,— мы ждали, что его мощная рука

швырнет мяч. Но мощная рука спокойно сунула мяч в карман, а мощное тело стало с ленцой подниматься по косогору. Мы окружили гренадера, умоляли, орали, грозили... но в результате Прокоп Голый получил затрещину и Микулаш из Гус тоже. Мы стали швырять в гренадера камнями, но он погнался за нами, и беспристрастный летописец не мог бы не отметить, что мы разбежались.

— Очень хорошо, что мы его не вздули,— рассуждал потом Ян Жижка,— вы же знаете, к чему мы готовимся. Мало ли чем могла кончиться такая расправа. Уж если мы в заговоре, нужно держать ухо востро, чтобы не влипнуть... А ведь я уже весь дрожал от гнева, хотел схватить его за глотку, но тут же сказал себе: «Не-ет, погоди!»

Это убедительное объяснение было с благодарностью принято всеми заговорщиками; каждый из нас подтвердил, что он тоже дрожал от гнева и с трудом владел собой.

В начале августа мы обсуждали тончайшие детали нашего плана. Я спросил:

— А пес у Погорака кусачий?

— Кусачий,— подтвердил Прокоп Голый.— Вчера он порвал юбку на служанке кондитера.

То, что пес кусачий, было очень важно.

Настало утро памятного дня. В непогрешимой небесной хронике оно значится утром понедельника.

Я видел, как понемногу занимался пепельный рассвет, потом совсем рассвело, начинался ясный день. Все это происходило страшно медленно. И все же душа моя томилась от странного желания, чтобы рассвета не было совсем, чтобы утро не наставало, чтобы природа как-то перескочила через этот день. Но я знал, что он наверняка придет, и молился, молился, а душа моя, признаться, ныла от тоски.

Ночью я почти не спал. Лишь ненадолго меня охватывала лихорадочная дремота, и тотчас я вздрагивал в жаркой постели и с трудом удерживался от стонов.

— Что это ты вздыхаешь? — спросила мать.

Я притворился, что сплю.

Мать встала, зажгла свет и подошла ко мне. Я лежал, закрыв глаза. Она притронулась к моему лбу.

— Мальчишка горит как в огне. Отец, поди-ка сюда, он заболел.

— А ну его,— отозвался отец.— Набегался где-то вчера. Носятся как оглашенные... Пора уж положить конец этой компании,

вечно он вместе с Франтиком, Йозефом и тем мальчишкой из Раковника.

— Ты же знаешь, что они учатся в одной школе. А вместе легче готовить уроки.

Буду откровенен: мне было не по себе. Это чувство угнетало меня уже не первый день и становилось все сильнее по мере того, как приближалось двадцатое августа. Упадок духа я заметил и у других военачальников. Последние сборища нашего союза проходили как-то вяло. Я мысленно объяснил себе это тем, что им тоже страшновато... Позавчера я, собравшись с силами, в энергичной речи осудил такие настроения. Мои соратники стойко защищались, мы разгорячились и никогда так пылко не выступали, как позавчера. И все же ночью мне не спалось. Будь у меня уверенность, что остальные заговорщики проявят героическую неколебимость, я бы чувствовал себя совсем иначе.

Я не допускал и мысли о том, что сам трушу. И все-таки, думал я, жалуясь на свою судьбу, почему именно на мою долю выпал этот тяжкий жребий? Низвержение Австрийской империи вдруг показалось мне чашей, исполненной нестерпимой горечи. Хотелось молиться: «О господи, да минует меня чаша сия»,— но я понимал, что уже нельзя идти на попятный; вершина славы предстала предо мной, как вершина Голгофы. Но клятва есть клятва.

В десять часов мы должны были быть на месте, в одиннадцать приедет Погорак, в половине первого начнется операция.

Я вышел из дома в девять часов.

Легкий летний ветерок освежил мою голову. Голубое небо улыбалось, как улыбается Маринка, сестра Прокопа Голого, когда подбивает нас на какие-нибудь проказы. Замечу мимоходом, что я был в нее влюблен. Я вспомнил о ней, о том, как она уважает мой героический характер, и на душе у меня стало легче, я расправил грудь и приободрился. Настроение мое чудодейственно изменилось, и к Оленьему валу я приближался уже вприпрыжку.

Мысленно я прикинул: все ли в порядке? Да, все! В кармане у меня две пращи, в другом кармане черная повязка для глаза. Под мышкой школьный учебник — военная хитрость! Я шагал по Марианским валам и даже не дрогнул при виде солдат, проходивших муштровку на плацу. Я знал, что к половине первого они уже уйдут в казармы.

Времени оставалось еще много, и я обошел наши боевые позиции, заглянул в Хотковы сады, где вблизи дороги, что ведет вниз, был пост Микулаша из Гус. Взглянул я вниз, в сторону Бруски, откуда Прокупек, поджидающий Погорака, должен был, быстро поднявшись по косогору, дать нам знать о его прибытии. Затем я поднялся к крепости и по валам прошел к Бруским воротам. Когда

я подходил к крепости, сердце у меня сильно забилось, а когда удалялся от нее, снова притихло.

Крепостные валы со стороны Бруских ворот образуют два бастиона. На одном из них была площадка с крохотным прудом, укрепленным каменной кладкой и густо заросшим тростником и кустарником,— любимое место наших игр. Там же, под кустом, у нас был припрятан хороший запас гладких камешков для пращи. Другой бастион был расположен немного пониже: сейчас там стоит кафе «Панорама», тогда были только заросли кустарника.

Еще несколько шагов, и я достиг Бруских ворот — моего командного пункта, поста главного военачальника.

Усевшись на скамеечке над воротами, я раскрыл книгу. Легкий озноб охватил меня, мурашки пробежали по спине, но это было не от страха. В общем, я чувствовал себя бодро. Этому немало способствовало то обстоятельство, что я не обнаружил ни одного из своих соратников. У меня возникло приятное подозрение, что они струсили и не придут. Мое сердце начало было преисполняться гордым презрением к ним, но я тотчас спохватился, подумав, что тем самым, пожалуй, заставлю их явиться... и не стал преисполняться презрением.

С Марианского и Бельведерского плацев доносились бой барабана и звуки горна. В воротах подо мной проезжали возы, шли люди. Сначала я не обращал на них внимания, потом поддался суеверию и стал гадать: если вот этот прохожий, в конце моста, свернет к Бубенечу, мы потерпим неудачу, если он свернет налево, к Подбабе, все будет хорошо... Один, второй, третий, четвертый, пятый прохожий — и все идут к Бубенечу!..

На Бельведере пропели горны, словно к атаке. Я вскочил.

На башне храма святого Вита часы пробили десять. Я оглянулся и увидел в аллее Микулаша из Гус, он шел к своей позиции. Благородное, отважное сердце, мужественный воин, пожертвовавший каникулами ради великого дела: ведь он уже две недели назад мог бы быть у брата... И все же я чувствовал, что не слишком обрадовался, увидев его. Итак, долг повелевает мне произвести смотр наших сил. Держа перед собой раскрытый учебник, я медленно пошел по бастионам. Здесь, наверху, не было ни души.

Я подошел к пруду. В траве лежал Прокоп Голый. Заметив его, я зашагал крупными, тяжелыми шагами, как если бы шел в боевых доспехах по мощеному двору крепости.

Прокоп Голый тоже держал в руке книгу. Он взглянул на меня, глаза у него были красные.

— Все в порядке?

— Да.

— Она у тебя?

— У меня.

Речь шла о бамбитке, которая была доверена Прокопу.

Я кивнул в сторону куста, где лежали наши камешки. Прокоп тоже кивнул и хотел улыбнуться, но улыбка не получилась.

В этот момент из ворот крепости вышел солдат в куртке и фуражке набекрень, с ведерком в руке. Это был тамошний вестовой, а мы-то забыли о нем!.. Что ж, одним противником больше. Он медленно шел в нашу сторону и, подойдя, поставил ведерко. У нас обоих екнуло сердце.

— Молодые люди, нет ли у вас закурить?

— Нет, мы не...

Я не договорил. Не мог же я сказать, что никто из нас, кроме Прокопа, не курит.

— Ну, а два крейцера у вас, наверное, есть? Дайте-ка мне их на курево. Я тут служу с прошлого года, с тех самых пор, когда были беспорядки... (Наши сердца екнули еще сильнее, словно их пронизал электрический ток) ...и мне господа каждый день дают на курево.

Дрожащей рукой я вынул два крейцера и подал ему. Солдат присвистнул, взял свое ведерко и отошел, даже не поблагодарив.

Я отсалютовал Прокопу и спустился вниз, на дорогу. Там я вошел в Хотковы сады и приблизился к Микулашу из Гус. Он сидел на скамейке у Бельведера и, держа на коленях книгу, смотрел вниз. Снова раздался мой крупный, тяжелый шаг — шаг воина в боевых доспехах.

— Все в порядке?

— Все.— И он слегка улыбнулся.

— Прокупек там?

— Там. Курит.

Внизу, на перилах, сидел Прокупек, болтая ногами, и курил сигару. Наверняка трехкрейцеровую.

— С завтрашнего дня я тоже начну курить.

— И я.

Я отсалютовал и удалился, стараясь ступать как можно более тяжело.

Потом я снова сидел над воротами. Солдаты в четком строю возвращались с ученья,— превосходно! Как ни странно, сегодня я смотрел на них с каким-то хмурым недовольством. А ведь, бывало, вид этих шеренг волновал меня; стоило мне услышать грохот барабана, как мое воображение разыгрывалось безудержно: мне уже слышались захватывающие звуки военной музыки, я видел себя на белом коне, во главе войск, возвращающихся после победного сражения. Солдаты идут за мной с веселыми песнями, вокруг

ликует народ, но мое лицо непроницаемо, и я лишь иногда чуть наклоняю голову... А сегодня мое воображение было подобно вчерашнему выдохшемуся пиву, из которого мать иногда варит невкусную похлебку. Голова моя не поднималась горделиво, язык словно прилип к гортани. Когда кто-нибудь из солдат, случайно поглядев вверх, встречался со мной взглядом, я отводил глаза.

Я поглядел на окружающий пейзаж. В нем была разлита какая-то радость, словно на холмы и долины неслышно падал мелкий золотой дождь. И все же мне показалось, что весь пейзаж проникнут своеобразной грустью. Я вздрогнул, хотя было тепло.

Потом я уставился в голубое небо, и мне снова вспомнилась Маринка. Милая девочка! Но, кажется, сейчас я немного боюсь и ее. Потом мысли мои приняли другое направление. Ведь вот Жижка с горсткой своих людей победил сто тысяч крестоносцев. Рыцарь Парсифаль за час порубил сотню вражеских воинов... Но что же это такое: иногда даже исторические примеры не вдохновляют — они как вчерашнее пиво, как язык, прилипший к гортани...

Нет, на попятный нельзя, невозможно! Будь что будет.

Прохожих в воротах теперь стало больше. Я бездумно смотрел на них. Потом я опять начал гадать и при этом бессознательно хитрил: загадывал только на прохожих в сельской одежде, о которых можно было смело предположить, что они свернут налево, к Подбабе.

По моему телу пробежал озноб. Я с трудом встал. Сделаю-ка я еще раз смотр наших сил, неумолимый долг призывает меня.

Когда я твердым шагом,— впрочем, я чувствовал, что он уже не особенно тверд,— приближался к Прокупеку, дежурный офицер как раз вошел в ворота крепости для очередной проверки. Подождем, пока он выйдет...

Прокоп Голый был бледен как мел.

— Пепик, ты трусишь,— сказал я с искренним сочувствием.

Прокоп Голый не ответил. Пальцем правой руки он слегка оттянул вниз правое веко, так что стал виден красный ободок.

Это был выразительный жест пражских мальчиков, означавший: «Ни капельки!»

И почему только он не признался, что трусит! Австрийская империя еще могла бы...

— Одиннадцать! — стуча зубами, сказал Прокоп Голый.

Бой часов затихал, словно понемногу тая и расплываясь в теплом воздухе. Каждый удар долго звучал в моих ушах, и я даже невольно поднял взгляд — не виден ли звук. Этот внушительный бой был как бы похоронным звоном для одной из старейших и крупнейших империй Европы.

Я медленно обошел боевую позицию Микулаша из Гус и нето-

ропливо спустился вниз к Прокупеку. Как главный военачальник, я должен дать ему распоряжения, которые укрепят его боевой дух.

Прокупек все еще сидел на перилах, но уже не курил сигары, а держал на коленях полную шапку слив и с аппетитом уплетал их; косточку он вынимал изо рта, клал на указательный палец, прижимал большим пальцем и «стрелял» ею в стайку кур, которая прогуливалась на той стороне дороги; пострадавшая курица, жалобно кудахча, пускалась наутек. Уже почти все они ретировались таким образом на почтительное расстояние, только одна, черная, еще клевала что-то в опасной близости от Прокупека. Он прицелился в нее, но в этот момент заметил меня. Косточка вдруг полетела не в курицу, а совсем в другую сторону и ударила меня в подбородок так больно, словно кто-то хлестнул кончиком кнута.

Прокупек просиял.

— Что ты делаешь? — спросил я.— Ты не следишь за противником?

— Я-то? Еще как! Что я, слепой, что ли? Хочешь слив?

— Не хочу. Почем они?

— По восемь крейцеров. Возьми.

— Возьму четыре штуки для Пепика... Гляди в оба. Он будет здесь с минуту на минуту.

И я опять направился наверх. Еще одна сливовая косточка больно ударила мне в ухо, но я не оглянулся и с достоинством продолжал свой путь.

В половине двенадцатого я снова достиг позиции Прокопа Голого. Он все еще лежал на траве.

— Вот тебе сливы от Франтика.

Прокоп Голый отвел мою руку. Я положил сливы около него и тоже растянулся на траве.

Небо было безоблачно. Когда смотришь на него, лежа навзничь, начинает как-то рябить в глазах, словно воздух кишит белыми червячками. Сейчас мне казалось, что я не только вижу их перед глазами, но они ползают у меня по всему телу. Кровь в моих жилах то пульсировала усиленно, то словно застывала; дрожь пробегала по мышцам. Мне казалось, что раскаленный свинец капает на меня с неба.

Я повернулся на бок, лицом к Прокопу.

Пробило три четверти двенадцатого.

— Слушай-ка,— вдруг обратился ко мне Прокоп, и глаза у него были испуганные.— А что, если Погорак изменил нам?

— Ну, едва ли,— пробормотал я, но в беспокойстве встал и зашагал по траве. Мрачные мысли о низкой измене одолевали меня. Взглянув поверх кустов на дорогу, я увидел, что по ней со всех ног мчится Прокупек.

«Прокупек! Надо спасаться»,— мелькнуло сразу у меня.

Прокоп Голый уже был на ногах. С другой стороны к нам спешил Микулаш из Гус. Он тоже заметил Прокупека.

Тот едва переводил дыхание.

— Там... около лавки... мужики пили водку и рассказывали, что на рынке полицейский забрал какого-то торговца...

Никто из нас не сказал: «Это Погорак»,— но мы, как стайка воробьев, в которую кинули камнем, разлетелись в разные стороны.

Я так стремительно несся вниз по дороге, что у меня тряслась голова. В мгновение ока я был близ Вальдштинской улицы, но какой-то инстинкт гнал меня дальше. Я свернул на Сеноважную улицу, и камни мостовой так и мелькали у меня под ногами... Вот я у храма святого Фомы. Я хотел было проскочить по галерее наверх, уже миновал первую колонну —и вдруг замер и притаился у второй...

Полицейский вел в участок Погорака с тележкой и собакой. Я хорошо видел, что Погорак глубоко взволнован; на его лице лежала печать невыразимого страдания.

В летописях человечества был бы досадный пробел, если бы мы не рассказали, что случилось с Погораком.

В тот день он позднее обычного въехал через Страговские ворота в Прагу, даже, пожалуй, очень поздно по сравнению со своими привычками и пражскими обычаями: было уже семь часов утра. Дорога шла под гору, ехать было легко, белому псу — «кореннику» Погораковой запряжки — не приходилось тянуть тележку, и он бодро бежал по улицам, а «пристяжной» — сам Погорак — придерживал тележку левой рукой, лежавшей на оглобле.

— Что сегодня так поздно, Погорак? — спросил пекарь с Глубокой улицы, который, снявши пиджак, удобно расположился перед своей лавкой и покуривал трубку.

— Были дела...— усмехнулся Погорак и громким «тпр-р-р!» остановил запряжку, сунул руку в карман, извлек оттуда плетеную фляжку с тминной настойкой и протянул ее пекарю.— Приложимся, а?

— Спасибо, я уже приложился с утра, как обычно.

— Я тоже. Но лучше прочитать «Отче наш» пять раз, чем один.— И Погорак допил остаток, сунул фляжку в карман, кивнул пекарю и поехал дальше.

На Сельском рынке было уже полно народу. Полицейский долго водил Погорака, препиравшегося с «господином капралом» о местечке получше; наконец оно было найдено. Погорак иногда привозил на продажу, кроме птицы, еще и зайцев, масло, яйца. Но сегодня он торговал только курами и голубями. Битая домашняя птица всегда была его главным товаром. Погорак весь пропитался

ее не очень-то приятным запахом, так что от него разило за несколько шагов.

Погораку было уже лет под шестьдесят. Если наше предыдущее повествование создало у читателя впечатление, что Погорак отличался мощным телосложением, то мне, к сожалению, придется разочаровать его. Погорак совсем не выглядел гладиатором,— роста он был чуть выше среднего, сутуловат и скорее сухощав, чем коренаст. Его сухонькое лицо было так испещрено оспинами, что какой-нибудь доброжелатель мог посоветовать ему замостить эти ямки. На Погораке был синеватый в клеточку пиджак, но на спине, на левом плече и в некоторых других местах материя уже перестала быть клетчатой, настолько она покрылась засохшей грязью. Заношенные коричневые брюки Погорака всегда были подвернуты, даже если сухая погода стояла несколько недель, голову зимой и летом прикрывал темный суконный картуз, за околышем которого торчала акцизная квитанция.

Погорак поставил тележку в тени, подстелил под ней солому, и пес улегся там, свернувшись клубком. Хозяин же вынул и разложил на тележке свой товар, потом выпрямился и оглядел рынок.

— Барышня,— сказал он соседней торговке, бабе лет шестидесяти.— Приглядите-ка за товаром, ладно? А я схожу выпить кружку кофе, уж очень умаялся дорогой.

Он зашел в ближайшую кофейню и выпил кружку кофе, потом завернул в распивочную и опрокинул две стопки хлебного вина да еще захватил бутылочку про запас, сунув ее в карман. Потом он купил две булки с маком, одну для себя, другую для пса, и вот уже снова стоял около своей тележки.

— Справа сядете или слева? — спросила его женщина, сдававшая напрокат низенькие скамеечки. Погорак молча указал, куда он сядет, дал ей крейцер, уселся, сунул руку в карман, вынул кисет и трубку, размотал шнурок кисета, набил трубку, извлек из другого кармана коробку спичек и закурил. Курение пришлось ему по вкусу. Потом он оглядел свой товар.

— Цыплят пущу по сорок крейцеров, голубей по двадцать,— пробормотал он, не выпуская трубки изо рта.

Подошел приземистый пивовар. Пивовара и его жену вы легко узнаете на рынке: обычно служанка несет за ними бочонок с медными обручами.

— Что стоят цыплята?

— Что стоят цыплята? — неторопливо повторил Погорак и передвинул трубку в другой угол рта.— Дурак я буду, коли скажу, чего они мне стоят. А продаю их по сорок крейцеров.

— Спятили вы, что ли? По тридцать два хотите? Возьму шесть штук.

Погорак молча покачал головой, сел и продолжал попыхивать трубочкой. Пивовар отошел.

— Сегодня вам по такой цене не продать, Погорак,— сказала торговка, которую он назвал «барышней».— Не запрашивайте, нынче на рынке много такого товару.

— А тебе какое дело, ведьма? Сколько хочу, столько и прошу. Продавай свои тухлые яйца и не учи Погорака торговать... Ежели я и ничего не продам, барыш у меня уже в кармане! — добавил он после паузы, вынул из жилетного кармана несколько гульденов и подбросил их на ладони.

«Барышня» промолчала. Погорак с досады хлебнул водочки.

Подошла барыня со служанкой.

— Почем цыплята?

— По сорок.

— Так дорого? Отдадите по тридцать пять?

Погорак молчал.

— Ну, не упрямьтесь, уступите!

— Эх, что я могу поделать! Я решил, и конец. Дешевле не отдам.

— Пойдемте дальше, барыня,— сказала служанка.— Цыплята-то у него совсем зеленые.

— Зеленые? Сама ты зеленая, дуреха. Мои цыплята переливаются всеми красками.— Он взял несколько цыплят за ножки и повертел ими в воздухе.— Ого-го!

Все «барышни» рядом разразились хохотом. Погорак еще хлебнул с досады.

Так он «торговал» и дальше.

Народу на рынке уже поубавилось, голуби и цыплята Погорака все еще лежали, почина не было. Время от времени Погорак недоуменно поглядывал на свою тележку и ворчал: «Виноват я, что ли, что у меня такой нрав?»

Он уже изрядно захмелел.

Подошел сосисочник.

— Сосиски, сосиски!

— Дай сюда одну штуку.

Погорак взял сосиску и съел ее. Сосисочник обошел других покупателей и вернулся к Погораку.

— Папаша, с вас три крейцера за сосиску.

— За какую сосиску?

— Вы же ее сейчас съели,— подсказала соседка.

— Я съел сосиску? Спятили вы все, что ли?

Ссора. Погорак бранится. Сосисочник машет вилкой в воздухе и зовет полицейского.

— Вы съели сосиску? — вопрошает полицейский.

Погорак таращит на него глаза.

— Да, съел...

— Так платите.

— Ах, да! Я только что сообразил... Понимаете, капрал, старый человек, память уже не та...

Кругом смеются. Погорак уныло садится и твердит с огорчением: «Ах, голова, голова!» Потом допивает остаток водки и закуривает.

Солнце палит немилосердно. Погорак совсем разомлел. Поглядев на пса, который спит в тени под тележкой, он медленно поднимается, прикрывает своих голубей и цыплят платком и залезает под тележку.

Последние покупатели уходят с рынка, неся корзинки и сумки, торговки уносят корзины с яйцами. Полицейский обходит рынок, покрикивая: «Собирайтесь!»

Он останавливается перед тележкой Погорака.

— Чья тележка, собирайся! — И он берется за оглоблю.

Из-под тележки слышно глухое ворчание. Полицейский заглядывает туда и видит Погорака,— тот мирно спит на соломе, подложив картуз под голову.

— Погорак, вставай! — Полицейский тянет Погорака за ногу.

Пес вскакивает и дергает тележку так, что колесо наезжает на руку Погорака. Тот спит как ни в чем не бывало. Полицейский усмехается.

— Эй вы, полейте-ка его малость,— приказывает он одному из метельщиков, которые уже взялись за работу.

Плеск, и полведра воды льется на голову незадачливого Погорака. Он вздрагивает, садится и протирает глаза.

— Встаньте!

Погорак медленно встает.

— Что-то я совсем ослаб... Староват стал для такой тяжелой работы...

— Вот и пойдете со мной, старичок. Там, у нас, выспитесь!

— Как прикажете...

Погорак берется за оглоблю и с глубокой скорбью в душе следует за полицейским.

На чердаке у Румпалов шло бурное собрание. Мы клялись друг другу, что никто из нас никогда не допустит измены. О положении доложил Ян Жижка из Троцнова:

— Я видел его в двух шагах. Уж как у меня чесались руки выручить его... но нельзя было!

Микулаш из Гус отсутствовал на этом собрании, он уже был на пути к родным раковницким лесам.

В шесть часов вечера нашим страхам пришел конец: мы увидели Погорака; он с натугой тащил свою тележку в гору и остановился около лавки Румпалов. Прокоп Голый с бьющимся сердцем подслушивал у стеклянных дверей, ведущих из лавки в квартиру.

— Мне стало дурно, меня забрали, и я там малость отоспался... Придется переночевать на постоялом дворе, сегодня торговля шла плохо, завтра, наверное, будет лучше.

Через несколько дней в закоулке у водоема нашли новенькую бамбитку. Никто не знал, как она туда попала, и об этом ходили самые необыкновенные слухи.

Прошел целый месяц, прежде чем Прокоп Голый отважился подойти к Погораку, возвращавшемуся с порожней тележкой, и спросить его:

— Погорак, а куда вы дели те шесть гульденов?

Погорак остановился.

— Какие шесть гульденов?

— Которые я вам дал, чтобы вы купили для нас... для меня... немного пороху.

— Я взял у вас шесть гульденов? Йозеф, Йозеф, сдается мне, что вы потешаетесь над стариком. Потешаться над старыми людьми грешно!

И он наставительно поднял палец.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Не знаю, сколько лет она еще будет приходить в день поминовения усопших на кладбище в Коширже. Сегодня она уже шла с трудом,— ноги у нее слабеют. Но и на этот раз все было, как обычно. Около одиннадцати часов грузная женская фигура вылезла из пролетки, затем извозчик снял завернутые в белое венки и высадил хорошо укутанную пятилетнюю девочку. Девочка всегда бывает пятилетняя,— вот уже в течение пятнадцати лет барышня Мари берет ее у кого-нибудь из соседок.

— Смотри, дитя мое, сколько народу, а? А сколько фонариков и венков! Ну иди, не бойся, иди себе вперед. Иди куда хочешь, я пойду за тобой.

Девочка робко идет вперед. Барышня Мари следует за ней, подбадривая ее, но не указывая пути. Так они идут, пока барышня не говорит вдруг: «Погоди!» — и, взяв девочку за руку, ведет ее между могилами. Подойдя к одному из железных надгробных кре-

стов, Мари снимает выцветший и омытый дождями венок и вешает новый, из искусственных красных и белых цветов. Потом, опершись рукой о перекладину креста, начинает молиться. Стать на колени ей слишком трудно. Сперва свой взор она опускает на увядшую траву и бурую глину могилы, потом поднимает голову, и ее большие и правдивые глаза на широком и добром лице глядят вдаль. Глаза ее туманятся, углы рта начинают дрожать, губы сжаты, обильные слезы текут по щекам.

Девочка удивленно смотрит вверх, а Мари ничего не слышит и не видит. Потом она с усилием овладевает собой, испускает глубокий, подавленный вздох, грустно улыбается ребенку и говорит немного хриплым шепотом:

— Ну, иди. Иди опять, детка. Иди куда хочешь, я пойду за тобой.

И они снова бродят среди могил, по прихоти ребенка, пока Мари — не говорит: «Погоди!» — подходит к другой могиле. Здесь она ведет себя так же, как у первой могилы, и, по-моему, не остается тут ни на минуту дольше. Потом она забирает старый, выцветший венок, укладывает его в чехол, где уже лежит первый, берет за руку свою маленькую проводницу и говорит:

— Ты уже замерзла? Да? Ну, пойдем, а то ты простудишься. Сядем опять в пролетку и поедем домой. Ты любишь кататься, а?

Они медленно идут к воротам, девочка и венки размещаются впереди пролетки, извозчик два или три раза стегает лошадь, прежде чем та трогается с места.

Так повторяется из года в год.

Будь я еще неопытным писателем, я, наверное, написал бы: «Вы спрашиваете, читатель, чьи же это могилы?» Но мне уже известно, что читатель никогда ни о чем не спрашивает. Писатель должен сам все ему втолковать. В данном случае это нелегко, ибо барышня Мари замкнута и не любит рассказывать о своем прошлом, в жизни она никому не навязывалась, даже ближайшим соседям. С детских лет и доселе у нее была только одна приятельница, когда-то хорошенькая барышня Луиза, ныне высохшая вдова таможенного вахмистра Ноцара. Сегодня днем подруги будут сидеть у пани Ноцаровой. Барышня Мари редко посещает приятельницу, живущую на Влашской улице, ибо очень редко покидает свою квартиру в первом этаже дома у подножия Сватоянского холма, делая это только ради воскресной службы в храме святого Микулаша. Мари слишком грузна, и ходьба ее утомляет. Приятельница, жалея ее, сама навещает ее каждый день. Долголетняя сердечная дружба тесно связывает обеих.

Но сегодня барышне Мари было бы слишком тоскливо дома. Дом показался бы ей более пустым, а сама она более одинокой,

чем всегда, поэтому она сбежала к приятельнице. А для пани Ноцаровой это торжественный день. Никогда она не поджаривает кофе так старательно, как сегодня, никогда не следит так внимательно за тем, чтобы сладкий пирог удался и был достаточно пышен. Беседа двух приятельниц ведется сегодня вполголоса, в приподнятом тоне. Эта беседа немногословна, и все, что они ни говорят — немудрёно, но рождает в сердце множество откликов. Минутами на глазах собеседниц сверкают слезы, и подруги обнимаются чаще, чем обычно.

Они долго сидят рядом на диване и наконец переходят к главной теме беседы.

— Послушай,— говорит пани Ноцарова,— господь бог дал нам почти одинаковую судьбу. У меня был добрый и хороший муж, но он через два года ушел от меня навеки, даже деточки мне не оставил, никакой радости в жизни. С тех пор я так одинока... Но я не знаю, что хуже: никогда не знать счастья или, познав, потерять его.

— Я всегда полагалась на волю божью,— отвечает барышня Мари.— Свою судьбу я знала заранее. Я ее видела во сне. Когда мне было двадцать лет, мне приснилось, что я на балу. Ты ведь знаешь, что в жизни я на балу никогда не бывала. Под музыку и в сиянии огней мы прогуливались там, пара за парой, и, как ни странно, бальный зал был где-то на чердаке, под кровлей. Передние пары вдруг начали спускаться по лестнице, я шла последняя, с каким-то танцором, лица которого не помню. Наверху оставалось лишь несколько пар. Я обернулась и вижу, что за нами следом идет смерть. На ней зеленый бархатный плащ, шляпа с белым пером и шпага. Я хотела поскорее спуститься, но все остальные уже были внизу, и мой партнер тоже куда-то исчез. Смерть вдруг взяла меня за руку и увела прочь. Потом я много лет жила в ее дворце, и смерть была моим мужем. Она обращалась со мной ласково, но я чувствовала к ней неприязнь. Кругом было великолепие и роскошь, сплошь хрусталь, золото и бархат, но меня ничто не радовало. Я все тосковала по земле, и наш слуга — он тоже был смертью — всегда рассказывал мне, что делается там. Мой муж огорчался, что я тоскую, я замечала это и жалела его... С тех пор я поняла, что никогда не выйду замуж и что мой жених — это смерть. И вот видишь, Луиза, разве сны не посылает господь бог? Разве смерть двух человек не вырвала меня из общего потока жизни?

И вдова Ноцарова плачет, хотя рассказ об этом сне она слышит бог весть в который раз. Слезы подруги падают как целительный бальзам на измученную душу барышни Мари.

И в самом деле удивительно, что Мари не вышла замуж. Она рано потеряла родителей, оставшись владелицей приличного трехэтажного домика близ Сватоянского холма. Мари не была уродливой, это видно еще и сейчас. Рослая, много выше других дам, с красивыми голубыми глазами и немного широким, но правильным и приятным лицом, она уже в раннем детстве была несколько полна, и потому ее прозвали «толстая Мари». Полнота сделала ее немного ленивой, она не играла с другими детьми, а позже не участвовала в развлечениях и лишь один раз в день ходила гулять на Марианские валы. Впрочем, нельзя сказать, чтобы обитатели Малой Страны задумывались над тем, почему барышня Мари не замужем. Тамошнее общество сложилось давно, Мари представляет в нем старую деву, и никто не думает, что могло бы быть иначе. Если же кто-нибудь из женщин случайно касается этого вопроса, Мари отвечает со спокойной улыбкой: «Мне думается, что и холостой человек может служить богу, не правда ли?» А ее подруга, когда ей задают этот же вопрос, пожимает острыми плечами и говорит: «Она не хотела! У нее несколько раз была возможность удачно выйти замуж, это истинная правда. Я сама знаю два случая... оба очень достойные люди. Но она не захотела!»

Но я, летописец Малой Страны, знаю, что оба эти жениха были кутилы и никчемные люди! Ведь речь идет о лавочнике Цибулке и граверe Рехнере, а о них, где бы ни вспоминали, всегда говорили: «Эти гуляки!» Я не утверждаю, что они вели себя преступно, этого еще не хватало! Но это были крайне несолидные люди — ни аккуратности, ни усидчивости, ни рассудительности. Рехнер никогда не начинал своей рабочей недели раньше среды, а заканчивал ее в полдень субботы. Работа у него спорилась, и он мог бы зарабатывать хорошие деньги, но, как говорил земляк моей матери, письмоводитель Герман, у Рехнера не было к работе никакого вкуса. А лавочник Цибулка больше времени проводил в распивочной, чем в своей лавке, днем спал, а когда стоял за прилавком, был сонный и все ворчал. Говорят, он даже знал французский язык, но торговлю запустил, и его приказчик делал в лавке все, что хотел.

Цибулка и Рехнер вечно были вместе, и если в душе одного вдруг просыпалась искорка благородства, другой сразу же ее гасил. Тот, кто подсаживался к их столику, убеждался, что они забавная пара. Рехнер был мал ростом, и на его бритом остреньком лице постоянно играла легкая улыбка, как бегущий по полю солнечный луч. Свои каштановые волосы он зачесывал назад, его высокий лоб был чист, а вокруг тонких, бледных губ застыла ироническая складка. Он носил костюмы своего любимого желтоватого

цвета, и его сухая фигура вечно была в движении, плечи то и дело вздрагивали.

Друг Рехнера, Цибулка, всегда ходивший в черном, был гораздо спокойнее, но только с виду. Худощавый, как и Рехнер, он был немного выше ростом. Маленькая голова и квадратный лоб, немного выдающиеся надбровные дуги, густые темные брови и под ними живые глаза, черные волосы, зачесанные к вискам, длинные и мягкие, как бархат, черные усы над резко очерченным ртом — таков был Цибулка. Когда он смеялся, зубы под усами сверкали как снег. Было что-то бешеное и вместе с тем добродушное в этом лице. Цибулка обычно сдерживал смех, сколько хватало сил, потом вдруг разражался хохотом и тотчас снова принимал серьезный вид. Друзья понимали друг друга без слов,— достаточно было одного взгляда, и все было ясно. Мало кто подсаживался к ним в трактире, остроумие их было слишком вольным и непривычным для почтенных обывателей Малой Страны, которые не понимали его и считали разговоры обоих приятелей сплошным злословием. А Цибулку и Рехнера тоже не привлекало общество старожилов. Они предпочитали проводить вечера в отдаленных пивных Старого Места, долго шатались там, и когда далеко за полночь на улицах Малой Страны слышался веселый смех, можно было с уверенностью сказать, что это Цибулка и Рехнер возвращаются домой.

Они были примерно одних лет с барышней Мари. Когда-то они вместе с ней учились в приходской школе и с тех пор не интересовались ею, а она ими. Встречались они только на улице и обменивались небрежным приветствием.

И вот однажды посыльный принес барышне Мари тщательно, почти каллиграфически написанное письмо. В нем говорилось:

«Многоуважаемая барышня!

Вы, конечно, удивитесь письму от меня и еще более будете поражены его содержанием. Я никогда не отваживался приблизиться к Вам, и все же — буду говорить прямо! — я люблю Вас! Люблю уже давно. Я проверил свое чувство, и я знаю, что могу быть счастлив только с Вами.

Мари! Быть может, удивленная этим письмом, Вы отринете меня! Быть может, различные кривотолки повредили мне в Ваших глазах и Вы презрительно пожмете плечами. Я могу лишь просить Вас не принимать поспешного решения и подумать, прежде чем произнести последнее слово. Я могу лишь сказать, что в моем лице Вы найдете мужа, который всеми силами души будет стремиться сделать Вас счастливой.

Еще раз прошу Вас: подумайте хорошенько! Жду Вашего решения ровно через месяц, считая от сегодняшнего дня.

Пока же прошу у Вас прощения!

В волнении и тоске, преданный Вам

Вилем Цибулка».

У барышни Мари голова пошла кругом. Ей было уже за тридцать, и вот, нежданно-негаданно, перед ней лежало первое любовное признание. Первое! Сама она еще никогда не думала о любви, и никто никогда не заговаривал с ней на эту тему.

Алые жгучие молнии сверкали в глазах Мари, кровь стучала в висках, дыхание спирало в груди. Она никак не могла собраться с мыслями. Среди сверкающих молний перед ней мгновениями возникало видение — Цибулка, устремивший на нее печальный взгляд.

Она снова взяла письмо и перечитала его, вся дрожа. Как красиво написано! Сколько нежности!

Не в силах владеть собой, она поспешила к приятельнице и молча подала ей письмо.

— Вот видишь! — сказала та после паузы, и на лице ее отразилось недоумение.— Ну, что ты думаешь делать?

— Не знаю, Луиза!

— У тебя достаточно времени на размышление. Ведь возможно, что... прости меня... ты ведь знаешь, каковы мужчины. Иные женятся ради денег... а впрочем, почему бы ему действительно не любить тебя? Знаешь что, я разузнаю о нем.

Мари молчала.

— Слушай, а Цибулка недурен собой, глаза у него как уголья, усы черные, а зубы... ну прямо как сахар! Да, да, он очень хорош собой! — И Луиза ласково обняла молчаливую подругу.

Мари зарделась как маков цвет.

Ровно через неделю Мари, вернувшись из церкви, нашла у себя другое письмо и прочла его со все возраставшим удивлением:

«Уважаемая барышня!

Не сердитесь за то, что я решаюсь писать Вам. Дело в том, что я решил жениться и мне в дом нужна хорошая хозяйка. Знакомых девиц у меня нет, поскольку моя профессия не оставляет времени для развлечений. Сколько я ни прикидываю, все выходит, что Вы, безусловно, могли бы быть мне хорошей женой.

Не сердитесь на меня, я человек добрый, и мы бы с Вами поладили, у меня есть подход к людям, и работать я умею. С божьей помощью мы бы ни в чем не нуждались.

Мне тридцать один год, Вы знаете меня, а я знаю Вас, мне известно, что Вы не бедны, и это хорошо. Должен сказать, что мой

дом больше уже не может оставаться без хозяйки, и я не в состоянии долго ждать. Поэтому прошу Вас в течение двух недель дать мне Ваш любезный ответ, иначе мне придется поискать другую невесту. Я не какой-нибудь фантазер, не умею говорить красивые слова, но умею любить.

Остаюсь в течение двух недель преданным Вам

Ян Рехнер, гравер».

— Он простодушный человек и пишет откровенно,— рассудила Ноцарова.— Итак, у тебя есть выбор, Маринка, что ты предпримешь?

— Что предприму? — как во сне, переспросила барышня Мари.

— Кто тебе больше нравится? Признайся, нравится тебе кто-нибудь из них? Кто?

— Вилем,— прошептала Мари, зардевшись.

Цибулка уже был для нее Вилемом! Рехнер отпал. Подруги решили, что Луиза, как более опытная, составит ответ Рехнеру, а Мари перепишет его.

Но не прошло и недели, как Мари снова появилась у своей приятельницы с письмом в руке. На ее лице было написано удовлетворение. В письме говорилось:

«Уважаемая барышня!

Не сердитесь на меня. Все в порядке. Я не виноват. Если бы я знал, что к Вам сватается мой друг Цибулка, я бы не совался. Но он мне ничего не сказал, и я не знал об этом. Теперь я уже объявил ему, что отказываюсь добровольно, потому что он Вас любит. Только прошу не смеяться надо мной, это было бы нехорошо с Вашей стороны. Я еще найду где-нибудь свое счастье. Жаль, конечно, что с Вами не вышло, но не беда.

Забудьте преданного и уважающего Вас

Яна Рехнера, гравера».

— Ну вот, теперь ты можешь не колебаться,— сказала Луиза.

— Слава богу! — И барышня Мари осталась одна, но сегодня одиночество было ей отрадно. Ей рисовались заманчивые картины будущего, и Мари долго переживала каждую из них. От этого они становились все ярче, сливаясь в общую панораму прекрасной и счастливой жизни.

Однако на следующий день Луиза застала свою подругу больной. Бледная Мари лежала на диване, глаза ее были мутны и красны от слез. Испуганная Луиза едва смогла выговорить: «Что случилось?» Мари снова разразилась слезами и молча указала на

стол. Там лежало новое письмо. Луиза почувствовала, что содержание его должно быть ужасным. И в самом деле, письмо было очень серьезное:

«Многоуважаемая барышня!

Итак, мне не суждено счастье! Сон рассеялся, я хватаюсь за голову, она кружится от горя!

Но нет! Я не хочу идти по пути, вымощенному разбитыми надеждами моего лучшего и единственного друга, столь же несчастного, как и я сам!

Вы, разумеется, еще не приняли решения, но разве возможно какое-нибудь решение! Я не смогу жить счастливым, видя своего Еника погруженным в отчаяние. Если бы Вы даже подали мне кубок счастья и наслаждения, я не смогу принять его.

Я решил. Я отказываюсь от всего!

Прошу Вас об одном: не вспоминайте обо мне с насмешкой.

Преданный Вам *Вилем Цибулка*».

— Но это же смешно! — воскликнула Луиза и громко рассмеялась.

Мари вопросительно и испуганно глядела на нее.

— Ну что ж,— задумалась Луиза,— это благородные люди. Оба благородны, это сразу видно. Но ты не знаешь мужчин, Маринка! Этакое благородство недолго продлится, мужчина наконец забудет о нем и станет думать только о себе. Оставь их в покое, они решат сами. Рехнер, видимо, практическая натура, но Цибулка... сразу видно, как пылко он тебя любит! Цибулка, безусловно, придет!

В глазах Мари снова засияли зори надежды. Она верила подруге, а та свято верила собственным словам. Обе они были честные, добрые души и не усомнились ни в чем. Они бы ужаснулись мысли, что это была всего лишь грубая и недостойная шутка.

— Подожди, он придет, он еще решится! — заверяла, прощаясь, Луиза.

И Мари ждала. Прежние мечты снова вернулись к ней. Ее, правда, уже не охватывало в такие минуты блаженство, как раньше, мечты были проникнуты грустью, которая с каждым разом делала их еще дороже сердцу старой девы.

Мари ждала, а месяц проходил за месяцем. Иногда, гуляя, она встречала обоих друзей. Они по-прежнему ходили вместе. Прежде, когда они были ей безразличны, она не обращала внимания на такие встречи, но теперь ей казалось, что они попадаются ей на глаза подозрительно часто. «Они ходят за тобой, вот видишь!» — говорила Луиза.

Сначала Мари потупляла взор при встречах. Потом осмелела и поглядывала на них. Они проходили мимо, каждый здоровался очень учтиво и потом скорбно потуплял взор. Прочитали ли они наивный вопрос в ее больших глазах? Оба чуть заметно прикусывали губы, но она не замечала этого.

Прошел год. Вдова Ноцарова приносила странные вести и смущенно сообщала их подруге: говорят, что Рехнер и Цибулка непутевые люди, их не называют иначе, как «гуляки», по общему мнению, они плохо кончат.

Каждая такая весть была для Мари убийственной. Неужто тут есть доля и ее вины? Луиза не знала, как помочь подруге, а сама Мари из девической застенчивости не отваживалась на решительный шаг. И все же Мари чувствовала себя соучастницей преступления.

Прошел второй такой же мучительный год, и Рехнера свезли на кладбище. Он умер от чахотки. Мари была подавлена. Практический Рехнер, как всегда характеризовала его Луиза, и вдруг не вынес этой жизни.

Ноцарова вздохнула и сказала:

— Ну, теперь твоя судьба решена. Цибулка еще немного помедлит, а потом придет.— И она поцеловала дрожащую Мари в лоб.

Цибулка медлил недолго. Через четыре месяца и он лежал на кладбище. Воспаление легких свело его в могилу.

С тех пор прошло уже шестнадцать лет.

Ни за что на свете барышня Мари не могла бы сама решить в день поминовения, какую могилу навестить первой. Это решала за нее пятилетняя девочка: куда ребенок шел раньше, там Мари клала первый венок.

Кроме могил Цибулки и Рехнера, Мари приобрела навечно участок еще с одной могилой. Люди думают, что у нее мания покупать могилы совсем чужих ей людей. В третьей могиле лежит Магдалена Топферова, премудрая женщина, о которой рассказывали много интересного. Когда на похоронах купца Велша пани Топферова заметила, что торговка воском пани Хиртова перешагнула через одну из могил, пани Топферова тотчас же предсказала, что у нее родится мертвый ребенок. Так оно и случилось. Однажды пани Топферова зашла к своей соседке, перчаточнице, и увидела, что та чистит морковь. Топферова сказала, что у перчаточницы родится веснушчатый ребенок. И действительно, у дочки перчаточницы Марины волосы рыжие, как кирпич, а веснушек столько, что глядеть страшно. Да, Магдалена Топферова была мудрая женщина, но...

Но, как мы уже сказали, Мари нет никакого дела до Магдалены Топферовой, могила которой находится как раз между могилами Цибулки и Рехнера. Я был бы слишком низкого мнения о сообразительности читателя, если бы стал сейчас объяснять, почему Мари приобрела этот участок и где она будет похоронена.

ФИГУРКИ

Идиллические картинки из дневника кандидата на адвокатскую должность

Вчера мне исполнилось тридцать лет. Отныне я чувствую себя иным человеком. Только со вчерашнего дня я зрелый муж, кровь во мне циркулирует в четком ритме, каждый нерв подобен стальной струне, каждая мысль значительна. Поразительно, как человек созревает за одну ночь, нет, в один миг, под влиянием осознанного факта, что ему тридцать лет, и какую силу имеет мысль: «Тебе стукнуло тридцать». Сейчас я решительно нравлюсь себе, я чувствую, что *могу* достичь иного и *достигну!* На все я смотрю с величественным спокойствием. Отныне я снова буду с охотой вести свой дневник, чтобы создать собственный портрет. Я знаю, что через несколько лет с гордостью перечитаю эти страницы. И каждый, кто прочтет их после моей смерти, воскликнет: «О, это был *муж!*»

Я так переродился, что позавчерашний день представляется мне далеким прошлым. И это прошлое чуждо и непостижимо для меня. Почти каждый день я делал записи в дневнике, но, читая теперь эти затхлые мысли, я уже не понимаю их. Качаю головой: зачем, собственно, я это написал:

«Для чего нужны идеалы? Зачем мы проникаемся ими?»

«Солнце остывает, и океаны замерзают...»

«Мне так грустно, что хочется наложить на себя руки...»

«Грозная ли это тень близкой большой беды или сознание мировой катастрофы?»

«Может быть, я и ошибся...»

«Накануне выполнения своего жизненного призвания и после него; нет радости, есть грустное недоумение...»

Какие непроходимые глупости! Какие нездоровые настроения! Все это потому, что у меня не было ясной цели и твердой воли, потому что я поддался рутине жизни, впал в отупляющие привычки. Насколько я вырос сейчас!

Во-первых, я сдам адвокатские экзамены, сдам их страшно быстро. Во-вторых, отныне я целиком погружаюсь в занятия.

В контору не пойду, пока не покончу с экзаменами: мой шеф не вычеркнет меня из списка, чтобы я не утратил часть необходимого семилетнего стажа. В-третьих, запрусь в стенах своей комнаты, в трактир ходить не буду, даже вечером,— слишком много денег я каждый день проигрывал в этот рамс. И в воскресенье не пойду гулять на Пршикопы, и в театр не пойду, вообще никуда носа не высуну, пусть себе барышня Франтишка все глаза проглядит, высматривая меня. Она сказала в гостях у пана Лоукоты, что я выгляжу одичавшим,— ладно же!

Отличная мысль! Я готов расцеловать себя за нее! *Я перееду на Малую Страну!* На поэтическую, мирную Малую Страну, в круг тихих, милых соседей, где-нибудь на уединенной улочке. Для моего нынешнего возвышенного душевного состояния просто необходима поэтическая обстановка. Это будет наслаждение! Тихий дом, светлая квартирка с видом на задумчивый Петршин и на тихий домашний садик,— садик обязательно *должен быть!* — и мирный труд. Я уже чувствую, как расправляется моя грудь!

За дело же, экзамены не за горами!

Если я не ошибаюсь, на Петршине водятся соловьи?

Мне повезло. На тихой Уездской улице я нашел квартиру, лучше которой и желать не приходится. Там я спрячусь, как ребенок в укромном местечке, и никто обо мне не узнает, никто!

Уже с виду этот трехэтажный домик мне очень понравился. Я, правда, буду здесь не съемщиком, а только квартирантом, но что из того! Моя квартирохозяйка — жена кондуктора. Мужа ее я еще не видел, он служит где-то на железной дороге и вечно в разъездах. Квартира во втором этаже слишком велика для них: большая комната с окнами на улицу, кухня и две комнатки в боковом крыле дома,— их-то я и снял. Три окна этих комнат выходят на покатый двор, крайнее смотрит прямо в садик и на Петршин. Очень милый садик, и кондукторша сказала, что им может пользоваться каждый обитатель дома. Но я буду заниматься, а не гулять в саду. Однако меня радует, что он есть. Дом стоит на склоне Петршина, двор покатый, и садик находится на уровне второго этажа, почти под самым моим окном. Подойдя к окну, я услышал пение жаворонка на Петршине. Какая прелесть! Я спросил, есть ли там соловьи. Есть!

Кондукторша молода, ей года двадцать два. Она здорова и хороша собой. Лицо у нее, правда, не классических черт, подбородок широковат, но щеки — как алый бархат, а глаза чуточку навыкате и похожи на васильки. У нее ребенок, семимесячная дочка Каченка. Такие люди сразу расскажут вам всю свою биографию.

Каченка забавное существо. Головка у нее как шар, глаза навыкате, как у матери,— похоже, что они сидят на стебельках,— и вид на редкость глупый. Но когда на нее ласково взглянешь, девочка начинает смеяться, в ее бессмысленном взоре появляются какие-то искорки, и он неожиданно становится таким приятным, словно... (Сравнение напишу позднее, оно что-то не приходит в голову.)

Я погладил Каченку по щеке и сказал: «Прелестный ребенок!» Всегда полезно завоевать приязнь матери, похвалив ребенка.

— А какая тихая, почти никогда не плачет,— ответила польщенная мать.

Это меня очень радует в связи с предстоящими занятиями.

Я сказал, что я доктор прав, и кондукторша, видимо, была очень довольна этим. А узнав, что моя фамилия Крумловский, она воскликнула: «Ах, какая красивая фамилия!» Эти простодушные люди совсем не таят своих впечатлений.

Мы сговорились о плате за комнату и услуги. Хозяйка будет мне стирать, убирать и готовить завтрак. Внизу, направо от входа, есть трактир, я видел его, там чисто, оттуда я буду брать обеды и ужины.

— Когда муж бывает дома, мы тоже берем оттуда, у них домашняя кухня,— сказала хозяйка.

Отлично, я очень люблю домашнюю кухню. Терпеть не могу пряные ресторанные блюда. Картофель с луком и салом, пшенная каша и жирная лапша мне во сто крат милее всяких деликатесов.

Внизу, налево от входа, находится мастерская сапожника, а надо мной, выше этажом, живет портной. Чего еще желать? Должен отметить, что совсем недалеко стоит дом, где родился Маха. Но меня не привлекает книжная поэзия, мне гораздо приятнее поэзия самой жизни, поэтому о Махе я упоминаю только так, мимоходом. Я сам никогда не писал стихов... то есть, собственно говоря, в школьные годы, конечно, пытался. Может, у меня был талант. Припоминаю, например, одно свое недурное стихотворение, балладу с превосходной аллитерацией:

Пан свистит на косогоре,
Пес понесся в плес, о горе!

Соученики надо мной смеялись, когда я прочитал им эту балладу. Я защищался, указывая на аллитерацию. Но они смеялись еще больше и с тех пор вместо слова аллитерация начали говорить: «Пес понесся в плес...» Ослы!

Во время моего разговора с кондукторшей в открытые двери кухни вошел мужчина лет сорока с трубкой в руках. Видимо, это

сосед, так как он одет совсем по-домашнему. Он оперся о косяк и стоял, попыхивая трубочкой.

— Это доктор Крумловский,— сказала кондукторша, с явным ударением на слове «доктор».

Мужчина выпустил клуб дыма.

— Очень приятно. Будем знакомы, пан доктор.— И он подал мне большую мягкую руку. Я пожал ее. Надо установить хорошие отношения с соседями, здесь все такие порядочные люди. Мужчина приземист и краснолиц, глаза у него водянистые, словно наполненные слезами. Очень простодушные глаза! Впрочем, такое простодушное выражение и водянистые глаза могут быть и у пьянчуги. Уж я-то знаю людей! И верхняя губа у него толстая, как у всех пьяниц.

— Играете в шестерку? — спрашивает он меня.

Я хотел было сказать, что теперь ни во что не играю, потому что все время посвятил занятиям, но зачем сразу портить отношения с соседом?

И я ответил с учтивой улыбкой:

— Какой же чех не играет в шестерку!

— Отлично, значит, сделаем день,— говорит он. (Какой германизм это выражение «сделать день»! Ужасно портится в городах наш чешский язык! Буду в разговорах исподволь поправлять этих людей!) — Мы, люди искусства, любим ученых людей. У них есть чему поучиться.

Научатся они от меня! Тем не менее я чувствую, что должен сказать что-нибудь лестное. Чем же он занимается, этот дядя? «Человек искусства», водянистые глаза, красные щеки, массивные руки... Ручаюсь, что на кончиках пальцев у него мозоли. Я их не вижу, но они *должны* там быть. Ведь я знаток людей! Наверное, он играет на контрабасе. Ну конечно!

— Ну, вам, музыканту, видно, некогда скучать,— говорю я.

— Вы слышали, хозяйка?! — расхохотался он, ерзая плечом по косяку, как носорог, который чешется о бревно.— Я такой же музыкант, как вот тот...— И он ткнул пальцем через плечо, указывая на двери в коридоре, и его смех перешел в громкий кашель.

— Пан Августа — художник,— объяснила кондукторша.

Из коридора прибежал мальчишка лет восьми, видимо, привлеченный смехом и кашлем. Он прижался к живописцу и уставился на меня.

— Это ваш сынок, пан Августа? — немного смущенно спросил я.

— Мой Пепик. Мы живем вон там, в правом дворовом флигеле, прямо против вас, так что нам с вами видно друг друга из окон.

— Это кто такой? — приставал Пепик, тыча в мою сторону пальцем. Люблю простые, непритязательные детские манеры.

— Это пан доктор Крумловский, невежа!

— А он тут останется?

— Слушай, Пепичек, хочешь крейцер? — говорю я, гладя мальчика по светлым кудрям.

Пепик молча протягивает руку.

Думается, я произвел на всех хорошее впечатление.

Это был трудный денек! Переезд, расстановка вещей. У меня голова шла кругом. Я не привык к переездам и не люблю их. Говорят, есть люди, которые увлекаются переездами, это своего рода недуг непостоянных натур. Но нельзя не признать, что в переездах есть своя поэзия. Когда ваша старая квартира начинает пустеть и принимать нежилой вид, вас вдруг охватывает какая-то тоска, словно вы покидаете надежную гавань и пускаетесь в плавание по зыбким волнам. А новая квартира встречает вас отчужденно, холодно, безмолвно. Мне хотелось, как маленькому ребенку в непривычном месте, схватиться за мамину юбку и закричать: «Боюсь!» Но завтра утром я наверняка скажу: «Здесь хорошо спится...»

Который, однако, час? Половина одиннадцатого, а в доме уже тихо, как в колодце. Хорошее сравнение: «как в колодце», куда лучше, чем затасканное: «как в церкви»!

Меня немало позабавила кондукторша. Она удивлялась всем моим вещам, ощупывала их, рассматривала. Такое наивное любопытство не раздражает. Она усердно помогала мне, сразу же собрала и постелила мою постель; особенно ее удивило большое покрывало из шкуры серны и такая же подушка. Постелив все это, она не удержалась, чтобы не прилечь на постель, испробовать, как человек чувствует себя на этой шкуре. Лежа, она от удовольствия смеялась, как белка... если только белки смеются. Она положила на постель Каченку и снова стала смеяться. Смех ее похож на звон колокольчика. Потом она расстелила на полу у кровати мохнатую лисью шкуру, окаймленную красным сукном, и снова радовалась, на этот раз тому, что Каченка боится лисьей головы со стеклянными глазами.

Буду пугать ее этой лисой, когда не станет слушаться!

Этим людям всякая малость доставляет удовольствие.

Скоро я, однако, почти рассердился. Приехав со вторым возом своих вещей, я увидел в открытые двери, как в другой комнате Пепик, став в кресло, залез рукой в аквариум и выловил золотую рыбку. Я поспешил к нему. Вдруг женский голос взвизгнул: «О,

господи!» — и я увидел, что какая-то женщина выбежала из моей комнаты. Кондукторша стояла в дверях у постели и смеялась, держась за бока.

— Это была жена живописца,— сказала она.— Она тоже легла попробовать. Дочка домовладельца тоже приходила убедиться, что это хорошая постель.

Боюсь, что кондукторша приведет ко мне весь дом — пробовать мою кровать. На чем же эти люди спят сами? А Пепика не следует впускать ко мне без присмотра, еще перевернет, чего доброго, аквариум. Он, кстати говоря, красивый мальчик, волосы как лен, а глаза как угольки; глаза у него не отцовские, очевидно, в мать.

Я все прислушиваюсь, не поет ли соловей. Нет, не слышно, наверное, еще холодно. Хорошенькая весна! Прошло уже полтора весенних месяца, а мы все еще ходим в шубах. Видно, чем ближе к лету, тем холоднее будет, скоро начнем носить летние шубы. Ха-ха, хорошая идея: «летние шубы»!

Но соловью ведь не повредит легкая прохлада? Я тщетно прислушиваюсь. Трелей не слышно! Слышны шаги! Тяжелые, мужские шаги раздаются по коридору. Скрипнула дверь в кухню, послышались женский и мужской голоса,— видимо, кондуктор вернулся из рейса. Я быстро тушу свет и ложусь спать, а то она, чего доброго, и его приведет попробовать мою постель. А ведь кондуктора возвращаются с дороги довольно грязными...

Гражданское право. Вексельное право. Торговое право. Процессуальные уложения. Общее судопроизводство. Порядок рассмотрения дел о прекращении владения. Порядок рассмотрения дел об условиях найма. Горный устав. Водный устав. Уголовное право и судопроизводство. Судопроизводство по делам, не носящим состязательного характера. Общинное право. Нотариальный устав. Ремесленное право. Порядок внесения записей в книги. Судопроизводство по делам о векселях. Порядок взыскания по векселям. Закон об общественных организациях. Охотничье право. Налоговое право.

Так! Каждое утро я просматриваю этот перечень, чтобы видеть, как много мне еще остается, и не снижать усердия. Нет, оно не снизится, ведь я теперь совсем другой человек. Когда я буду принимать какие-нибудь правильные решения, я их обязательно запишу, чтобы перечитывать каждый день. Каждый день! У человека короткая память!

Отличный завтрак. Кофе без цикория, пышная булочка. Кондукторша в белой, утренней кофточке. Лицо ее сияет, сразу видно, что она счастлива в браке.

— Отличный кофе, отличный,— говорю я, чтоб совсем завоевать ее расположение.

— Очень рада, пан доктор, что он вам по вкусу. Не желаете ли еще чего-нибудь?

Я вспоминаю о кондукторе.

— Ваш хозяин дома? Надо мне с ним поскорее познакомиться.

— Он ушел на станцию сдавать отчет, придет к обеду.— Она снова засмеялась, у нее всегда на губах улыбка.— Сейчас я хочу убрать у вас и застелить постель. Каченку я только что выкупала, и она заснула... Если вам уборка мешает, вы могли бы пока перейти в другую комнату.

Я иду в другую комнату и смотрю из окна во двор. В окнах напротив — цветы. Самые обычные цветы, которые ставят на окне. Можно было бы составить перечень чешской «оконной флоры». Пахучая базалька с большими, сочными листьями: но стоит эти листья помять пальцами, растение увядает, как «растоптанное девичество». Бальзамин, растение без запаха, но с пышным цветом; его обычно выращивают из прошлогодних семян. Противная пеларгония с мрачными, словно кожаными, листьями и ярко-красным цветком. Розы с подстриженными листьями. Разумеется, не обойдется без муската и розмарина. Розмарин — цветок похорон и свадеб. Его запах символизирует любовь, его вечная зелень — верность. Говорят также, что розмарин укрепляет память. Надо будет купить несколько горшочков. Букетики розмарина бросают в реку.

Поплыл цветик, ветер стих,
Кто поймает, тот жених...

Нет, нет, я-то не поймаю, охота мне жениться так рано!

Садик уже приведен в полный порядок. В нем много беседок, очевидно, по одной для каждой семьи. Беседки, наверное, будут увиты мальвами, которые Пепик сможет срывать, а на грядках вырастет укроп для соуса к кнедликам.

— У вас уже прибрано, пан доктор,— смеется в дверях кондукторша.

Окна в первой комнате она распахнула настежь. Надо будет их закрыть, но лучше сделать это, когда она уйдет.

— Не желаете ли еще что-нибудь?

Образцовая услужливость! Надо за это хотя бы приветливо поговорить с ней. Из квартиры живописца слышен крик младенца и громкое женское сопрано.

— У них там грудной ребенок, да?

— Годовалый. Орет целый день!..

(Окна во двор придется открывать лишь изредка.)

— ...И сама хозяйка тоже все время шумит. Шарниры у нее в глотке хорошо смазаны.

(Окна во двор не буду отворять совсем, зато окно в сад будет открыто целый день.)

Я отмечаю про себя, что кондукторша говорит отнюдь не салонным языком. Это понятно, она простая женщина. Однако похоже, что существуют особые идиомы Малой Страны, надо будет их записывать. Например, насчет этих шарниров. Видя, что я что-то записываю, хозяйка говорит:

— Я, наверное, вам мешаю? Наверное, вам надо работать?

— Нет, ничего,— отвечаю я.— А кто живет над живописцем?

— Один чудак, старый холостяк по фамилии Провазник. Не знаю, чем он раньше занимался. Весь день ничего не делает, никуда не ходит, только глядит из окна, как сыч, таращит свои буркалы на соседей. Хотя бы кошку по спине гладил! (Я записываю: «Гладить кошку по спине...») Во втором этаже, окна на улицу, живет домовладелец с дочерью, а над ними семья чиновника Вейростка. Они, видно, недавно поженились, у них еще кольца не потускнели.. Однако ж я тут болтаю, а там, может быть, проснулась Каченка...— И она со смехом исчезает.

Теперь я все знаю. Поскорее закрыть окно — и за ученье! Сейчас девять часов. Вторник — хороший день для начала занятий. Начну, как обычно, с Гражданского уложения. Надеюсь, что все пойдет хоро...

— Я и забыла спросить, как вам спалось ночью,— раздался в дверях веселый голос хозяйки.— Гляди, Каченка, это пан доктор. Поздоровайся с ним, скажи: «Здравствуйте» (наклоняет ее). Та-ак!.. Ух-ух! (Делает вид, что бросает Каченку на меня.) Хорошо спали? Ну, еще бы, на такой постели! (Уже подошла к постели.) Глянь, Каченка, вот это постель! (Кладет ее на постель.) Ишь паршивка, лежит, как барыня! Вот это постелька! (Сказав это, она сама ложится рядом с Качей.)

Пригожая бабенка, соблазнительное зрелище, но... я упрямо гляжу в свод законов.

— Пойдем, Кача, пан доктор занят, нельзя ему мешать!

И, смеясь, она уходит.

Она невероятно наивна!

Итак, сперва внимательно прочитать каждую статью. Рескрипт о вступлении в силу пропущу. *Вводная часть*. О законах...

Кошка, белая кошка! Стоит в дверях и мяукает. До сих пор я ее не видел. Это наша кошка? Как подзывают кошку? Ага, «кис-кис»! Но если сказать ей «кис-кис», она, наверное, размяукается еще больше.

Jan Žižka
z Trocnova
M. Alš
1903
Jménem Páně!

Микулаш Алеш. Ян Жижка.
Уголь, акварель.

Нет, я не могу заниматься, пока кошка здесь! Я не люблю кошек, они злы, неверны, едят мышей. Кроме того, они царапаются и кусаются. А спящему садятся на горло и душат его. Решено: каждую ночь перед сном, на всякий случай, буду звать «кис-кис», чтобы проверить, не забралась ли ко мне кошка. Говорят, что кошки легко заболевают бешенством... Вот еще не хватало! Надо будет исподволь разузнать у хозяйки, не заметно ли признаков бешенства у этой кошки, наверняка хозяйкиной любимицы.

Кошка опять мяукает. Я приоткрываю дверь, и она выбегает. Появляется кондукторша: не надо ли чего-нибудь? Я говорю, что нет. Но ведь я открывал дверь? Это чтоб выпустить кошку. Ах, вот оно что! Смех.

Вводная часть...

Стук в дверь. Это живописец. Он не хотел бы меня беспокоить, но в мое открытое окно он видел на стене картины, и они не дают ему покоя. У меня действительно есть два отличных полотна кисти Навратила. «Море в бурю», написанное в мрачных тонах, и веселенькое «Море в солнечном сиянии». Живописец останавливается перед ними. Он собрался уходить из дома: на нем черный старомодный сюртук с длинными полами, в руках трость и конусообразная шляпа. Если бы на этой шляпе выросла калина, шляпа была бы похожа на казацкий курган.

— Так это Навратил? — осведомляется живописец.

Я говорю «да». Он замечает, что еще никогда не видел картин этого художника. А когда мы сыграем в шестерку? «Сыграем, обязательно сыграем!» Можно играть втроем с домохозяином, а если позвать еще кого-нибудь, то и вчетвером. Потом он говорит, что его жене стыдно передо мной: я ее вчера застиг здесь, она лежала на моей кровати. Но это кондукторша позвала ее.

Я вежливо улыбаюсь.

— Ну, я вашу уважаемую супругу успокою, это пустяки.

— Ох, уж эти женщины!

Мы пожимаем друг другу руки, и он уходит.

В дверях появляется хозяйка. Уже, мол, скоро десять, не хочу ли я слегка закусить.

— Спасибо, спасибо, у меня нет привычки слегка закусывать.

Вводная часть: общие положения гражданского права. Определение этого права...

Я в приятной лихорадке: весь погрузился в статьи законов и даже пожалел, что наступило время обеда. Меня покормили прилично, но не очень обильно. Впрочем, наедаться до отвала нездорово, особенно когда ведешь сидячую жизнь.

— Хотите черного кофе?

— Нет, хозяйка, до вечера, так часов до восьми, мне ничего не понадобится.

— Даже сигара?

— Я никогда не курю дома.

Превосходно работается! Я несусь, словно челн в бурном потоке, и предметы на берегу мелькают мимо. Статья за статьей бегут, словно четки меж пальцев. Я даже не представлял себе, что так много знаю и что занятия пойдут так быстро. Ничего не видя и не слыша, я погрузился в чтение. Хозяйка, кажется, заходила в комнату раз шесть или десять и раза два пугала Каченку моей серной. Если она и обращалась ко мне, я ей не отвечал. Пусть, по крайней мере, знает, что не следует отрывать меня от занятий.

Я очень доволен: пройдено 135 статей. Теперь поужинать — и опять за дело. Кто посмеет сказать, что работа не доставляет удовольствия! Я прямо-таки дрожу от восторга!

Мясо несколько жестковато... Ах, какой промах я совершил! Совсем забыл про кондуктора!

— Да, пожалуйста, еще кружку,— говорю я кондукторше.— Можно теперь поговорить с вашим мужем?.. Надо же нам познакомиться.

— А он уже на станции, уезжает в девять часов. Опять я вдова!

И она смеется. Видно, мне так и не доведется познакомиться с кондуктором.

Половина одиннадцатого. Я устал. Усердие мое не убавилось, но внимание ослабло. Гражданское уложение содержит 1502 статьи, я их закончу в восемь дней. Отдохну-ка я немного!

Я подсчитываю статьи всех других законов и вижу, что *за месяц покончу со всем.*

Я еще не успокоился, в висках стучит, заснуть я сразу не смогу, но все-таки надо лечь, чтобы отдохнуть. Лампу и записную книжку я поставлю на ночной столик и буду размышлять.

Ах, как я перепугался! Подхожу к постели, на ней что-то лежит. Две узких светящихся щелки — кошка! Лежит, подняла голову и смотрит на меня.

Что делать?! Знал бы я, как испугать ее... нет, пугать не годится, надо бы знать, каким звуком прогнать ее. Кыш? Га-га? Цыпа-цыпа? Кошка смотрят на меня как ни в чем не бывало. Я издаю различные звуки, но все они, очевидно, не предназначены для кошки, так как она уже положила голову на лапы и спит. Что же делать?

Говорят, что хищники боятся огня. Я подношу лампу поближе к кошке, чуть не к самому ее носу, но она и ухом не ведет, только слегка жмурится, кажется, с неудовольствием.

Бросаю в нее туфлей! Промахнулся, но кошка мигом оказалась у дверей. Я приоткрыл дверь... слава богу!

Голос за дверьми спрашивает, не надо ли мне чего-нибудь. Нет. Но ведь я открывал дверь? Я только выгонял кошку. Если мне нужно что-нибудь, пусть я скажу, ей одной все равно не спится и делать нечего. Я не отвечаю. За дверью загадочный смех.

О господи, какая прелесть! «Тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью!» Поет соловей.

Какое сладкое пение! Какое замечательное горлышко! Божественная Филомена, восславленная не одной тысячью поэтов. Певец весны, певец любви, певец наслаждения!

«Тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью!»

Сколь жестоки люди, лишающие свободы таких птиц! Только у свободной птицы свободно льется песня. Преклоняюсь перед законами о защите крылатых певуний.

«Цкво-цкво-цкво-цкво-цкво-цкво-цкво!»

Это чуточку слишком резко... но все же блестяще!

«Цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак!»

Ну, хватит! Это прямо-таки режет уши!

«Цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак!»

Я уже лег на пол. От этого можно с ума сойти! Я и без того возбужден. Если закрыть двери в другую комнату, соловья не будет слышно... «Цак-цак-цак-цак...» Ничего не помогает! Проклятая птица сидит где-то в саду. «Цак-цак!..» Ружье мне, ружье! Будь у меня ружье, я пальнул бы в окно, даже если бы все соседи перепугались до смерти.

«Цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак!» О, господи боже мой! У меня голова разламывается. Нет, я не выдержу этого! Знал бы я, где он сидит, не поленился бы и одеться и...

«Цак-цак-цак...»

А, уже знаю, что делать!

Я хватаю из шкафа старое пальто, распоров подкладку, вытаскиваю оттуда кусок ваты и затыкаю уши. Теперь трещи себе!

«Цак-цак-цак...» Опять ничего не помогает! Прочь всю вату! Закутываю уши и голову толстым платком.

Все впустую! Пронзительный голос этой птицы проникает и сквозь крепостную стену.

Эта ночь будет ужасной!

Десять часов утра, а я еще только встаю. Голова трещит. Не помню, когда я уснул. Наверное, часа в три утра. Между двумя и тремя я задремал, словно в лихорадке, а соловей все трещал. В Старом Месте соловьи не поют...

У меня, наверное, насморк. Переносица ноет, и в носу зуд. Небо черно, воздух холоден. Бывает такое лето, что июль не теплее ноября. Моросит холодный дождь, падает листва, люди зябнут.

Кондукторша гонит меня в другую комнату, заявив, что будет убирать. Она опять откроет окна настежь, и насморк разыграется еще сильней... нет, это не годится!

Зайду пока к соседу живописцу. Надо нанести этот визит, чтобы его жена не стеснялась меня. Надо быть деликатным с людьми. Он ко мне приходил, надо и мне навестить его. Я знаю, как нужно себя вести.

— Сегодня к ним можно заходить,— замечает кондукторша,— сегодня Августиха шепелявит.

Что за ерунду она несет? Что значит — *сегодня* шепелявит? Если кто-нибудь шепелявит, то всегда, а не по определенным дням.

Я постучал и прислушался. Ни звука. Постучал снова. Опять молчание. Я осторожно взялся за ручку двери, дверь отворилась. Вся семья собралась в первой комнате.

— Прошу прощения,— говорю я.

Никто не обращает на меня внимания. Живописец сидит у мольберта, подперев голову рукой, жена согнулась над стиральной доской, в руке у нее какая-то тряпка. Только Пепик оглянулся на меня, высунул язык и снова отвернулся; он переводит взгляд с отца на мать. Надо делать вид, что я не замечаю выходок Пепика, тогда он сам перестанет озорничать... Меня обнюхивает маленькая черная собачонка. Она не лает, видно, еще слишком молода.

— Прошу прощения,— повторяю я громко.

— А, сосед... извините, я думал, что вошла прислуга. Жена, это пан доктор, что живет напротив. У нас сегодня картофельный суп...— я охотно ел бы его трижды в день,— и мы сейчас обдумываем, заправлять ли его крупой. Садитесь, пожалуйста.

Надо вести себя как можно непринужденнее.

— Спасибо. Мы ведь уже знакомы, хозяина я знаю, сыночка

вашего тоже, да и вас, сударыня, видел мельком. Разрешите представиться, сударыня: доктор прав Крумловский.

Тощая, увядшая блондинка неловко кланяется. Она похожа при этом на деревянную марионетку, согнувшуюся пополам.

На лице ее написано смущение. Я говорю:

— Пан Августа говорил мне, что вы смущены этим случаем с постелью. Хе-хе! Пустяки! Между соседями это ничего не значит!

Она снова словно переламывается пополам.

Меня приглашают сесть и спрашивают, как мне нравится на новой квартире. Я отвечаю, что очень нравится, только вот ночью... И я рассказываю о соловье.

— Ах, вот как, соловей! А я его и не слышал!

— Как же тебе слышать, когда ты был пьян в стельку! — вставляет жена своим резким сопрано.

— Я-то? Немного выпил...

— Это, по-твоему, немного? Поглядите, пан доктор! — И, закатав рукав, она показывает синяки.— У меня было много женихов, все по мне с ума сходили, а я вышла вот за такого... Эх ты!

Воспитание у супруги живописца, примерно как у какой-нибудь лавочницы. Я в замешательстве. Замечаю, что она действительно шепелявит. Вот она принялась обтирать пыль, не обращая на меня ни малейшего внимания.

— М-да, вышел казус, пан доктор,— говорит живописец и старается улыбнуться, но это у него плохо выходит.— Я побывал в шести трактирах и в каждом выпивал всего по рюмке, а после сразу пошел домой. Но с выпивкой мне не везет: я хороший человек, а как выпью, становлюсь совсем другим, и этот другой пьет все больше, а потом делает глупости. Но я-то тут при чем? — И он принужденно усмехается.

— Изредка выпить не вредно, даже полезно,— говорю я.— Лютер указывает...— Но я пугаюсь и не доканчиваю фразы. Мне показалось, что мокрая тряпка вот-вот угодит в меня.— Соловей меня вчера просто измучил,— меняю я тему. Собачка тем временем жует мои брюки. Я подавляю в себе желание пнуть ее ногой, но сидеть мне неудобно.

— Слышали бы вы меня, это здорово, верно, Анна? — Анна молчит.— Я умею пускать трели, как настоящий соловей. Иногда мне откликаются несколько соловьев, и получается настоящий концерт. Вы сами услышите.

Если он когда-нибудь сделает это, я его застрелю!

— Я думал, вы пейзажист, а вы портретист,— говорю я. На мольберте у него холст с какой-то фигурой.

— Приходится писать святых, ради заработка. Напишешь три красные или синие рясы, пририсуешь лицо и руки, и готово. Но и

на этом почти ничего не заработаешь. Собственно говоря, я портретист. Раньше бывало много работы, весь еврейский квартал заказывал у меня, хоть и по дешевке: двадцать гульденов за портрет, во весь рост. Но появился другой художник и отбил у меня клиентов. А, вот идея! Пан доктор, вы могли бы позировать мне для портрета святого Кришпина, я как раз должен рисовать. Вы очень для этого подходите.

Чем я похож на него, ворую я, что ли? Я спешу перевести разговор на другое, например, на Пепика, надо завоевать его симпатию.

— Пепик, поди сюда, ко мне.

— Отстань, дурень! — отвечает мне Пепик.

Пепик получает от отца подзатыльник. Я чувствую, что краснею.

— Да ведь хозяйка сказала сегодня маменьке, что этот доктор какой-то дурень,— хнычет Пепик.— Правда, маменька?

— Замолчи!

Хозяйка сказала, что я дурень!

— Поди сюда, Пепик, поди ко мне,— говорю я каким-то ненатуральным голосом.

Мальчик, хныча, подходит и становится у меня между колен. Как это забавляют детей? Ага!

— Дай ручку. Этот пальчик варит, этот жарит, этот печет, этот приговаривает: «Дай кусочек!» — этот ему в ответ...

Мальчик не смеется.

— Это папа, это мама, это дедка, это баба, это...— Дальше я не знаю. Мальчик молчит как пень.— Постой, Пепик, я тебе задам загадку. Что это такое: я зеленая, но не трава, лысая, но не пол, желтая, но не воск, с хвостом, но не собака... Что это такое?

— Не знаю...

Я хочу сказать ему ответ, но убеждаюсь, что и сам не знаю. Загадку помню, а ответ забыл!

— Ну, скажи еще какую-нибудь глупость,— понукает меня Пепик.

Я встаю, словно не слыша его, и прощаюсь.

— Ну, мне пора заниматься. Вон уже двенадцатый час.

— Нет,— возражает живописец.— Наши часы спешат не меньше, чем на полчаса.

— Не спешат! — отрезает Августиха.— Вчера я щеткой передвинула на них стрелки точно и поставила по башенным часам, когда те били.

Потом они говорят, что очень рады моему визиту, и просят заходить почаще. Мы, мол, наверняка будем добрыми соседями.

Хотел бы я знать, почему меня назвали дурнем.

В коридоре я поздоровался с какой-то женщиной, по-видимому, дочерью домохозяина. Она уже совсем немолода.

— Ну что, шепелявила? — осведомляется кондукторша.

— Шепелявила.

— Значит, у них сейчас есть деньги. Когда они сидят без гроша, она говорит совсем нормально.

Кондукторша, видать, изрядная сплетница.

— Когда вы шли сюда, Провазник высунулся из окна и глядел на вас.

Я смотрю наверх, и мне кажется, что вижу там худое, желтое, как воск, лицо. Больше ничего не видно. Кондукторша снова справляется, не нужно ли мне чего-нибудь. Мое «нет» звучит немного раздраженно. А нельзя ли оставить Каченку в моей комнате, спрашивает затем кондукторша. Ей нужно сбегать в лавку, она тотчас вернется. Если Каченку оставить одну, она расплачется.

— Да ведь я не умею нянчить детей.

— Я только положу ее на постель.

— А если она все-таки заплачет?

— О нет, она не плачет, когда видит кого-нибудь.

— Или если она тут у меня...

— Ну что вы, она не сделает этого, бедняжка!

Хороша бедняжка! Я страшно сердит.

Ставлю себе задачу: морально повлиять на Пепика.

Однажды я читал «Хорошие мысли» Бёрнанда. Намеченная мною задача не имеет с ними ничего общего, я не подражаю Бёрнанду.

Я даже не ожидал, что смогу сегодня погрузиться в занятия. Я доволен, но страшно устал. Пойду спать.

Соловей не поет, наверное, замерз. Слава богу!

Хотел бы я все-таки знать, почему она назвала меня дурнем!

«Итак, прежде всего поздравляю тебя заранее. Полагаю, что ты не откажешься от дружеского совета. Ведь я твой старый приятель и считаю своей братской обязанностью дать тебе хороший совет, коль скоро это в моих силах. Прежде всего — полное хладнокровие на экзаменах! Знания твои будут достаточны, в этом я убежден, но хладнокровие важнее всяких знаний. Земские советники задают вопросы главным образом на сообразительность. Если советник задаст тебе такой вопрос и скажет: «Что вы будете

делать, если к вам как к адвокату обратятся с таким делом?» — а ты станешь в тупик, отвечай конфиденциальным тоном: «Я потребую крупный задаток». Поверь, советнику это...»

Балбес! Терпеть не могу, когда кто-нибудь, желая показаться остроумным, пробавляется старыми анекдотами. Недаром мы еще в школе прозвали его Индра Пустозвон. Таков он и есть! Но я сам виноват: написал ему о моей подготовке к экзаменам и, из вежливости, прибавил: «Если можешь дать мне хороший совет, дружище...»

Ни от кого на свете мне не нужно советов, а тем более от него! И отвечать ему не стану.

Однако я изрядно простужен. Легкий озноб, голова тяжелая, глаза все время слезятся. Удивительно, что, несмотря на это, я еще исправно занимаюсь и даже не потерял аппетита.

За дело!

Ко мне приходил домохозяин. Странный человек! Ему лет шестьдесят. У него впалая грудь и такие покатые плечи, словно он несет в обеих руках ведра с водой. От этого его тщедушная фигурка кажется еще меньше, чем на самом деле. Лицо у него худое, бритое, рот впалый, беззубый, подбородок маленький, нос измазан нюхательным табаком, волосы седые. Его черные глаза лихорадочно горят, худые, морщинистые руки беспокойно хватают воздух, и сам он то и дело вздрагивает всем телом. Говорит он почти шепотом. С ним чувствуешь себя неловко, словно вот-вот что-то должно случиться.

Он сказал, что зашел узнать, сообщил ли я в полицию о перемене моего местожительства. Конечно, я забыл. Он попросил меня сделать это. Потом сказал, что слыхал от живописца об игре в шестерку и с удовольствием примет участие. Я поклонился. Заметив, что я простужен, он сказал: «Многие люди, пока они здоровы, не думают о том, какое благо — здоровье». На это не особенно оригинальное замечание я с вежливой улыбкой откликнулся коротким: «О да!» Пауза. Я выражаю надежду, что он всегда здоров. Он отвечает, что не очень, вечно у него горло не в порядке, надо беречься. Он кашляет и, сплюнув, попадает мне на ботинок. Я рад, что он не заметил этого, начались бы глупые извинения. Прячу ноги под стул.

Он справляется, есть ли у меня музыкальные способности. У меня их нет, еще мальчишкой я брал уроки игры на рояле, но ничему не выучился. Однако я, улыбнувшись, отвечаю безапелляционным тоном: «Ну, я думаю, нет ни одного немузыкального чеха!»

— Вот это хорошо, очень хорошо! Мы сможем играть в четыре руки. Я на лето всегда ставлю в сад пианино, оно старое, но хорошее. Мы сможем там музицировать. Вот это отлично!

Я чувствую, что надо идти на попятный.

— Пианино? Нет, на пианино я не играю... Я на скрипке.

— И хорошая у вас скрипка? — Он оглядывает стены.

Я продолжаю отступать.

— Я очень давно не играл... знаете, нет времени... дела... м-да...

— Жаль! — замечает он и встает, говоря, что не хочет больше мешать мне. Он, мол, не из тех домовладельцев, которые не считаются с интересами жильцов... Нет, его беспокоит еще одна мысль: не думаю ли я, что Бисмарк тайно интригует в Испании?

Домохозяин останавливается около меня и делает серьезную мину.

Я отвечаю, что пути дипломатов неисповедимы.

— Да,— соглашается он,— бревно не переломишь, как спичку.— И добавляет, наступив на мою правую ногу: — Я всегда говорю: короли вечно недовольны тем, что имеют.

Я не возражаю и лишь учтиво улыбаюсь. Он откланивается. Наивное объяснение, но, собственно, правильное. У этих людей есть мудрость, выраженная в поговорках. Нельзя недооценивать всех этих поговорок, отражающих взгляды отдельного человека. Хорошо бы составить сборничек «Индивидуальные поговорки».

В общем, я доволен сегодняшним днем и иду спать.

Соловей поет, но где-то вдалеке. Пусть себе поет там. Но если живописец начнет подманывать соловьев, я устрою скандал, то есть, собственно, вежливый скандал, чтобы только показать, что не намерен все сносить безропотно. Надеюсь, однако, что сейчас живописец спешит домой... Переходя из одного трактира в другой. Ведь вчера его жена шепелявила.

Мне кажется, что сегодня кондукторша уже не так часто спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь. С течением времени все войдет в норму. А может быть, я и ошибся, ведь я был так погружен в занятия.

Насморк и занятия. Целиком захваченный ими, я не замечаю ничего на свете. Впрочем, я отметил, что кондукторша и впрямь теперь много реже осведомляется о моих нуждах. Сегодня она сказала, что я, в общем, хороший человек и господь бог меня наградит. Дело в том, что у нее в кухне была какая-то женщина, вдова

сапожника с двумя детьми, и сетовала на нужду. Я дал ей гульден. Но не станет же господь бог награждать меня за каждый гульден!

Кошка ко мне не входит, даже когда двери раскрыты настежь. Она только подходит к дверям и мяукает. Явно, она мне не доверяет.

Вспоминаю, что я до сих пор не видел кондуктора. Был ли он за это время дома?

В кофе появился цикорий! Да, да, я не ошибся, цикорий. Ужасно! Это *недобрый признак!*

Я поспешно заканчиваю гражданское право таким темпом, как рысак, приближающийся к финишу.

Кофе опять с цикорием, и его даже больше, чем вчера. А кондукторша уже ни разу не осведомлялась, не нужно ли мне чего. По крайней мере, я оставлен в покое... Вчера она привела ко мне многодетную вдову сапожника. Поскольку, мол, я человек на редкость доброй души и так далее... Еще один гульден.

Пепика нещадно отодрали, и его рев был слышен во всем доме. Я спросил у кондукторши, в чем его провинность. Собственно говоря, ни в чем: Пепик купил себе орехов, а отец их съел. («Никто не поверит, какой сладкоежка этот мужик!») Пепик отстаивал свои права, а отец его вздул. Мне жаль Пепика. «Вот еще, чего его жалеть, этакий скверный мальчишка!» На пасхе он, мол, крал в храме монеты с тарелки.

— Да, на Пепика *необходимо* морально воздействовать! Я займусь им, как только у меня будет время. Жалко этого красивого мальчика, отец у него странный человек, не умеет правильно воспитывать ребенка.

Джордж Вашингтон тоже неважно вел себя в детстве, но у него был мудрый отец. Богу следовало наделить детей уменьем быстро распознавать, подобен ли их отец отцу Джорджа Вашингтона, и, в противном случае, долго не канителиться с этим отцом, а приискать себе другого. (Отсюда вывод и для Марка Твена, который, подражая Дж. В — ну, намеревался воспитать своего отца.)

Ко мне на минутку заходил живописец. Спрашивает, не хочу ли я позировать ему для портрета святого Кришпина. Я сказал, что мне теперь нужно заниматься. Начинаю разговаривать с людьми более решительно.

С гражданским правом *покончено!* Завтра возьмусь за вексельное. А сегодня отосплюсь!

Наверно, то же чувствовал пушкинский теленок, воскликнувший: «О я, осел!» Это был ужасный момент. Считая, что изучил гражданское право, я утром задал себе какой-то вопрос из него и *ничегошеньки* не мог ответить!

— О, господи! — невольно вскричал я, хватаясь за голову и чувствуя, что бледнею.

Вбежала кондукторша.

— Что с вами?

— Я ничего не знаю! — глупо восклицаю я.

— Так я и думала! — отвечает она и с громким смехом выбегает в кухню. Страшно бесцеремонная женщина!

Однако я уже успокоился. По старому опыту я знаю, что так бывает всегда: знания должны немного отстояться в голове.

Не намекала ли она сейчас на тот свой отзыв обо мне: «Он дурень»? Тогда это уже не простодушие, а настоящая наглость!

Еще две вдовы сапожника... Собственно, одна из них вдова портного! Видимо, кондукторша намерена привести ко мне всех вдов, что проливают слезы на левом берегу Влтавы.

Перемена! Совершенно неожиданная для меня коренная перемена в природе и в обществе!

Во-первых, настали теплые, бодрящие, веселые дни, и мой насморк как рукой сняло. Во-вторых, пресытившись хозяйкиным цикорием, я напился кофе, который сам сварил себе на спиртовке. Так и буду делать. Есть у меня еще одно нововведение: кондукторша возьмет мне сегодня на дом только обед, а ужинать я спущусь в трактир. Мне не нужны одолжения, а услужливость кондукторши совершенно исчезла. Так будет лучше. Нельзя же вечно сидеть дома, совсем одуреешь, и занятия пойдут хуже. Буду заниматься определенное количество часов в день, пока хватает прилежания и сил, а потом пойду немного развлечься. Ведь развлечение в кругу этих спокойных людей не выбьет меня из колеи. И в наш садик буду ходить каждый день, хотя бы ненадолго. Соседи по дому гуляют там вот уже третий день. А что, если рано вставать по утрам и ходить туда заниматься? Это очень приятно, и все, что учишь, отлично усваивается, я помню это еще по гимназическим годам.

Итак, решение: ежедневно вставать рано, *очень рано*.

Только что я выставил еще одну вдову сапожника...

Этот трактир мне понравился... Посещение его не слишком выводит из равновесия, и все же там можно хорошо поразвлечься,— как раз то, что мне сейчас нужно. Не надо лезть из кожи вон, чтобы быть остроумным, можно только наблюдать и прислушиваться. Люди здесь простые, у каждого свой характер, врожденный ум, неожиданное остроумие и нетребовательность к чужим остротам. Всему они смеются от души. Для того чтобы веселиться с ними, а наряду с этим получать от их общества более возвышенное удовольствие, надо быть психологом, понимать человеческие характеры. Во мне есть эта жилка.

Уютное, чистое помещение, не особенно светлое. В середине бильярд, а вдоль стен маленькие столики. Впереди несколько столов побольше, четыре из них заняты. Судя по моим наблюдениям в течение целого вечера, тут собирается постоянная компания, видимо, уже несколько лет. Я заметил это сразу же, как вошел: говор разом смолк, и все взоры обратились на меня.

Я поздоровался со всеми. Под ногами у меня шуршал белый, недавно насыпанный песок. Я присел к столику, где уже сидел человек, молча кивнувший в ответ на мое приветствие. Тотчас же ко мне подошел маленький, приземистый трактирщик.

— А, пан доктор! Очень рады, что вы пришли к нам. Довольны ли вы обедами и ужинами?

Я сказал, что вполне доволен. Собственно, я мог высказать и кое-какие упреки, но надо приобретать расположение людей, хотя бы и ценой маленькой лжи.

— Ну, ну, очень рад. Мне ничего на свете не нужно, были бы мои клиенты довольны. Вы уже, конечно, знакомы? — Я смотрю на незнакомого мне человека, на лице которого застыло мрачное выражение.— Ах, еще нет? Да ведь вы соседи, он живет выше этажом. Пан доктор Крумловский. Портной пан Семпр.

— Ах, вот оно что! — говорю я и протягиваю портному руку. Он слегка поднимает голову, переводит взгляд на другой участок стола и подает мне руку с такой же ловкостью, как слон ногу. Странный человек!

Около меня появился кельнер, готовый принять заказ. Люблю мужскую прислугу в трактирах: у кельнерши всегда найдется хотя бы один поклонник, с которым она вечно шушукается по углам, так что ее не дозовешься.

Когда я ем, я глух и нем. Поужинав, я закуриваю сигару, оглядываюсь и начинаю внимательно наблюдать за всеми окружающими. За столом напротив — мужская компания ведет оживленный разговор. За следующим столом сидят двое молодых людей. За столиком налево господин, дама, две барышни и оберлейтенант, не слишком молодой и довольно толстый. За всеми сто-

лами слышен громкий смех, особенно за столом налево. Младшая из девиц смотрит! У папаши голова очень странной формы, какая-то угловатая, и седые волосы собраны наверху в пучок. Она похожа на четырехгранную бутыль с пивом, из горлышка которой выбивается пена. Головы дочерей тоже похожи на бутылки, но круглые.

Только за моим столиком тихо.

— Как идут дела, пан Семпр? — начинаю я.

Портной слегка ежится, потом произносит:

— Ничего, так себе.

Видно, он не из разговорчивых.

— Много у вас подмастерьев?

— Дома только двое... да еще даю работу на сторону.

Смотри-ка, сколько слов разом!

— Вы, конечно, семейный, пан Семпр?

— Нет.

— А-а, холостяк?

— Нет.— Он долго и с трудом собирается, потом добавляет:— Вдовец... уже три года.

— Наверное, вам скучно без жены и без детей?

Он опять долго раскачивается и наконец говорит:

— У меня девочка... семи лет.

— Надо бы вам снова жениться.

— Надо.

К нашему столику подсаживается трактирщик.

— Очень мило,— говорю я,— что хозяин почтил нас своим обществом.

— Это моя обязанность,— отвечает он.— Торговля этого требует. Трактирщик должен подходить к столикам, гостям это нравится, они считают это большой честью.

Я хочу улыбнуться, приняв это за шутку, но вижу, что в его глазах нет никакого оживления. Сказал он это всерьез? Кажется, он глуп. Но какие у него глаза! В жизни не видел глаз такого светло-зеленого цвета. Лицо красное, волосы рыжие, так что их почти не отличишь от кожи. Стоит взглянуть немного косо, и контуры его головы расплываются.

— Хороша погодка,— говорю я, чтобы поддержать разговор.

— Э, что толку в хорошей погоде! Люди идут гулять, а трактиры пустуют. Я сегодня утром тоже вышел на улицу, но скоро вернулся. Солнце печет в спину, значит, быть грозе. Однако сегодня ее не было.

— Ну,— говорю я,— пешеходу в городе не страшна ни гроза, ни дождь. На это есть зонтик.

— У меня не было с собой зонтика.

— Ну, так надо было поспешить домой.

— Если спешить, то какая же это прогулка?

— Недолгий летний дождь можно переждать где-нибудь в подворотне.

— Стоять в подворотне — это тоже не прогулка.

Какой он нудный!

Трактирщик зевает.

— Что, устали?

— Вчера рано лег спать, а когда я рано ложусь, у меня на другой день всегда зевота.

— Наверное, вчера не было гостей?

— Были. Долго тут сидели. Но вчера было плохое пиво, мне не по вкусу, так чего ради торчать тут?

Оригинальный тип.

За столом налево обер-лейтенант вошел в раж.

— Говорю вам, из тысячи человек и один не знает, сколько есть видов сивых лошадей. *Семнадцать*, вот что! Самый лучший — это атласный. Великолепный конь! Глаза и губы светло-розовые, копыта светло-желтые...

Входит новый гость. Судя по тому, что разговоры умолкли и все взгляды обратились на него, это случайный посетитель. Он проходит к заднему столику и садится там. Разговоры продолжаются. Обер-лейтенант объясняет, что сивые лошади родятся черными. Младшая из девиц все время посматривает на меня, словно я — та самая лошадь...

Я допил свое пиво. Трактирщик и ухом не ведет. Кельнер Игнац тоже. Я стучу, и Игнац несется ко мне как сумасшедший. Он интересует меня, и я все время наблюдаю за ним. Ему лет сорок, в ушах — серебряные серьги, правое ухо заткнуто ватой. Он чуточку похож на Наполеона, но страшно глупого. Иногда он на некоторое время прикрывает глаза, и кажется, что он о чем-то серьезно думает, но я ручаюсь, что он на самом деле не думает ни о чем. Он останавливается то здесь, то там и стоит в размышлении. Когда кто-нибудь из гостей постучит, он вздрагивает и опрометью несется на зов.

За столиком напротив идет разговор о польском языке. Собеседники все время честят друг друга на чем свет стоит. Только и слышно «ты балда», «а ты осел» и еще какие-то эпитеты из мира животных. Странная манера беседовать! Один из спорщиков уверяет, что, кто знает немецкий и чешский, тот знает и польский, ибо это смесь обоих языков. Например: «Что фрагует [1] пан?»

Входит еще гость, коренастый, как пень. Видимо, это завсегдатай. Он усмехается и садится к нашему столику.

---

[1] От нем. fragen — спрашивать.

— Еще один ваш сосед,— говорит трактирщик, подходя к нам.— Пан доктор Крумловский. Пан Кликеш, обувщик.

Кликеш подает мне руку.

— Вы красивый парень,— говорит он.— По вас должны девушки с ума сходить, пан доктор!

Я смущен и слегка краснею. Мне хотелось бы держаться непринужденно и с улыбкой оглядеться по сторонам, посмотреть на ту младшую девицу, но у меня ничего не получается.

— Да уж покрасивее тебя,— смеется трактирщик.— Твое лицо с оспинами похоже на терку.

— Черт побери! — восклицает Кликеш и шаркает ногой по полу, посыпанному песком.— Никак, у тебя пол вымыт?! Видно, пришел приказ из магистрата! — Он смеется.— Да, пан доктор, без этого он не вымоет. А раз в год за ним приходят сюда двое полицейских и ведут его в баню. Иногда он так упирается, что присылают троих.

Общий громкий смех. Кликеш, очевидно, здешний присяжный шутник. Он остроумен, я не мог удержаться от смеха. Но на его грубом, бугристом лице нет злобы, глаза у него умные и простодушные.

— Он правильно делает, что бережет деньги,— продолжает Кликеш.— Денег ему надо много, я даже не поспеваю столько пропивать.— И он осушает кружку до дна.— А теперь я хотел бы поужинать.

Он оживленно жестикулирует, руки его все время в воздухе, и от этого он похож на перевернутый пень с торчащими кверху корнями.

Двое молодых людей, сидевшие особняком, заказывают бильярд и поднимаются с мест. Пока они сидели, они казались одинакового роста. Теперь видно, что один коротышка, а другой верзила. Есть у меня один такой знакомый: пока он сидит в трактире за столом, никто не обращает на него внимания, а когда начнет вставать, это продолжается так долго, что все присутствующие разражаются хохотом. От этого он чувствует себя глубоко несчастным.

— И выбрать-то нечего,— ворчит Кликеш, глядя в меню.— Гуляш... Перец... Мясные крошки в томате. Это, наверное, крошки из твоего кармана, а, хозяин?

— Помалкивай!

— Вот если бы был отварной цыпленок!

— Как же! Варить его для одного тебя!

— Да разве это так трудно? Возьмите вареное яйцо и дайте его курице высидеть. Ха-ха-ха!

— Эй, Кликеш, у тебя волосы сбились на лоб!

Это насмешка, ибо Кликеш лыс, как отец церкви Квинтус Септимус Флоренс Тертуллианус.

— Тише! Карлуша ловит блоху! — раздается возглас за столом напротив. Все замолкают, оборачиваются в ту сторону и напряженно смотрят. Тот, кого зовут Карлуша, засунул руку под рубашку на груди и ухмыляется со спокойным самодовольством. Вот он вынул руку, помял что-то меж пальцев и положил на стол. Смех, рукоплескания, женщины фыркают в носовые платки.

— Он ни одной блохи не упустит! — информирует меня Кликеш.

— Ни одной? — вежливо удивляюсь я.

— Ни одной!.. Слушай, Игнац, а где же мой ужин? И принеси мне мою кружку с пивом, я ведь не допил ее. У меня кружка всегда не допита,— добавляет он, обращаясь ко мне. Очевидно, это тоже шутка.

— Вы шутник,— говорю я со смехом.

Из кухни приходит Игнац с совершенно идиотским видом.

— Извиняюсь, пан Кликеш, что вы изволили заказать на ужин?

— Он забыл! Это черт знает что! Ничего подобного не бывает ни в одном трактире на свете! Я...— Но Кликеш и сам забыл, и оба они не знают, что было заказано.

Слышен голос мамаши двух барышень:

— Если у вас две дочери старше двадцати лет, ни за что не следует одевать их одинаково, потому что тогда они не выйдут замуж.

Это сказано нарочно, чтобы слушатели поняли, что ни одной из ее двух одинаково одетых дочерей еще не стукнуло двадцати. Но я не верю.

— Поглядывайте, пан доктор, чтобы вам не приписали лишнего к счету,— говорит Кликеш, поглощая гуляш.— Когда наш трактирщик служил в солдатах, он потихоньку стирал у кельнеров с подноса пометки о выпитых им кружках, а теперь он, так же тайком, приписывает их своим гостям... видно, чтобы создать равновесие.

Я, конечно, смеюсь и пытаюсь снова завязать разговор с Сампром, но извлекаю из него только сообщение, что перед обедом он всегда ходит в винный погребок.

Игнац словно пришит к бильярду. Он с увлечением следит за игрой и, видимо, желает успеха меньшему из игроков. Иногда он подпрыгивает. Сейчас он даже скачет на одной ноге.

Кликеш поужинал. Он набил трубку и зажигает ее. Его освещенное вспышкой огня лицо похоже на старую наковальню. Затянувшись, он с довольным видом оглядывает присутствующих. Его

взгляд задерживается на неизвестном, который сидит около бильярда.

— Это, видать, сапожник,— с усмешкой говорит он про себя. Потом громогласно кричит человеку: — Эй, гад!

Человек вздрагивает, но не смотрит в его сторону.

— Сапожник! — снова кричит Кликеш.

Рассерженный человек медленно поворачивается лицом к Кликешу.

— Видать, какой-то трактирный забулдыга. Нализался...— неторопливо говорит он и сплевывает.

— Что?! На меня плевать! — вдруг свирепеет Кликеш.— На меня, пражского мещанина!

И он порывается встать. Трактирщик сажает его на стул и подходит к незнакомцу. Кликеш молотит кулаками по столу, крича, что его никто никогда не видел нализавшимся, а если он иногда, из-за больших огорчений, слегка выпивает, то до этого никому нет дела. Трактирщик тем временем выводит чужого гостя через кухню на улицу; тот охотно последовал этому приглашению. Кликеш продолжает ругаться. С улицы вдруг слышатся брань и шум. Через минуту входит трактирщик.

— На улице он разозлился и снова захотел сюда,— говорит он.— Но я его спровадил. Пихнул его так, что он полетел, как куль.

Вскоре снова восстанавливается прежняя оживленная атмосфера. За столиком напротив вдруг слышны рукоплескания. «Браво! Браво! Лефлер будет жужжать!.. Давай начинай, Лефлер!» Все хлопают в ладоши. Кликеш спрашивает меня, видел ли я, как изображают муху. Я говорю, что не видел. Он сообщает мне, что это страшная потеха, я, мол, лопну от хохота. Я видел это тысячи раз, в Праге едва ли найдется трактир, где кто-нибудь из гостей не умел бы жужжать, как муха. Я это представление терпеть не могу.

Лефлер, который сидит ко мне спиной, упрямится: в трактире, мол, слишком шумно. Раздаются возгласы: «Тише! Ш-ш-ш-ш!» Воцаряется тишина, и Лефлер начинает жужжать. Сперва он изображает, как муха летит по комнате, потом — как она бьется в окно, и, наконец, «сажает» свою муху в стакан, где она бьется и жужжит. Аплодисменты. Я тоже хлопаю. Взоры гостей обращаются на меня — как мне понравилось.

— Чертовский парень! — говорит Кликеш.— Никому за ним не угнаться! Мы иногда прямо лопаемся от смеха.

И он пьет кружку за кружкой, видимо, еще возбужденный инцидентом с незнакомцем. Иногда он похлопывает себя по животу и говорит, словно извиняясь:

— Все еще на десять дюймов ниже ординара! Ха-ха!

От бильярда вдруг раздается возглас Игнаца:

— Вы по-дурацки играете!

Все взоры устремляются туда. Бедняга Игнац! Малорослый игрок, сторону которого он держал, не оправдал его надежд, и Игнац не смог удержаться от выражения недовольства.

Все возмущены. Игрок швыряет кий на бильярд. Обер-лейтенант восклицает:

— Это уж слишком! Гнать его!

Трактирщик разгневан и кричит, что выгонит Игнаца завтра утром, как только будет подсчитана выручка. Кликеш смеется ему в глаза и говорит:

— В который раз ты его выгоняешь?

Волнение снова утихает. Входит коробейник — худая, немытая и небритая личность в заношенной одежде. Он ничего не говорит, только ставит свой короб на стол и предлагает гостям гребни, портмоне, мундштуки. Все отрицательно качают головами. Коробейник обходит все столы, закрывает короб, перекидывает его через плечо и уходит.

Снова рукоплескания и возгласы: «Ш-ш-ш! Тихо!» Лефлер теперь изображает, как шипит на сковороде поджариваемая колбаса. Рукоплескания и смех. Только удрученный Игнац стоит в стороне и с опаской поглядывает по сторонам.

Затем Лефлер изображает поющего тирольца. Противно, но я хлопаю. Тем временем обер-лейтенант громко разглагольствует за столом и говорит такие вещи, что, будь я папашей этих девиц, я бы выставил его в два счета. Снисходительность отца объясняется, вероятно, тем, что обер-лейтенант их старый знакомый... но в таком случае надо было выставить его уже давно.

Я прощаюсь и ухожу. В общем, я неплохо поразвлекся. Надо относиться трезво к этим простым людям.

Вставал я поздно. Когда я вечером бываю в трактире, то на следующее утро долго сплю... Собственно говоря, я всегда встаю довольно поздно. А ведь есть охотники вставать рано. Не беда, хорошо выспавшись, я буду хорошо заниматься.

Чудесный день! Я не удержался от искушения заниматься при открытых окнах. Разумеется, ко мне проникают все звуки в доме, но я замечаю, что они не очень мешают мне,— вроде отдаленного шума воды на плотине. Это даже приятная перемена по сравнению с утомительным однообразием наглухо закрытой комнаты. В мастерской портного Семпра, выше этажом, кто-то поет,

наверное, подмастерье. Поет он плохо и неумело. Смешная песенка:

А все по той причине,
Что был он невоспитан...

Ко мне пролез Пепик. Не следует приучать его к этому, надо деликатно дать ему это понять.

— Поди сюда, Пепик! Ты умеешь петь?

— А как же!

— Так спой мне что-нибудь хорошенькое.

Мальчик начинает песенку «Был у меня голубок», но, спутавшись, поет вместо «дубок» — «зубок». Ему, впрочем, все равно. Что знают эти пражские дети о дубах!

— Ну, хорошо, а теперь иди. Мне нужно быть все время одному, тебе сюда нельзя ходить.

Пепик уходит. Он мне нравится.

Я изучаю уложение о векселях вперемежку с торговым правом.

Из квартиры живописца слышен страшный шум. Идет расправа с Пепиком. Я подхожу, чтобы закрыть окно, живописец замечает меня и кричит через двор:

— Каков проклятый мальчишка! Нет от него покоя!

— А что он натворил?!

— Сожрал, мерзавец, письмо от моего брата-священника, и теперь я не знаю, что отвечать!

Я закрываю окно, так как, кроме этого шума, подмастерье надо мной все еще не кончил своей песни о том, что «был он невоспитан...».

Я обедал внизу, вместе с Семпром и трактирщиком, и наблюдал Игнаца. Забавное зрелище! Он и хозяин некоторое время разбирали за боковым столиком вчерашние счета. Игнац искоса и с крайним испугом поглядывал на хозяина, очевидно, каждую минуту ожидая обещанного увольнения. Но взъерошенная голова трактирщика качается, и глаза лениво щурятся,— он, видимо, начисто забыл все, что было вчера. Закончив подсчеты, Игнац отскакивает от него.

Трактирщик подсаживается к нам.

— Вкусный суп,— говорю я.

— А как же! — отзывается трактирщик.

— А какой гарнир мне взять к мясу, а, Игнац?

— Какой пожелаете.

— Дайте мне немного свеклы.

— Свеклы нет.

— Да ведь она стоит в меню.

Игнац молчит. Трактирщик хохочет, хватаясь за бока, наконец говорит:

— Сейчас я сам принесу, пан доктор. Он не может... Ха-ха, не может...

Я гляжу на него с удивлением.

— Он, как увидит свеклу, так валится в обморок. Она ему напоминает запекшуюся человеческую кровь.

Приятного аппетита!

Обед не оживлен разговором. Трактирщик как собеседник ничего не стоит.

— Что сегодня в газетах? — спрашиваю я.

— А я их не читаю. Я захожу напротив к лавочнику и у него узнаю, что нового.

Заметив, что все стены трактира внизу словно избиты ногами, я осведомляюсь о причине этого.

— Здесь до меня был танцевальный зал, исцарапали во время танцев.

— А вы давно здесь?

— Я-то? Двенадцатый год.

Семпр вообще почти ничего не говорит, ограничиваясь междометиями «э-э!» и «м-м-м!».

Вечером я спустился в садик. Там собралась половина обитателей дома. Теперь я знаю уже всех, кроме своего кондуктора и молодой пары во втором этаже. При мысли обо всех этих соседях у меня голова идет кругом. Провазник, что живет над живописцем, для меня совершенно непостижим. Я несколько раз видел его у окна, и мне показалось, что у него узкое, как лапша, желтое лицо. Теперь я знаю, в чем дело. Его лицо обрамлено короткой черной бородкой, выбритой у рта и на подбородке, поэтому издалека оно кажется таким узким. Голова у него почти вся седая, и ходит он, сильно сутулясь. Ему лет пятьдесят.

Поднявшись по ступенькам со двора в садик, я увидел Провазника, который гулял в глубине сада по дорожке; в правом углу, в беседке, сидела целая компания — домохозяин, его дочь, живописец с женой и Пепиком. Домовладелец, словно не узнавая, воззрился на меня своими черными лихорадочными глазами.

— Папаша, ведь это пан доктор Крумловский,— раздался приятный альт его дочери.

— Ах да, пан доктор... я совсем забыл.— И он подал мне худую горячую руку.

— С вашего разрешения, я тоже подышу здесь воздухом.

— Пожалуйста! — Он закашлялся и плюнул мне на ботинок. Мы сели. Я не знал, о чем говорить. Наступившее молчание не беспокоило остальных, но для меня оно было мучительно. Наверное, они ждут, чтобы я показал себя интересным собеседником.

Я вижу, что единственное спасение — это Пепик.

— Поди сюда, Пепик, как поживаешь?

Пепик прижимается ко мне и опирается локтем о мое колено.

— Расскажи еще что-нибудь,— просит он.

— Рассказать? Ишь хитрец, не забыл, что я ему на днях кое-что рассказывал.

— Расскажи сказку.

— Сказку? Я не знаю сказок... Впрочем, погоди, я расскажу одну.— И я начинаю серьезным тоном.— Жил однажды король. Ладно. Был он бездетным. Ладно. Вот однажды вздумалось его старшему сыну попутешествовать...

Общий смех.

— Шутник вы, доктор! — говорит живописец, утирая две крупные слезы, выступившие на его водянистых, блеклых глазах. Живописец, очевидно, неглуп, и его признание мне льстит. Приятно считаться остроумным.

— Однако продолжайте. Эта сказка годится и для больших детей,— просит живописец.

Я снова в тупике. У сказки нет продолжения, вся ее соль уже преподнесена слушателям, но мои добрые соседи не поняли этого. Я пытаюсь импровизировать, авось дело пойдет. Говорю, говорю... но сказка не ладится, и я чувствую, что порю чушь. Компания перестает слушать, начинает разговаривать, чему я очень рад. Только Пепик слушает, а я глажу его по голове. Но надо же как-нибудь закончить сказку, а я уже начинаю запинаться. Вдруг мне приходит счастливая мысль. Я беру Пепика за руку и, словно только что заметив, говорю:

— Пепичек, смотри-ка, какие у тебя грязные руки.

Мальчик смотрит на свои руки.

— Нагнись, я тебе что-то скажу,— говорит он и шепчет мне на ухо: — Дай два крейцера, тогда вымою!

Я потихоньку вынимаю два крейцера и сую ему. Мальчик убегает в сад, где как раз появилась семилетняя дочка Семпра.

Я гляжу на дочь домохозяина, сидящую рядом со мной. Как она похожа на отца! Худое лицо, тонкие прозрачные руки, маленький подбородок, маленький носик, такой маленький, что, наверное,

она даже не может ухватиться за него. Но этот носик не портит ее, личико у нее симпатичное, глаза черные; и голос звучит приятно. Я очень люблю черные глаза, женщины с голубыми глазами кажутся мне словно слепыми.

— Вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте, пан доктор...

— ...Крумловский,— подсказывает дочь.

— Да, да, Отилия, я знаю. Пан доктор Крумловский.

— Мы уже говорили об этом, когда вы изволили навестить меня. Когда-то я играл на скрипке, но страшно давно.

Скрипку я даже держать не умею... но, слава богу, домовладелец не слушает меня. Его дочь наклоняется ко мне и грустно шепчет:

— Бедный папаша во второй половине дня всегда теряет память.

Тем временем папаша, поднявшись с места, говорит каким-то внезапно охрипшим голосом:

— Пойдем, Отилия, я хочу немного пройтись... А вы, пан доктор... пожалуйста, прочтите эту записку.— Он подает мне длинную белую бумажку, на которой написано: «Прошу извинить, что сегодня, из-за болезни горла, я говорю слишком тихо».

В этот момент к нам подходит Провазник. Он улыбается мне, но как-то иронически, и подает руку.

— Привет, пан доктор Кратохвил!

— Меня зовут Крумловский.

— Странно... Я думал, что всех докторов зовут Кратохвилами. Ха-ха-ха!

Смех у него сиплый и резкий. Я внимательно рассматриваю его.

— О чем вы тут беседовали! — продолжает он.— Как поживаете, пан Августа?

— Так себе. Почти нет работы.

— Ах, вот оно что! Однако ж, как ни встретишь вас на лестнице, всегда вы идете с новой картиной под мышкой. Вы, наверное, играючи пишете в день две картины.

Живописец самодовольно усмехается.

— Что верно, то верно. Пусть-ка попробует так работать кто-нибудь из этих «профессоров»...

— Вы могли бы рисовать портреты впрок, ха-ха-ха! Кстати говоря, портретист — это самая ненужная профессия в мире. Если бы на земле не было ни одного портретиста, физиономий все равно хватало бы, да еще каких странных... Почему вы не пишете в другом жанре?

Я бы с удовольствием посмеялся, сатира Провазника попадает в цель, но я знаю, что живописец растерян,— зачем мучить беднягу?

— Сперва я занимался историческими сюжетами,— пробормотал живописец.— Но это не давало дохода. Публика не понимает истории. Один священник как-то заказал мне картину «Проповедь капуцина в лагере Валленштейна», и я написал ее отлично, должен вам сказать. Но когда она была готова, священник не взял ее. Он, видите ли, хотел, чтобы на картине не было капуцина. Но какая же может быть проповедь капуцина без капуцина?! Известное дело, священник!.. Потом ратуша в Куцкове заказала мне портрет Жижки. Хлебнул я с ними горя! Послал им эскиз, так им не понравились сапоги. Велели мне справиться у пана Палацкого, соответствуют ли они той эпохе. Ну, что ж, Палацкий дал вполне положительный отзыв. Но в Куцкове был свой знаток по фамилии Малина, и он решил, что мой Жижка противоречит историческим данным. Долго я с ними тягался, и они мне написали, что ославят меня в газетах. Опасное дело — исторический жанр.

— Тогда займитесь жанровой живописью. Нарисуйте, например, как мастер чинит флейту пьяного флейтиста. Или сценку: «Мышь в женской школе». Мышь можно даже не рисовать, а только учениц, которые вместе с учительницей взобрались на парты. Вот где будет разнообразие испуганных лиц!

— Гм... Жанры я тоже писал. Одно полотно было у меня на выставке. Очень недурное. Тогда еще все подписи были по-немецки, и моя картинка называлась «Haeusliche arzenci» [1] — муж лежит в постели, а жена подходит к нему с горячей клизмой.

— Фу, что за сюжет!

— А чем он плох? Клизму даже не видно, жена обернула ее полотенцем, чтобы она не остыла.

Я охотно помог бы живописцу выбраться из затруднительного положения, но не знаю, как это сделать.

— Какой у нас сегодня день? — ни к селу ни к городу спрашиваю я Провазника.

— Вам стоит только взглянуть на воротничок нашего домохозяина, чтобы узнать это, пан доктор Кратохвил,— ухмыляется Провазник.— Он меняет воротнички раз в неделю, и, судя по его воротничку, сегодня четверг.

Несносный человек!

— Бедняга домохозяин! — говорю я.— Какое несчастье каждый день терять к вечеру память!

---

[1] «Домашнее лечение» *(искаж. нем.)*.

— Наверное, он раньше торговал соломенными шляпами. Продавцы этих шляп в конце концов совершенно дуреют под действием серы, которой обрабатывается соломенная плетенка.

— Но он, видимо, добрый и достойный человек.

— Достойный, но глупый, с совсем узким горизонтом. Я знаю его уже двадцать с лишним лет.

— Дочь хорошо ухаживает за ним, беднягой. Симпатичная особа, хотя уже не молода.

— Это все от женского любопытства: появилась на свет на двадцать лет раньше, чем нужно, и теперь сама расстроена этим. Откровенная девица: уже не раз ругала меня.

Мне становится неловко от развязности Провазника.

— Пойдем поговорим немного с домохозяином,— говорю я.

— Пойдем! — Охотно соглашается живописец и несколько раз хлопает Провазника по спине. Тот при каждом ударе испуганно вздрагивает и быстро встает.

Оба собираются выйти из беседки. Это нарушает глубокое раздумье жены живописца, стоявшей, опираясь о косяк:

— Знаешь что, муженек,— говорит она,— на ужин я сделаю яичницу.

— Хорошо,— на ходу говорит живописец.

После его ухода жена пользуется случаем, чтобы, шепелявя, сообщить мне, что у нее было много женихов и все мужчины по ней с ума сходили. Желая польстить ей, я говорю, что это еще и сейчас заметно.

— Что еще и сейчас заметно? — не понимает она.

Я не знаю, как объяснить ей, и наконец говорю, что видны следы былой красоты. Августиха сердито воротит нос: она, мол, и сейчас не так уж стара. Когда она приоденется, то... «Тут на днях один шел за мной и сказал: «Какая ядреная!» Ну, а на лицо могут и не смотреть». Все это она отбарабанивает скороговоркой, как мельница. Я что-то бормочу в ответ, но она уже исчезла.

Я выхожу в садик, где гуляют другие жильцы. Домохозяин улыбается мне, давая понять, что узнал меня, и подает мне еще одну записочку с предупреждением о больном горле. Идет разговор о сахарных заводах. Я хочу восстановить свое реноме остроумца и спрашиваю:

— Вы, барышня, знаете толк в сахарных заводах?

— О нет!

— Но в сахарных конфетах наверняка?

И я громко смеюсь, зная, что неподдельный смех заражает людей. Но мой смех никого не заразил. Видимо, каламбур не был понят.

Домохозяин спрашивает, играю ли я на каком-нибудь музыкальном инструменте, и при этом наступает мне на ногу.

— Нет,— сердито говорю я, но мне тотчас становится жалко его, и я добавляю: — Вы, наверное, часто ходите в оперу?

— Совсем не хожу. Это не для меня. Я правым ухом слышу на полтона выше, чем левым, куда уж мне в оперу.

Странный человек! Ежедневно теряет память и слышит одним ухом на полтона выше, чем другим!

— Я охотнее сам сижу дома за пианино и работаю,— продолжает он.

— Сочиняете музыку?

— Больше не сочиняю. Теперь я уже несколько лет занят исправлением Моцарта. Когда работа будет готова, услышите, как звучит Моцарт! — И он плюет прямо на ботинок Провазника. Тот вытирает ботинок о траву и замечает:

— Я тоже давно не хожу в оперу. Если и соберусь, то только на «Марту».

Домохозяин взял меня за руку и отвел в сторону. Он хочет что-то сказать, но никак не может начать и лишь издает звук «с-с-с-с-с», словно пар, выходящий из котла. Мы три раза обошли садик кругом, а он все шипел, пока наконец не разразился фразой: «Капуста не содержит фосфора». Он, стало быть, еще и заикается. Потом он дал мне еще одну записочку о больном горле.

Затем меня отвел в сторону живописец и спросил, заметил ли я, как он хлопал Провазника по спине. Если Провазник будет когда-нибудь раздражать меня, мне следует вот так же слегка похлопать его по спине, и он тотчас угомонится. Дрянной, мол, человек этот Провазник.

Провазник тоже не замедлил отвести меня в сторону. Каково мое мнение насчет того, чтобы основать компанию для сооружения островов на Влтаве? И он торжествующе поглядел на меня. Я сказал, что это блестящая мысль.

— Вот видите! А таких идей у меня много. Но человечество еще не созрело для них. С балбесами, что гуляют вон там, я бы вообще не стал об этом разговаривать.

— Теперь мы могли бы сыграть в шестерку,— пристает живописец.

Ладно, поиграем часок. Карты живописец держит здесь же, в беседке, в ящике стола. Мы садимся за столик и делимся на две партии: я с домовладельцем и живописец с Провазником.

Хороша игра! Домовладелец даже при последней сдаче спрашивает, каковы козыри, никогда не знает, чем я пошел, и не ходит

мне в масть. Ручаюсь, что у него есть фигуры, но он не объявляет ни одной. Когда я у него что-нибудь спрашиваю, он только подает мне через стол свою записочку. Ясно, что Провазник и живописец выигрывают и от радости ржут, как лошади. Я вижу, что мне остается только сбрасывать карты и платить крейцеры. Отилия платит за папашу, потому что, если бы рассчитывался он сам, мы бы до сих пор не закончили ни одной партии: он все время уверяет, что уже заплатил, и при этом жмет мне под столом ногу. Я убираю ноги под стул и развлекаюсь, наблюдая, как он лихорадочно шарит ногой под столом, ища, на что бы наступить.

Потом он вдруг напускается на меня за то, что я плохо играю: я, мол, не подбросил ему короля к пиковому тузу. Между тем пики вообще еще не выходили, а пиковый туз у меня на руках! Домохозяин продолжает шуметь, голос его звучит, как тромбон,— а в кармане у меня дюжина его записочек о том, что он не может говорить громко! Отилия умоляюще и печально смотрит на меня... ну ладно, я понимаю ее и молчу.

Я играл меньше часа и проиграл шестьдесят с лишним крейцеров.

Домохозяин ушел с Отилией домой, потому что вечерняя прохлада «вредит его горлу». Провазник тоже уходит. Служанка живописца приносит ему и жене ужин. Я прошу ее принести мне из трактира какое-нибудь горячее блюдо и пиво.

Я ем, а живописец развлекает меня, рассказывая, что его талант никогда не находил заслуженного признания. Из Академии его попросили еще до конца полного курса. Это потому, что он рисовал лучше самих профессоров...

Я опять сижу дома, и голова у меня идет кругом.

Никогда больше не оставлю окно открытым на ночь, какая бы ни стояла жара! В третьем часу ночи у живописца был скандал. Солировала Августиха, голос у нее такой, что им бревна пилить можно. Я понял, в чем там дело: живописец пришел домой в нетрезвом виде. Он сам это понимал и, войдя в комнату, боялся разбить что-нибудь, поэтому оперся о дверь и стал ждать, пока рассветет. Разумеется, он уснул и с грохотом упал.

Попутно выяснилось, почему я не слышу соловья: он начал свои трели поздно, после полуночи. Наверное, он тоже только тогда вернулся из трактира...

Увидав домохозяина с дочерью в саду, я спустился вниз, чтобы поговорить с ним, пока он в твердой памяти. К сожалению, там же оказался Провазник, которого я не заметил в окно.

Домохозяин сидел за пианино.

— Погодите, пан доктор Крумловский, я сыграю вам одну из своих старых композиций, которая называется «Песня без слов».

И он заиграл. Это было неплохо, насколько я понимаю музыку. Он играл мастерски и с чувством, несмотря на расстроенный инструмент. Я зааплодировал.

— А как вам понравилось, пан Провазник?

— Мне больше всего нравится «Марта», но и ваша песенка хороша... прямо хоть выкидывай! Слушайте, а не можете ли вы сочинить песенку, которая помогала бы против клопов? Я бы ее все время пел, а то от них покоя нет.

И он со смехом отвернулся. Домохозяин жестом показывает мне, что у Провазника не все дома. Потом ко мне нагибается Провазник и шепчет:

— Хотел бы я когда-нибудь заглянуть в голову музыканта. У них, наверно, весь мозг изъеден червями!

Домохозяин замечает, что речь идет о нем, и ворчит, что «бревно не переломишь, как спичку».

Желая спасти положение, я громко спрашиваю:

— Вы, пан Провазник, никогда не занимались музыкой?

— Я-то? А как же! Три года учился пению и одновременно игре на скрипке и флейте. Таким образом, по сути дела, я учился музыке в общей сложности девять лет, но имею о ней самое смутное представление.

Я обращаюсь к барышне с учтивым вопросом, как ей спалось.

— Хорошо. Но утром, когда я встала, мне почему-то стало грустно. Я не знала почему — и заплакала.

— Совсем без причины это не могло быть. Умная женщина...

— Вы считаете меня умной? Папенька, пан доктор сказал, что я умная! — И она рассмеялась до слез.

Я начал рассказывать о том, что у живого человека слезы, собственно говоря, текут постоянно, но мы этого не замечаем. Я уверен, что моя лекция была очень интересна, но примерно на середине ее, когда я говорил о блеске человеческого глаза, домохозяин встал и сказал:

— Отилия, поди-ка займись обедом.

И они ушли, оставив меня в лапах Провазника.

Я чувствовал себя неловко в обществе этого оригинала. Он со странной усмешкой глядел на меня, и мое замешательство росло. Но я не намеревался бежать и сам начал разговор:

— Домохозяин, видимо, хороший музыкант.

— Да, да, особенно хорошо он умеет... как это называется... ну, когда расписывают музыку для разных инструментов?

— Инструментовать?

— Да. А впрочем, что в этом трудного? Ежели шарманка и пес поют в унисон, уже получается хорошо.

Я не мог удержаться от смеха. Провазник посмотрел на меня и произнес:

— Пан доктор, вы сегодня что-то плохо выглядите.

— Я? Не знаю, с чего бы это...

Провазник провел рукой по лбу, словно желая прийти в себя, и начал медленно и совсем серьезно:

— Вы умный человек, и я не стану разыгрывать вас, как этих дураков. Знаете, я страшно ненавижу всех людей... меня много обижали... очень много. Я уже давно бросил прогулки и не выхожу из дому. С тех самых пор, как начал седеть. С кем ни заговоришь, каждый заявляет с видом величайшего удивления: «Послушайте-ка, а ведь вы седеете, честное слово!» Ослы, а? Теперь я уже совсем седой, как мышь. Но я придумал кое-что против них.— Провазник довольно усмехнулся.— Прежде чем собеседник успеет рот раскрыть, чтобы заговорить о моей седине, я говорю, словно в испуге: «Господи боже мой, что это с вами, вы так плохо выглядите!» Каждый, буквально каждый пугается и впрямь начинает чувствовать себя плохо. О, я умею насолить им! У меня в течение многих лет был конек — записывать все, что я слышал о людях, и собирать эти сведения в алфавитном порядке... Зайдите ко мне как-нибудь, я вам покажу целую картотеку жителей Малой Страны. Когда меня брала злость на людей, я вынимал поочередно свои записи и писал анонимные письма. Люди с ума сходили, читая о себе бог весть какие вещи в письме от неизвестного человека. И никто не догадывался, что это я! Вам я могу сознаться, тем более что теперь я этим больше не занимаюсь. Хочу написать только одно-единственное письмо... Эта счастливая парочка в нашем доме меня раздражает... Надо будет им как-нибудь насолить. Но, к сожалению, до сих пор нет материала.

Я вздрогнул. Провазник весело продолжал, говоря все быстрее:

— Я был лихим молодцом! Сколько баб я соблазнил в молодости! Не вздрагивайте, вас я не соблазню! Насчет замужних у меня совесть чиста, а вот девиц и вдов — тех я не щадил. Еще в последнем классе школы я выписывал из кондуита женских школ фамилии плохих учениц. Та, что плохо учится, наверняка будет самой легкомысленной. Кроме того, я следил за всеми студенческими романами: как только влюбленные поссорятся, я уже тут как тут,— ведь рассерженную девушку легко отбить...

Я вскочил с места, не в силах выдержать этот разговор.

— Извините, мне пора домой...

И я убежал. Вслед мне громко прозвучал резкий хохот. Разыгрывал он меня тоже?

Хозяйка теперь убирает у меня, когда я ухожу обедать в трактир. Я вижу ее очень редко, только мимоходом в кухне. Это хорошо.

Днем опять сильный шум у живописца. Крепко влетело Пепику, и причина этого — мои вчерашние два крейцера. Пепика привел домой рассыльный. Мальчик пытался нанять его, требуя, чтобы тот посадил его на шею и катал, как «лошадка», перед нашим домом. Выяснилось, что он пригласил маленькую дочку портного полюбоваться на этот кавалерийский парад. Первая любовь? Может быть. Я впервые влюбился трех лет и тоже был бит за это. Пепика, однако, бьют слишком часто.

Вечером я в трактире. Здесь те же люди, на тех же местах. Сперва идет общий разговор о чешском театре. Толстый обер-лейтенант рассказывает, что он был однажды в чешском театре и спектакль ему понравился. Ставили тогда: «Die Tochter Boesewicht». Он не знает, как эта пьеса называется по-чешски. Может быть, кто-нибудь из присутствующих скажет? Нет, никто не знает. Наконец обер-лейтенант вспоминает, что по-чешски пьеса называлась «Дочь неистового».

Разговор о театре продолжается. Обсуждают разницу между комедией и драмой. Обер-лейтенант категорически утверждает, что в настоящей драме должно быть пять актов. Это, мол, вроде как в полку — четыре строевых батальона и один запасной.

Разговоры сегодня почти слово в слово те же, что позавчера. Кликеш повторяет свои остроты о крошках из кармана, о двух полицейских, которые водят трактирщика в баню, о цыпленке из вареного яйца, а трактирщик опять называет его лицо теркой. Слушатели, как и прошлый раз, встречают смехом каждую шутку.

Младшая барышня, с головой, похожей на бутылку, глядит на меня. Она прямо-таки впилась в меня взглядом.

Снова приходит тот же тощий, небритый коробейник. Он ничего не говорит, у него ничего не покупают, и он уходит. Наверное, он дал обет ходить грязным по одним и тем же трактирам, ничего не говорить и ничего не продавать.

Затем, при общем напряженном внимании, Карлуша ловит блоху. Потом раздаются поощрительные рукоплескания по адресу Лефлера, и он жужжит, как муха, и шипит, как колбаса на сковородке. Видимо, я в первое же посещение узнал всю программу этого трактира.

Нет, сегодня есть кое-что новое! Карлуша вдруг предлагает Лефлеру:

— Изобразим поросят.

Аплодисменты. Карлуша и Лефлер изображают поросят: они суют руки под скатерть, шевелят ими, изображая поросят в мешке, и при этом визжат так натурально, что иллюзия получается полная. Я вижу физиономию Карлуши, он сияет от радости и визжит вовсю...

Сегодня, мне кажется, я занимался слишком мало...

Ночью была страшная гроза, и с утра воздух прямо-таки животворный. Спущусь-ка я с книжкой в садик, там никого нет...

Нет, все-таки есть: Пепик. Ну, его я как-нибудь выпровожу, и все будет в порядке.

— Вот видишь, Пепик,— говорю я, гладя его по голове.— Нет у тебя больше тех двух крейцеров?

Мальчуган смотрит на меня и хитро улыбается.

— Есть! Я их опять взял у папаши.

— Так-с, и что же ты с ними будешь делать?

— Я знаю, что сделаю. Ты никому не скажешь?

— Сам знаешь, что не скажу.

— Бедржих обещал сказать мне счастливые номера для лотереи.

— Кто это Бедржих?

— Сын лотерейщицы. Он долго не хотел, но я обещал ему один крейцер, и теперь он скажет мне номера, которые она нагадала.

Прелестная детская наивность!

— А что ты купишь на выигранные деньги?

— О, много чего! Папаше куплю пива, маменьке золотое платье и тебе тоже что-нибудь куплю.

Пепик — добросердечный мальчик.

Пепик — негодяй. Я весь трясусь от злости. Когда в саду стало жарко, я вернулся домой. Настроение было отличное... (Ах, бродяга Пепик!) Я сел и начал мысленно повторять прочитан-

ное. Взор мой блуждал по комнате и вдруг задержался на картине Навратила «Море в солнечном сиянии». Солнечного сияния как не бывало! Облака, темное небо! Подхожу ближе: вся картина и стена около нее залеплена глиняными шариками. Пепик, сидя в окне напротив, обстреливал мою комнату из деревянной трубочки.

Взяв картину, я пошел жаловаться живописцу. Он озлился. Пепик был немилосердно бит тут же, при мне. Я созерцал это зрелище с упоением. Просто удовольствие!

Живописец сказал, что реставрирует мне картину.

Только не лентяйничать! Я поленился и заказал себе кофе за обедом в трактире, чтобы не варить его самому дома. А теперь все равно приходится варить его еще раз, чтобы помочь желудку справиться с первым кофе.

Сегодня опять не ладятся мои занятия. В кухне вдруг звякнула сабля. Уж не носят ли теперь кондуктора сабли?

Меня зовут, приглашая спуститься в сад, сыграть в шестерку. Я не отвечаю. Не пойду! Внизу спорят, дома ли я. Живописец уверяет, что дома.

— Погодите, я его выманю песней! — говорит Провазник. Став у меня под окном, он поет скрипучим голосом:

Хочешь знать, зачем я кнедлик
Запиваю молоком?
Погоди-ка, я немедля
Расскажу тебе о том...

Хихикнув, он прислушивается и говорит:

— Его нет дома. От моей песни он выскочил бы оттуда, как пробка из бутылки.

Все же я не удержался и немного погодя спустился в сад. Там говорили о ночной грозе. Августиха повторила раз десять с крайне серьезным видом, что она ужасно боится грозы. Живописец поддакивает:

— Да, да, моя жена страшно боится грозы. Сегодня ночью мне пришлось встать и разбудить служанку, чтобы она стала на коле-

ни и молилась. А для чего же мы ее держим? Но эта дрянь уснула! Утром я ее уволил.

Провазник замечает, что молиться не так-то просто.

— Я знаю только десять заповедей. А когда читаю «Отче наш», то обязательно сбиваюсь на словах «так и на земле», и приходится начинать сначала.

Августиха уверяет, что у нее всю ночь было предчувствие: кто-то должен повеситься,— ведь дул такой ветер. И в самом деле, утром молочница сказала, что в доме «Звезда» повесился пенсионер.

— Подумайте, самоубийство!

Провазник не дослушал и спрашивает, кого убил этот самоубийца.

— Ну конечно, я тоже знаю его!

Я спрашиваю дочь домохозяина, было ли ей страшно.

— Я грозы не заметила, проспала,— отвечает она с приятным смехом, приводя в порядок большую, свежевыкрашенную клетку. Клетка сделана в виде старинного замка, с подъемным мостиком, башенками, аркадами.

— Как вы думаете, подходит эта клетка для канарейки? — спрашивает она.

— Безусловно! — говорю я и начинаю нести какую-то чушь насчет «канарейки и этого средневекового замка». Бог знает в чем дело: с другими, даже более находчивыми, женщинами я держусь непринужденно, а с этой, простодушной, не могу разговаривать как следует! Сколько ей может быть лет? Когда она смеется, похоже, что ей девятнадцать, а когда глядит серьезно — все тридцать. Черт тут разберет!

Рядом Провазник уговаривает живописца, чтобы тот, рисуя портреты, иногда приглядывался и к оригиналу,— это, мол, довольно важно. Широкая публика, мол, не понимает подлинного искусства и требует таких глупостей, как сходство. Потом он сообщает, что в Вене теперь рисуют портреты валиком. Это большой прогресс. В четверть часа можно «навалять» картину. Живописец хлопает Провазника по спине, и тот замолкает.

Подходит домохозяин, всем раздает свои записочки и слабо хрипит.

Через несколько минут Провазник отводит меня в сторону. Ничего не делается для того, чтобы помочь пражским беднякам, говорит он. Одни разговоры: «Бедные люди! Нет работы!» — а никто палец о палец не ударит. Он, Провазник, мог бы кое-что для них устроить. Есть у него, например, один проект. Ничего грандиозного, но полезно для многих бедняков. Проект не потребует больших расходов: надо только соорудить паровой котелок на ручной тележ-

Винценц Морштадт. Поржичские ворота. 1870.

ке. С ним можно ездить от дома к дому и паром чистить чубуки от трубок. В Праге много курильщиков, и эта затея дала бы большой доход. Каково мое мнение?

Я говорю, что восхищен.

Опять игра в шестерку. Группировка партнеров остается та же, к ней, мол, уже привыкли. Все идет, как вчера, с той разницей, что сегодня я проигрываю семьдесят крейцеров. Под конец домохозяин снова поднимает крик. Потом он с дочерью уходит. Живописец с женой сидят в раздумье.

— Завтра воскресенье,— говорит наконец он.— Знаешь что, купи гуся!

Кликеш страшно зол. Дело в том, что что он состоит в городском кавалерийском ополчении, и сегодня у них умер ротмистр. Обсуждался вопрос о его похоронах. Кликеш предложил по телеграфу просить Вену посмертно присвоить покойному чин майора, тогда похороны можно будет устроить куда пышнее. Но кто-то из собравшихся был разумнее его и отговорил всех от такого шага. Кликеш так зол, что ни с кем не разговаривает.

Заходит разговор о смерти. Говорят, что кто-то умер в семье торговца, чья лавка находится на площади. Кто?

— А всего лишь его отец,— сообщает трактирщик.— Он был так стар, что сам стеснялся этого.

А отчего он умер? От чахотки, как и дед. Так уж у них заведено в роду.

Торговец — этот *должен* сделать завещание.

Этак в самом деле никуда не годится. Разве это занятия! Я продвигаюсь вперед со скоростью улитки, гляжу в книгу, а думаю о чем-то другом. Не то чтобы я взволнован, нет, я просто не могу сосредоточиться. В голову лезут образы моих соседей, они кишат там, наверх выползает то одна, то другая фигурка и то кувыркается, то рассказывает что-то, потом каждая смеется на свой манер...

Не для такого образа жизни я переехал на Малую Страну.

Одиннадцать часов. Я слышу, как в кухне звякнула сабля. Наверное, этот военный — наш родственник. Кавалерист?

Плач, пронзительный крик Августихи, болезненный собачий визг и вой. Я узнаю, что пес совершил нечто чудовищное: сожрал хозяйкино портмоне, в котором были семейные сувениры — волосы покойного отца, листок от свадебной исповеди и еще бог весть что.

Полчаса относительной тишины, потом новый скандал у живописца. Он только что пришел домой, видимо, из погребка. Слышен его громкий голос, брань, потом сердитая фраза:

— Говорю тебе, дрянь ты этакая, что гусиная печенка полагается главе семьи, это тебе всякий скажет, паскуда ты несчастная!

Живописец появляется у окна. Он с трудом держится на ногах. Я быстро прячусь за подоконником и через секунду слышу:

— Пан Семпр, правильно я говорю или нет, что гусиная печенка полагается главе семьи?!

Семпр не отвечает, но живописец кричит снова:

— Вот видишь, ты...

Видимо, после утраты семейных реликвий Августиха с горя полакомилась гусиной печенкой.

Шум и перебранка напротив продолжаются. Слышен возглас живописца:

— А те две десятки он тоже сожрал? На что же мы теперь жить будем?

Прекрасный тихий день, воскресная тишина, от которой так легко на сердце. Я не вытерпел и спустился вниз, в садик. Там пусто и тоже царит благоговейное спокойствие. Я мирно прогуливаюсь, созерцаю каждый куст, каждую былинку, на всем лежит отпечаток воскресного дня. Меня охватывает нестерпимое блаженство, хочется запрыгать, как ребенку, но боюсь, что кто-нибудь увидит меня из окна. Воздух тих, и все же, когда прислушиваешься, слышен шум бесконечно далекого сказочного мира. Я захожу в беседку, чтобы попрыгать там в уединении... Ах, как мне хорошо! Еще разок, скок-скок, вот так!

Я перехожу из беседки в беседку, осматриваю их, задумываясь, представляю себе то одну, то другую семью, всех ее членов и их особенности, и улыбка появляется на моем лице.

Вот пианино! Старенькое пианино, что звучит так по-старчески слабо. Многое оно могло бы порассказать! Сколько раз около него смеялись и вздыхали люди, сколько раз вдохновение создавало на его клавишах новые, еще неслыханные гармонии!

Присяду-ка я к нему и открою крышку. Всего пять октав, бедный инструмент! Когда-то и я учился играть... ах, как давно это было! Учился я с неохотой, учителю тоже было все равно, он аккуратно приходил только в конце месяца... Ах, молодость, золотые годы!

Я задумался. Но ведь кое-что я еще должен помнить! Хотя бы аккорды. До-соль-ля... Получается! До-ре-фа... Отлично! Теперь повыше. До-фа-ля... Фа-соль-до!

— Пан доктор играет на пианино... Прекрасно, прекрасно! — слышу я вдруг голос живописца. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. За мной стоит почти все население нашей садовой республики. Я замираю, словно в столбняке.

— Сыграйте, пожалуйста, что-нибудь, пан доктор,— щебечет Отилия.

— Право, я ничего не умею, мадемуазель! Я в жизни не играл на пианино. На скрипке я играл, это правда.

— О, тем интереснее это будет! Ведь я слышала правильные аккорды. Вы сумеете, сыграйте, пожалуйста! — И она умоляюще складывает руки. Сейчас она выглядит, как девятнадцатилетняя.

Черт знает почему я не удрал от этого пианино! Человек смешон в своем безмерном тщеславии.

— Я не умею играть, мадемуазель, уверяю вас. Сейчас я вам это докажу. Не будете надо мной смеяться?

Я вспомнил, что когда-то играл наизусть марш из «Нормы». Еще несколько лет назад я пробовал сыграть его, и довольно успешно. Марш из «Нормы» я должен уметь! Первые аккорды у правой и левой руки одинаковы... Только бы начать! Я поставил пальцы на клавиши и ударил по ним. Но дальше десятого такта у меня не пошло.

— А вы и верно ничего не умеете,— прошипел Провазник.

— Словно дрова рубит! — проворчал домовладелец.

От стыда меня прошиб пот.

— Да ведь это замечательно! Доктор никогда не играл на пианино, и все-таки у него получается. У него наверняка большой музыкальный талант!

Мне хочется обнять Отилию за то, что у нее такое доброе сердце.

— Я уже давно знаю, что у доктора замечательный талант,— продолжает она.— Он так красиво свистит... Пан доктор, сегодня утром вы насвистывали из «Травиаты», я слышала:

Она все замечает! Ах, это женское любопытство! Или, может быть, дело в том... О, господи боже мой!

А собственно говоря... почему бы и нет? Я не говорю, конечно, что хотел бы на ней жениться... что она кажется мне хоть сколько-нибудь привлекательной для этого... но...

— Постойте, я вам сыграю еще одну мою «Песню без слов»,— говорит домохозяин. Он уже сидит за пианино и начинает играть, но вскоре перестает,— ведь уже вторая половина дня. Я все же аплодирую. Провазник ухмыляется.

— Приятная мелодия. Под нее хорошо ходить за подаянием.

Приходит жена живописца. Она искала Пепика и наконец нашла его в соседнем трактире с садом, у кегельбана. Он дал два крейцера мальчику, который ставит кегли, и тот уступил ему право выкрикивать, сколько кеглей сбито. Сейчас на глазах у всей компании Пепик получает добрую порцию тумаков и, дополнительно, сердитые материнские наставления. Августиха сегодня совсем не шепелявит — таково целительное воздействие обжоры-пса.

— Теперь ты у меня будешь сидеть дома и никуда носу не высунешь,— говорит она сыну.— Сходи, принеси сюда маленького.

Пепик лениво идет. Через минуту слышится крик младенца. На лестнице появляется Пепик. Он несет ребенка, держа его руками за шею, как щенка. Ребенок уже не кричит и даже посинел. Мать бежит навстречу, подхватывает ребенка, дает подзатыльник Пепику.

Живописец сегодня тоже не в духе, что, впрочем, не удивительно. Он все время жалуется на плохой доход от своего искусства.

— А почему вы в таком случае не возьметесь за резьбу по дереву или за ваяние? — говорит Провазник.— Вы еще достаточно молоды, чтобы овладеть этим делом:

— Еще не хватало! Резчикам по дереву как раз нечего жрать!.. Они делают деревянные вертелы для ливерных колбас, да еще с монограммой колбасника!

Я и барышня отделились от остальных, сидим в беседке и разговариваем. Я замечаю, что, собственно, говорю я один. К моему удивлению, речь у меня сегодня льется гладко. Но я все время рассказываю о себе, о собственной особе. Не беда, зато разговор идет с увлечением, по существу и обстоятельно. Отилия восхищается мною. Каждую минуту она открывает во мне какой-нибудь новый талант или достоинство. Она наблюдательна. Приятная женщина!

Кликеш вчера очень настойчиво говорил о чем-то с Семпром, и тот слушал его с необычным вниманием. Я узнал, что Кликеш уговаривает его снова жениться и уже подыскал для него невесту. Слышались слова: «двадцать шесть лет», «три тысячи», «у нее много влиятельных знакомых», «ее любят»... Не хватает мне еще здесь увидеть свадьбу!

Сегодня в трактире обер-лейтенант упорно на меня оглядывался. Не меньше двадцати раз. Что ему нужно?

Занятия идут еле-еле. С утра меня тянет посидеть в саду, все равно одному или в компании. Мысли разбегаются, как... (опять не подберу сравнения!)

Ай, ай, сегодня живописец рано начал свою баталию. Если я не ошибаюсь, были биты: а) жена, б) Пепик, в) собака. Собачка еще скулит.

Потом живописец пришел ко мне. Нет ли у меня хорошей почтовой бумаги? Он должен написать брату-священнику, а хорошей бумаги у него нет. Он не любит писать, страшно не любит, для него писанина — прямо смерть. А уж если приходится писать, надо, чтобы кругом было тихо, иначе ему никак не собраться с мыслями.

— А разве у меня дома бывает тихо, пан доктор? У меня настоящий ад! Прежде надо навести порядок... Я уже всех поколотил, а если не будет тихо, поколочу еще раз. Прислугу я выгнал, у нее язык без костей!

Это у них уже четвертая прислуга за то время, что я здесь живу.

Я дал ему бумагу, и он ушел. Через минуту появился зареванный Пепик: отец просит хорошее перо. Даю перо.

Живописец ходит по комнате. Наверное, обдумывает письмо.

Я зашел в соседнюю лавочку. Теперь, когда мне что-нибудь нужно, я хожу в лавку сам. На обратном пути я встретил близ моего дома старого знакомого — доктора Енсена, главного врача сумасшедшего дома. Он медленно прогуливался, глядя по сторонам.

— А, привет, доктор! Как вы сюда попали?

— Случайно. Я гуляю. Люблю гулять по Малой Стране. А вы?

— Я здесь живу. Недавно переехал.

— Где же ваш дом?

— Как раз вот этот.

— Если разрешите, я загляну к вам на минуту.

Мне симпатичен доктор Енсен, это образованный, спокойный, приятный человек. Ему нравится моя квартира, он все осматривает, обо всем высказывает свое мнение. Я уговариваю его присесть, но он не хочет и говорит, что ему приятнее постоять у окна. Став там, он поворачивается спиной к саду и лицом к коридору второго этажа. У самого окна висит зеркало, и я замечаю, что доктор Енсен все время смотрит в него. Похоже на то, что, несмотря на свою серьезность, доктор слишком заботится о внешности. Он осведомляется, как я попал на Малую Страну. Я объясняю, что надеялся найти здесь спокойную обстановку для занятий, но, кажется, несколько ошибся, здешние жители не очень-то тихий народ. А что за соседи у меня, интересуется он. Я сразу же говорю ему о Провазнике, который может заинтересовать его как психиатра. Я оживленно рассказываю все подробности, но замечаю, что

Провазник его не интересует. Доктор все время смотрит в зеркало. Вдруг он вздрагивает и высовывается из окна. Кто это там на галерее? Дочь домохозяина?

Я с удивлением спрашиваю, знаком ли он с ней. Да, он уже давно знает эту семью. У меня сразу же возникает вопрос, который я никак не решаюсь произнести... Я вспоминаю чудачества домохозяина, подчас уж очень заметные, и наконец, заикаясь, задаю вопрос.

Доктор улыбается в ответ.

— Боже упаси! Он только ипохондрик, с него и этого хватает. Я знаю эту семью с детства, моя мать дружила с ними. Странно, что Отилия до сих пор не замужем. Она недурна собой, симпатична, умеет вести хозяйство, и у нее есть деньги. Их дом не обременен никакими закладными, и, кроме того, у них солидное состояние. Жаль будет, если она не выйдет замуж... Отличная невеста. Впрочем, еще не поздно.

Он высовывается из окна, улыбается и кивает ей.

Ага, значит, Енсен здесь не случайно и не на прогулке. На его счастье, я попался ему на пути. Я вдруг чувствую антипатию к доктору. Через минуту он прощается, обещая заглянуть, когда будет проходить мимо. Может не заглядывать! Я даже не ответил достаточно вежливо на его последние слова.

Он холостяк, как и я! Нет, право, я не питаю никаких намерений, это только так... Впрочем, если молодой адвокат, начиная карьеру, располагает средствами... Ха-ха, к чему такие глупые мысли... сейчас!

По-моему, Неруда прав, утверждая, что мы, мужчины, ревнуем каждую женщину, даже когда совсем не заинтересованы в ней...

Живописец продолжает ходить по комнате. Видимо, он все еще обдумывает свое письмо!

Неприятность за обедом: в супе плавало целое мушиное семейство. Отца и мать я по рассеянности проглотил, а мушиного детеныша не успел.

Я глотаю мух, Пепик — письма, пес — семейные сувениры... Чего только не едят в этом доме!

Я уже знаю, чья это была сабля! Случайно я стоял у окна, когда она звякнула на лестнице. Я высунулся из окна и увидел толстого обер-лейтенанта из трактира. Тот самый, о котором я както записал, что, на месте папаши, давно выгнал бы его. Может быть, он родственник кондукторши?

Вечерняя болтовня в садике. Провазник шепчет мне тоном глубокого удовлетворения, что сегодня он впервые заметил заплаканные глаза у той молодой соседки, что живет с мужем. Противный тип! Потом он справляется у домохозяина, был ли тот на похоронах ротмистра городского ополчения.

— Не был. Я не хожу на похороны. После похорон моего отца я не был ни на одних похоронах. Тогда хор невероятно фальшиво пел надгробные псалмы... Ужасный тон! Он преследует меня до сих пор!

Вот утонченная натура!

Приходит живописец. На его красном лице следы усиленного размышления.

— Написали письмо? — спрашиваю я.

— Нет. Напишу завтра. Не могу же я писать так быстро!

— Хорошо, если бы брат-священник прислал вам несколько сот гульденов,— говорит Провазник.

— Помилуйте, такая мелочь, как несколько сотен, нынче мало поможет.

— Ого! — всерьез сердится Провазник.— Это потому, что люди неизобретательны. Я бы сумел прожить и на сотню гульденов. Проще простого! Арендую поле близ Праги и засею его — знаете чем? — репейником! Какой-нибудь птицелов наверняка откупит у меня поле, чтобы ловить на нем щеглов... или я сам буду ловить их!

— Не забудьте огородить поле!

— Зачем?

— От сквозняков. Чтобы репейник не схватил ревматизм!

Живописец начинает острить!

Домохозяин сегодня очень печален. Он не раздает записочек, у него другая забота, ему кажется, что у него отваливается нос. Сегодня утром он прочел в какой-то статье, что это обычно начинается с насморка. Он вспоминает, что насморк у него уже несколько дней, и явственно ощущает, что одна ноздря уже плохо держится на своем месте. Но так как сейчас вторая половина дня, он путает, какая именно.

Отилия грустно глядит на отца и с трудом сдерживает громкие вздохи. Мы сидим с ней наедине в беседке. Сегодня разговор идет иначе; говорит главным образом она, изливая мне всю тоску,

что у нее на сердце, а я внимаю ей, и мне самому становится грустно. Я замечаю, что мое сочувствие приносит ей облегчение.

Отилия и ее отец ушли. Я, однако, сижу в саду. Сегодня я не пойду в трактир, мне не хочется быть на людях, мне как-то не по себе. На душе тоскливо и вместе сладко...

Вчера и сегодня я несколько раз просыпался среди ночи, наверное, от жары. Можно было использовать это бдение для занятий... но я только просыпаюсь и не встаю с постели. Мне приятно лежать, мысли легко проносятся в голове, и, когда в золотом полусне мелькнет особенно приятная мысль, я удерживаю ее и продолжаю грезить.

Не буду врать: к занятиям эти мысли имеют очень мало отношения. Сейчас я как раз изучаю горное право, и его своеобразная терминология преследует меня. Моя кровать кажется мне месторождением золотых снов. Стоя около Отилии, я мысленно огораживаю нашу заявку, чтобы обеспечить себе право на разработку...

Я замечаю, что повсюду написал «Отилия». Берегись! Берегись!

У живописца необычно тихо. Он сидит за столом, подперев голову ладонью, глядя в пространство, и думает...

Днем ко мне приходил доктор Енсен. Как он, однако, торопится! Я не очень любезен с ним, но ему это, по-видимому, безразлично. Он, кажется, почти не замечает меня. Вот он уже снова стоит перед зеркалом у окна. Нет более противного зрелища, чем мужчина, который вечно торчит перед зеркалом!

Увидев домохозяина с дочерью, он заговаривает с ними. Как он фамильярничает! Есть же такие люди: считают, что старое знакомство дает им бог весть какие права! Его приглашают спуститься в сад. Он зовет меня. Ну ладно, пойдем, увидим, кто кого... Нет, не увидим, ведь у меня же нет никаких намерений! Я уверен, что у меня их нет!

Сад выглядит сегодня как-то иначе, словно чужой. Мне кажется, что здесь другой воздух, другие люди. Однако, поразмыслив, я вижу, что, собственно, мне мешает только доктор Енсен. Он из

тех людей, кого называют интересными собеседниками; они достаточно поверхностны для того, чтобы легко болтать на любую тему. Постепенно в садике собираются все, кроме Провазника, и слушают Енсена, словно он рассказывает им бог весть что. Я нисколько не огорчен тем, что я не «интересный собеседник».

Я делаю слабую попытку вести самостоятельный разговор.

— Написали письмо? — спрашиваю я живописца.

— Нет, оставил на завтра. Надо еще подумать.— И он тотчас же обращается к Енсену.— Вы, должно быть, видели в жизни массу интересного, доктор.

— Почему вы так думаете?

— Ну, сумасшедший дом — такое забавное место. Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о нем.

Я снова оттеснен на задний план. Хоть бы Провазник пришел! Но тут я замечаю, что Енсен в затруднении. Я рад этому. Он что-то объясняет о разнице между маниакальным и депрессивным психозом, но присутствующих это не занимает, они хотят знать, «что воображают о себе эти психи», как ведет себя больной, который считает, что он император, или больная, возомнившая себя девой Марией. Енсен не рассказывает об этом и продолжает научное объяснение. В заключение он оговаривается, что «почти каждый человек немножко душевнобольной». Это взволновало всех, только домохозяин спокойно кивает головой и замечает: «Многие здоровые люди даже не знают, какое это благо — здоровье».

Енсен наконец прощается, сказав, что скоро зайдет опять. Смотри, как бы ты не запоздал, думаю я.

Провазника сегодня среди нас не было. О Енсене говорили долго после его ухода, даже слишком долго! Отилия прошептала мне:

— Я боюсь его!

— Врожденный такт иногда очень важная вещь,— отвечаю я.

Кликеш все время уговаривает Семпра. Трактирщик вертится около, стараясь быть как можно ближе. Он то и дело покашливает и волком глядит на Кликеша.

Девять часов, а Енсен уже здесь. Он выглядывает в сад, на галерею и не меньше трех раз глядится в зеркало, каждый раз довольно долго. Потом он осведомляется, не ходит ли кто-нибудь по утрам в сад. Я говорю, что действительно, мне давно пора заниматься. Енсен уходит какой-то недовольный. Ну и пусть!

В полдень живописц посылает ко мне за конвертом. Я гляжу в их окна. Жена и сын стоят у стола и смотрят, как он надписывает на конверте адрес.

Живописец ходит по комнате, конверт он держит в руке и часто останавливается, чтобы поглядеть на плод своего вдохновения. Видимо, он горд.

Днем я прихожу в садик первым. Мне кажется, что проходит целая вечность, пока собираются остальные.

Примерно через час появляется домохозяин с Отилией и начинает со мной разговор о политике. По его мнению, корень всех зол в том, что монархи «никогда не довольствуются тем, что у них есть». Я горячо соглашаюсь с этим. Он изрекает еще и другие сентенции, я восхищаюсь ими. Потом он начинает подвязывать лозы, а я вступаю в задушевный разговор с Отилией. Бог весть почему мы переходим на такую тему, как моя добродетель. Отилия с жаром восхваляет ее. Она все говорит и говорит, растягивая эту тему, как сапожник кожу, когда надевает ее на колодку. Откуда только этой девице известно о моей добродетели?

Приходят живописец с женой. У него довольное, почти победоносное выражение лица. У жены язык снова как бритва.

— Готово письмо? — спрашиваю я.

— Ну конечно! — говорит он с таким видом, словно играючи за полдня разделывается с корреспонденцией всей Европы.

— Надо было там приписать насчет кондукторши,— со смехом замечает Августиха.— Священники интересуются такими вещами.

Что надо было написать о кондукторше?

— Нужно написать еще одно письмо, другому брату в Тарнов,— продолжает живописец.— Мы, братья, пишем друг другу два раза в год, так уж у нас заведено.

Никто его не слушает, разговор о кондукторше продолжается. Толкуют об обер-лейтенанте и о том, что кондукторша вечно высовывает голову из дверей — все ждет, не идет ли обер-лейтенант. Обо всем этом соседи говорят странным тоном, поглядывают на меня и смеются. Меня вдруг осеняет догадка... Так вот почему я был дурнем! В сердцах я говорю что-то, не помню уж что.

Потом мы втроем играем в шестерку.

С предельной выдержкой я терплю все промахи домохозяина

и во всем с ним соглашаюсь. Я даже нарочно вытягиваю под столом ногу, чтобы он мог наступать на нее,— пусть получит удовольствие. Он нажимает на нее, как органист на педаль.

Провазника сегодня опять не было.

Такой глупости, как сегодня, со мной еще в жизни не случалось! Я пошел поужинать к приятелю Мороусеку. Он живет в конце Смихова, поэтому я взял извозчика. Мы отлично провели время до ночи, потом я не спеша пошел домой. Была прекрасная ночь, и в голове у меня роились всевозможные мысли. Улицы были почти пусты, только какой-то сонный извозчик ехал домой на своей кляче. Кляча едва тащила ноги, дрожки стучали, монотонный стук колес был мне даже приятен. Дома за два от моих ворот извозчик перегнал меня, нагнулся с козел и сказал:

— Что ж вы не сядете в пролетку, молодой человек?

Это был мой извозчик! Я забыл заплатить и отпустить его, и он ждал меня всю ночь. Пришлось дать этому мошеннику три гульдена.

Сомнений нет — я влюблен!

Итак, в один прекрасный день в газетах будет поздравление: «Пану доктору Крумловскому и его прелестной невесте Отилии...»

В таких поздравлениях все невесты бывают «прелестными».

Никто на свете не должен знать, иначе...

Нам надо объясниться!

Хорошенькая история! Я прямо трясусь от злости! Пальцы себе готов кусать! Вот что произошло.

В коридоре звякнула сабля. Ко мне постучали. «Войдите!» Входит офицер... лейтенант, а не обер-лейтенант, вопреки ожиданиям. Я встаю и вопросительно гляжу на него. Лейтенант — в полной форме, с кивером на голове — берет под козырек.

— Доктор Крумловский?

Я киваю.

— Я по поручению обер-лейтенанта Рубацкого...

Рубацкий — это толстый кондукторшин обер-лейтенант из трактира.

— Что вам угодно?

— Обер-лейтенант считает себя оскорбленным выражениями, которые вы вчера употребили здесь в саду при разговоре о нем и о супруге кондуктора, весьма уважаемой его приятельнице. Он послал меня требовать от вас сатисфакции.

Я провожу рукой по лбу и таращу на него глаза. Пытаюсь вспомнить вчерашний разговор. Что-то говорили, это правда, и я тоже что-то сказал, но что, хоть убейте, не помню!

Лейтенант спокойно ждет ответа. Я подхожу к нему, чувствуя, что начинаю дрожать.

— Извините,— говорю я,— это какая-то ошибка. Кто рассказал об этом обер-лейтенанту?

— Не знаю.

Кто-то оговорил меня? Или кондукторша подслушивала из окна моей комнаты? Может быть, вместе с обер-лейтенантом?

— Какой-то разговор был... это я помню... но как я мог сказать что-нибудь дурное об обер-лейтенанте? Я с ним даже незнаком... а только знаю его в лицо.

— Мне до этого нет дела. Меня послали требовать сатисфакции.

— Но уверяю вас, что для этого нет оснований. Что я такого мог сказать об обер-лейтенанте?.. Я его, мне кажется, очень уважаю и...

— Простите, я уже сказал, что прошу вполне определенного ответа...

— Ну, если обер-лейтенант из-за каких-нибудь сплетен считает, что я его оскорбил,— чего я, свидетель бог, отнюдь не собирался делать! — то передайте ему, пожалуйста, что я приношу свои извинения.

— Этого недостаточно.

— Чего же вы хотите? Может быть, в присутствии тех же людей...

— Обер-лейтенант Рубацкий требует поединка.

— Обер-лейтенант Рубацкий с ума сошел! — воскликнул я.— Я никогда не дрался на дуэли и не буду драться.

— Я так и передам.

Лейтенант козырнул и хлопнул дверью. Скатертью дорога!

Я весь дрожу от злости! Поединок! Да я сабли держать не умею! Я доктор прав, будущий адвокат! Уголовное уложение, статья 57, относит поединок к числу наказуемых деяний, а статьи 158—165 предусматривают кару, и немалую!

Сумасшедшие! Сбежали из желтого дома!

Я слышу, что кондукторша ходит в кухне, и выхожу туда. Мне хотелось бы объяснить ей, в чем дело. Но она поворачивается ко мне спиной и строптиво говорит:

— Идите домой жир нагуливать,— и уходит в свою комнату. Ладно, пойду «нагуливать жир». Странные выражения!

В саду сегодня совсем по-особому. Я взволнован и не могу заставить себя успокоиться. Провазник снова среди нас. Он глядит сычом и каждому говорит: «Ох, как вы сегодня плохо выглядите!»

Мы с Отилией сидим в беседке. Мне кажется, что сегодня пора заговорить о любви. Я вот-вот готов сделать это, но слова застревают у меня в горле, и я никак не могу отойти от обычных тем. Ладно, не стану сегодня начинать этого разговора.

К нам подходит Провазник. Он с минуту глядит на нас, потом говорит:

— Собираетесь жениться, пан доктор?

Неприятный вопрос, я смущен. Но я принужденно улыбаюсь и отвечаю:

— Да, пан Провазник, собираюсь жениться.

— Правильно поступите... брак — отличное дело. Быть папашей очень интересно. Ребенок куда забавнее щенка.

Проклятый тип!

Разговор шел сегодня очень вяло. О визите лейтенанта я не обмолвился ни словом.

Так мне и надо, черт меня попес на Малую Страну!

Теперь уж ничего не поделаешь, я принял вызов! Сколько ни отказывайся — он, наверное, не выполнил бы своей угрозы,— но в конце концов и ягненок может рассердиться. Он меня ранит, это ясно... а сам наверняка останется невредим. Я буду лежать раненый, не смогу заниматься, пропущу установленный срок. Может быть, лучше быть убитым?

...Снова звякнула сабля, раздался стук, и вошел вчерашний лейтенант в полной парадной форме. Он козырнул и сказал, что обер-лейтенант Рубацкий не намерен так оставить дело, что он в последний раз требует поединка.

Я с досадой отвечаю, что вчера уже сказал «нет», а сегодня говорю — «нет и нет».

Лейтенант очень сожалеет, но он должен сказать, что обер-лейтенант ударит меня хлыстом по лицу при первой же встрече.

Я в гневе вскакиваю и подхожу к нему.

— Не ударит, ручаюсь вам!

— Обязательно ударит... Всего хорошего!

— Постойте! Каким оружием вы предлагаете драться?

— На саблях.

— Хорошо, я принимаю вызов!

Лейтенант с удивлением глядит на меня.

— Принимаю,— говорю я, дрожа от злости,— на следующих условиях. Во-первых, вы сами обеспечите меня оружием и секундантом, во-вторых, дадите мне за себя и за других честное слово, что об этом не будет знать никто на свете, и выберете для поединка совершенно безопасное место.

— Даю честное слово!

Он ушел, вежливо попрощавшись, даже подчеркнуто вежливо. Сегодня или завтра он зайдет еще раз, чтобы договориться о деталях.

Ну вот я и попал в переделку. Вполне возможно, что о поединке не узнают... Может быть, кондукторша подслушивала наш слишком громкий разговор, ручаюсь, что она подслушивала, ведь я знаю, что она — причина всего. Теперь я понимаю, в чем все дело: своим невниманием я уязвил ее женское самолюбие. Нет, не тогда я вел себя, как дурень. Теперь я задурил. Ведь если об этой дуэли узнают, прощай адвокатура! До конца дней своих я останусь кандидатом на адвокатскую должность. Ну что ж, небольшое состояние у меня есть, да и у Отилии тоже. Но ведь я даже не знаю, пойдет ли она за меня замуж!

Само собой разумеется, что я совсем не готовлюсь к экзаменам. Только тупо смотрю в книги и мысленно ругаю себя.

По почте пришло письмо. Почтовый штемпель Малой Страны, письмо анонимное... Это, наверное, проклятый Провазник!

«Пан доктор и кандидат в адвокаты!

По-моему, Вы скорее кандидат в мужья, чем на адвокатское место. Ваши брачные намерения вызваны, однако, низменными и корыстными расчетами. Вам нужен дом, нужны деньги и не нужна жена. Да Вы и не можете хотеть себе в жены эту старую, увядшую дуру с узким горизонтом...»

Узкий горизонт — это выражение я не раз слышал из уст Провазника!

«Да будет вам стыдно за то, что вы хотите запродаться, пожертвовать своей молодой жизнью ради грубой корысти. Еще сто раз срам и срам!

Один из многих, разделяющих это мнение о вас».

Ну погоди, я тебе задам! Я разделаюсь с тобой вместо обер-лейтенанта! В меня вселился воинственный дух, я хочу драться со всем миром!

Не могу сказать, что я боюсь за свою жизнь. Не боюсь я и ранения и думаю о нем вполне хладнокровно. Но я знаю, что страх придет, и боюсь этого страха. У меня нет привычки к дуэлям, я в жизни даже не думал о них, значит, страх должен прийти. Я буду взволнован, во мне будет дрожать каждый нерв и каждая мышца, меня все время будет трясти как в лихорадке, меня охватит нервная зевота. Это будет ужасно!

Мы беседуем в саду, но разговор идет еле-еле. Признания я сегодня не сделаю, к чему оно! Возьми свой платочек и приготовь корпию. Если меня убьют, все будет разом кончено, если ранят и Отилия станет ухаживать за мной,— я надеюсь на это! — тогда признание вырвется само собой. Как в романах.

Однако я чувствую необходимость как-нибудь оживить разговор. Чем, не знаю. Наконец я спрашиваю, пойдет ли она завтра в чешский театр.

— А что за спектакаль?

— «Ян Гус» Тыла, по случаю годовщины сожжения Гуса.

— Я бы с удовольствием пошла, но не на этот спектакль...

— Почему? Уж не потому ли, что Гус был еретиком?

— Нет... Но завтра пятница... постный день... нельзя ходить в театр.

Мерзкий Провазник усмотрел в этом только «узкий горизонт». Я вижу наивность, а она всегда прелестна... да, да!

В саду появляется Провазник. Я быстро иду ему навстречу и отвожу его в беседку.

— Вы, подлый человек, осмелились послать мне сегодня одно из своих анонимных писем, которыми изводите всех соседей. Отвечайте!

— Кто вам рассказал о моих анонимных письмах? — спрашивает Провазник, белый как мел.

— Вы сами, мерзавец!

— Я сказал вам? — И на его лице отражается такое глупое удивление, что я отворачиваюсь, чтобы не рассмеяться.

— Вот что я вам скажу,— говорю я,— если что-либо подобное повторится, я вас изобью, как щенка!

И я отхожу от него. Кое-чему я научился и от обер-лейтенанта!

Немного погодя собравшиеся решают сыграть в шестерку. Живописец вынимает из ящика карты и сразу же хватает Пепика за шиворот. Свирепая взбучка. В чем дело? Все «сердца» на картах черной масти вырезаны. Выясняется, что Пепик наклеил

их на бумагу и в знак любви преподнес Маринке, дочке портного Семпра.

Игра в шестерку отпадает, чему я очень рад.

Идут разговоры, но все без толку. Я гуляю с Отилией среди клумб. Вдруг она оборачивается, глядит мне в глаза и спрашивает, что со мной. Я смущен, говорю, что ничего, и заставляю себя улыбнуться. Она качает головой и снова повторяет, что со мной что-то неладно.

Она неравнодушна ко мне, это ясно!

Я сижу дома и размышляю. Как ни странно, я спокоен, страх еще не пришел... Но он обязательно придет! Неужели я до сих пор не осознал, что завтра дуэль? Подождем до завтра!

Как рано я сегодня встал! Когда я проснулся, еще не было трех часов ночи. Я не валялся, а сразу вскочил с постели, исполненный решимости.

Не знаю, однако, как убить время. Я уже два раза спускался в сад и снова уходил к себе в комнату. Беру в руки то один, то другой предмет и с раздражением кладу их на место.

Нетерпеливо жду лейтенанта.

Боюсь я или нет? Я взволнован, у меня нервная зевота, но, мне кажется, это лишь от нетерпения.

Лейтенант уже был у меня. Итак, завтра, в шесть утра, в казармах на Градчанах, в каком-то, как он сказал, внутреннем садике. «Итак, тебя вынесут из садика»,— говорю я себе и смеюсь этому, словно какой-то неслыханной шутке.

Лейтенант был на редкость учтив. Он даже произнес фразу вроде: «Я был бы рад уладить эту неприятную историю».— «Это ни к чему!» — воскликнул я и сразу же страшно пожалел, хотелось дать самому себе оплеуху. Все-таки я осел! Эх, что там!..

Я пошел в гости к моему приятелю Мороусеку, что живет на Смихове. Во-первых, дома мне было бы не усидеть, во-вторых, Мороусек отличный фехтовальщик и дуэлянт, от него можно кое-чему научиться.

Мороусек — нечуткий человек. Я рассказал ему, в чем дело, а он смеется. Есть люди, которые ни к чему на свете не умеют относиться серьезно. Я попросил его научить меня драться на саб-

лях. Но он утверждает, что за такой короткий срок я ничему не научусь.

— Ого,— говорю я сердито,— ты еще увидишь!

Он взял эспадроны, надел на меня маску и нагрудник и поставил меня в позицию.

— Вот так! Теперь так!.. Нет, не так, а вот этак! Следи за концом эспадрона... Так!

И мой эспадром уже лежит на земле.

— Надо крепче держать его! — смеясь, говорит Мороусек.

— А он тяжелый!

— Сабля будет не намного легче... Ну, сначала!

Через минуту я так устаю, словно поднимал одной рукой наковальню. А долговязому Мороусеку — хоть бы что!

— Отдохни немного,— улыбается он.

Я вспоминаю, что раньше Мороусек был гораздо симпатичнее, и говорю ему об этом.

— Это у тебя от страха,— возражает он.

— Вот еще, я совсем не боюсь, честное слово!

— Ну, так начнем сначала.

Через минуту я опять без сил.

— Надо не слишком усердствовать,— замечает он.— А то ты завтра не сможешь рукой шевельнуть. Оставайся у меня на обед и на ужин, время от времени мы будем еще тренироваться, но совсем понемногу.

Я все равно не собирался уходить. Жена Мороусека смотрит на нас, думая, что мы развлекаемся, и улыбается. В этой семье надо всем смеются!

Незадолго до обеда Мороусек спросил у меня, хорошо ли фехтует Рубацкий. Я не знаю.

— Все равно, ты должен научиться стремительному и внезапному выпаду. Или — или! — И Мороусек снова напяливает на меня нагрудник. Я надеваю его с неохотой.

Отличный прием этот стремительный и внезапный выпад! Но мне он никак не удается, он у меня и не стремителен, и совсем не внезапен! Что поделаешь!

— Обедать! — зовет жена Мороусека, и я радуюсь этому.

Я с трудом держу ложку, рука у меня дрожит, и я проливаю суп. Мороусек смеется. Погоди, завтра будешь стоять над израненным другом. Я почти хочу, чтобы обер-лейтенант сильно порубил меня, пусть Мороусек поплачет!

В течение дня Мороусек еще два раза заставляет меня фехтовать. Я как безумный колю и рублю воздух и Мороусека, потом падаю в маске и нагруднике на пол и не хочу вставать.

— Встань и патрись водкой,— говорит приятель.

Я натираюсь водкой и пахну так, что хозяйка собирает свое вышивание и уходит в другой конец сада. Мне хочется бежать от самого себя!

Домой я возвращаюсь поздно вечером. Страшно болят локти и колени. Разве я фехтовал коленями?

Дома нахожу записку. От Отилии!

«Уважаемый доктор!

Я *должна,* должна поговорить с Вами еще сегодня. Спуститесь, пожалуйста, ночью в сад, как только вернетесь. Просвистите мотив из «Травиаты», и я выйду к Вам. Извините меня за эти каракули, но все это из симпатии к Вам!

Отилия».

Кондукторша проговорилась. Быть сцене!

Я спускаюсь в сад. Светит луна, и через двор мне хорошо видна открытая галерея второго этажа. Там никого нет.

Я прохаживаюсь по саду. Вот кто-то появился на галерее, какая-то фигура в белом. Я на момент выхожу на место, освещенное луной, и снова отступаю в тень... Теперь мотив из «Травиаты!» О, господи, что же это такое: целыми днями насвистываю этот мотив, а сейчас, хоть убей, не могу его вспомнить. Но ведь она меня видела? А насвистывать можно что-нибудь другое. Мне, однако, не приходит в голову ничего, кроме «Пепик, мой Пепичек, где же твоя Кача?». Что ж, насвистываю «Пепика».

— Пан доктор так поздно гуляет в саду,— слышится голос из окна живописца. Он в свинском неглиже высунулся из окна.— Прекрасная ночь, а? Мне тоже не спится. Давайте побеседуем.

Фигура на галерее исчезла.

— Я уже иду домой! — кричу я ему нарочно громко.

Вот еще, не хватало мне беседовать с живописцем! Этот детина готов торчать здесь до утра!

Я не торопясь иду по двору и громко насвистываю, теперь вспомнилась «Травиата»!

Останавливаюсь, гляжу туда-сюда, на лестнице никого, на галерее тоже.

Уж не рассердилась ли на меня Отилия за «Пепика»?

Лучше сегодня не разговаривать с ней. Да, так будет лучше. А завтра?

Живописец развалился в окне. Я охотно вышел бы на галерею, но он заметит меня и начнет разговоры. Я спускаю шторы.

Завещание! Ничего не поделаешь, надо привести в порядок все дела. Коротко, ясно, всего несколько строк: все мое имущество завещаю сестре, и баста!

Так, а теперь попробую спать. Я спокоен, необычайно спокоен, но завтра буду трястись, как осина, уж это я знаю!

Надо еще завести будильник.

Живописец торчит в окне. Торчи себе, пачкун!

Я спал всего около двух часов, но уже выспался. Стоят предрассветные сумерки, как всегда в июле после двух часов ночи. Меня охватывает утренняя прохлада. Я зеваю во весь рот и слегка вздрагиваю от холода, но не от страха.

Как бы убить время? В сад мне не хочется. На улицу? От холода я бы пустился бежать и утомился бы. У меня и без того болят руки после вчерашнего фехтования. Разобрать разве бумаги и привести их в порядок...

Уже половина шестого. Как я погрузился в бумаги! Я оглядываю комнату, не позабыл ли чего... Что я мог забыть!

Итак, пора!

...Я выскочил по лестнице во двор, по двору пробежал до выхода из казарм, проскочил в ворота, подпрыгнул. Мне весело до слез, глаза буквально заволокло слезами, словно я вышел из темного подвала в сияющий солнечный день. Я шатнулся вправо, потом влево... не знаю, куда идти!

— Крумловский, ты?

Мороусек! Дорогой Мороусек! Я бросаюсь ему на шею, слезы выступают у меня на глазах. Я не в силах вымолвить ни слова.

— Ну, будешь рубиться?

— Уже все кончено!

— Слава богу! Но отпусти мою руку, ты так стиснул ее.

Я замечаю, что держу его руку, как в тисках. Еще одно пожатие!

— Я на извозчике. Поедем,— говорит мой друг.— Ты уже завтракал?

— Завтракал?.. Нет, не завтракал.

— Тогда давай заедем в кафе.

— Ладно... нет! Сперва домой, потом в кафе!

Отилия должна знать, что я невредим.

Мы садимся в пролетку. Я болтаю, как ребенок, и все время смеюсь. Бог весть что я трещу. Я даже не замечаю, как мы подъезжаем к дому.

Танцующей походкой я поднимаюсь по лестнице, разговариваю неприлично громко, чтобы меня слышали во всем доме.

Кондукторша скрывается от нас из кухни в комнату. Ага, удивляешься! Погоди, удивишься еще больше!

Дома я прихожу в себя.

— Знаешь ли ты, что ты мне еще ничего не рассказал? — говорит Мороусек и, закурив сигару, разваливается на диване.

И правда, я ему еще ничего не рассказал!

Надо немножко собраться с мыслями.

...У входа в казармы меня встретили два офицера. Они провели меня через двор, вниз по лестнице, в садовый павильон. Там уже ждали обер-лейтенант и врач. Один из офицеров представился мне как мой секундант. Он объявил, что все в полном порядке и для меня приготовлена точно такая же сабля, как у моего противника. Кажется, я поклонился. Потом ко мне подошел уже знакомый лейтенант, секундант моего противника, и сказал:

— Насколько мне известно, господа противники не испытывают друг к другу особенно сильной ненависти. Дуэль состоится, но я предлагаю драться до первой крови. Согласны, господа?

— Согласен,— говорю я.

— Согласен,— повторяет обер-лейтенант и снимает китель. Я тоже снимаю сюртук.

Мне дают саблю, мы становимся в позиции и скрещиваем оружие, как ты меня вчера учил. И вдруг меня забирает. Я совершаю «стремительный и внезапный выпад», в голове у меня словно шумит водопад, в глазах что-то прыгает... Оба секунданта кричат: «Довольно!» — и с саблями кидаются между нами. Я машинально отступаю на шаг и вижу кровь на лице моего противника. Помнится, я по-офицерски отсалютовал саблей и с поклоном передал ее моему секунданту. Затем я с серьезным видом надел сюртук и услышал в это время слова врача: «Совсем легкое ранение». Я попрощался и ушел. Уходя, я слышал, как они сказали: «Черт подери, какой неистовый!» Слушай-ка, теперь я готов драться с целым светом!.. Все останется в тайне. Легкое ранение, о нем никто и не пикнет. И за все я должен благодарить тебя, мой дорогой друг.

Мороусек усмехается.

— Ну, или он плохой фехтовальщик, или твое нападение действительно было внезапным. Кстати говоря, для новичка ты довольно браво держался в схватках со мной.

Я чувствую себя героем. Хожу большими шагами по комнате, останавливаюсь перед зеркалом, смотрю на себя, хочу улыбнуться, но улыбка получается идиотская.

Мороусек встает.

— Однако я сильно проголодался, поедем-ка в кафе.

Удивительное дело, я все еще не голоден!

— Ты тоже еще не завтракал? — спрашиваю я его.

— Где там!

Тут мне приходит в голову, какую благородную заботливость обо мне он проявил.

— Где ты так рано достал извозчика? — спрашиваю я.

— Заказал еще вчера вечером, когда ты был у меня.

— Золотой ты мой Мороусек! — Я бросаюсь ему на шею.

Он с трудом освобождается из моих объятий. Иногда я страшно силен.

В маленьком кафе я вижу двух знакомых — портного Семпра и нашего трактирщика. Протягиваю им руку.

— Что я вижу, наш трактирщик ходит в чужие заведения?

— Лет десять никуда не ходил, а вот сегодня собрался.

Мы с Мороусеком садимся к другому столику. Едим, пьем, и Мороусек шепотом доказывает мне, что я должен немедля переменить квартиру. С кондукторшей отношения у меня не наладятся, занятия будут идти плохо, а времени остается уже немного. Он совершенно прав. А куда бы я больше всего хотел переехать? На старую квартиру!

— Ладно, сейчас же съездим туда, может быть, удастся получить ее,— говорит Мороусек. Он — отличный товарищ и вообще чудесный человек, я его очень люблю... Не припомню случая, чтобы он мне когда-нибудь казался хоть немного нечутким!

Трактирщик, видимо, входит в раж, он говорит все громче и громче, уговаривает Семпра не жениться. Кликеша он честит, как виновника всех бед в мире, о женщинах говорит с презрением.

Семпр на минутку вышел купить сигару — и я обращаюсь к трактирщику:

— Слушайте, почему вы отговариваете Семпра?

— Да ведь я трактирщик, а он мой постоянный гость. Надо его сохранить.

— Но ему нужна хорошая хозяйка и мать для его девочки.

— Нет! Он постоянный гость, он у меня обедает и ужинает, пьет свои...

Входит Семпр.

Моя старая квартира свободна, и хозяин охотно сдает ее мне. Перееду послезавтра, в понедельник. Что скажет на это Отилия? Я надеюсь, что она все поймет, ведь я поговорю с ней, все объясню и одновременно признаюсь в любви. Кстати говоря, я могу приходить к ней через день или даже ежедневно. Правда, если я останусь здесь и история с дуэлью станет известной в доме, я буду здесь *героем дня,* но... карьера прежде всего.

Мороусек затащил меня к себе обедать, и за столом мы говорим о моей дуэли. Мороусек в радужном настроении, но, кажется, немного подтрунивает надо мной. Мягко говоря, это неумно и неуместно.

К вечеру я поспешил домой и тотчас вышел в сад. Отилия действительно сердита на меня. Она не отвечает мне, отворачивается. Это вместо того, чтобы радоваться! Женские капризы не всегда приятны.

Вечером я побывал в моем старом трактире в Старом Месте и отлично развлекся! Все время я сыпал шутками, и все удивлялись моему бодрому настроению и тому, как я хорошо выгляжу. А ведь еще суток не прошло с того момента, когда я мог прямехонько угодить на катафалк!

Сегодня, надеюсь, мне будет отлично спаться!

Я проснулся очень рано... по вчерашней привычке! На душе у меня легко, как у младенца в теплой ванночке. Я вытянулся всем тельцем, протянул ручки и — бай-бай! — блаженно заснул до девяти часов.

Пришел доктор Енсен. Зачем он тут?.. Ну, погоди, получишь сюрприз, и еще сегодня!

Енсен с подчеркнутой сердечностью жмет мне руку и после нескольких неудачных попыток зажигает сигару. Потом он говорит, что должен мне объяснить, зачем он ходит сюда, чтобы это не показалось мне странным... Он снова подходит к столу за спичками.

Объяснить мне, зачем он сюда ходит? Точно я не знаю! Опять он стал к зеркалу, вот уж кокетка в брюках.

— Здесь, напротив вас,— начинает он,— в третьем этаже живет некий Провазник. Вы сами несколько раз упоминали о нем. Он два раза находился у нас на излечении, десять лет и восемь лет назад. С тех пор я, по просьбе его богатых родственников, периодически наблюдаю за ним. Недавно они снова попросили меня об этом. Я очень обрадовался тому, что вы живете в этой квартире, ибо должен наблюдать как можно более незаметно. Меня он знает и старается избегать: он ни разу не спустился в садик, когда я бывал в вашей компании, а ведь вы говорили, что он приходит туда каждый день. Он настороженно следит за мной, вот и сейчас он на меня смотрит, я отлично вижу его в вашем зеркале, он стоит за портьерой и лишь чуть высовывает голову. Но, судя по всему, что я видел и слышал, нет оснований опасаться резкого обострения психоза.

Я разинул рот и вытаращил глаза. Ка-ак?! И это все?

На душе у меня, правда, полегчало. Но одновременно я чувствую какое-то разочарование.

Доктор ушел. Мне хочется крикнуть ему вслед: «Видите ли, если бы вы даже... то я со своей стороны... я бы вам не мешал...»

Мне кажется, я никогда и не думал, что мы можем быть соперниками. Мне даже... Ох, и странные же существа мы, мужчины!

Я сухо и кратко объявил кондукторше, что выезжаю завтра к вечеру. Она выслушала меня, опустив глаза, и не сказала ни слова. Теперь она все время опускает передо мной глаза. Я все-таки укротил тебя!

Удивительно, что за все время я так и не видел кондуктора! Всегда это как-то не выходило... А впрочем, это к лучшему, мне было бы его жалко.

Отилия все еще сердится. Откровенно говоря, мне это почти безразлично. Я чувствую лишь легкую обиду. Я сообщил всем соседям в садике, что переезжаю, она отнеслась к этому спокойно, совершенно спокойно, словно я сказал, что со стола упала ложка. Странное создание — женщина!

Слава богу, что я не признался ей в любви!

Я побывал в своем прежнем трактире в Старом Месте. Общение с этими людьми меня освежает, и потом лучше ладится умственная работа. Итак, за дело, снова за дело! Сдам адвокатские экзамены и на всю жизнь избавлюсь от всяких экзаменов!

Мой переезд в полном разгаре.

У живописца общая потасовка и страшный шум. Он готовится писать второе письмо и снова прислал ко мне за бумагой. Я велел передать, что у меня все уже запаковано и я не знаю, где бумага.

Отилия режет в садике салат. Я хладнокровно созерцаю ее. Экая блеклая девица.

Пусть-ка Неруда посмеет показать мне еще какую-нибудь идиллическую повесть о Малой Стране!

ОЧЕРКИ
И
СТАТЬИ

ПЕРВЫЙ УРОК ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

— Послушай, в Старом Месте профессор Коубек учит чешскому языку — я там вчера был,— сказал мне товарищ из первого класса гимназии.— Пойдем сегодня со мной!

Учит чешскому языку! Это, должно быть, удивительно! И прекрасно!

Еще бы не прекрасно, если немецкий язык, который преподавали в приходской и начальной школе, был до отвращения непонятен, так что малыши-школяры не испытывали никакой радости ни от учебы, ни от чтения, ни от пения, зато, напротив, чешские сборники песен «Мелюзина» или «Фортунат» были бесконечно увлекательными! Подумать только — весь урок на чешском языке! Он представлялся мне чем-то вроде тех счастливых вечеров, когда мы с отцом и матерью пели: «Я уж наработался», или «Почему, Мария, ты так горько плачешь?», либо какую другую чешскую песенку, вызывающую сладкие слезы. И когда мой альт прерывался от подступавших слез, омрачался и отцовский тенор, и у матери вздрагивали губы, а из глаз... Ах, урок чешского языка должен быть поистине прекрасным!

Я едва дождался половины одиннадцатого — в этот час в те времена заканчивались утренние уроки. Из школы — бегом домой, чтобы испросить у родителей позволение и заодно набить карманы едой. Коубек давал урок с двенадцати до часу, и мы, жители Малой Страны, должны были поспешать на Старое Место не только из-за врожденного нетерпения.

Не чуя под собой ног, побежали мы по талому снегу в Клементинум. Перед входом в здание бывшего физического факультета мы остановились.

— Вот здесь учат чешскому языку,— сказал мой товарищ и осторожно открыл дверь. Внутри никого не было.

— Входи, мы пришли на четверть часа раньше.

Мы вошли. Огромный пустой зал, его величавые своды напомнили мне храм. Я на цыпочках последовал за своим приятелем, решительные шаги которого казались мне просто непристойными. Мы сели за первую парту и разложили свои школьные принадлежности, предназначенные для дневных уроков. Разглядывая три ряда скамеек, я с восторгом думал о том, сколько учеников может здесь поместиться.

В железной раскалившейся печурке весело потрескивал огонь, и это был единственный громкий звук, потому что мы едва отваживались говорить шепотом. «Давай погреемся»,— предложил мой товарищ и первым направился к печке. Я счел это дерзостью, но все-таки последовал за ним,— страшно было оставаться одному за своей партой.

— Тут всех называют господами,— объяснил мне товарищ.— Если профессор обратится к нам, то тоже произнесет: пан такой-то...

Я задрожал.

Вдруг скрипнула ручка, и двери распахнулись; вошел первый слушатель, молодой человек лет двадцати. Мы быстро побежали на свои места, а он, кинув на нас равнодушный взгляд, уселся где-то сзади. Потом пришел второй, третий, четвертый — люди всё молодые, но уже мужчины, а не дети. Какое почтение испытывал я к нашему учителю гимназии, а он учил всего лишь мальчишек! Как же трепетал я перед профессором, учившим взрослых мужчин!

Пробило двенадцать; с последним ударом дверь еще раз отворилась, и вошел профессор Коубек.

— Это он,— прошептал мой товарищ.

Все встали. Коубек поднялся на кафедру.

— Прошу сесть, господа.

А наш учитель всегда командовал по-немецки: «Niedersetzen!»[1]

Потом Коубек снял пальто и ясным, приветливым взором окинул кучку своих слушателей — нас, тех, кто в тысяча восемьсот сорок шестом году изучал в Чехии чешский язык, едва ли набралось больше двадцати человек! Какая разница между приветливым лицом Коубека и недовольными, строгими лицами учителей в нашей гимназии! Я сразу полюбил его, только боялся, вдруг он назовет кого-нибудь из нас паном.

Коубек сел, как-то смешно встряхнулся, словно хотел стряхнуть с себя остатки уличного холода, и посмотрел на нас. Вероятно, фигурки наши чем-то привлекали его внимание.

[1] Сесть *(нем.)*.

— Прежде чем начать,— сказал он,— я должен публично поблагодарить пана Гартмана за его прекрасное собрание чешских поговорок, которое он мне дал позавчера. Я очень внимательно его прочитал и должен признаться, что нашел кое-что новое и для себя. Вы нас очень обрадуете, пан Гартман, если продолжите свое начинание.— Коубек слегка поклонился. За одной из парт поднялся молодой человек и, тоже поклонившись, поблагодарил профессора.

— Сегодня мы повторим все то, что прошли в последний раз. Господа, не желает ли кто-нибудь из вас выйти к доске? Нет, не вы, пан Гартман, а вот, может быть, пан, сидящий подле вас?

Кто-то вышел к доске и начал писать фразы, которые диктовал Коубек. А мы писали их у себя в тетрадях. Потом профессор исправлял наши ошибки и давал объяснения, а мы исправляли вслед за ним, и, право, у нас было много дела.

— Видишь, я правильно поставил знак долготы над этим «а»,— шепнул мой товарищ.

Как я ему позавидовал! И начал ставить знак долготы над каждым «а».

Диктовка продолжалась приблизительно полчаса. Тем временем вода, которая по дороге натекла в мой рваный ботинок, стала мне досаждать. Это, очевидно, было чересчур заметно, потому что Коубек, прервав свои объяснения, спросил:

— Что там делает самый маленький пан? — Я вздрогнул.— Что вам мешает? — продолжал он.

— Туфеля,— робко ответил я.

— «Туфеля». Ха-ха! — рассмеялся Коубек.— А как бы вы сказали, если бы ударили кого-нибудь mit dem Stiefel? Ну, скажите по-чешски — я его ударил...

— Туфлей.

— Хорошо. Вы видите, господа, как свойственно каждому истинному чеху врожденное чувство родного языка.

Значит, я — истинный чех! И у меня есть что-то врожденное!

— Я принес вам, господа,— продолжал Коубек,— чешский перевод эпилога пушкинского «Кавказского пленника» и прочту его вам.

Он начал читать. Я не понимал содержания и схватывал лишь отдельные слова; но то, что я слышал, казалось мне таким возвышенно-прекрасным, что я готов был слушать, слушать без конца. Мне казалось, будто вокруг меня звенели серебряные колокольчики.

— Разве это не подлинный триумф поэзии? — закончил Коубек и поднялся.

Я не знал, что значит «триумф поэзии», но это выражение запомнил на всю жизнь.

Коубек первым пошел к выходу, мы последовали за ним. В дверях он остановился с Гартманом и, когда я проходил мимо, взял меня за руку.

— Откуда вы?

— С Малой Страны.

— А родились в Праге?

— Да.

— И выросли здесь?

— Да.

— Значит, пражанин ходит на уроки чешского языка? Ну что ж, прекрасно, приходите почаще. До свидания.

Я уходил с урока счастливым. Днем, в школе, я был очень рассеян: ни слова не слышал, меня вызвали, и я получил двойку, на которую впервые за всю мою школьную жизнь не обратил никакого внимания.

Но на уроки Коубека я ходил часто. Там декламировали чешские стихи, и я уверовал, что чешский язык — самый красивый в мире.

Два года спустя, в тысяча восемьсот сорок восьмом году, чешский язык был введен в Малостранской гимназии.

И я пережил свой «второй первый» урок чешского языка. Его вел Франтишек Болеслав Квет, в то время кандидат в учителя, молодой человек во фраке и белом жилете. Так элегантно не одевался ни один из наших учителей. Мы очень гордились Кветом и были убеждены, что чешский язык не только самый прекрасный, но и самый изящный.

«РЕВИЗОР» ГОГОЛЯ

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — так звучит эпиграф к «национальной комедии» Гоголя, и тем самым сразу определяется сатирическая направленность всей пьесы. Сейчас много толков о судьбе «Ревизора», а между тем описанные в пьесе события вряд ли могли произойти где-либо, кроме святой Руси, лишь теперь освобождающейся от многого, что ей мешает. Прелюбопытные вещи рассказывал мне один немецкий путешественник; правда это или нет, мы не знаем, но, во всяком случае, интересно своим правдоподобием. Говорят, что только после долгих мытарств было получено разрешение на постановку «Ревизора», ко-

торый попал в репертуар одной бродячей труппы. Директор труппы, большой пройдоха, прежде чем ставить в каком-либо городе эту пьесу, подробно расспрашивал о местных порядках и, применяясь к ним, всякий раз переделывал ее так, чтобы не задеть важных господ, но зло высмеять мелкое начальство. Не может быть более красноречивого ответа на творчество Гоголя, чем этот анекдот, свидетельствующий о том, как быстро реагируют на сатиру испорченные нравы. «Тартюф» Мольера эхом отозвался в «Прообразе Тартюфа» Гуцкова, может быть, и гоголевский «Ревизор» еще вызовет на Руси свой «Прообраз».

Гоголь изобличает не все человеческие слабости, встречающиеся повсюду, не безнравственность современных высших классов — он обращается к изображению русской бюрократической машины, он выставляет на осмеяние у позорного столба все, к чему привело Россию самодержавие. Какое множество кричащих, отвратительных красок знает чарующая поэтическая кисть Гоголя! Мы видим кровопийц — пиявок, совершающих именем правительства и властью, от него полученной, насилие тем более жестокое, что оно постоянно подогревается их собственной духовной скудостью, и это лишь подтверждает правдивость известного изречения: «Глупость и невежество — вот источник всяческой низости». Мы видим, что эти пиявки постоянно и подло враждуют между собой, что перед власть имущими они чувствуют себя еще более рабски и униженно, чем перед ними самими несчастный народ, доведенный до полного идиотизма растительного существования и несамостоятельности. А ревизор, который, как некая Немизида, грозит издалека этому миру чиновников, не может нас особенно порадовать: в этих людях, вопреки всяким страхам, живет надежда, что и у грозного ревизора найдется какой-нибудь из пороков, свойственных им самим в избытке, или, на худой конец, им удастся подкупить ревизора, и все пойдет по-старому. Видя, кроме цепи деяний российских чиновников и последствий этих деяний, также и мнимого ревизора в замечательном изображении Гоголя, мы не можем предположить, что он воссоздал отношения лишь в одном городке, отмеченном особым несчастием. Мнимый ревизор к своему собственному ничтожеству добавил еще и ту пустоту, которая легла на Петербург, «как пыльца цивилизации».

В «Ревизоре» Гоголь снова проявил себя большим художником, но на этот раз в его руках не кисть, а — бич сатиры. Однако нет сомнения в том, что если возможно так жестоко осмеять общественные отношения, как это сделал Гоголь, то это знак приближающегося возможного улучшения. Может быть, эта печальная «русская национальная комедия» кое-где все-таки начинает звучать и более жизнерадостно.

Содержание пьесы Гоголя давним читателям нашей газеты должно быть хорошо известно. Волею судьбы в захолустный русский городишко был заброшен Александр Иванович Хлестаков, петербургский чиновник, без гроша в кармане, без кредита и карточного везения. Он сильно задолжал в гостинице и поэтому не может ее покинуть, как не может и оставаться в ней дольше, поскольку хозяин отказывает ему в кредите. В это время городничему стало известно, что из Петербурга приезжает ревизор. Среди отцов города поднялась ужасная паника,— ведь за каждым водились грешки, и все опасались жалоб. Вполне понятно, что из-за всеобщего страха и смятения Хлестакова принимают за ожидаемого ревизора, и городничий наносит ему визит в гостиницу. Легкомысленный Хлестаков быстро сообразил, что его принимают за другого, однако ловко использует панику, чтобы найти выход из своих стесненных обстоятельств. Он переселяется в дом городничего, осматривает общественные заведения, выслушивает чиновников, храбро занимает у всех деньги, берет взятки и в конце концов делает предложение дочери городничего. И потом исчезает. В пятом акте перед зрителем предстает счастливый отец — городничий, принимающий поздравления с предстоящей свадьбой его дочери, мечтающий о дальнейшей карьере, о возросшей безраздельной власти, о новых доходах. Эти мечты внезапно разрушает местный почтмейстер, вскрывший одно из писем Хлестакова, где тот описывает приятелю свое приключение и дает характеристики всем его участникам. Ситуация достигает апофеоза комичности, и пьеса более или менее правдоподобно завершается тем, что прибывший курьер сообщает о приезде подлинного ревизора и вызывает к нему городничего.

Не следует удивляться тому, что отдельные положения нам кажутся знакомыми. Для русского театра они, бесспорно, оригинальны, а Гоголь должен был брать такие ситуации, которые ему подсказывала жизнь, не обращая внимания на то, что где-то подобные нравы уже изжиты. От национального писателя нельзя требовать, чтобы он воспарил над всем, что уже известно, и старался создавать свои произведения так, чтобы они были для всех и во всем всегда новыми. Гоголь прекрасно чувствовал сцену и умел проявить себя как самостоятельный художник. Об этом говорят многочисленные особенности его драматургии, в частности, доигрывание последней сцены четвертого акта «Ревизора» уже за кулисами. Не надо удивляться и некоторой схожести персонажей,— Гоголю нужно доказать «нравственное родство» большинства героев пьесы. В «Ревизоре» вполне достаточно превосходных характеристик, однако характеристик исключительно комедийных, легких, иногда фарсовых.

Говоря о постановке, мы отметим лишь, что общее впечатление от спектакля намного лучше, чем от отдельных исполнителей. Особенно удачным было последнее действие.

Исполнитель одной из главных ролей из-за аплодисментов долго не мог ничего сказать — это свидетельствует о любви нашей публики к чешскому театру, к плоду славянского искусства. В славянском искусстве мы не часто встречаем подобную гениальность. Зрителей было немного, но представление им понравилось, и они много аплодировали.

РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

I

Много дал бы я за то, чтоб увидеть *непогрешимого* папу,— потому что просто увидеть папу в Риме не составляет никакой трудности и не требует ни малейшего искусства. Но накануне провозглашения догмата о непогрешимости графа Маффеи, обычно называемого Пием IX, стояла прекрасная погода, барометру не приходило в голову предвещать долго ожидаемую бурю, соборная оппозиция даже не подозревала о том, что уже на другой день ей придется геройски обратиться в бегство, и мы уехали в неосновательной надежде, что, быть может, в Риме возьмет верх разум. Но на другой день небо вдруг заволоклось тучами, грянул и пошел грохотать гром, сверкнула и заполыхала молния, иезуиты учли обстановку, и через полчаса граф Маффеи сделался непогрешимым. Его покойная бабушка — согласно семейной хронике графа Маффеи, бедняжка была еще в Синигалье еврейкой — при этом померла бы от радости, а народ, говорят, ликовал и галдел так, что колонны Ватикана дрожали и струи фонтанов у собора святого Петра разлетелись в неприметную для глаза пыль. И не удивительно: семьдесят кардиналов, шестьсот епископов, шесть тысяч священников, пять тысяч монахинь, сорок девять облаченных в разноцветные мешки «сакконов», или братств, и определенное количество праздношатающихся римских бродяг чего-нибудь да стоят.

Были прежде и будут впредь папы только трех родов: достойные уважения, каковых до сих пор было очень мало; злые и жестокие, каковых было предостаточно; и юмористические, каковых было больше всего. На знаменитом Капитолии — знаменитом, в частности, и своими гусями — есть колокольня, чей колокол римляне страшно любят слушать. В него бьют, только когда наступает мас-

леница или когда умрет папа. Новая масленица сулит новое веселье, а новый папа — новый юмор! Пий IX принадлежит к третьему роду пап, и звуки, возвестившие о смерти Григория XVI, сообщили одновременно, что ему наследует величайший юморист девятнадцатого столетия!

Прежде всего, еще несколько лет тому назад, он создал бессмертную сатиру на отпущение грехов и все с этим связанное. Возле Латеранского холма есть часовня со святой лестницей, знаменитой «Scala santa». Собственно говоря, там целых три лестницы: две боковые, ничем не отличающиеся от обыкновенных, небожественных лестниц, и средняя, по которой якобы поднимался... Спаситель, кажется, к Пилату! По этой лестнице, ведущей в часовню, где показывают икону, написанную собственноручно... апостолом Лукою, и крайнюю плоть, оставшуюся... после обрезания Иисуса, можно всходить только на коленях, но зато один из предшественников Пия постановил за каждую ступень отпускать грехи на *девять* лет. При наличии двадцати восьми ступенек, это составляет $9 \times 28 = 252$ года, или шесть человеческих жизней! А Пий IX росчерком пера распространил это постановление на остальные две лестницы, так что, кто решит протащиться по всем трем, тот заработает отпущений на 756 лет своей жизни! Скоро придется заключить эти боковые лестницы в деревянный чехол, как это уже сделано с главной, чтобы сохранить их в целости.

Славная шутка, которой, однако, не удовлетворилось неистощимое остроумие графа, чье действительно красивое лицо до сих пор сияет безудержным весельем. Он опять взял перо, созвал девятьсот пурпурных и фиолетовых голосующих и заставил их признать его «непогрешимым». Лучшей шутки он уже не в состоянии придумать; ему теперь остается только умереть, как алоэ, выкинувшему свой гигантский цветок. Цезарь Веспасиан руководился принципом: «Цезарь умирает стоя»,— то есть за работой; а Пий руководится принципом: «Папы умирают смешно!» Ну, а смешней, чем теперь, ему уже не стать. Я — человек сдержанный, у могилы Игнатия Лойолы меня тоже разбирал смех, но я подавил желание смеяться; у саркофага Александра VI у меня так и чесалась нога, однако я не пнул его, ей-богу. Но видеть надгробие Пия IX, поставленное ему по его приказанию еще при жизни в одной из римских церквей, причем он, коленопреклоненный, благодарит там господа бога за свой изобретательский талант,— видеть все это и удержаться от смеха было выше моих сил: я хохотал, хохотал до слез.

В великолепной базилике святого Павла имеются медальоны всех *бывших* пап, а для *будущих* оставлено тридцать свободных мест. Этим будущим будет трудновато превзойти Пия в остроумии. Но, может, все-таки удастся. В Риме место святого духа занял

юмор — et maneat semper![1] Может, кто-нибудь из этих наследников Пия IX изобретет новую догму,— например, что граф Маффеи явился плодом непорочного зачатия!.. Что ж!

В свое время Калигула и Нерон тоже велели провозгласить их богами; мы считаем их время эпохой упадка. Но теперь Рим не падает, он пал и давно уже лежит. Нигде в мире не ощущается так мучительно пропасть между возвышенным духом христианских принципов и практическим их осуществлением, как в Иерусалиме и здесь, в Риме!

В этом повинно одно только духовенство, не римский народ. Хотя мы не слышали, чтобы по поводу нового догмата на капитолийском столбе «Марфорио» наверху появился ядовитый вопрос, а внизу наш старый знакомый «Пасквино» дал бы один из своих сатирических ответов, нередко метивших ватиканские лбы каленым железом, но римский народ об этом попросту не думает: chi lo sa (ибо знает) — вот его любимая поговорка в подобных случаях; и как раз возле того места, где возводится памятник нынешнему собору, каменщики устроили себе бассейн, в котором могут со всей невинностью умыть руки. Народ галдел при провозглашении догмата? Сущая santa simplicitas! У римлянина очень живой, шумный и детский нрав; религиозные празднества в Риме — празднества народные; во время их непременно *должны быть* шум, музыка, представления, фейерверк, а когда поднимается воздушный шар или взлетает ввысь ракета, все рукоплещут и ревут: «Un carvione nell'aria!» («Карп в воздухе!») Вот догма непогрешимости и была для них таким карпом.

Оппозиция на соборе выразила надежду, что эта догма рухнет. Наивные люди! Может, они напились воды из фонтана «di Trevi», по примеру всех суеверных иностранцев, и на этом основании полагают, что волшебная сила вновь приведет их в Рим. Знаменитый древний «forum romanum»[2] в ходе столетий превратился в «campo vaccino» — пастбище для скота; и нынешние римские площади со временем превратятся в нечто подобное.

II

У дороги, ведущей к катакомбам, стоит маленькая церквушка, которая носит название «Domine, quo vadis?»[3]. Согласно легенде, здесь держали апостола Петра, перед тем как утром распять его

[1] И да пребудет вечно! *(лат.)*
[2] Римский форум *(лат.)*.
[3] Куда идешь ты, господи? *(лат.)*

на «горе златопесчаной». Друзья устроили ему побег. Но, выйдя из узилища, он неожиданно встретил на дороге Христа. «Куда идешь ты, господи?» — остолбенев от изумления, спросил сын вифлеемского рыбака. «Venio iterum crucifigi» («Иду еще раз предать себя на распятие»),— многозначительно ответил Христос на церковном языке. Петр устыдился, поспешил обратно в узилище и утром, наперекор всем нынешним Ренанам, утверждающим, будто Рим и святой Петр никогда друг друга не видели, был распят на той самой «златопесчаной» горе, где до сих пор показывают оставшуюся от креста «единственную подлинную яму», где капуцины продают за полфранка намазанный клеем и покрытые этим золотым песком бумажки и где сейчас возводят памятник теперешнему собору — в ознаменование того факта, что в нынешнем году божественный разум был действительно вновь распят в Риме.

Хорошо было Христу являться святому Петру, зная и будучи твердо уверенным, что у того есть совесть. А из нынешних милых римских патеров он не явился бы никому. Подойди он к такому щеголю и скажи ему горестно: «Venio iterum crucifigi»,— щеголь, чего доброго, приподнял бы свою широкополую шелковую шляпу,— они еще довольно вежливы,— но ответил бы так: «Быть распятым? Это, наверно, очень больно; но вы, конечно, уже привыкли! Нам, слава богу, нет никакой надобности делать это; у нас обращение вполне терпимое; мы заставляем вас каждый день пресуществиться во время святой мессы и получаем от этого приличный доход, не тратя столько усилий, сколько те, прежние. Большой прогресс у нас также в деле духовного чинопочитания: вот уже несколько столетий, как братьям-доминиканцам за обедом прислуживают ангелы... Вы могли видеть это на иконе в одном ныне разрушенном — anathema sit! [1] — монастыре во Флоренции. А наш святой отец — вы не слышали? — стал теперь непогрешимым, как сам господь — да, да! Но простите, сегодня на Монте-Пинчио — военный оркестр и большое гулянье. Истинное наслаждение устроиться возле самого катанья на каком-нибудь деревянном столбе, как мальчишка на тумбе, и смотреть на фыркающих коней, на красивых дам... Ах, это настоящие модели древних Венер... Наслажденье изучать эти формы,— видно, у древних ваятелей был верный глаз,— смотреть на пышные тела римлянок, на их жемчужные зубки, тонуть в огне их черных глаз... Да вы сходите сами!..» Тут он изящным жестом перекинул бы свой шлейф через руку, надел бы пенсне и пошел бы, танцуя, дальше.

Танцуй, франтик! Целибат — скверная штука, бессмысленная, любовь мы тебе легче всего простили бы! Ведь Рим, говорят, сам

---

[1] Анафема! *(лат.)*

по себе — целый мир, но «без любви мир не был бы Римом». А очаровательные римлянки молят, молят любви: у августинцев прежде для этой цели была особенно популярна мадонна над могилой Рафаэля, но потом она как-то вышла из моды, и теперь изувеченная поцелуями нога ее отдыхает,— у августинцев вокруг Приснодевы Марии понавешено множество сердец из посеребренной жести, в других церквах их тоже превеликое множество, причем попадаются такие крупные, пухлые — просто диву даешься, помоги небо их нужде! Говорят, алчущие любви римлянки охотно принимают помощь от представителей духовенства, по крайней мере, возлюбленная Гете была вынуждена посвятить целый дистих клятвенным уверениям, что до сих пор ни один священник не познал ее ласки, «хотя, мол, этому в поповском Риме никто бы не поверил». Говорят, бывает даже борьба огненных южных страстей, когда, например, какая-нибудь Луна спешит скорей поцеловать тонзурованного Эндимиона — из опасения, как бы его не перехватила соседка Аврора. Впрочем, нравственность в Риме не так уж низка: у каждого античного Амура и Геркулеса имеется требуемый полицией фиговый листок, каждая обнаженная женская статуя в храмах одета в длинную жестяную рубашку, что особенно хорошо подчеркивает «невинность» статуи, а здешний приют для подкидышей не так велик, как, например, флорентийская «Casa degli fanciulli» [1], хотя римский простолюдин охотно берет себе оттуда жену, так что это учреждение вполне заслуживает еще большей поддержки.

Я собирался говорить о священниках, а заговорил о женщинах, и это могут поставить мне в минус. Я прекрасно понимаю всю трудность целибата и знаю, что «именно те, кто все время занят исправлением дороги на небо, не могут в то же время спокойно по ней шагать, а те, кто несет фонарь на палке, спотыкаются чаще, чем идущие позади».

Не будем строго судить слабых женщин,— даже самых слабых среди них. Меня нисколько не удивляет, что римские дамы летом носят соломенные шляпки а-ля кардиналь [2], а зимой плащи а-ля понтифекс [3]. Самые богатые магазины в Риме — ювелирные, где множество священнических бриллиантовых перстней, а также дамских парюр, и есть там другие богатые магазины, где имеются осыпанные бриллиантами ордена для родственников мужского пола, мужей и т. п. Тут много священнослужителей, наделенных молодостью, красотой, смелостью и предприимчивостью, много и таких, которые располагают деньгами и влиянием, вообще великое

---

[1] Дом детей *(итал.)*.
[2] В кардинальском стиле.
[3] В епископском стиле.

множество священнослужителей, и среди них — великое множество рыцарей удачи. В Риме духовенство выглядит совсем иначе, чем в других местах. В других местах духовное сословие выделяется среди «ученых сословий» тем, что в нем больше всего телесных и умственных уродов, неспособных никаким иным способом прокормиться, ни к какому другому званию не пригодных. Там господь бог получает для своей гвардии брак, а в Риме — самый первый сорт здоровых, элегантных юношей, «цвет народа»: здесь священничество — государственная профессия.

Рим — столица государства одностороннего, односторонностью которого объясняется его своеобразие. Есть государства бюрократические, государства военные, а тут — государство поповское. Там на авансцене — чиновничий вицемундир или военная форма, а здесь — сутана; там все средства поглощает чиновничья волокита или военная муштра, здесь — церковная иерархия. Даже лотерея здесь — под защитой церкви, при розыгрыше присутствуют знаменитые лиловые монсеньеры в полном облачении, чтобы можно было оттуда — прямо в алтарь; они сладко улыбаются с балкона министерства финансов на Монте-Читорио толпе внизу; «тянущий» — в белом священническом одеянии и все время крестится, глашатай выкликает номера по-церковному, нараспев, ему аккомпанируют церковные трубачи, народ взывает к мадонне и своим местным святым — душу наполняет благоговение! На месте бывших языческих храмов в Риме устроен не то храм, куда стекаются медяки и золотые со всего света, не то таможня, где взимают пошлину со всего — с твоих собственных фотографий, со старых ботинок, с пустых коробок, с каждого белого воротничка сверх дюжины,— словом, решительно со всего. Зато министр Мероде обладает несметными богатствами, а министр Антонелли, выйдя из папского покоя согбенным, в прихожей сразу гордо выпрямляется и, стройный как тополь, идет покупать кому-нибудь из своих родственников, любезному еще с тех времен, как сам он был мародером, какой-нибудь римский дворец. Умное, выразительное, энергичное лицо! Если б Антонелли обладал самоуверенной элегантностью кардинала Бонапарте, я поверил бы, что ему без труда удастся завоевать весь мир. Но, конечно, воспитанием он похвастать не может.

Как в бюрократическом государстве просвещению препятствуют бюрократы, так здесь это делают священники. Конечно, не только здесь,— и в других местах ряса застит солнце просвещения, но итальянский, римский священник, как правило и в преобладающем большинстве своем, совершенно невежествен. Рим отстал от остального мира на целое столетие. Единственное, чем он теперь выделяется в умственном отношении, это искусство, жизнь римских

художников, обилие римских художественных коллекций, но и тут во всем чувствуется давление духовенства; так что если хочешь пользоваться целиком плодами искусства и чистой человечности, то поневоле воскликнешь: «Пожалуйста, отстраните хоть на минутку эту рясу!»

Еще в Неаполе мы забавлялись тем, что заключали пари: кого будет больше в следующем омнибусе — священников или «мирян». В Риме угадать не составляло бы хитрости, если б только там были омнибусы. С тех пор как объединенная Италия разрушила все монастыри, здесь так и кишат сутаны. Сутаны всех цветов и всех фасонов: поношенные — таких мало, и элегантные — таких пропасть. Иногда вся улица усеяна сплошь одними священниками. Занятная, пестрая картина! По тротуарам расхаживают господа в темно-лиловой или светло-лиловой одежде; солнце на все свои фиалки не тратит столько лиловой краски, сколько Рим на воротники и ленты! Все толстые, тучные,— в Риме, говорят, каждый должен стать «солидным». Поминутно останавливаются — перевести дух и вытереть шелковым платком обильный пот со лба, не обремененного мыслями,— платок они всегда держат в руке, как святая Вероника свой sudarium [1]. За ними и вокруг них пенитенциарии в красных шелковых одеждах, монахи в белых, бело-черных, светло-коричневых, серых и черных рясах, с белыми, черными, красными и красно-голубыми крестами, с капюшоном, с черной или ярко-зеленой широкополой шляпой либо с шапочкой на голове, а то и вовсе без головного убора, с разнообразнейшими тонзурами. Черные и серые монашенки пробираются парами, щебеча; семенят мелкими шажками, словно танцуют, капуцинки. Вдруг поток что-то задержало: приближается карета одного из семидесяти римских «наследных принцев» (каждый кардинал может быть избран папой, правителем государства). Карета, большая, вся красного цвета, с восседающим высоко над ней, как на наших омнибусах, кучером, останавливается возле церкви. Два лакея спрыгивают с запяток, открывают дверь, снимают с крыши в сложенном виде обязательную принадлежность каждой кардинальской кареты — пышный красный дождевой зонт. Сперва выскакивают двое служек, за ними вылезает кардинал, весь красный от головы до пят, как англичане во время зимней охоты на лисиц в римской Кампанье, и с красным лицом, так как «вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои не будут пить» было действительно только в древнем законе левитском. Один из священников, с большой красной подушкой в руках, бежит скорей вперед, к церкви, чтобы его преосвященство ненароком не преклонило колен на некрасное; другой пристраивает

[1] Плат, покрывало *(лат.)*.

большую, тоже красную, шляпу на спине кардинала и с пресмешной набожностью снова откатывается на предписанное расстояние с левой стороны. Кардинал, благословляя окружающих, входит в церковь, карета отъехала, поток течет дальше. Толпа мальчиков в длинных черных кафтанах и с лигурийскими шляпами на головах,— это воспитанники разных учреждений,— семенит словно стая индюшек, перед своим духовным руководителем. Лениво бредут за ними в два ряда сынки богачей, все как один в цилиндрах, черных фраках, черных брюках и белых перчатках — как в мундире. А вот старшие ученики иезуитской «пропаганды» выбегают, громко споря, из какого-то сада, одетые все, как духовные, но поразному: немцы — красные, как рак, греки — синие, как море, ирландцы — в черных одеждах с алой оторочкой. За ними катится, тяжело дыша, толстый капуцин и тащит на поводу нагруженного мешками осла. На обнаженной голове капуцина блестит огромная тонзура, волосы сбриты не только на темени, но и от шеи вверх на затылке, так что остались только посредине, между шеей и теменем, и лежат вокруг головы толстой черной колбасой. Говорят, именно такие прически особенно угодны господу богу!.. Потом опять монах, пенитенциарий, каноник, аббат, «пропаганда»...

III

Первоначально как раз образованность подняла духовенство на высоту. В трудные времена церковники снабжали королей духовным оружием в их борьбе против простого народа, а теперь из-за этого же оружия падают все ниже, так как оно выбито у них из рук. Верней, они, разжирев и обленившись, сами выпустили его. Уж так повелось:

Haette man Sct. Paulen ein bisthum geben:
Poltrer waer worden ein fauler bauch,
Wie caeteri confratres auch [1].

Церковь застряла в средневековье, как папские «швейцарцы», облаченные в вильгельм-теллев мундир с прорехами. И, само собой понятно, римское население тоже ни на лучик не просвещеннее. Еще сто лет тому назад один путешественник писал о римлянах: «Это люди, вышедшие непосредственно из природы, которые, среди религиозных ценностей и блестящих произведений искусства, ни на волос не изменились против того, чем они были в пещерах и лесах». С тех пор перемен тоже не произошло.

---

[1] Если бы святому Павлу дали епископство, этот обличитель стал бы ленивцем, как и другие братья *(старонем.)*.

Римляне — дети, а патеры — их нянюшки — «рассказывают им страшные сказки, чтобы замолчали, и веселые, чтобы рассмешить, а разум убаюкивают, чтобы не убежал от розги». Миллион мыслей будит в человеке образованном слово «Рим», а в римлянах оно вызывает просто представление о родине, месте рождения. Для них не имеет никакого значения, что они родились на месте античного Рима: им это просто невдомек. Иностранцы, главным образом французы, сделали несравненно больше для обнаружения и сохранения древнеримских реликвий, чем папская власть, которая, к чему ни прикасалась, все портила, как испачканная чернилами рука ребенка, трогающего гипс: прекрасный языческий храм нелепейшим образом вдруг переделали в нашу церковь, уничтожив всю его былую красоту; на очаровательную колонну Трояна Сикст V поставил отвратительную статую святого Петра, гробницу в церкви Марии Авентинской, украшенную барельефным изображением Гомера, Пифагора и муз, бесцеремонно заполнил своей персоною некий епископ Спинелли; к великолепному Колизею прилепили двенадцать жалких часовенок, изображающих крестный путь; а расставленные на площадях в виде украшения многочисленные обелиски превратили в безвкусные, просто неприличные и совершенно не нужные пьедесталы для художественных нелепиц, укрепив к тому же на вершине каждого из них крест, чтобы можно было надписать, что он всюду торжествует. Для того, кто видел на Востоке сотни бывших христианских храмов, где полумесяц и в переносном и в буквальном смысле торжествует над крестом, это выглядит неубедительно, но римлянин мыслит иначе. Точно так же ничему не научится римлянин и не испытает чистого наслаждения, глядя на свои «христианские» здания, первоначально во многих случаях очень удачные. Внешние очертания их словно изломаны многочисленными, по большей части скверными статуями и другими придатками, а внутреннее пространство обычно страшно загромождено; стены покрыты мраморной мозаикой, которая, в силу разнообразия природной окраски, производит определенное впечатление дисгармонии; колонны покрыты позолотой и красным шелком, а во время частых празднеств тысячи огней покрывают копотью бесценные холсты.

Мелочное благочестие и зрелищность всюду берут верх. Коротко сказать, с народом здесь обращаются, как с неразумными детьми. Например, по части чудес и всяких явлений нет места на свете богаче Рима; в отношении этих диковин он уступает только Иерусалиму! Более того: тут все — сплошное чудо. Показалось папе, что пошел снег, а он и в самом деле пошел,— строят большую церковь Мария Маджоре! Уколол папа себе палец, и кровь окрасила платок,— заказывается на эту тему большой алтарный образ для

собора святого Петра. Дивные дела! В одной церкви показывают знаменитый плат святой Вероники, а в другой — ларец, в котором этот плат будто бы хранился. Потом терновый венец Христов; потом гвозди, при помощи которых он был распят. Потом кедровый алтарь, перед которым святой Петр всегда... *служил* святую мессу, кедровый трон (в чехле), на котором святой Петр... восседал в качестве первого римского епископа, а также кандалы, которыми он был скован в Иродовой темнице, и другие его кандалы — уже из римской темницы. Потом ясли, в которых лежал новорожденный Спаситель, столб, давший трещину в момент смерти Христа, веревка, на которой повесился Иуда, и т. д., и т. п.

В церкви святого Августина мы рассчитывали также увидеть знаменитую ступеньку лестницы из сновидения Иакова и перо из крыла архангела Гавриила, но благочестивый старый патер, видимо, нашел, что мы не достойны.

Вся эта показная мишура совершенно чужда подлинному благочестию. Иезуитская пропаганда не имеет ни малейшего успеха, римский «дворец конвертитов», то есть обращенных в христианскую веру, подолгу безнадежно пустует, да и сам римлянин совершенно не обнаруживает религиозного рвения. Правда, у статуи святого Петра, в соборе его имени, бронзовые пальцы ноги почти совсем стерты поцелуями, но прикладывающиеся продолжают при этом как ни в чем не бывало судачить с соседом. Правда, в Риме тысяча двести церквей и среди них в четырехстах служат мессу; но только в десяти — самое большее — есть на чем сидеть, так как, расположившись с удобством, молящиеся занимались бы болтовней. Правда, вокруг кафедры сидит на соломенных табуретах и в самом живописном беспорядке масса народа; но все захватили с собой завтрак и закусывают им слово божье. Правда, после проповеди каждый сейчас же встанет возле своего стула на колени и простоит так всю обедню, но при этом им нужно петь на хорах оперные арии, играть польки и вальсики. Правда, пока не отзвучит вечерний благовест, не начнется катанье; но шум последнего не станет церемониться с самым торжественным богослужением в соседнем храме. Правда, даваемое благословение принимается с радостью; но тринадцатого июня к церкви святого Антонина сгоняют лошадей и ослов со всего Рима, чтоб и они получили свою долю благодати. Правда, на каждых похоронах присутствует какое-либо из пятидесяти римских «братств», в том или ином цветном мешке с проделанными в нем дырками для глаз; но благочестивая братия по дороге проказничает, пугая девок. Римская набожность принимает великолепные по своей наивности формы. Вот пример. Загорелся дом, вся семья за городом, дома только грудной ребенок да большая обезьяна. Обезьяна убежала на крышу, захватив с собой

ребенка, и тем спасла его. Из благодарности к этой бессловесной твари на крыше поставили статуэтку... Мадонны, и перед ней горит неугасимая лампада. В любом другом месте это сочли бы величайшим кощунством.

В полном смысле слова религиозных римлян нет, но и свободомыслящих тоже нет. «У них тут такой большой сумасшедший дом, что, надо думать,— найдется и немало разумных»,— сказал мой товарищ. Но он забыл, что римляне — настоящие дети. В остальной Италии не так. Тут можно слышать, как народ спорит со священником о религии, сражая вспотевшего патера разумными доводами. Вслед ненавистным кричат: «Neri, neri» (черные), демонстративно вытирают пиджак, если его задела ряса, и поспешно вскакивают на верх омнибуса, заметив, что какой-нибудь патер собирается сесть на свободное место. Добродушный римлянин на такие резкости не способен.

IV

Солнце довольно давно уже вышло из-за гор Альбано, воздух давно уже разогрелся, а только теперь лениво открываются городские ворота. Деревня спешит в город — на заработки. На маленьких телегах везут зелень, а запряженные в них поджарые лошадки с большими пучками перьев на голове весело позванивают, будто ведут за собой весь мелкий скот Кампаньи. Красивые, статные альбанки, тараторя, спешат со своим товаром на голове — на рынок. Движения этих горянок полны непринужденной грации, повседневная грязь не может скрыть красоты их лиц. Но на голове у них четырехугольная, спускающаяся далеко на спину римская головная повязка,— убор, правда, довольно живописный, но все же далеко не такой изящный, чтобы им гордиться, как это делают они, когда, поступив нянями или кормилицами в римские семьи, под вечер разгуливают в таком виде со своими питомцами среди элегантной публики на Монте-Пинчио. Или же голова у них совсем не покрыта, и густые, как лес, иссиня-черные волосы их уложены в такую смелую прическу, что любая парижская дама полусвета могла бы позавидовать, а на шее — большая стрела или огромный серебряный цветок, с которого на цветной шнурованный корсаж и пышные бедра падают яркие ленты,— нет ничего удивительного, что самый старый патер не выдержит, начнет гладить ребенка по щечке и расспрашивать нянюшку о ее житье-бытье.

Медленно и печально тащатся со своими сырными кругами пастушки из ближайших деревень Кампаньи. Глаза у них тусклые, лица желтые, животы вздутые; это натворила пресловутая

малярия, страшный бич римских окрестностей. Можно сказать с уверенностью, что нет в Старом Свете города, который был бы так скверно, гнусно расположен, как Рим,— на глинистом, отвратительно грязном Тибре, который то затопит все кругом, то опять превратится в ручей, и в болотистой местности, над которой все время как будто растопленное олово. Ромулова волчица имела тут вполне удобное логово, но как только потомки Ромула немножко встали на ноги, так сейчас же стали расселяться во все стороны вокруг города, предварительно втянув жителей этих мест к себе в Рим, так как решительно предпочитали жить в провинциальном городе, чем в центре империи. Малярия — проклятие этого края: из-за нее богач не имеет возможности в сумерки понежиться у себя в саду, в беседке; на закате виноградари спешат на ночлег в город, а население Кампаньи искалечено, еле ползает. Римские больницы всегда переполнены, лечебница, где каждому выздоравливающему в течение трех дней бесплатно отпускают питательные блюда, непрерывно осаждается; у врачей и санитаров — буквально лихорадочная работа. И в способах лечения здесь — вековая отсталость; наиболее распространенное средство — пускание крови, и чуть не на каждой улице — большая вывеска, на которой нарисованы обнаженная рука или нога, фонтан крови и стеклянная посудина, извещающие о том, что здесь человечество подвергают пытке.

Торговцы, в преобладающем большинстве своем прибывшие откуда-нибудь из бесчисленных имений банкира Торлони, этого «римского Ротшильда», разбежались по всему городу, его монастырям и трактирам, рыбаки разнесли в плетенках, которые, подобно мельничному колесу, всю ночь погружались в воду и снова поднимались вверх, омываемые, движимые и вращаемые водами Тибра,— все, что собственноручно выловили, и на сегодня Рим обеспечен. Ставни и окна открываются, всклокоченные женские фигуры в расстегнутых платьях или в одной рубашке, а то и совсем голые, высовываются наружу и вытряхивают простыни и подушки так основательно, что стоит тебе перейти улицу, как по твоим брюкам забегали блохи, словно муравьи по лесной тропинке. Скрежещет замок в церковных дверях, они медленно раскрываются, оттуда выходит, зевая, церковный сторож и, посмотрев по сторонам, снова и снова зевает. Нищие с жестяным номером на груди ковыляют каждый на отведенный ему полицией пункт. Двери домов скрипят так, словно сто лет не смазывались, запыленные окна «студий» (мастерских) — живописцев на шестом этаже, скульпторов на первом — отворяются, чтобы немного проветрить помещение. На улицах начинается жизнь; вот уже открылись магазины, киоски, кафе. Несколько столиков выставляются наружу, на тротуар, и их тотчас занимают художники всех специальностей: в Риме есть

художники самых узких профессий, скульпторы, отлично выделывающие одни только волосы или только арабески и т. д. В праздник или в воскресенье, несколько позже, придет римский обыватель с супругой, с дочерью и сядет с ними вот так, перед кофейней. Папаша пьет «умбру» (черный кофе), чтобы облегчить тяжелое похмелье после вчерашнего «vino padronale» [1], мамаша спрашивает себе «caffe latte» (кофе с козьим молоком) либо «aura» (молоко с небольшим количеством кофе), а дочка не получает ничего, так как идет на прием и с головы до пят вся в белых кружевах и тюле.

Теперь Рим уже зажил полной жизнью, кипит, работает. Если хочешь воспользоваться удобным случаем, пройди по мастерским, где производят мозаику и мраморные украшения,— отрасль промышленности, в которой римляне — большие мастера. Долго ходить не придется: полдень не успел наступить, как уже «сиеста».

Солнце жжет, как огонь, ставни опять плотно закрыты, мастерские понемногу затихают. В кофейнях разлеглись на диванах спящие официанты, и от них ничего не добьешься, плати хоть втрое. В воротах домов прячутся от жары и нюхают табак полуголые женщины — каждая римлянка старше двадцати четырех уже нюхает табак. На улице голубь не пролетит, и полицейские, похожие на нашего Крштина из «Призыва в Коцоуркове», безмятежно дремлют где-нибудь в холодке. В течение трех-четырех часов все мертво.

Но вот опять все оживает на «семи холмах». Женщины побежали с корзинками и горшками — покупать на обед у соседнего «frigitore» [2], потому что ни один римский ремесленник и рабочий не варит обед дома. Возле винных погребков собираются военные и штатские, играют на вино, выкрикивая разные числа: это «мора», в которой выигрывает тот, кто десять раз угадает количество пальцев, выпрямленных одновременно на правой руке у двух играющих вместе. Целые семьи тянутся к старой или новой Аппиевой дороге, чтобы в ближайшей крытой глиной и камышом кампанской таверне подкрепиться знаменитым «Эст-эст»; а другие — к мосту, возле которого Константин некогда разбил Максенция и где теперь находится единственный приличный загородный ресторан. Все они вернутся рано и трезвые — не потому, что мало выпили: римлянин пьет много, очень много,— а именно потому, что способны много выпить, несравненно больше, чем несчастный немецкий епископ и пьяница Фуггер. Бедный благородный Фуггер. Он

---

[1] Выпивки в честь патрона *(итал.)*.

[2] Ресторатора *(итал.)*.

ехал в Рим, послав вперед лакея, который должен был всюду заранее пробовать вино, и останавливался во всех тавернах, где лакей написал на стене «Est» (есть, подразумевая: «хорошее»), а когда добрался в конце концов до таверны, где было написано «Est-est», так совсем упился.

Но вот с Монте-Пинчио, где когда-то жил чревоугодник Лукулл и была повешена образцовая прелюбодейка, жена Клавдия — знаменитая Мессалина, донеслись звуки военного оркестра; а ниже, на Корсо, в сумерки, после вечернего благовеста, сейчас же начнутся катанье и прогулки. Самое большое оживление — в конце Корсо, где на площади возле колонны Марка Аврелия тоже играет оркестр. Но оно тоже длится недолго. Только пробьет одиннадцать, оркестр умолкает, народ разойдется, витрины магазинов погаснут и хозяин кафе выпроводит каждого своим постоянным:

— Закрываю!

Улицы быстро пустеют, и нищий исчезает в каком-нибудь грязном притоне, предоставляющем ночлег всем без разбору. Через полчаса улицы словно вымерли, городом овладели мрак и сон.

Ты лежишь на своем ложе и чувствуешь, как тебя кусают, жалят, мучают сотни насекомых. Не в силах заснуть, прислушиваешься к царящей на улицах тишине. Вдруг где-то скрипнуло окошко и что-то выплеснулось на мостовую,— верно, целая лохань... Храни тебя небо, бедный путник!

V

Мне досадно, что я — тысяча первый путешественник, вынужденный охарактеризовать Рим двумя словами: «город противоречий». Но ничего не поделаешь: Рим именно таков; краски его разнообразны, как на мозаичном столике. Таким он стал в результате двух с половиной веков своего существования, в течение которых непрерывно росло его своеобразие, а также, если угодно, его занимательность и красота: молодая пиния тоже ничего собой не представляет, только старая радует глаз своей причудливой развесистой кроной. Шагнем в любом направлении — противоречия сразу обступят нас, религиозные, исторические, социальные, политические, и если мы хотим как следует описать Рим, то тут уж придется примириться со стилистической пестротой и всякими назойливыми «но». Вместо описания получится ряд маленьких эпиграмм в прозе, то есть опять-таки мозаика.

Рим является главным центром, основным местопребыванием «христианской любви», но тут из года в год, и как раз в пасхальную ночь, с церковных кафедр гремят торжественные проклятья

всем христианам-некатоликам. Богу любви построено здесь больше тысячи храмов,— но в самом величественном из них в пол вделан большой драгоценный камень, чтобы на него становились папы, когда они кого-нибудь проклинают, посылая в тартарары. Говорят, что огромный собор святого Петра построен с той целью, «чтобы размеры его вызывали ощущение бесконечности и освобождали мысль от оков повседневной суеты»,— но внутри этого собора с мелочным самодовольством отмечено, на сколько каждый большой храм мира меньше его, и это для всех меньших — позор. Пий IX поставил в маленькой церквушке на Яникуле памятник поэту Тассо,— но на стене этой церквушки красуется картина Доменико, где изображено, как ангел вырывает у читающего святого Онуфрия из рук Цицерона. Еврей не имеет права ни за какие деньги выйти из своего гетто,— но в каждом новом храме ставятся подаренные вице-королем Египта, магометанином, колонны из египетского алебастра. Савонаролу здесь теперь почитают,— но церковку Мария-дель-Пополо, в которой однажды произнес проповедь Лютер, каждый год заново кропят святой водой. Утверждают, что христианское искусство стоит выше чувственного античного,— но христианское искусство возвысилось на картинах Ватикана до выматывания кишок из человеческих тел при помощи ворота, а фрески в Сан-Стефано Ротондо изображают целую живодерню: тела, разрубные на части, глаза, наполовину выступившие из орбит, и всякие другие прелести.

Очень часто противоречия эти сближены здесь с прямо-таки древнеримским юмором, который таким же образом поставил триумфальную арку рядом с рынком скота. Древность, средневековье и новое время смешались здесь в какой-то арлекинаде; из-под фундаментов современного Рима выглядывают обнаженные комнаты и кухни древнего Рима, а побеленная в новое время стена возникает над покрытой фресками и веселыми красками старой. На башнях двое часов: одни показывают, который час по-современному, на других сутки отсчитываются по-средневековому, начиная с вечера. Швейцарская гвардия папы облачена в абсолютно средневековые мундиры, но на головах у нее — прусские каски с острием. Умер кардинал: похороны великолепные, даже сверх меры, сплошь золото и серебро, шелк и пурпур, но тело столь торжественно провожаемого в последний путь несут четыре... взятые откуда-то с улицы оборванца. И всюду, во всем — такое же сочетание контрастов.

Перед главным алтарем служится панихида за упокой души несчастного Максимилиана, перед боковым — молебен о здравии Хуареса, а у входа церковный сторож продает фотографии обоих. Нигде в мире нет, беря пропорционально, столько полиции, как в

Риме, и нигде в мире не обеспечен такой простор разбойникам, как опять-таки там. Папская власть называется «ara animarum», прибежище душ, а монастыри, такие, как Санта-Мария-ин-Ара-цёли, заняты наполовину францисканцами, наполовину пехотой. Папская власть является якобы «подлинной властью народа», а папа вынужден, ради собственной безопасности, нанимать в войска одних иностранцев. И он знает почему... Ведь на стенах флорентийского парламента отмечено количество голосов, поданных в каждом месте, где бы то ни было, за и против объединения Италии: соотношение примерно двух миллионов к единице; и для римского итога там оставлено место. Римские политические тюрьмы теперь все время полны, в них успели перебывать самые удивительные люди,— так некогда апостол Петр сидел в тех самых стенах, что Югурта, Катилина и другие. Правда, теперь сидят одни образованные, народ еще не пришел в движение, но он быстро созревает и — кто знает, какая участь ждет Пия! В соборе святого Петра есть мраморная гробница — «ожидальня пап»: в ней мертвое тело папы ждет, когда его сменит мертвое тело его наследника. Теперь там лежит Григорий XVI. «Ему придется долго ждать!» — сказал в этом году Пий. А может, и совсем не дождется?..

Многочисленные противоречия Рима могут вызвать к нему отвращение, это правда; но правда и то, что они могут привести и к серьезным исследованиям. Там, где действовал Катон, произносил речи Риенци и стал непогрешимым Пий, найдет достаточно стимулов для мысли тот, кто вообще способен мыслить и... только нуждается в каменных и глиняных стимулах. Гете говорит: «В других местах мы читаем историю от внешнего к внутреннему, а здесь от внутреннего к внешнему». Это можно сказать также о Париже и о всяком месте, вошедшем в мировую историю. Где бы мы ни находились, мы, читая, отовсюду переносимся в Париж, а находясь в Париже, переносимся в мир, на который столь часто он оказывал такое огромное влияние. И кто направит свои мысли на эту всеохватывающую римскую мозаику, кто сумеет привести все это в систему, развернув перед своим умственным взором последовательную вереницу исторических картин, короче говоря, кто сумеет подняться здесь на ту высоту, с которой открывается настоящая перспектива, для того эта огромная умственная работа покажется, конечно, такой привлекательной, что к нему будет вполне применимо другое изречение: «Уезжая отсюда, желал бы быть только-только приехавшим».

Вообще — история как море: «чем дальше от берега, тем глубже», и человек поступает правильно, «целые годы храня обет пифагорейского молчания»... но вообще *в истории,* а не только в Риме, как требовал Гете. Что «только в Риме можно подготовиться к

Риму» — в высшей степени справедливо также в отношении искусства. Сокровища ватиканских и капитолийских собраний — единственные в мире, и изучающие их с искренним благоговением образуют здесь государство в государстве, круг Зороастров, попасть в который — неизъяснимое наслаждение. «Уезжая, желал бы быть только-только приехавшим».

ЖИЗНЬ НА МОРЕ

I

Черт бы их побрал,— орут так, что разбудили... А я еще, кажется, не выспался... Ах, в этом проклятом ящике и потянуться-то нельзя!

Вверх, вниз... вверх, вниз... так и качает! То головой кверху сидишь, то ногами. Недостает только, чтоб еще справа налево; сто раз бы перекувырнулся!.. А там орут. Будто целая ярмарка разодралась, либо сто чертей из-за грешной души спорят, либо по меньшей мере два десятка лодочников свои дружеские услуги предлагают. Да, мы ведь под утро пришли в какой-то большой порт... Наружу, мой друг... Немножко решительности!

Так, славно я расположился: сам — на полу, ноги — на постели! А в общем, и в нижнем этаже тоже неплохо... Ну вот, стою... Удивительное дело, но — стою... Приходится держаться, как малому ребенку... Как там в ящике надо мной — уже пусто или спутник мой еще спит? Да, спит, лежит себе за зеленой занавеской, как младенец в качающейся люльке, щечки розовые. Хорошо, что у нас в каюте только две койки, одна под другой, а противоположной стенки — нету. А то во время бури получился бы винегрет из людей и вещей!

Ага, окно каюты открыто, оттого и крик так слышен! Но как это неосторожно! Ведь случись буря, мы бы уже давно плавали, хоть окошко и крохотное. Перебираюсь к нему, держась за все выступы. Сперва шагает рука, за ней тело, а уж за телом — нога... Ах!

Восход солнца! Мысль замерла, очарованный взгляд потонул в дивном великолепии. Хоть тысячу раз любуйся восходом солнца, когда небо ясное, на море штиль и весь горизонт открыт, впечатление никогда не притупится, всегда будет новым, небесно ясным! Солнце словно только-только вынырнуло из моря,— лишь узенькая голубая полоска отделяет его от белоснежного горизонта. Оно совсем маленькое, как серебряное блюдце для фруктов, и горит про-

зрачным пламенем, похожим на пламя газовых рожков. Блестящая риза его распространяет свое сияние вширь и вдаль по всему морю, покрывая его ослепительно-белым кружевом, покачивающимся жемчужинами, которые сами сверкают, как маленькое солнце. Радостные лучи целуют чело вод и, целуя, в восторге дрожат, как губы юноши, впервые касающиеся губ его первой возлюбленной. И невеста тоже охвачена трепетом. Ее грудь вздымается от наслаждения,— белая грудь, покрытая золотыми розами!

Святое море, святое небо! Вы так огромны, так величественны, что при вас каждая мысль становится гимном, молитвой. Каждый вздох словно наполнен вольным простором, в каждом ударе пульса слышится шум гигантских орлиных крыльев. Изумительно вырастает человек в этом безмерном величии...

— Скажи, ты будешь сейчас умываться? А то давай я выйду и умоюсь первый.

— Знаешь что? Ты слезай, и коли не свернешь себе шею, так подержи меня, пока я буду мыться. А потом я подержу тебя! А то просто не знаю, как справиться с этим делом.

Но мой приятель, взявшись за спинку койки, еще раз потянулся.

— Черт возьми, как качает,— проворчал он.— По-моему, это ты нарочно делаешь: качаешь пароход, чтоб я не мог слезть.

Вот оно что получается: и рад бы умыться, да как?

Хотя на умывальнике все было укреплено при помощи железных обручей, чуть не половина воды из кувшина выплеснулась. Я вылил оставшееся в таз и, держась либо опираясь одной рукой, другой умылся, как кошка. Белью досталось больше воды, чем телу: через минуту я был спереди весь мокрый, как из-под водосточной трубы. А потом — вытиранье, смена белья, обуванье, одеванье — сколько операций, столько этапов мучительного крестного пути; левый ботинок — первое падение, лбом об дверь — и никакого Симона рядом; первая штанина — вторичное падение, кровопролитное, и при этом — смех у противоположной стены! Ну постой!

Наконец я, одетый, взялся за дверную ручку, благополучно отворил тяжелую металлическую дверь, хотя мне удалось сделать это лишь наполовину, и, пробираясь от одной дверной ручки до другой, доковылял по коридору до винтовой лестницы.

— Доброе утро!

— Здравствуйте, барышня!

Вижу, как толстая горничная, только что вышедшая с «женской половины», поспешно хватается за поручни.

— Москиты не беспокоили?

— Откуда им быть?

— А у нас пропасть. Пароход пришел в полночь, и они, видно, с берега налетели. А у вас, на другой стороне, было спокойно. Это зависит, как судно встанет.

— А где мы?

— В Мерсине.

Ага, Мерсин в малоазиатской Киликии. Не очень соблазнительно. Сперва надо закусить. Я пошел в салон.

— Что вам угодно? Чаю, кофею? — спрашивает буфетчик Андрей.

— Что меньше расплескивается!.. Ох! — вскрикнул я от боли.

Спинки диванов вокруг столиков — откидные, их можно наклонять вперед и назад, смотря по тому, хочешь сесть за стол или ходить по салону. Судно неожиданно покачнулось, я схватился было за спинку, а она наклонилась и прихлопнула мне палец к столу.

Но вот я сижу основательно, только — половина кофе с молоком у меня на столе и в носу. Не беда, зато другая половина наверняка в моем распоряжении. Грызу белые, но твердые, как камень, сухари и смотрю кругом. Эта божья матерь на столбе посреди салона как будто все время кивает мне головой, вся икона как-то шаловливо-непоседлива, словно ей надоело висеть одной и приятно мое присутствие. Видимо, из всех пассажиров я поднялся первый — разве только остальные уже «на крыше».

Наше судно — пароход, принадлежащий русской компании,— очень комфортабельно. Салон, на очень многих, особенно французских, пароходах расположен под палубой, здесь поставлен на ней, но так, что, обойдя вокруг него, можно попасть опять на нос. Крыша салона в хорошую погоду служит столовой, а главным образом — как место прогулки для пассажиров первого класса. Но на лестнице, которая туда ведет, нет обидной надписи о том, что, если сюда подымется кто-либо из пассажиров второго или третьего класса, он должен немедленно доплатить разницу в цене билета первого класса,— надпись, имеющуюся опять-таки на французских, а также австрийских пароходах. Тут же кто бы ни зашел — ладно; только простолюдину-магометанину ход закрыт — из-за его неопрятности; а русский простолюдин сам сюда не пойдет, по природной деликатности.

— Андрей, сигару!

Так,— теперь наверх.

Походка уже уверенней, рука легко касается поручней. Только в узком пространстве движения неловки; а где просторно — там и они сразу становятся свободней. Чудное, ясное утро, шире дышит грудь; но здесь, наверху, еще не очень уютно: судно и все, что на нем, занято туалетом. Матрос Левко, молодой, двадцатилетний па-

рень, с пухлой, но миловидной славянской физиономией, был вездесущим — первый внизу, на шлюпке, и первый наверху, на реях, носится по крыше салона и моет ее. Льет из лейки целые потоки воды, намотал веревок на шест, получилось вроде швабры,— и давай хлестать да тереть так, что доски трещат. Где прошел — сыро, где не был — полно сажи. Кроме Левко — тут никого. Только на крыше над машинным отделением, в середине парохода, куда можно перейти по длинному мостику, ходит младший помощник капитана, застегнутый в серый китель. Иду по мостику. Мерсин... И этот уютный уголок есть на карте. Небольшое кольцо зеленых гор, отрогов Тавра. Тихие, немые, стоят они, словно на них от сотворения мира не ступала нога человека. А внизу — четыре белых домика, рядом с ними — шесть деревянных строений на сваях, так что в них нужно подыматься по лесенкам, да несколько груд каменного угля и на песчаной косе — ветряк: вот и весь Мерсин. Судя по высоким шестам, вбитым в землю перед строениями,— здесь одни только резиденции консулов торгующих стран. Шесты — без флагов; только на одном реет и полощется веселая славянская трехцветка.

Этим самым консулам приходится здесь жить, как настоящим Робинзонам! Кроме нашего парохода, у пристани — одно только судно: маленький турецкий парусник, чуть побольше обыкновенного морского фрегата, удивительно нескладный и в то же время причудливый на вид. Словно сбежал со страниц какого-нибудь Джеймсова романа: а те два парня, что лежат кверху задом на палубе, может, пираты, и только прикидываются мирно спящими. Суденышко размалевано веселыми красками, будто в праздник, и на носу его сверкает какая-то, словно мелом набеленная, деревянная девица, со сложенными на груди руками и комично выпученными черными глазами. Качается вверх-вниз, то в море по самую грудь, то опять скорей кверху, словно испугавшись холодной воды. Волны здесь, в затоне, плещут и пенятся, а снаружи, в открытое море,— гладь. На всех остановках вокруг судна кишат белобрюхие, величиной с утку, чайки: они устремляются к волнам, как ласточки на наших реках, качаются на воде, и снова взлетают, и носятся испуганно во все стороны, когда на них набросится сокол или орел; но здесь — ни одного сокола, а чаек — всего каких-нибудь четыре, беззаботных и ленивых.

Взгляд возвращается к судну. Как тут оживленно! Прямо подо мной, за перилами борта, снаружи, на выступе, ведущем к левой боковой сходне, теперь протянутой, сидит, скрестив ноги, турок. На голове у него зеленая чалма, указывающая на его прямую принадлежность к роду пророка; тело обнажено до пояса; он снял рубаху и внимательнейшим образом осматривает каждую складку.

Видимо, с самого утра вышел на того самого зверя, которого во времена Гомера ловили аркадские рыбаки: «пойманное оставили там, а непойманное несем с собой». Всякий раз, что-то поймав, он ловко щелкает пальцами и вверяет добычу серебристым волнам. А за ним, у самых перил, что за группа? Еврей, магометанин и христианин бок о бок творят утреннюю молитву. Араб молится, стоя на коврике — без ковра какая же молитва? — и обратившись лицом к Мекке. Рядом, простодушно повернувшись туда же, русский паломник к святым местам; сжатые руки опущены; вдруг он раз тридцать подряд «осеняет» себя крестом, раздвигает полы длинной черной рясы, падает на колени и кладет земной поклон. Араб положит один раз, русский — пять; глаза его из-под длинных нависших волос глядят мечтательно вдаль, губы дрожат так, что покрытый густой бородой подбородок трясется. Позади них, слегка отвернувшись, стоит старый белобородый еврей. На лбу у него маленький деревянный футлярчик — особая молитвенная принадлежность; богато расшитый серебром черный наряд покрывает ему также голову и затылок; руки тоже закутаны... Вид чрезвычайно живописный. Молясь, еврей все время качается справа налево либо взад и вперед. Что это за раскачивание и преклонение на все стороны света и перед всеми богами?

Возле молящихся сохранилась еще часть ночной обстановки: пассажиры третьего класса предпочитают палубу, если только сердобольный матрос не уступит кому из них своей висячей койки внизу. Несколько турок валяются на коврах. Турецкий офицер — потрепанный черный китель сплошь в золотых позументах, не менее густо позолоченные ножны сабли все в грязи — моется, прямо в феске, возле пароходного насоса. Пальцы торчат у него из сапог, и он обмывает то, что вытарчивает. Среди лежащих растянулись два огромных человека, принадлежащих к сирийской секте шиитов. Живописный наряд их, пестрый, как небесная радуга, довольно эффектен: чалма красиво вышита, кафтан из толстого шелка, роскошные пояса, а заткнутые за них оружие и трубки усыпаны драгоценными каменьями, на ногах красные сафьяновые полусапожки с большим вырезом наверху, спереди украшенные голубой шелковой кистью. Счастливые путники! Они посетили «красу Азии» [1] и едут теперь в Бейрут, чтобы попасть оттуда в «город райского благоухания» [2]. Они едут туда не для того, чтобы молиться в мечети

---

[1] «Краса Азии», «Город прелести», «Корона Ионии» — Измир, или Смирна. *(Прим. автора.)*

[2] «Город райского благоухания», «Пух райских птиц», «Ожерелье красоты», «Родинка на щеке мира», «Четвертый рай» — Дамаск. Остальные три рая — халдейская Оболла, персидский Шеб-Баоран и самаркандская долина. *(Прим. автора.)*

Омайядов, где даже через четыреста лет после конца света будут взывать к аллаху, а чтоб накупить там глиняных кружек, сделанных из той красной глины, из которой, наряду с другими хрупкими изделиями, был, говорят, изготовлен и праотец наш Адам. На пароход они сели в Сидоне, и серебряные пряжки на их поясах доказывают, что в этом городе, одном из древнейших в мире, до сих пор не угасло серебряных дел мастерство, которым он славился еще во времена Ахилла и Патрокла. Они, видимо, богаты, но даже самые богатые магометане не оскверняют «нечистый» стол или ложе на христианских пароходах своей особой.

За ними расположился прямо на досках палубы кружок русских паломников: мужчины в длинных темных кафтанах, женщины в простых темно-голубых платьях. Одни причесываются, другие разливают только что приготовленный чай. Бедняк передает кружку бедняку, размачивает хлеб, и все обязательно при этом крестятся. Чай и нынче будут заваривать пятьдесят раз, как вчера,— сколько ж это крестных знамений! Хлеб и чай единственная их пища на всем пути — до самого Иерусалима и обратно, домой; билеты в оба конца они взяли заранее, у себя на родине. Среди сидящих зияет черный люк, ведущий в трюм парохода. Скрипит ворот, гремят цепи, с окружающих пароход лодок взлетают вверх огромные кипы — хлопок из Алеппо — и, повиснув высоко над пароходом, опускаются внутрь. Окружающим приходится беречь свои головы. Левко и тут помогает, и беда чалме «нехристя», если она окажется у него на пути: Левко не любит нехристей.

На кровле салона тоже оживление. Впереди сидит седой монах в сером одеянии и молится по молитвеннику; он из кармелитов. Наш толстый машинист, швейцарец, сидит на другой стороне, возле молодой, пышущей здоровьем монашенки, направляющейся через Александрию в Мессину. Он рассказывает ей, видимо, что-то занятное, так как она не может удержаться от хохота.. Да, я ведь сегодня еще ни разу не вспомнил о своем гареме... то есть о гареме яффского турка, ютящемся со вчерашнего утра за салоном, в самом конце палубы... Надо все-таки взглянуть на этих молодых арабок...

Плюх! Плюх! Что-то тяжелое шлепнулось в море. Монашенка быстро взглянула в ту сторону — и густо покраснела. Бог знает что! Двое из наших кочегаров вылезли голые из пароходных недр — и — вниз головой — бултых в воду! Вертятся там, как две почернелые пробки, и скалят зубы, словно акулы...

Да, так этот гарем... просто восточная голь! Выспался холодной ночью под открытым небом и будто взмок... Впрочем, и вчера был немногим приятней на вид. Сидят,— сбились в кучу, как овцы в загоне! У них отдельный повар, негр, огромный, как гора, и грязный, как скамья перед извозчичьим трактиром; евнух целый

день варит кофе, набивает дамам трубки и зевает так, что кажется — вот-вот проглотит всю гавань. «Дамы» такие: одна — белая, старуха, толстая, неуклюжая, другая — молодая, черная, опять-таки неуклюжая, потом еще три молодые, белые, тоже — ни в какую. Вчера весь день ковыряли в носу, но не успели закончить, так что нынче продолжают. Одна только подходящая — это ихняя прислужница-арабка, девочка лет пятнадцати. Тоже не бог весть что, руки страшно костлявые и плоские, как лепешки; но, в конце концов, по пражским Пршикопам арабки не бегают! Сейчас она ищет в волосах у толстой негритянки... погоди, за обедом опять спрячу для тебя конфетку!

— Михаил Захарович, белый флаг! — слышится голос капитана, обращающегося к боцману.— Здравствуйте, господа!

— С добрым утром, капитан! Что случилось?

— Да там подходит английский флагман. Видите: флаг на флаге?

— Не понимаю.

— Ну, флаг на флаге: флаг обычный и адмиральский: желтый якорь на красном поле.

— А вон то судно, что подходит с другой стороны?

— Турецкое... Полумесяц, звезды! И тоже крупное военное. Эй, Михаил Захарович, поднять флаги!.. Это Хиосский капитан-паша!

В торжественном спокойствии подходили оба корабля к пристани. За десять минут развернулись и встали. Грянули орудия. Реи флагмана мгновенно покрылись матросами: они стояли на головокружительной высоте, один возле другого, навытяжку, словно кто поналепил там оловянных солдатиков. Палуба турецкого корабля заголубела куртками и заалела фесками. Оба судна отдавали друг другу честь.

— Кое-какие положительные результаты эти салюты все же произвели,— заметил я.— Те два парня на турецком суденышке повернулись и лежат теперь навзничь.

— Корабли зашли сюда за водой и углем... Иначе с какой стати им быть здесь,— сказал капитан.

Наш пароход получил уже весь предназначенный ему хлопок, и теперь шла погрузка других товаров. Бараны. Десятка два лодок пляшут вокруг парохода; в них — около трехсот темно-гнедых валухов. Всех их предстоит разместить в передней части судна и на передней половине палубы, вокруг машинного отделения.

Трудно даже представить себе, как много может уместиться на таком пароходе. Сколько их ни ставят рядом, одного к другому, а все «место есть». Вчера мы с интересом наблюдали, как из барок вытаскивали и опускали на палубу коров и маленькую лошадку.

Коровы, вися в воздухе, ревели, «как жаворонки в облаках», по выражению Михаила Захаровича, а лошадка, подхваченная лямками под брюхо и вздернутая воротом ввысь, билась, как змея в когтях у орла, и, находясь уже на палубе, долго еще перебирала копытами и брыкалась. Вечером Михаил Захарович вздумал было в шутку проехаться на ней по палубе, но она сбросила наездника, и у него до сих пор ссадина на щеке.

Валухов грузят прямо так, без ворота. Они только поблеивают и дрожат, даже не пробуя сопротивляться. Настоящие мученики! Барки качаются, и валухи колотятся друг о друга, о борта, о весла. Два парня хватают их по очереди — один за шею, другой за зад — и кидают вверх; наверху стоят еще двое и, схватив как попало, уже не отпустят. Это — мясо для Александрии; плыть шесть дней. Нынче они еще накормлены и напоены; в Бейруте на пароход явится комиссионер для осмотра — и снова пост.

— Натерпятся, бедняги, в эту жару,— с состраданием заметил Михаил Захарович, глядя, как коровы бодают жмущихся к ним, теперь уже совсем одуревших валухов.— Надо бы облегчить. Видно, будет на обед свежая баранина.

Между тем Левко натянул над нашей крышей тент, и Андрей накрывает на стол, чтоб нам позавтракать на воздухе. Снизу, с палубы, уже донеслась русская команда натянуть тент над третьим классом — сирийское солнце жжет, как раскаленная печь. Андрей растягивает над столешницами вдоль бечевки и вставляет между ними поперек палочки; получается нечто вроде лесенки, внутри которой — отделения, образуемые двумя параллельными бечевками и двумя деревянными распорками, удерживающими бечевки на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними неподвижно находилась тарелка. Потом приносит тарелки с изображением русского флага, расставляет бутылки с вином — «крымским красным» и «крымским белым» — и хрустальные графины с водой, охлаждавшейся со вчерашнего дня на льду — искусственном царьградском. Сперва в ход пойдет водка — белая и зеленая — с икрой на закуску, причем последней каждый будет брать, сколько захочет, как у нас чечевицу; потом — эх, да что там! Кухня на русских пароходах всегда отличная, лучше чем на французских. Только не супы! На пароходе хочется мясного бульона, пусть даже заправленного рисом, а тебе подают «народное блюдо» — щи, кислые-прекислые — брр!

Вот на пароход доставили «почту», тюк с письмами. Приехал консул — навестить, поболтать, и с ним — новые пассажиры; господин и дамочка. Он — торговец из Адани, армянин; дамочка — молодая француженка. Вообще происходит настоящий вывоз молодых француженок в Малую Азию, и все они тут выходят замуж.

Оба приехали только нынче утром с караваном, и дамочка тут же сообщила, что ночью с ними случилось несчастье: их ограбили анатолийские новобранцы. Рассказ ее был прерван страшным криком внизу, за бортом. Старый еврей, которого я наблюдал утром, когда он молился, ездил на берег и теперь вернулся; но лодочники не пускали его на пароход, требуя с него пять франков; а он давал половину. Арабы бранились и ругались, еврей просил и причитал: речь всех звучала по-еврейски, одинаково чуждая нашему уху: чуть ли не в каждом слове два «х» и три «кх». Он молит, причитает, даже плачет, но не сдается: ведь себе они его не оставят! Тогда, в своем молитвенном одеянии, он казался мне прекрасным, а теперь был противен.

Капитан отдает команду, звонит пароходный колокол, пароход накреняется, Левко начинает подымать сходню. Тут арабы набрасываются на еврея с кулаками. Еврей хватается за сходню и вскарабкивается на нее. Но за ним лезет один из арабов. Еврей вступил на палубу, а араб с руганью — обратно; но тут Левко толкнул араба, и тот летит в воду. Не то чтоб Левко за еврея заступился, а, как я уже говорил, он нехристей терпеть не может.

Арабы галдят, сходня скрипит в вышине, пароход начинает разворачиваться.

Так что завтракать мы будем прямо в открытом море. Но теперь там тоже неспокойно. Скачут волны, еще выше скачут дельфины... Ну да ведь Шекспир наделил нас, чехов, морской душой.

— Нынче будет славно,— пророчествует швейцарец механик.— Можно хорошенько выспаться после завтрака!

II

Я тоже предполагал вздремнуть после завтрака и прилег на один из вделанных в стены салона диванов. Чем же еще заняться! На пароходную библиотеку без злости смотреть не могу: пароход русский, а книги на всех языках, но ни одной славянской! За расстроенным пианино в углу уже сидит мой приятель и перебирает мелодии из «Травиаты». Так чем же еще?

Судно заметно сбавило ход. Знакомые мелодии Верди проплывают как бы мимо сознания. Но я все-таки не могу уснуть. Думал,— может, глаза сами собой закроются, перед ними все уже туманилось и блекло, но — не тут-то было!

Вдруг в салон входит из буфетной Андрей. Подходит к ближайшему окну, смотрит наружу, и на лице его появляется легкая улыбка.

Открываю глаза как можно шире, протираю их — все вокруг по-прежнему серо.

— Что такое, Андрей?

— Гроза!

И он указывает пальцем вдаль.

Буря! С таким удобством, находясь в самой ее середине и в то же время глядя на нее из окна, мне еще ни разу не удавалось наблюдать бурю на море! Находиться в двух шагах от гибели и смотреть на нее, как в калейдоскоп...

Но пока снаружи — тишина. Удивительная, какой я на море еще не видел. Виктор Гюго, пожалуй, сказал бы: серая тишина.

Солнце исчезло. Во всю небесную ширь — одна сплошная серость, бесцветная, унылая. А морская ширь — вся тихая, темная. Словно оцепенелая. Нигде ни малейшего пульса жизни, тишина на ней, как на лице покойника, так холоден, так бесчувствен ее лик! На море наступил мир и покой, как в гробу.

Таинственная могила природы. Как одна-единственная горючая слеза вселенной, как миллиарды наших слитых слез, охладелых и замутненных!..

Сколько народу погубило уже могучее море, сколько в нем мертвецов, а на гладкой поверхности — ни креста, ни камня! Братская могила нашей нищеты... мы такие маленькие с ней рядом.

Легкий озноб пробегает у нас по телу. Но и там, снаружи, в море, словно зарождаются тяжелые предчувствия: время от времени поверхность подергивается легкой морщинкой.

Но вот направо небосклон уже почернел. Тучи клубятся там, сбиваются в черные громады. И вот, будто кто в них выстрелил, дрогнули, понеслись, мчатся вперед, словно гонимые страхом или мученьем.

Вот уже они покрыли все небо, а за ними набегают новые. Морщины на море вдруг сразу возросли в числе. Их теперь полно, полно, и они мчатся с дикой скоростью в ту же сторону, что и тучи. Но еще не взметываются волнами. Местами вдруг на водной равнине появится воронкообразная впадина, белый водоворот, крутящийся с головокружительной скоростью и летящий, как стрела, вперед, дальше и дальше, пока не исчезнет из глаз. За ним второй, десятый...

Мрачные тучи нависают ниже. Словно для того, чтобы в последнее мгновение помешать небу обрушиться в водяную пучину, между небом и землей встали огромные столбы, желто-серые смерчи, вверху и внизу широкие, тонкие посредине. И с молниеносной быстротой помчались вперед, оставляя за собой клубящиеся облака водяной пыли. Но вот уже сломлены и эти столбы, море дикими

прыжками взметывается вверх... тучи прибились вниз... артиллерийский залп, оглушительный рев.

Взгляд бессилен проникнуть во тьму, за стеклом не видно ни зги. Небесные хляби разверзлись. Вода наверху, внизу. Тяжелые капли стучатся в окно.

А ощущение приятное, как будто сидишь у себя дома, а в окне хлещет проливной дождь!

Всего четверть часа длится горячка, и сразу — тишина.

Дождь перестал. Мы видим опять кипящее море, видим солнце. Вокруг него — еще желтый туман, но само оно уже снова сияет.

Еще мгновение — и туман, облака вдруг как сдернуло. Небо голубое, солнце смеется, словно все это была шутка. Волны еще мечутся ввысь, но к ним уже вернулись краски.

Снова веришь, что у моря — кристальная глубь и что там — жизнь, жемчуга и леса из кораллов!

Какая, наверно, сейчас прелесть наверху! Скорей на крышу!

Да, прелестно, свежо, но как мокро. Ноги скользят, от скамей идет пар, до влажных перил неприятно дотронуться... Каково было палубным пассажирам под таким ливнем?!

Брезент, прежде ровно натянутый для защиты от солнца, теперь провис: на нем образовался нелепый маленький пруд. Левко приподнимает брезент длинной метлой, чтобы вода стекла. Струи падают прямо на людей, куда Левко вздумается. Арабы угрюмо отстраняются, а на лицах облитых водой русских пассажиров та смиренно-страдальческая улыбка, которая всегда поражает меня в самое сердце у славян.

Вышел из своей каютки машинист. Протирает глаза, всматривается.

— Что же вы, сударь? Обещали хорошую погоду, а шел дождь.

— Дождь я проспал, а теперь разве не хорошо?

III

Лениво проплыли полдень и первая половина дня, лениво и жгуче, как обычно летом на юге.

Ни о чем не думаешь, ничего не слышишь, перед глазами мелькают как бы кристаллики зноя, и под этой пеленой не различаешь предметов на три шага от себя. А миражей и не хочешь видеть; тело твое как вареное, нервы высушены, чувства притуплены. Ощущение нестерпимого зноя — вот все, в чем отдаешь себе отчет. Хорошо бы отыскать тень — в салоне, в каюте или где-нибудь еще,— но во всех порах испарина, рта не закрыть, несмотря

даже на противное ощущение перепекшихся губ. Напрасно искать местечко попрохладней, где бы хоть что-нибудь похожее на сквозняк, здесь, впрочем, очень опасный,— и поэтому не шевелишься. Лежишь неподвижно, распахнув одежду, расстегнув сорочку, раскрыв все поры, сам раскрывшись до глубины сердца, где нет ничего, ровно ничего. Жажда и та не заставит тебя пошевелиться: боишься залиться потом, протянув руку к стакану с лимонадом; кроме того «limonade gazeuse» [1] — в бутылках с проволочной укупоркой, так что удалить пробку было бы настоящим подвигом. И человек терпит — с покорностью аллигатора, засохшего в глине.

Попробовал я взять ванну. Но на пароходе только одна ванна, и не успел ты в нее сесть, как кто-то уже стучится и просит не задерживать. Так что долго в воде не высидишь.

Но в конце концов жар свалил, судно немного ожило, пассажиры опять выползают на кровлю, под парусиновый тент.

Набиваю себе трубку черной ладакией, «матерью благоуханий», и зажигаю этой матери голову. Тотчас появляется дым, как лазурь,— экое наслаждение! Одна полоска за другой отделяется от трубки, возносится вверх и танцует над палубой, потом, покружившись вокруг рулевого позади нас, исчезает. Соломон еще не курил, а то он написал бы в «Песни песней»: «Кто эта, восходящая от пустыни, как бы столб дыма, окуриваемая ладакией»... а не «миррой»!

Море спокойно, и народ внизу, на палубе, тоже. Православные сели в круг, и одни из них читают по книге, которая, правда, набрана кириллицей в большой палец величиной. Шииты играют в кости. Вокруг очалмленного в зеленое потомка Магомета собралась группа арабов; но не они приветствуют его радостными кликами, а он их. Это какое-то божественное песнопение, может быть, сура из Корана, либо народная песня, либо что-то в этом роде. Словно дрессированная коза блеет фальцетом или кто-нибудь из наших священников, читая евангельский текст о страстях господних, зажал себе нос и так сдавил голос, что тот зазвучал сопрано. Да, не только кости да шахматы, но и принципы своего церковного пения мы получили с Востока, так же как церковные облачения, обряды и т. д. Но где стояла колыбель храмового пения, там оно до сих пор лежит в колыбели, оставаясь народным, а мы у себя уснастили его всяческими музыкальными усовершенствованиями, от оратории до вальса.

Время идет, и вот уже Андрей появляется с колокольчиком — звонит к обеду. Обед длится больше полутора часов — чуть не восемь превосходных блюд,— в том числе свежая баранина, Михаил

[1] Газированный лимонад *(франц.)*.

Захарович был прав,— да, помимо того, фрукты, вино, водка, черный кофе.

А после обеда опять трубка с ладакией и глазенье на небо, на палубу.

Жизнь мало-помалу приободряется. Неподалеку сидят высшие чины экипажа и играют в шахматы. Карт и домино, столь распространенных на австрийских и итальянских судах, где в них играют по крупной, на русских не встретишь. Зато нет здесь и характерной для французских судов чопорной военной дисциплины, командиры веселые, развлечения носят совершенно непринужденный характер. Капитан вынужден сам нести вахту и расхаживает по крыше над машинным отделением взад и вперед, правда, не по прямой: там был странствующий русский художник; спеша воспользоваться еще не совсем угасшим дневным светом, он посадил на пол двух турок, курящих наргиле, и капитан обходит их с величайшей осторожностью, вполне нам понятной. Внизу началась какая-то перебранка. Православный паломник попросил у одного мусульманина кувшин с водой. Тот молча дал, но как только православный напился, фанатик-мусульманин сейчас же разбил кувшин о перила. Это и послужило причиной ссоры. Один ругался по-арабски, другой — по-русски, оба не понимают ни слова, но каждый долбит свое, так что слушать тошно.

Но вот мусульмане расстилают свои коврики для вечерней молитвы: капитан и помощники показывают им, в какой стороне Мекка.

Солнце склоняется к горизонту. Оно хочет лечь и все сильней краснеет, как невеста, приближающаяся к брачному ложу.

Наконец зашло. Здесь не бывает сумерек: только что был день и — сразу ночь. На юге свет умирает скоропостижно.

На пароходе воцаряется тишина. Неподалеку от нас сидят несколько пассажиров — француженка с мужем, художник, еще кто-то — и разговаривают приглушенно, как обычно в теплые летние вечера, когда чувствуешь в душе успокоение, а над собой — восхитительную умиротворенность молчаливого неба.

Внизу потомок пророка пробует снова запеть. Начнет, а Левко ему сейчас же помешает: повис где-то между реями, и только турок заведет свою песню, он тут как тут — заблеет жалобно, будто голодная коза. Турок терпеливо начинал несколько раз снова, но в конце концов выругался и замолчал.

Еще часок пробудем на воздухе, наедине с морем и небом. Вот уже потянуло ночным холодком.

— Плед!..

Так. А теперь растянемся на крайней скамье.

Всюду разлита тишина.

Судно, со своей трубой, мачтами, реями, медленно движется вперед, подобное кораблю-призраку. Только волны всплещут у его бортов, стукнет машина, сделает выдох труба. Но ухо привыкло к этим близким, однообразным звукам, не воспринимает их. Взгляд устремлен в звездное небо, слух блуждает в пространстве: то ловит каждое биение сердца, то будто прислушивается к вздохам вселенной.

Изумительно! Захочешь — услышишь глубокое и равномерное дыхание океана вокруг, а захочешь — услышишь, как там, наверху, по небу шагает время, как шелестят гигантские крылья столетий и вращаются колеса планетных часов.

Протяжные, придушенные звуки летят над водами: это дышит задремавшее море... «Спи спокойно, буйное дитя!»

Дитятко давно уже спит, но вовсе не смыкая своего глаза. Стоит только слегка нагнуться над бортом,— сразу в него заглянешь... Какой он теперь темный, этот глаз, и в то же время какой сверкающий! Все небо отразилось в нем, сто раз умноженное в его плещущих волнах. Небо полно ярких звезд, луна светит, словно прикрытое зеленой фатою солнце, и каждый луч ее миллионнократно преломляется в волнах, и вся равнина моря как будто горит, как бы сплошь усеянная огненной искрой и золотым песком.

Хорошо бы заглянуть теперь в свои собственные глаза: ведь все эти миллионы огней должны отражаться в них!.. Какое стремление, сколько мыслей пробуждают это небо, это море...

Вот на судно набегает большая волна: быстро ширится, как человеческое стремление, ярко блестит, как надежда людская,— и вот рухнула, рассыпалась искрами... Никогда не вернутся обратно ни волна, ни человек, ни мысль.

Но... что мне до этих волн, правда?! И что морю до моих мыслей, а небу до его отраженья в море? Мы ищем чего-то, что вне нас, а оно всюду: в небе, и в море, и в нас самих! Жизнь — и в солнцах, и в волнах, и в мыслях, и не будь у меня тоже своей собственной жизни, я истомился бы от жажды в этой вселенной, как мореплаватель без пресной воды посреди океана!..

Но удивительны эти переходы, эта перегонка из одного в другое. Душа получает жизнь от моря, море — от звезд, звезды...

Безумие! Последний закон всего сущего, наверно, до смешного прост, а я... я ничего, абсолютно ничего не знаю о нем. Знаю только, что колеса наших планетных часов тоже когда-нибудь перестанут стучать — гиря отлетит, маятник остановится, и тогда... тогда...

Эх!..

ЭКЛОГА О ПЕРВОЗДАННОМ ЛЕСЕ

Представьте себе хорошенько, что такое для горожанина лес и вообще — что такое *первозданный* лес.

От нас до него и до истоков священной нашей Влтавы всего несколько часов, и дорога тянется вверх, вдоль Шумавы,— безмерной и безмерно прекрасной блюстительницы чешской. Мы едем по области мужественных ходов, и каждый миг перед нами — новая картина. То чернолесье, то молодняк и пастбища, то горная долина с деревушкой, будто жемчужиной, посреди,— одна гора пологая, другая островерхая, третья — одинокий мрачный утес. Уже под нами пространство, где хоть овес растет, и мы миновали деревеньку Квилды, где деревянная церквушка волнующе проста, а дома — без единого кирпича, сплошь американский «блок». Дорога идет дальше вверх — к охотничьему домику на Бушине, откуда всего на расстоянии выстрела — Бавария.

Отсюда лесная дорога еще занимательней. Шоссе гулко гудит, как под сводами, и по обеим сторонам между деревьев — следы страшной прошлогодней бури. Целые груды деревьев в чаще повалены, выворочены с корнем, опрокинуты, частью повисли на соседних деревьях либо рухнули на сторону — и торчат вершиной к земле, корнями к небу. Местами чащоба подступила к самому шоссе, стволы перегородили его, и пиле пришлось прокладывать дорогу заново. Вдруг открылась лесная прогалина, и перед нами долина, а за ней — на длинном высоком косогоре по ту сторону — не осталось ни одного ствола, все свалено, перепутано, переломано. Есть во всем этом какая-то удивительная дикая гармония, как во внезапно застывшем потоке лавы, и мертвенность, впечатление кладбища. А вот еще такой же косогор, второе кладбище, а там — третье, четвертое. Здесь прошагала разъяренная природа, исполинская буря: на каждой горе — след ее ноги.

Отсюда — пешком. Пройдя полчаса девственным лесом, выходим опять на косогор,— новое кладбище! Здесь опять — ни одного дерева стоячего, все в жестоком беспорядке повалилось друг на друга, будто колосья на току, лежат двадцати-тридцатисаженные стволы, и у каждого на конце возвышается словно косматая скала — ни корни не могли расстаться с землей, ни земля — с корнями. Спускаемся по этим горам бурелома вниз, продираемся сквозь них, как маленькая букашка в высокой траве. Вот мы уже внизу, идем по долине,— беда, коль нога рискнет хоть на пядь ступить с тропинки в сторону — на этот зеленый ковер. Тут торфяник, трясина, поросшая ярко-зеленой карликовой сосной, и папоротником, и остропером, но вся поверхность словно ходуном ходит, среди зелени неподвижно блестит вода, и по тропинке идешь, будто

по качающейся доске, из-под ноги змейками прыскают струйки воды — отступи только на пядь, и трясина сомкнется над твоей макушкой.

Шапки долой! Мы вступили в девственный лес.

Как описать его?

Мне вдруг показалось, будто я отброшен на целые тысячелетия назад, но радостно-молод, буйно-весел, независим от времени и людей... свободен... свободен! На меня повеяло духом довременного. Была тишина, та же самая, что царила здесь при сотворении мира.

Неожиданно с противоположной горы сорвался ветер. Мы его, правда, не почувствовали, но под нами, в прикорневых криптах, затрещало, в вышине зашумело, свод лесной пошатнулся туда-сюда — весь лес вдруг как будто вздохнул, в нижних ветвях засвистела легкая песенка — тот же шум, та же песня, что были при сотворении! И опять тишина. Ни звериных шагов, ни птичьего свиста, ни звука — торжественная тишина! Слышу биение своего сердца... Господи, как бы в этой тишине и голове и сердцу стало легче!

Мы в храме. Над нами — вверху темный, а в целом светлый свод, в котором лишь отдельными кусочками проглядывает голубое небо, словно мелкий камешек в мозаике. Колонны храма стройно уходят ввысь. Шея заболит, если вздумаешь смотреть, где им конец. Ветви переплетаются, образуя в вышине нечто вроде красивого вышивания. Вдоль стволов свисают вниз, к земле, седые пряди. Иной сухостой, уже без листьев, без коры, стоит еще прямо, похожий на белый скелет. А на земле — поколения, чей возраст — тысячелетия! Где нога в состоянии ступить прямо на землю, она ступает, будто по мягчайшему ковру. А перебираясь через поваленные деревья, хватаешься за бегущую от земли к ветвям или от ствола к стволу красивую гирлянду. Внизу ты видишь трухлявое бревно поросшего зеленым мхом мертвого первозданного великана, на которого навалился другой; формы еще сохранились, но прогнившее тело можно проковырять пальцем насквозь; поперек второго лег третий: у него тоже отвалились все ветви, лежит только длинный труп; а из него выбежали пятьдесят веселых молодых деревцев, питающихся останками отца; корешки их обнимают его, охватили, как обруч, чтоб достичь земли, либо прошли ему прямо сквозь тело. О том, что произойдет в будущем, вы можете судить по соседнему пятисотлетнему юноше: отец под ним исчез, корни образуют целое зданьице — часовенку в храме,— только на высоте сажени от земли сливаются в могучий ствол. А на один шаг дальше целое поколение буйно выбивается из ствола, еще прямого, но переломленного на половине высоты. С изумлением глядим

мы на огромный круглый букет в вышине: невозможно представить себе ничего прекраснее — это у господа бога удачно получилось!

Мы медленно идем по храму девственного леса. Вот уже перед нами начало старой Влтавы, здесь еще совсем молоденькой, болтливой, ребячески своенравной. Ее уложили в каменную колыбельку, но ей там не нравится; она сейчас же выбегает вон,— малютка, не больше пальца шириной. И бежит, и тараторит, болтает сама с собой, как ребятишки сами с собой разговаривают. А старый первозданный лес смотрит в ее искристые глазки и протягивает над нею свой плащ, чтоб солнце не обожгло.

ЙОЗЕФ МАНЕС

«Слава богу, отмучился!» — шепчем мы, стоя у гроба.— Слава богу! А у самих от жалости сжимается сердце. И чудится, будто нам стало легче — оттого, что наконец-то полегчало ему, художнику, мастеру, благороднейшему из благородных. Йозеф Манес отмучился, отмучились и мы. Завидно-прекрасной и до отчаяния многострадальной была его жизнь, и смерть сжалилась над ним, изрекши свое «Amen!». И мы вторим ей в унисон: «Amen!» — за самих себя и за него тоже, и с души нашей словно свалился тяжкий камень.

Йозеф Манес для чешской живописи был тем же, чем незабвенный Вацлав Левый — для чешской скульптуры. О Манесе ценители в один голос утверждают, что «творения его отличает поэтическое совершенство, тщательность изучения предмета, блестящая техника и — главное — то высшее устремление истинного мастера, который, свободно владея разнообразными манерами, с порога отвергает любое шарлатанство». Тем самым они произнесли суд и над Вацлавом Левым, к которому эти слова относятся в равной мере.

Оба мастера были поэтами в самом высоком и чистом значении этого слова. Душа их вбирала в себя лишь благородную мысль, постигая высшую гармонию, мастерство овладевало высотами классики, а сами они по-прежнему оставались детьми — такова уж привилегия всех истинно возвышенных поэтических натур. Это не значит, конечно, что они не в состоянии были постичь свое время! Столь мощный дух в суть вещей проникает сразу, все схватывая на лету, однако несчастья нашей прозаической повседневной жизни, да и вообще все преходящее и непостоянное на «вечнозеленом дереве жизни» просто не имеет для него ценности;

гармония их души усваивает лишь то, что прекрасно и вечно. Именно поэтому, когда для таких натур не создано условий жизни, талант их обыкновенно либо гибнет в безмерно-тяжкой и безысходной схватке, либо не проходит даже трети того пути, который могучие крыла их духа могли бы шутя одолеть целиком.

Условия жизни чешского народа до сих пор мало способствовали развитию искусства, ему не светило ясное и горячее солнце — а разве во тьме может расцвести гений? В тени, без солнца, не блещут даже бриллианты, даже золото кажется черным, и черными делаются цветы. Нам посчастливилось увидеть наше утро — Манес и Левый, будто умудренные опытом пилигримы, свершили свой путь на заре, в рассветные часы — «но разве не исчезает заря при блеске первого солнечного луча»?

Манес и Левый возвестили зарю славы чешского искусства!

Разумеется, любой отрезок пути истинного художника отмечен творениями совершенными — и начало, и средина, и конец его. Так и после Манеса и Левого остались шедевры, хотя судьба и не была к ним слишком благосклонна. У Манеса мы особенно четко различаем черты умиротворенного гения. Гениальность — уже в раннем осознании им, что в наших условиях сила его даже не смеет проявить себя в начинаниях грандиозных,— хотя и в них она таки проявила себя,— отчего он скромно ограничился поприщем незаметным. Однако любая линия, оставшаяся после него нам в наследство, представляет художественную ценность. Его разнообразные рисунки, ставшие впоследствии украшением наших журналов, послужившие этюдами для скульптурных изваяний и т. д., являют собой образцы высокого мастерства. Его иллюстрации к «Рукописи Краледворской» более народны, чем Рихтеровы рисунки, и более приятны, чем рисунки Джанелли; вместе с тем это — предшественники гравюр.

Манес приносил себя в жертву любому начинанию, если считал, что его участие и поддержка пойдут на пользу искусству; он разукрашивал, например, пригласительные билеты «Художественного общества», подрядился расписывать циферблат часов на Староместской ратуше, разработав для них причудливую мозаику мастерских композиций. О некоторых его станковых картинах уже писалось, но «Художественное общество» могло бы приобрести многие редкостные вещи из более мелких его работ, сохранившихся в архиве художника.

В жизни Манес был скромным, ласковым и молчаливым человеком. Он никому не был врагом, за исключением шарлатанов от искусства; когда он говорил, ему странным образом недоставало слов и уместных выражений, но только лишь речь захо-

дила об идеалах в искусстве, его всегда спокойный взгляд загорался, а речь лилась таким мощным потоком, что увлекала и покоряла всех.

Кончина его была печальнейшей элегией. Манес не был старцем, мудрость которого проявляется тем полнее, чем более дух освобождается от бремени тела, он был мужчиной в расцвете сил, а дух его уже был сломлен, хотя тело все еще влачило жалкое существование! Еще недавно бродил он по городу — тело без души, и страшно, и трогательно было глядеть на этого погубившего себя человека! В иных краях смерть прячется под черным покрывалом, таинства ее роковых превращений свершаются сокрыто от глаз людских, но мы наблюдали за ее работой при свете дня, она медлила...

Манес передвигался, словно труп, влекомый сатанинской силой, ноги не держали тела, язык одеревенел, во взоре — ни проблеска, на челе — ни единой мысли, намертво сомкнуты уста — ни легчайшей дрожи на них. Иногда он останавливался и глубоко вздыхал. Прохожим казалось, будто этот несчастный бродил в поисках смерти, и было видно, что смерть ходит за ним по пятам. Но смерть не была «всадником, молнии подобным»! И представлялось, будто ангел смерти остановил часы его духа, но, изнемогши от трудов, не смог прекратить и жизнь тела. Перед нами была глиняная рама без образа, она рассыпалась у нас на виду,— медленно, медленно до боли! Уже два года как он мертв — и вот теперь он умер!

Нет, не умер — только прилег, счастливый, отдохнуть, ибо «великий духом бессмертен во веки веков»!

БЕДРЖИХ СМЕТАНА

Как скромен он в обществе! Невысокий, худощавый. Длинные, еще не поседевшие волосы, коротенькая бородка на худом лице, на носу — легкие очки, а сквозь стекла смотрят глаза такие ясные и искренние, мудрые и веселые, что сердце твое исполняется доверием. Настоящее лицо лирика, и если Новалис прав, что «скульптура, музыка и поэзия то же, что эпос, лирика и драма», то Сметана в настоящее время наш лирик и притом — самый лучший. Относительно ценности его творчества не может быть никаких споров. Нам повезло. Едва мы возобновили нашу работу в области искусства, как у нас появились Челаковские и Эрбены, Манесы и

Чермаки, Зитеки и Левые, Бендлы и Сметаны. В нашей оперной музыке Сметана действительно оправдывает свою фамилию. И если Бетховен сказал о Бахе: «Bach war kein Bach, sondern ein Meer» («Бах был не ручьем, а целым морем»),— то чешское остроумие по поводу Сметаны может позволить себе и более дешевое сравнение.

Биографию Сметаны можно было бы написать нотами. Маленьким мальчиком соседи носили его из дома в дом, чтобы он играл им на пианино. В бытность студентом он, увлеченный исполнением квартетов, забывал о наступлении экзаменационной сессии, и Карел Гавличек-Боровский, бывший его литературным учителем, с ним немало помучился, а дядюшка Сметаны — пльзеньский певец — в конце концов написал его отцу: «Ничего не поделаешь, он будет только *музыкантом!*» Итак — в консерваторию! А после консерватории — ездить по свету, разумеется, в качестве концертанта а-ля Лист. Сметана начал с того, что завел личного секретаря,— к счастью, собственного брата,— и первую остановку сделал в Хебе. После концерта, на который явилось целых четыре слушателя, Сметана вернулся в Прагу. Потом он был преподавателем музыки в некоей дворянской семье, а затем открыл музыкальную школу, чтобы иметь возможность жениться. После свадьбы у него осталось в кармане семь гульденов, а в школе — один ученик; но вскоре их стало двадцать, тридцать, и дело пошло на лад. После этого Сметана в течение шести лет был дирижером в Швеции, но как только узнал, что создается самостоятельный чешский театр, сразу отказался от должности и вернулся на родину. И вот уже созданы «Бранденбуржцы в Чехии», «Проданная невеста», «Далибор», «Либуше», а Сметана в расцвете сил.

Что за волшебное обаяние в музыке Сметаны! При исполнении лирических мест на глазах выступают слезы, и порой словно какая-то неведомая сила поднимает тебя с места. Так случилось со мной на генеральной репетиции во время финала второго акта «Далибора». Финал этот так мощен, музыка подымается все выше и выше, словно гордые колонны и своды готического храма... Вот гений взмахнул широкими крылами, звенит и звучит могучая музыка небесных сфер... Когда вдруг все оборвалось, я обнаружил, что стою в ложе, напряженно подавшись вперед, с устремленным в пространство взглядом, и каждый мой нерв дрожит от неведомого наслаждения. А изумительная шутливость в песнях «Проданной невесты», а проникнутая величавым драматизмом мужественная мелодия хора «Пробил наш час», а женское трио в «Бранденбуржцах»! Мне всегда казалось, что эта музыка пришла к нам из иного мира — мелодия переливается сладостными и бурно-смелыми переходами эоловой арфы, словно во «Сне Сципиона»! «Му-

зыка — цвет искусства. Она относится к поэзии, как мечта к мысли, как океан облаков — к волнам океана»,— говорил Виктор Гюго. Но когда мы слушаем сны Сметаны, нам чудится, что над нашей душой простирается волшебное покрывало, мы становимся мягче, лучше. Это признак настоящего гения — он «облагораживает и укрепляет»! Сметана никогда не стремился просто развлекать нас, он «не слуга наш, он стоит выше нас и учит нас красоте, правде и величию».

Говорят, что Сметана вагнерианец. В принципе утверждающие это правы. Сметана тщательно следит за тем, чтобы тон соответствовал слову. Если вы встретите Сметану на набережной, то, проходя мимо него, услышите, что он декламирует почти вслух: погруженный в замысел новой оперы, он читает ее текст, сотни раз повторяет слова, пока из них не родится наиболее естественная мелодия. Поэтому его музыка, несмотря на все его вагнерианство, такая чешская. А будучи чешской — столь элегична. Вероятно, следствием этого чешского элегического характера является то, что Сметана — пианист, гениальный исполнитель Шопена. Слышали вы, как Сметана играет его вещи? А теперь представьте себе, как мы слушали его игру поздней почью, в кругу друзей. Луна заливала серебряным светом всю комнату, стояла глубокая тишина, мы затаили дыхание, а из-под рук музыканта струился жемчуг бессмертных снов Шопена!

Сметана считает себя *вторым* исполнителем Шопена и говорит, что играть его произведения научился у Листа, который слышал самого Шопена. Лист — божество мягкой, благородной души Сметаны. Так же как Вагнера, Лист поддержал своим влиянием и Сметану. Никому не известным юношей Сметана послал свои произведения Листу, и тот, почувствовав их гениальный взлет, тотчас же позаботился об их издании и распространении. И сейчас он всюду — в Германии, в Праге, в Будапеште — самым блестящим образом отзывался о них.

«Лист *ввел* меня в мир искусства»,— с благодарностью и восторгом говорит Сметана, а право же, и не введенный никем, Сметана занял бы свое место в мире искусства. Но как очаровательна свойственная именно гению такая тонкость чувств, такая признательность! Раз двадцать он с мельчайшими подробностями рассказывал нам о своих встречах с Листом, всегда одними и теми же словами, акцентируя одни и те же чувства, и все-таки, когда он будет рассказывать в двадцать первый раз, я с удовольствием буду слушать и не скажу, что он повторяется!

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» ОСТРОВСКОГО

(Написано заново)

Островский — драматург необычного для нас склада, и когда какая-нибудь его пьеса попадает в репертуар наших театров, потворствующий современному изощренному вкусу и всем современным порокам, кажется, что из салона, где собралось изысканное общество, каждое острое словцо которого, однако, заранее известно, а его искусственный аромат утомляет и вызывает безразличие, ты неожиданно перенесся в лес: горбатые корни вместо паркета, чириканье птиц вместо аккордов рояля, грубая кора деревьев вместо тонких шелков, но зато повсюду правда, ясный воздух, животворные ароматы,— и ты начинаешь чувствовать, что внезапно обрел самого себя. Зарисовки Островского напоминают хорошую старинную гравюру: четкие, резкие контуры, живость, выразительность и потрясающая простота. Из современных драматургов с Островским можно сравнить только Бьёрнсона, или Ибсена, либо старых испанцев: такие же скупые, точные слова, четко очерченные характеры; ни одного лишнего слова, причем язык народный, взятый прямо из жизни; ни одного надуманного конфликта, а лишь такие, которые создает сама человеческая природа и потому волнующие нас. Столько правды мы не найдем в пьесах французских драматургов, может быть, достаточно смело черпающих из жизни, но уже выработавших свои шаблоны для изображения многих моральных ее сторон: мы не найдем ни крупицы этой правды и в банальных немецких пьесах. Островский же изображает недуги русского общества сурово, неумолимо, как это вообще свойственно всем русским писателям. Еще несколько лет назад мы писали об огромном значении творчества Островского и его товарищей по перу для возрождения русской культуры, которая, будучи замкнута в самой себе, естественно, должна была остановиться в своем развитии во многих областях. Труд Островского не потеряет своей ценности, когда исчезнут общественные отношения, которые он подвергает критике. А в наше время его творения еще воистину злободневны. Движение русского общества волнует весь мир, и кажется, что «Доходное место» было написано именно сейчас, для того чтобы объяснить великие явления, происходящие в России.

Молодой идеализм борется в этой пьесе с закоренелым взяточничеством, с человеческой пустотой и бессодержательностью. Что победит? В пьесе Островского об этом не говорится. Автор предоставляет ответ будущему, семя которого уже брошено.

До сих пор у нас переведены всего две, самое большее — три пьесы Островского, да и то каждая из них попадает на сцену раз в пять лет. Дирекциям театров следовало бы в собственных же ин-

тересах заказывать переводы не только Островского, но и хороших пьес других русских писателей и чаще включать их в репертуар. Однако у нас еще так мало интересуются произведениями чешской литературы и других славянских литератур! А между тем пришло время, пробил час серьезной, разумной подготовки к созданию национального театра — иначе его репертуар уподобится репертуару какого-нибудь театришки из венского предместья: будет современным, пикантным, но лишенным национального своеобразия.

Наши зрители любят пьесы славянских авторов, доказательство тому — переполненный зал на спектакле Островского. Но актеры еще не прониклись духом пьесы. Нам показалось, что между партнерами не было достаточного контакта, им не хватало скупых слов Островского для создания характера, и лишь в процессе самого действия исчезла скованность. Только Аристарх Владимирович в исполнении пана Колара получился завершенным образом: актер нашел яркие краски для передачи мрачного чувства собственного достоинства этого героя, богатую мимику и выразительные интонации для последних сцен, полных напряженности. Ближе всех к его манере исполнения был пан Сейферт в роли Жадова. Вначале он держался как-то скованно, вероятно, его связывал текст, но третий акт, видимо, оказался для него более выигрышным, и он играл со всей присущей ему огромной силой и выразительностью. Пан Пульда (Аким Акимыч) удачно и оригинально трактовал свою роль в первых сценах, однако в дальнейшем его актерское напряжение как-то ослабело. Исполнение паном Мошной роли Белогубова ранее было более удачным. Исполнительницы женских ролей не дали нам материала для особых замечаний. Пани Малая, очевидно, была нездорова, и в последнем акте ей пришлось быть сдержанной и в голосе и в игре. Нам показалось, что пани Сейфертова, стремясь подчеркнуть комические черточки в характер своей героини — матушки Елизаветы, порой впадала в фарс, между тем менее утрированная игра была бы выразительнее. Ей мешали также кричащие ошибки в переводе. Юлия в исполнении актрисы Поспишиловой — наименее продуманная роль во всем спектакле, образ очерчен чисто условно. В роли Павлины актриса де Паули была скорее безвольно-мягкой, чем наивной, зато в сцене с Жадовым сквозь нарочитую суровость нигде не проступали черты женственности и мягкости, составляющие основу этого характера.

Все упреки, предъявленные названным актерам, можно отнести за счет необычности пьес, подобных «Доходному месту» Островского, и поспешности, с которой эта пьеса была поставлена на сцене.

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН

Каким воплем ужаса звучат полотна Верещагина! Мы познакомились пока всего лишь с несколькими фоторепродукциями, которые в свое время раздобыла энергичная фирма Лемана в Праге, но должны признать, что не видели ничего более душераздирающего. Да, быть может, с помощью такого искусства можно достичь идеала — прочного мира, которого так страстно и так давно жаждет человечество, ведущее постоянные войны.

Вместе с тем картины Верещагина — это свидетельство поистине колоссальной силы, пробуждающейся в русском народе. Когда немцы закончили свою последнюю завоевательную войну, они вели себя как триумфаторы и обещали миру только новые походы; когда же русские завершили войну за освобождение своих братьев, вместо победоносного ликования, русская интеллигенция выступила в защиту гуманизма.

Верещагин рисует войну. Но не так, как французы и немцы, как все существовавшие до него баталисты. Он не хочет восхвалять доблести своего народа, он показывает лишь ужасы войны, войну как страшное бедствие. Ему не важно, кто стоял во главе армии — Эпаминонд или Катон. Война не кажется Верещагину смертельной схваткой двух героических народов на трагической сцене, когда они без личной ненависти друг к другу в изнурительной борьбе добывают себе славу. Апофеоз войны представляется ему в виде пирамиды человеческих черепов, которая вскоре рассыплется. Воинская слава предстает в его изображении в виде павшего воина, на ноге которого сидит ворон, не сводящий вопрошающих глаз с мертвого лица. На картинах Верещагина нет никаких надуманных торжественных поз, ничего возвеличивающего, во всем леденящий душу ужас. Но как он убедителен!

И вместе с тем нельзя сказать — как это уже делалось, что Верещагин сеет возмущение против правительства своего народа. Чтобы не задеть русских военачальников, он с большим тактом переносит действие в Азию, изображая воинственные племена свободных татар. Однако, помимо осторожности, у Верещагина была, очевидно, на то и другая причина. Он изучил Азию так же хорошо, как и Европу.

Верещагин—художник чрезвычайно многосторонний. Можно сказать, что смелый замысел соперничает на его полотнах с блестящим исполнением, совершенство в изображении людей — с совершенством пейзажиста.

КУДА ЕЕ ДЕВАТЬ?

Вступительная молитва писателя

Всемогущее небо! Милостиво охрани мысли мои и притупи остроты мои, дабы не вызвали они недовольства сильных мира сего, дабы не оскорбили высокой морали и иных нравственных качеств милых моих сограждан и не испортили завтрашнего воскресного номера газеты. Аминь!

Итак...

Бывал ли ты, читатель, ранним утром на улице? Я не хочу оскорблять читателя, я знаю, что он благородного происхождения и у него нет необходимости вставать раньше девяти,— но, может быть, случайно! А если уж случай вывел его из дому пораньше, то, без сомнения, со всей присущей ему наблюдательностью, он заметил на улице не только людей, но и вещи, которых в обычное время здесь не увидишь.

И, без сомнения, читатель, со всем присущим ему остроумием, начнет размышлять об этих людях и вещах, главным образом — о вещах.

Вот около дома валяется старый кувшин. В другом месте у края тротуара — скрепленный проволокой бидон. А там, прямо посреди улицы, лежит противень. Как попали сюда эти вещи? Может быть, они ушли ночью с кухонных полок и потом, когда наступило утро, не смогли найти дорогу домой? Или, может быть, случайно отстали от своей кухарки во время утренних закупок и теперь ждут ее, подобно хорошо выдрессированной собаке, которая, потеряв хозяев, усаживается обычно посреди дороги и, оглядываясь по сторонам, сидит до тех пор, пока ее не найдут?

Ну так вот. Сейчас повсюду говорят о холере и мерах предосторожности против нее,— только прошу читателя меня не перебивать и не спрашивать, какое она имеет отношение к валяющимся на улицах предметам,— уж пусть он позволит мне спокойно продолжать и тогда увидит, что я пишу не столь уж глупо. Итак: поговаривают о холере. Отовсюду слышится совет, как от нее уберечься. Прежде всего: соблюдайте чистоту в квартире — это, мол, уже половина дела. Дезинфекция — тоже полдела. Доброкачественная говядина, телятина и свинина — тоже. Хорошее пльзеньское пиво, говорят, также половина дела. Подведем итог: итак, если ты будешь свято блюсти все предписания, то станешь во время холерной эпидемии в два с половиной раза здоровее, чем, собственно говоря, тебе требуется. Почему бы и мне не последовать этим сове-

там, если они: 1) улучшат мое здоровье и 2) наполнят мою душу неизъяснимым блаженством, как всякое неукоснительное исполнение официальных предписаний.

Прочитав на ближайшем перекрестке распоряжение магистрата о мерах борьбы с холерой, я тут же закончил свою прогулку и вернулся домой. Ну что ж — по-моему, у нас достаточно чисто. Пол и мебель находятся под постоянным и неусыпным надзором моей Анчи. Книги, правда, вверены моим личным заботам, но я думаю, что немного пыли им не повредит — без нее они выглядят как-то слишком торжественно, кичливо и глупо! А остальное — гм, собственно, больше ничего и нет. Только вот постель — но что в целом свете может быть чище постели старого холостяка!

Подушки — точно два лебедя. Покрывало — словно лепестки лилии. Простыни — как снег. Волосяные матрацы похожи на пирожки. Соломенный тюфяк... соломенный тюфяк...

— Анча!

— Чего изволите?

— Когда я в последний раз менял в тюфяке солому?

— Не знаю... с тех пор, как я здесь... не меняли... Небось там уж одна труха.

Анча служит у меня шесть лет. Стараюсь припомнить, что было до нее, нет, не могу! Этот тюфяк, хорошо набитый и простеганный, я купил еще в дни моей розовой юности...

— Анча!

— Чего изволите?

— Вот вам семьдесят пять крейцеров, ступайте и купите три охапки соломы — быстро!

Анча летит. Анча притаскивает три охапки соломы. Потом хватает тюфяк, распарывает его по всем швам.

Хочет запихнуть в него новую солому.

— А куда мы денем труху?

Да, у женщин ум более гибкий, чем у нас! Мне бы это и в голову не пришло! В самом деле, прежде чем набить сенник заново, нужно вытряхнуть из него старую солому — но куда ее девать? Выбросить из окон кому-нибудь на голову?

— Анча, а куда обычно девают старую солому?!

— Не знаю.

— Гм,— говорю я,— возьмите денег и сбегайте вон в тот высокий дом. У них есть мусорная яма — заплатите дворнику, и он разрешит вам высыпать туда старую солому.

Мужской-то ум тоже на что-нибудь годится!

Анча уходит, но тотчас возвращается. Говорит, дворник не хочет. Дескать, в эту яму служанки высыпают горячую золу и солома может загореться. Да и яма, мол, сразу до краев наполнится

соломой, а крестьянин-мусорщик приедет еще только зимой: сейчас ему и дома хватает работы.

— Так что же делать?

— Не знаю.

— Вот что! — кричу я через минуту (мужской ум удивительно изобретателен).— Завтра среда, по улицам ездит городской мусорщик, собирает мусор. Возьмите эти деньги, дайте половину их мусорщику, который ходит по домам, половину — возчику, и они сами вытряхнут нашу солому на воз.

— Хорошо. Только на чем же вы сегодня будете спать? Я не могу положить вам этот тюфяк, он уже распорот, солома будет вылезать.

— Да-а, как же быть... В таком случае, лягу на пол! Давайте разложим на полу длинную диванную подушку, застелим ее простыней — я буду спать, как князь!

И я спал, как князь. А утром Анча вынесла солому в коридор, и мы стали ждать. Пришел мусорщик, я сейчас же высунулся из окна, чтобы стать свидетелем всей процедуры. Подъехал воз, Анча вышла с соломой на тротуар.

— Да вы мне хоть золотой давайте, все равно я эту солому не возьму, запрещено! — прокричал возчик и стегнул лошадей.

Анча притащила солому обратно.

— Ну, это уж просто черт знает что,— говорю я.

— Да,— подтвердила Анча.

— Так придумайте что-нибудь, боже мой, спросите, наконец, как люди делают!

Анча летит. Приблизительно через час прилетает обратно.

— Говорят, лучше всего сжечь ее в печке!

— А ведь правда, как это мы не догадались! Ну тогда жгите! Только знаете что, спросите-ка сначала у соседей, не собираются ли где-нибудь печь пироги,— может, надо хорошо разжечь топку или прокалить печь — понимаете?

Анча опять убегает. Через минуту мне уже известно, что печь пироги нигде не будут и никто не желает прокаливать печь. А ей нужно на рынок, и забавляться сожжением соломы она сможет только вечером. Нельзя же без конца возиться с этой соломой! Вот так.

Пришел вечер, мы поужинали. Анча принялась таскать солому, делать из нее пучки и совать их в печь. Я сел в своей комнате за письменный стол и, покуривая сигару, с удовольствием слушал, как славно гудит огонь в кухонной печке,— очень уж я это люблю.

Вдруг с улицы донесся шум, громкие голоса. К нам позвонили. Я выскочил в коридор, чтобы узнать, в чем дело. Оказывается, у нас из трубы вылетает сильный огонь и летит на соседние крыши.

— Ради бога, Анча, перестаньте топить! Скорей уберите солому куда-нибудь в комнату, а если к нам придут, делайте вид, что ничего не знаете. Печка накалилась?

— Что вы, от двух-то охапок! Почти холодная!

Слава богу, никто не пришел. Огонь перестал угрожать соседним крышам, и через некоторое время народ разошелся.

Я сердито пускал дым в потолок и, злой, улегся опять на пол.

Утром, однако, я встал бодрым и сразу отправился на улицу — чтобы разузнать, что же делать дальше. Я спрашивал у полицейского. Спрашивал у дворника. Спрашивал у всех знакомых дам.

Полицейский взял под козырек.

— Не могу знать.

Дворник приподнял фуражку.

— Простите, не знаю.

Все дамы заявили в один голос:

— Да, в таких случаях просто ничего не придумаешь.

— Ну, Анча,— сказал я, вернувшись домой,— морока нам с этой соломой! Но ведь не можем мы оставлять ее у себя! Вы умеете делать фунтики из бумаги? Нет? Идите сюда, я вам покажу.

И мы стали делать фунтики и набивать их соломой. А когда их накопилось довольно много, я набил ими карманы, снова вышел на прогулку и стал их рассовывать, куда только мог. В этот день я гулял еще шесть раз. На следующий день — двенадцать.

Так я «работал» четыре дня подряд, пока мы с Анчей не поняли, что выбросили лишь небольшой пук соломы. Я подсчитал, что мне придется гулять подобным образом месяцев семь.

Думаю, нет нужды сообщать вам, что я просто-напросто заболел. Я не мог думать ни о чем другом. Перед глазами у меня была сплошная соломенная пелена, голова была забита проклятой соломой. В одном углу комнаты стояло три снопа, в другом — мой несчастный сенник и там же длинная подушка с дивана,— куда, куда обратить взор? А ночью приходилось ложиться на пол... Я так ругался, извергал столько проклятий, что стыдно вспомнить. Почти не спал, вставал чуть свет и отправлялся на прогулки.

И вот как-то раз я обратил внимание на все эти кувшины, бидоны и противни, которые внимательный читатель, конечно, заметил в самом начале моего повествования.

А с этими кувшинами, бидонами и противнями дело обстоит так: каждый пражанин имеет право завести себе какой-нибудь кувшин или, скажем, бидон, а также противень — это не запрещается законом и не преследуется властями. Но может случиться, что кувшин разобьется,— вот тогда-то и начинается потеха! Куда его девать! Выбросить во двор — дворник заставит убрать. Выбросить на улицу — тебя арестует полицейский. Сунешь на воз город-

скому мусорщику — он его непременно сбросит. Он не возьмет его ни за какие деньги, ему это строго запрещено! Вот какие дела... Тогда ты хватаешь свой кувшин, крадешься ночью на улицу и, никем не замеченный, тихонько ставишь его куда угодно. А на следующий день мусорщик спокойно подберет твой кувшин, причем без всяких денег, и все в порядке.

Меня осенила позорная мысль! А что, если мы с Анчей соберем всю эту старую солому и ночью вывалим ее вон на том углу? Мысль ужасная, неблагородная, незаконная, но признаюсь: мне она понравилась. Как легко человеку испортиться!

Но меня преследует невезенье. Бог знает почему. Как раз здесь поставили пост. Полицейский, конечно, потребует, чтобы я убрал солому. Я буду сопротивляться, совершу преступление, словом, меня заберут — и прощай моя репутация безупречного гражданина, впрочем, мне уже все равно... я...

— Сударь! Сударь! — воскликнула, вбегая в комнату, Анча.— Наконец-то я знаю, куда ее девать, эту солому. Говорят, ее охотно берет молочница. Она каждое утро останавливается вон там со своей тележкой. Ей нужна подстилка для скота! Завтра же отдадим ей солому!

— А это наверняка?

— Наверняка!

Что мне еще добавить! Ночью я спал хорошо. А утром мы с Анчей отнесли солому молочнице,— правда, Анча все-таки прежде заручилась ее согласием принять наш подарок.

Какое это было прекрасное мгновенье! Когда молочница отдавала нам пустой мешок, меня охватил восторг! Я поцеловал у нее руку, горячо обнял ее корову и с увлажненными глазами отправился домой.

Дома мы взяли свежую солому и стали набивать тюфяк. А когда он был уже полон, я обнял Анчу, засвистел песенку «На зеленом на лугу», и мы пустились в пляс вокруг тюфяка, да так, что у нас голова закружилась.

Вот и вся история. Вот как все произошло. Я рассказал все как было. История любопытная и злободневная. Я ею доволен и посему кончаю.

Заключительная молитва писателя.

Всемогущее небо! Горячо благодарю тебя за то, что ты милостиво охранило меня от всех возможных мыслей и притупило остроты мои, и я не возбудил недовольства сильных мира сего, не оскорбил душевной чистоты милых сограждан моих и не испортил завтрашнего воскресного номера газеты. Аминь!

ДОБРЫЙ ДОМОВЛАДЕЛЕЦ

Этюд для моего коллеги-журналиста

— Сидел я вчера с женой после обеда дома,— рассказывал мой приятель.— Четверо детей моих легли уже спать, а мы изучали одну брошюру... да, изучали! После обеда, конечно, не очень хочется заниматься, но в понедельник нам предстоял переезд на новую квартиру, и наш новый домовладелец, принимая от меня задаток, сунул мне в руку *свой кодекс* законов. Восемнадцать страниц — на две больше, чем в своде Черной горы. Пришлось отдать за него сорок крейцеров! Потом я подписал обязательство подчиняться всем распоряжениям домохозяина,— в противном случае мне, само собой разумеется, придется *немедленно* очистить квартиру, не дожидаясь предупреждений и уплатив за три месяца вперед. Великолепный кодекс! Первый раздел — права домохозяина; второй — обязанности квартиранта.

— Уговор дороже денег, милая,— сказал я жене.— Так что ты внимательно следи за тем, чтоб дети не кричали на лестнице. Статья тридцать первая!

— Это трудно,— вздохнула жена.— Ведь они как жеребята: не успеют выскочить за дверь — заржали!

— Господи, мы только и делаем, что переезжаем, и все в более дорогие квартиры! Послушай, Катинка, прежде чем открывать дверь, суй им в рот по куску сахара. Ведь суют же контрабандисты мыло в пасть телятам, которых хотят свести. Дальше — статья восемнадцатая. Говори, Катинка!

— Ну... это о том, что мы не имеем права выносить из дома своих вещей. Да с какой стати нам это делать?

— Все-таки скажи, пожалуйста, хозяйке... ты все равно должна к ней сходить... сколько раз в день наша служанка выходит из дому с корзинкой и сколько с ведром. Потом — как бы не забыть! Я еще должен заказать нынче две ширмы: согласно статье десятой, владелец дома имеет право «входить в квартиру в любое время»; значит, летом он может прийти в четыре часа утра.

— Да я бы ему...

— Ничего бы ты ему не сделала. Не раздражай меня, Катинка! Вечно ты противоречишь. Помолчи хоть раз, милая. Закон есть закон. Ты уже показала Бетке, как надо отжимать белье? Статья шестьдесят два: «Квартирант должен вешать на отведенном ему чердаке только *хорошо отжатое* белье: домохозяйка следит за этим и имеет право немедленно снять белье, с которого каплет». Бетка как?

— Что ж... будет отжимать!

— Хорошо, душенька! И прошу тебя, вели на этой неделе еще раз хорошенько прокалить всю кухонную посуду. Как ни соблюдай чистоту, а все-таки трудно в таком старом доме уследить, чтоб нигде ни пылинки... А в статье сто двадцатой прямо сказано, что жильцы не имеют права держать никаких домашних животных.

Жена хотела что-то возразить, но тут раздался стук в дверь. Боже спаси и помилуй... вошел наш домохозяин! Мороз пробежал у меня по коже: уж не хочет ли он отказать нам от квартиры?

— Господи, какой гость! — воскликнул я, вскочив с места.— Душенька, это наш новый домохозяин, пан Фоунялик!

— Фоуфалик! — резко поправили меня, и серые глаза домохозяина, казалось, пронзили все мое существо.

— Фоуфалик,— повторил я шепотом, помертвев от страха.— Милости просим. Садитесь.

— Не помешаю?

— Что вы! Мы тут с женой славно проводим время... Катинка, принеси пану Фоуфалику кресло из другой комнаты... Вот так! Мы читали сводик законов, который вы составили. Приятное чтение, очень приятное. И какое поучительное! Например, вот эта статейка, шестьдесят четвертая, насчет очереди по уборке клозета... Очень поучительно...

— Проходя по кухне, я почувствовал запах свинины... У вас часто бывает свинина?

— Да раза два в неделю,— выпалила моя неосмотрительная жена.

Я испугался. Почем знать, как господин Фоуфалик относится к свинине!

И в самом деле, красное круглое лицо его слегка омрачилось, редкие ресницы дрогнули.

— Только потом не открывайте, пожалуйста, в кухне окон. Запах сейчас же разнесется по всему дому, а моя жена терпеть не может, когда пахнет свининой.

— Нет, нет, будьте покойны... А как ваше здоровье? И настроение?

— Со здоровьем куда ни шло,— ответил он, расстегивая свою легкую шубу, может быть, для того, чтобы показать круглое брюшко, украшенное массивной цепочкой.— Но сколько волнений! Судите сами,— пальцы его забарабанили по блестящему цилиндру,— моя жена только что застала офицерского сынишку с третьего этажа плюющим на лестницу!

— Это ужасно! — воскликнул я. У Катинки глаза стали круглые.

— Уж такие родители. А как же я могу терпеть, чтоб у меня в доме плевали на лестницу?

— Ну, понятно!.. А у вас тут какие-нибудь дела по соседству?

— Нет... просто у меня такое обыкновение: навещать каждого будущего своего жильца на его прежней квартире. Скажите, на вашей улице не было случаев оспы?

— Нет, нет... тут все здоровы, как в Меране.

Только накануне увезли одиннадцатого, умершего от оспы на нашей улице, но с какой стати я...

— Это меня радует. Я слышал, дети у вас тихие. Четверо мальчиков, да? Я справлялся у соседей... Прошу прощения, но вы сами понимаете — домовладельцы...

В эту минуту завозился в своей кроватке разбуженный разговором младший, шестимесячный. У меня опять сердце упало: если он, проснувшись, не увидит никого возле себя, то сейчас же заревет.

— Катинка, посмотри,— сказал я, указывая на ребенка.

— Вы говорили, что у вас две тысячи дохода,— продолжал хозяин.— Пятьсот за квартиру... мне через день давали на сотню больше, ну да ладно! У вас будет оставаться полторы — не так уж много! Вы застраховали свою жизнь?

— Трижды, трижды, господин Фоуфалик! В «Праге», в «Славии» и потом... потом...

Я никак не мог вспомнить название третьего учреждения, где я не...

— Это хорошо. А то нет хуже, когда вдова не в состоянии заплатить за квартиру. Виноват, это что?.. Конский волос?

Он встал и пощупал матрац.

— Да,— ответила моя жена,— девяносто крейцеров фунт. Высший сорт!

— А какая у вас тут вторая комната?

Мы повели его во вторую комнату, поменьше, потом в третью — так называемую «гостиную». Мне показалось, что господин Фоуфалик остался доволен нашей обстановкой, которую в случае надобности мог взять в залог.

— Это саксонский фарфор? — спросил он, указывая на кофейные чашечки в стеклянном шкафу.

— Да,— гордо подтвердила жена.— Они достались мне от покойной мамы.

— Точно такие же у моей старухи. В прошлом году ей подарила на именины купчиха, которая квартирует на втором этаже. Мою жену зовут Вальбурга... Скоро опять — двадцать пятое февраля... То-то жена обрадовалась! И теперь все твердит: «Вот бы еще такой сервизик».— «Посмотрим, отвечаю, нынче тяжелые времена». А скажите, пожалуйста, вы застраховали свое имущество от огня?

— Нет,— ответил я, совсем растерявшись.

— Надо застраховать обязательно. У меня уж так принято; я не включил этого в свою инструкцию, но все равно — вы должны застраховаться от огня. Ну, мне пора. Люблю смотреть, как возят лед с реки. Пока до свиданья!

— Благодарим за честь...

— Пожалуйста... Всего доброго!

Мы были просто подавлены. Хорошо еще, что он вовремя ушел; через две минуты двое наших малышей подняли такой рев, словно их режут, а оба старших подрались из-за лошадки.

— Бедная моя женушка,— сказал я, влепив Карелу подзатыльник.— Ты так любила этот сервиз.

— Не видать им его, как своих ушей... Ты сейчас же откажешься от квартиры... Переедем хоть во Вршовице!..

Всегда такая тихая!.. Ну, ладно: во Вршовице, так во Вршовице...

ЛЮБЛЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

Не бойтесь, когда-нибудь в базарах не будет решительно никакой надобности. У нас все время благотворительные пожертвования и базары, бог ведает зачем. Хотим открыть чешскую церковь, обязательно — пожертвования и базар, хотим театр — пожертвования и базар, хотим школу — пожертвование и базар. Только о тюрьме нет нужды хлопотать: она строится без нашей помощи,— будем радоваться хоть этому, на худой конец! Впрочем, не было бы ничего нового в том, чтобы устроить базар для процветания тюрьмы. Двести лет тому назад в городе Братислава, который тогда принадлежал еще «нам, чехам», граждане вдруг почувствовали непреодолимое желание обзавестись такого рода учреждением: не имея денег, они устроили вещевую лотерею и базар; по сообщению летописца, лотерея длилась «несколько зим»; это была первая отмеченная историей вещевая лотерея в Европе.

Я люблю базары. Тут можно избавиться от накопившегося в доме всякого старого барахла, а если с базаром связана лотерея, так выиграть другое какое-нибудь барахло, которое посодействует темпу народной жизни в будущем. Последний раз я выиграл фарфорового китайца, махающего ручками. Я хорошо его знаю: двадцать лет тому назад я отдал его на благотворительный базар в пользу Зденки Гавличковой; тогда он был совсем новый — честное слово, совсем новый! Сколько базаров пережил он с тех пор! Сколько добыл денег для родины, для народа! А теперь стоит на моем письменном столе, и я смотрю на него. Как он постарел за

эти двадцать лет!.. А может, он тоже смотрит на меня и думает: «За эти двадцать лет... ах ты, нахал! Вот я обломаю тебе лапу!»

Ну, погоди же, опять насидишься у меня в потемках! Служанка как раз укладывает в ящик кое-какие «особенно ценные вещи»: ведь не знаешь, в какой день, какой час и минуту опять раздастся «призыв родины». Эти вещи уже разложены на полу. Маленькая жестяная копилка, красиво окрашенная в зеленое; среди братьев она идет за грош. Элегантное кожаное паспарту для календаря; отчетливо видны нацарапанные ногтем буквы и цифры: «1872 год», но не беда. Кофейная чашечка, еще вполне пригодная к употреблению,— но коль жертвовать, так жертвовать. Домашняя бархатная шапочка,— правда, из кисточки выдернуты золотые нитки, да и подкладку надо бы новую,— ну да родине еще послужит!

— Так. И положите еще вон того китайца. Да, чтобы не забыть! Если я вас с этим куда-нибудь пошлю и к вам начнут приставать, чтоб вы назвали фамилию дарителя... мою то есть... вы молчите! Умолять будут, грозить, подкупать — ни звука.

Мне не надо громкой славы. Маленькая — еще куда ни шло...

У меня теперь много забот в связи с моей книгой. Удачная ли получится? И разойдется ли? Я собираюсь написать книгу под названием «О чешской политике, чешских политиках и наших политических успехах...» Лучшего названия не придумаешь!

Конечно, я имею намерение создать вполне современную книгу. Мы стали очень любознательны; нас уже не удовлетворяет простое утверждение, что вот это — прекрасно; мы в таких случаях радуемся, как и прежде, но хотим также наслаждаться знанием того, *почему* это прекрасно, *как* оно возникло, *как* складывалось и т. д. А чтоб как можно скорей все это узнать, мы идем прямо к тем, кто эту красоту творил, и ставим перед ними совершенно конкретные вопросы. И на основании полученных ответов пишем книги. Скоро у нас будут целых три такие книги, выросшие из вопросов и ответов: первую издал какой-то немец — об актерах, вторую готовит одна американка — о поэтах, а третью выпускаю в свет я — о чешских политиках.

Я предлагаю этим господам те же самые вопросы, которые были заданы деятелям искусства — поэтам, так как чешская политика, во-первых, подлинное *искусство:* ведь она является самоцелью; а во-вторых, она, конечно, *поэзия,* так как непрактична.

Прилагая образчик своего письма, обращаюсь с просьбой ко всем уважаемым редакциям не счесть за труд напечатать его в ближайшем номере своих газет. Конечно, бесплатно!

«Милостивый государь! Вы, вероятно, уже слышали о моей новой книге, которая вскоре будет выпущена «Чешским клубом» в Праге. Я еще собираю для нее так называемый материал. Не откажите ответить мне на следующие вопросы: 1) Когда Вы предпочитаете играть по отношению к народу роль патрона — днем или ночью? 2) Когда Вы трудитесь на благо народа, возникает ли у Вас потребность в прохладительных,— например, пиве, черном кофе, почетных званиях, сигарах или брани по адресу инакомыслящих? 3) Составляете ли Вы свои планы спасения народа сразу набело или же сперва начерно? 4) Приобрели ли Вы какие-нибудь особые навыки в деле спасения народа? 5) Легко или тяжело дается Вам труд на благо народа? Не прошибает ли Вас при этом пот? 6) Трудитесь ли Вы для родины даже тогда, когда в этом нет надобности? 7) Сколько часов в день работаете Вы для родины? Ответ прошу по возможности не задерживать.

С совершенным почтением...
N. B. Почтовые расходы с удовольствием возьму на себя.
Прага, 24 января 1885 г.»

ПЕРВОЕ МАЯ 1890 ГОДА

«Был первый май...»

Извините, пожалуйста, что я тоже начинаю такой, хотя и всем нам милой, поэтической, но все же слишком избитой фразой. На этот раз, право, не получается по-другому! В Чехии, что ни год, около первого мая эти слова Махи произносятся десятки тысяч раз десятками тысяч людей; а в нынешнем году (позвольте мне теперь опять употребить ходячую, очень избитую фразу) мне хотелось бы иметь столько золотых, сколько раз именно в нынешнем году произносились эти слова у нас, часто еле слышным шепотом, как бы невольно, словно во сне...

Да, было Первое мая 1890 года! И тот, кто пережил этот день как зрелый, размышляющий человек, на всю жизнь запомнит его!

Было бы интересно прочесть какую-нибудь написанную по-чешски, озаренную огнем истинной поэзии, проникнутую глубокими, по-настоящему «человечными» идеями «мистерию», в которой выступали бы отдельные годовые праздники, состязаясь в споре, кто же из них выше других, кто же из них *первый*.

Пусть, например, выступит день Нового года. Но не тот пустой, заимствованный в чужих землях праздник, после которого болит и кружится тяжелая голова и который сопровождается шум-

ными, противными обрядами, исполненными лжи и надоедливого эгоизма! Пусть это будет чешский новогодний день, который жив у нас до сих пор в деревне. В доме торжественно и тихо; повсюду чисто, все еще накануне прибрано и приготовлено, выполняется только самая необходимая, неотложная работа; все говорят друг с другом так сдержанно, почти вполголоса и остерегаются чем-нибудь рассердить или вывести из себя; в церковь надевают самое нарядное платье, а потом горячо молятся, и до нового трудового утра все так счастливы, всем так хорошо!

Пусть выступит Сочельник — в одних местах это день, полный ярмарочного шума, день необыкновенно пышных храмовых праздников, день взаимных неожиданных сюрпризов,— в деревне же это картина не только нашей скромной деревенской жизни, но и драгоценного семейного счастья. Когда после дня, прошедшего в обычной суете, наступает тихий вечер, люди ходят на цыпочках, бесшумно, собираются в компате и садятся за стол, довольствуясь грибной похлебкой, кашей с маслом, оладьями, распаренными сухими фруктами; потом все усаживаются в кружок потеснее и рассказывают всевозможные диковинные истории о былых временах, о чужих землях, о том, как родился Спаситель и как в святую ночь небо вдруг озарилось, засияв, как днем, как запели ангелы и бедняки поспешили в Вифлеем и первые поклонились искупителю, узнав раньше всех, что спасение человечества — в равенстве всех людей,— и когда затем всем слушателям и рассказчикам кажется, что свет спасения действительно засиял над ними, они встают, крестятся и все идут встречать утреннюю звезду, новый день!..

Пусть выступит Вторник масленичной недели, сопровождаемый музыкой и песнями, от которых глаза загораются весельем, ноги сами начинают приплясывать, сердце скачет, а с губ срываются ликующие возгласы. Пусть выступит в состязании с ним день Первого апреля, шаловливый обманщик, с прибаутками и замысловатыми проказами, под звуки бубенчиков и насмешливых свистулек.

Пусть выступит день Первого мая, увенчанный свежей зеленью барвинка. С благоухающими ландышами в волосах. С соловьиной песнью на трепетных губах. Со жгучей искрой любви в страстном взоре.

Тысячи поэтов уже воспели его. Миллиардам человеческих сердец он помог быстрее биться от счастья. Но я, пожалуй, не знаю, что конкретного сумел бы он сказать в свою пользу. Ему, правда, принадлежит обширное царство красоты и любви, но он вершит свои дела тайно, в тихой лесной чаще, внутри пробуждающихся почек, в раскрывающихся сердцах. Он не любит шума, он не создан для блестящего общества, для публичного веселья; он су-

ществует для нежных взглядов, которыми обмениваются только двое, для шепота, который сладостен только двоим!

И действительно — конечно, случайно — подлинная медлительная история человечества доныне почти не останавливалась у этого дня, у Первого мая. Почти — до самого последнего времени! До Первого мая 1851 года, когда открылась первая Всемирная выставка, которая сразу же объединила разные народы в единый хоровод.

И не прошло еще и сорока лет, как наступило Первое мая 1890 года. Право, те, кто дождались его, дожили до самого памятного Первого мая в человеческой истории. Может быть, даже до самого памятного дня в истории человечества вообще!

Спокойной, железной поступью, сомкнув ряды, Первого мая 1890 года шли батальоны рабочих, несчетные, необозримые, вступая в строй борцов за права человека, чтобы всегда, так же, как в этот день, идти вперед вместе с нами к величественной цели человечества, так же убежденно, преодолевая те же трудности, с такой же радостью.

Это было могучее шествие, неодолимое, как океанский прилив. Кто присмотрелся в этот день к народным массам, тот поймет, что может значить «примитивная сила», движимая нравственной, духовной идеей.

Особенный день! Удивительное настроение! Не страх,— нет, мне даже не пришла в голову такая возможность,— но такое странное ожидание чего-то неопределенного, совершенно неизвестного охватило все мое существо. Ощущение не из приятных. Мне помнятся только два случая в моей жизни, хотя их никак нельзя сравнивать с сегодняшним, третьим, когда у меня было подобное ощущение ожидания «чего-то неопределенного, неизвестного». В первый раз — в 1848 году, в те часы, когда бомбардировали Прагу; тогда это ощущение пробуждалось и удерживалось между отдельными выстрелами мортир. И во второй раз — в 1866 году, в то утро, когда пруссаки приближались к Праге.

Особенный день! Такой тихий, гнетущий, «помертвевший». Улицы выглядят необычно. Ни единой нахальной шапочки буршей. Ни единого экипажа, никаких дрожек. Ни одного барина. Ни одной дамы. Только те, кто вышел на улицу по необходимости, а среди них и мы, кого бедный рабочий люд ошибочно причисляет к «господам», а настоящие господа — по праву к «рабочим».

Неожиданно толпы людей повалили от Прашной браны: рабочие возвращались с митинга в Карлине на митинг в Праге.

Я намеренно пошел навстречу этому потоку.

Красные значки, красные галстуки... Молнией блеснуло в мозгу воспоминание о Коммуне, о красных знаменах анархистов!

Впервые я увидел на груди у людей этот густо-красный цвет мирового социалистического движения. Я затрепетал.

Удивительно, как удивительно! Те же цвета — черный на темно-красном фоне — когда-то развевались над гуситами, борцами за свободу совести,— теперь эти цвета развеваются над борцами за полное гражданское равенство!

Толпа валит. Не густая, а преднамеренно редкая и потому нескончаемая. Все одеты по-праздничному, все чистые, нарядные. В руках легонькие праздничные тросточки — «шпацирки». Кое у кого на руках, быть может, самых мозолистых, даже кожаные перчатки,— люди не хотят в праздник показывать свои загрубелые ладони.

Толпа валит непрерывно, но особого шума не слышно. Рабочие идут почти молча, так же, как они гурьбой идут вечером с работы: молчаливые, скупые на слова, с решительным лицом,— а сегодня их лица выражают поистине железную решимость! Ты только посмотри — видишь: можно прочесть на лицах эту «примитивную силу». Но при этом ты не ужаснешься. Ты почувствуешь, что силой овладела идея. И вдруг точно чудом ты поймешь нынешний Первомай, вдруг ты увидишь, что вся существовавшая до сих пор общественная и политическая ситуация изменилась сегодня от одного толчка, и изменилась уже не только на сегодня.

Бесконечным потоком толпы валят дальше, спешат на Стршелецкий остров, на свой митинг. Они еще некоторое время будут обсуждать свои дела. Прежде всего сокращение рабочего дня. Они догадываются, что если у господа бога обе руки всегда полны работы для них, то ему, конечно, печем благословить их. Ну, да благословит вас господь бог!

Но улицы, несмотря на митинг на Стршелецком острове, не пустеют. Ни днем, ни вечером. С каждым часом народу становится все больше и больше. Пристойный, бесспорно праздничный вид! Рабочие уже гордо идут со своими женушками по правую руку; на лицах играет довольная, радостная улыбка, она искрится в глазах. И с ними и среди них — остальная Прага, такая же довольная, такая же радостная.

Особенный, совсем особенный день! Право, и природа вокруг подчиняется тем же законам: утром удушливый туман, воздух сумрачный, тяжелый,— потом вдруг проглянуло солнце, и стало так ясно, так светло, так радостно на душе.

Было Первое мая 1890 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Столь же оправданно и закономерно, как о пушкинском этапе в развитии русской литературы, говорить о нерудовском этапе в литературе чешской. В его творчестве с небывалой до тех пор полнотой сконцентрировались основные художественные тенденции эпохи. Нерудовский этап в развитии чешской литературы отмечен напряженными творческими поисками новых путей изображения духовного мира человека и общественных отношений эпохи, утверждением реалистического направления и метода. Перед чешской литературой, получившей в свой актив поэзию, прозу и публицистику Яна Неруды, открылись новые художественные горизонты.

Затруднительно решить, какая из сторон многогранной творческой личности Неруды сыграла большую роль в истории отечественной культуры, где его талант раскрылся особенно органично и полно. Рядовые читатели ценили его прежде всего как журналиста и прозаика, младшие собратья по перу — как главу нового поэтического направления и поэта, позднейшим поколениям творчество писателя открывается во всем его богатстве. «Эпитет «нерудовский» считается в Чехии не только высшей похвалой, которой может удостоиться поэт, но означает также величие мысли и простоту формы и — что еще важнее — безграничную верность своему народу и его национальной культуре»,— писал известный ученый Зденек Неедлы. Так воспринял творчество Неруды и молодой чилийский поэт Нафтали Рикардо Рейес Басуальто, известный всему миру под псевдонимом Пабло Неруды, которым он обязан чешскому поэту прошлого века.

Основная черта его поэзии — сочетание высокого гражданского пафоса и лиризма. Высокие понятия Родины, Народа обретают в стихах Неруды впервые в чешской поэзии личное и даже интимное звучание. Неруда хотел, чтобы в лирику вторгалось историческое ощущение эпохи, чтобы «поэт многосторонне связал свои субъективные переживания с внешним миром», раскрывая в личном, конкретном переживании общечеловеческий душевный опыт. Поэт создавал в своих стихах концепцию нового человека, свободного от оков феодальных пережитков, духовно раскрепощенного, сознательно отдающего свою жизнь на служение гуманным идеалам и не нуждающегося

в покровительстве небесных сил. Поэзия Неруды содействовала созданию более свободной поэтической формы; в его гражданской, философской, интимной, пейзажной лирике читатель встретит бесконечное многообразие стихотворных структур, интонационно-стилевых вариаций. Оценивая поэзию Неруды, известный чешский критик Ф.-К. Шальда писал: «Нет ни малейших сомнений в том, что это великий поэт и великая личность, при этом поистине современный и поистине чешский поэт».

Своими сборниками рассказов «Арабески», «Разные люди», «Малостранские повести», повестью «Босяки» Неруда вырвался из зачарованного круга романтических иллюзий, прекраснодушной сентиментальности и непременного набора национально-патриотических проблем, которые держали в своем плену донерудовскую прозу. В его творчестве народ окончательно утверждается не только как носитель патриотических идеалов, но и как основная составная часть современного общества со своим социальным и нравственным обликом, устремлениями и чаяниями. Проблема человека из народа трактуется Нерудой уже не в плане его патриархальной и национальной своеобычности, но под углом зрения социальных противоречий. Прочные позиции завоевывает в чешской прозе и проблема города.

С прозой Неруды в чешской литературе победоносно восторжествовало социально-аналитическое начало, принцип типизации, лежащий в основе реалистической образности, многостороннее преломление мира сквозь призму восприятия героев, сквозь многоликий образ самого рассказчика.

Неруда был первым чешским реалистом, мастером художественной детали, сумевшим с ее помощью передать большие жизненные явления. После смерти писателя чешская критика отмечала, что «Малостранские повести» открыли эру чешского реализма, как эра русского критического реализма началась с «Шинели» Гоголя.

Эстетические воззрения и идеалы Неруды рождались в живом взаимодействии литературного творчества и многолетней активной литературно-критической деятельности. Своими критическими статьями он оказал огромное воздействие на развитие отечественной литературы, театра, музыки, эстетической мысли, сумев разгадать и поддержать не один национальный художественный гений.

Писатель был убежден, что литература и искусство вызываются к жизни потребностями своего времени, являются объективным отражением действительности и должны идти в ногу с передовыми общественными идеями эпохи, сопутствуя народу в его борьбе за свои права: «Социальная поэзия не по вкусу тем, кто жиреет от пота своих ближних, пищеварению которых мешают жалобы обездоленных и голодных. Всех их бросает в дрожь при звуке социальной песни, они предают анафеме простую балладу, которая берет свою тему из подлинной жизни... Рабочий добьется своих прав в человеческом обществе, равно как социальная поэзия в обществе литературном».

Вся жизнь Неруды была отдана стремлению «поднять свою нацию до уровня развития мировой мысли и просвещения», содействовать становлению

духовной культуры чешского народа, чтобы она заняла достойное место в сокровищнице мировой культуры. Можно удивляться, насколько глубоко, далеко опережая своих современников, чувствовал Неруда направление развития мирового литературного процесса, стремясь наверстать упущенное чешской литературой, которая существовала в жестких тисках национального бесправия. Особое внимание писателя привлекала русская культура. В творчестве русских писателей он превыше всего ценил истинный гуманизм и мастерство художественной формы; так, он писал: «Русские пытаются во всех деяниях человека, даже в злых его поступках, увидеть и показать подлинную человечность, что ведет к истинному гуманизму. Эти поиски, мы бы сказали, абсолютной правды видны во всех выдающихся плодах художественной русской литературы, они восхищают весь мир: русский роман уже признан в мировой литературе как лучший, вслед за этим, бесспорно, последует признание русской драматургии».

Русский читатель знаком с творчеством Неруды по нескольким изданиям его стихов и прозы. Наиболее полные из них: Ян Неруда. Избранное. М., Гослитиздат, 1950; Ян Неруда. Избранное в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1959.

Отбор произведений для настоящего издания и все переводы были осуществлены по последнему, наиболее полному собранию сочинений Яна Неруды: Spisy Jana Nerudy. Knihovna klasiků. Praha, 1950, Státní nakl. krásné literatury, hudby, a umění. Svazek 1—40.

Том избранных произведений состоит из четырех разделов: I. Стихотворения; II. Рассказы; III. Малостранские повести; IV. Очерки и статьи,— которые отражают жанровую многосторонность творческого наследия Яна Неруды. Произведения внутри каждого раздела расположены в хронологическом порядке или в порядке, принятом в изданиях сочинений Неруды.

СТИХОТВОРЕНИЯ

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ЦВЕТЫ

Первый поэтический сборник Я. Неруды «Кладбищенские цветы» вышел в 1857 году. Название сборника метафорично. Глубинный смысл заглавия зашифрован в сравнении чешской послереволюционной действительности с кладбищем, а стихов сборника — с цветами, выросшими на могилах «погребенных заживо». Стихи посвящены памяти школьного друга Антонина Толлмана, покончившего с собой,— это «кладбищенские цветы», положенные на его могилу. Смысл заглавия связан и с любовной драмой поэта, похоронившего свои первые мечты о счастье.

«В сладкой неге донерудовской эротической лирики и слащавости патриотической поэзии суровые песни Неруды прозвучали, как звон металла»,— писал о них впоследствии младший современник Неруды, известный поэт Я. Врхлицкий («Nové studie a podobizny». Praha, 1897, s. 63).

КНИГИ СТИХОВ

Книга вышла в свет в конце 1867 года с датировкой — 1868 год. Это самый большой сборник Неруды, состоящий из трех разделов: «Книга стихов эпических», «Книга стихов лирических и смешанных», «Книга стихов злободневных и к случаю». Композиция сборника объясняет его название. Стихи, близкие по общему идейному замыслу и настроению, поэт объединяет в циклы: «Матушке», «Анне», «Элегические пустячки», «Песни о Мельницкой скале»,— «Чешские стихи» и др. Стихи первого сборника — «Кладбищенские цветы» в переработанном и дополненном виде вошли в «Книги стихов» как цикл «Листки из «Кладбищенских цветов».

В конце 1872 года с датировкой — 1873 год сборник был переиздан и при этом пополнился новыми стихами («С сердцем героя», «Всему был рад!», «Я нашел себя», «Монашка» и др.).

С е р д ц е м г е р о я.—Неруда обращается к легенде о короле Шотландии Роберте Брюсе (1274—1329), который прославился борьбой с англичанами за независимость. Он дал обет посетить Палестину, однако этому помешала смерть. Король завещал своему другу, славному рыцарю Дугласу, отвезти туда его сердце. Однако по дороге в Палестину рыцарь Дуглас погиб в одном из боев с неверными.

Н а т р е х к о л е с а х.—В ответ на критику Неруда писал: «Кто-то сказал, что в этом стихотворении речь идет о чрезвычайной кровожадности. Этот критик, очевидно, думает, что народные поверья, например, о свадьбах, всегда сбываются и если невеста даст жениху первому преклонить перед алтарем колена (что, согласно поверью, принесет ему первому смерть), то она тем самым совершит настоящее убийство! И далее, этот критик скорее всего не знает народной чешской пословицы о женщинах, потерявших трех мужей, в которой говорится, что они едут в ад на трех колесах» (журнал «Образы живота», 1860, с. 233).

Р о м а н с.— Стихотворение было впервые опубликовано в журнале «La voix libre de Bohême Čech», или — «Свободный голос Богемии. Журнал, открытый всем стремлениям и жалобам нашим», который выходил в Женеве под редакцией Й.-В. Фрича (1829—1890), радикального демократа, активного участника революции 1848 года, который долгие годы жил в политической эмиграции. Этот журнал не проходил австрийскую цензуру, и поэтому именно туда Неруда посылал свои наиболее острые в политическом отношении стихи.

В этом журнале впервые увидели свет под псевдонимом Прокоп Запольский стихотворения: «Рад бы я несчастному народу...», «Если хочешь, рок жестокий...», «Нет, умирать еще мы не умеем...», «Романс» и др.

Стр. 31. *Уж давно война бушует...* — Речь идет об австро-прусской войне 1866 г. Неруда считал войны величайшим бедствием человечества, однако горячо сочувствовал борьбе за национальную независимость и осуществление демократических идеалов: «Я не могу назвать славой славу, добытую войной,— писал Неруда в одной из своих первых статей,— я признал бы ее лишь в том случае, если война ведется в интересах прогресса, ради светлых идеалов всего человечества» (Spisy Jana Nerudy. Literatura I, Praha, 1957, s. 52).

ОТЦУ

Цикл посвящен отцу Неруды, Антонину Неруде (1784—1857), который был солдатом, участником наполеоновских походов. Получив отставку, он содержал на Малой Стране мелочную, затем табачную лавочку в доме «У двух солнц» на Оструговой, ныне Нерудовой, улице. Дом сохранился.

МАТУШКЕ

Этот цикл поэт посвящает своей матери Барбаре Нерудовой (1795—1869), которая помогала семье сводить концы с концами поденной работой у богатых соседей. «Мой отец работал до своего смертного часа с раннего утра до позднего вечера, у моей матери никогда не заживали на руках кровавые мозоли»,— писал Неруда в одном из писем (Spisy Jana Nerudy. Dopisy, III, s. 44).

АННЕ

Стихи цикла посвящены Анне Голиновой, «вечной невесте» поэта. Начинающий писатель познакомился с нею в 1852 году. Она принадлежала к обеспеченной пражской семье. В доме ее отца собирались известные чешские писатели и патриоты. Долгая и мучительная любовь кончилась разрывом, причиной чего была отчасти материальная необеспеченность Неруды, его неопределенное общественное положение.

О ВРЕМЕНИ ПОГРЕБЕННЫХ ЗАЖИВО

В стихотворениях цикла выражен страстный протест против политической и культурной реакции, наступившей в Чехии после подавления революции 1848 года. Это выражение Неруды стало нарицательным и широко применяется при характеристике 50-х годов XIX века.

Стр. 44. *Мы другим народам дали волю, а на свой надели тесный саван...* — После казни великого чешского реформатора, борца за независимость Чехии, Яна Гуса (1368—1415) в стране развернулось широкое антифеодаль-

ное, национально-освободительное движение. Гуситское движение стало мощным толчком движения реформации в Европе, Чехия же, насильно оставленная в католицизме, потеряла в 1620 г. свою политическую самостоятельность, попав под власть австрийской династии Габсбургов.

З а р я с В о с т о к а.— Непосредственным поводом к написанию стихотворения послужило участие чешской делегации в этнографической выставке 1867 года в Москве. Стихотворение проникнуто симпатией к славянским народам и верой, что русский народ окажет поддержку в национальной борьбе чехов за свое освобождение. Эти идеи были политически актуальны в годы растущего прусского централизма и германского шовинизма.

К п а п с к о й к у р и и.—Стихотворение написано в связи с «Собором Ватиканским», который, заседая в 1869—1870 годах, выработал догмат о непогрешимости папы. В пору активной идеологической подготовки к собору, в атмосфере неуемного восхваления католицизма, папы, злобных нападок на дарвинизм, Неруда выступил с серией фельетонов и статей, разоблачая реакционную, антинародную роль католической церкви. (См. статью: K. P o l á k. Nerudův boj s církevní reakci.— В сборнике «Z doby Nerudovy». Praha, 1959).

ЭПИГРАММЫ

К этому поэтическому жанру Неруда обращался в разные периоды своей жизни. Своим учителем поэт считал Карела Гавличка-Боровского (1821—1856), известного чешского поэта-сатирика, непримиримого борца с политической реакцией.

С у ж д е н и е о «Б р а н д е н б у р ж ц а х».—«Бранденбуржцы» — первая опера великого чешского композитора Бедржиха Сметаны (1824—1884), написанная в 1863 году на либретто Карела Сабины (1813—1877).

Н а д п е р в ы м и к и р п и ч а м и.—Речь идет о всенародном сборе средств на постройку здания чешского Национального театра в Праге под девизом «Народ — себе». Его открытие в 1883 году стало событием большого культурного и политического значения. Неруда высмеивает скупость и патриотическую пассивность чешских буржуа.

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Сборник вышел в свет отдельной книгой в 1878 году. Издатель с трудом согласился и на публикацию и на требуемый гонорар, опасаясь полного провала. Неруда перенес эти унижения, как он признавался в письмах, «не столько из самолюбия, сколько из глубокого и оправданного убеждения,

что чешская литература должна получить эту вещь». (Dopisy, II, s. 196). Успех книги был неожиданным и ошеломляющим: «Космические песни» выходят уже во втором издании, и это две недели спустя после первого! Такого у нас еще не бывало!» (Dopisy, I, s. 461). Действительно, то же издательство Грегра и Даттла, которое так неохотно пошло на публикацию этого поэтического творения Неруды, через две недели издало сборник вторично, а в 1882 году — в третий раз. Неруда вложил в стихи этого сборника свои философские раздумья о мироздании, о законах развития Космоса, Земли, Человечества, которые опирались на достижения современной ему астрономической науки.

Иван Франко (1856—1916), переводивший «Космические песни на украинский язык, оценил их как произведение насквозь оригинальное, исполненное глубоких мыслей, буйной фантазии, юмора и сердечной простоты («Зв'язки Івана Франка з чехами та словаками», Київ, 1957, с. 308).

«Л я г у ш к и в л у ж е с о б р а л и с ь...» — Стр. 61. *Рыцарь Любенецкий* — Любенецкий Станислав (1623—1675), польский ученый, автор сочинений по астрономии.

«В в ы с ь, н а р о д, в з г л я н и...»— Это стихотворение Неруды было особенно популярно среди чешских патриотов во время фашистской оккупации.

БАЛЛАДЫ И РОМАНСЫ

Отводя литературе важное место в воспитании гражданственности, Неруда предпринял издание новинок отечественной поэзии по дешевой, доступной народу цене. К работе над этой серией под названием «Поэтическая беседа» (1883—1890) Неруда привлек всех видных поэтов своего времени (С. Чеха, Я. Врхлицкого, Й.-В. Сладека и др.). В предисловии к первому выпуску подчеркивалось, что «Поэтическая беседа» призвана «расчищать пути для отечественной поэзии и завоевать ей любовь и признание в самых широких кругах народа».

«Баллады и романсы» вышли как первая книга серии «Поэтическая беседа». В создании своих баллад Неруда использовал народное творчество и опирался на традиции чешского поэта Карела Яромира Эрбена (1811—1870), автора прославленного сборника баллад «Букет» (1853).

«Баллады и романсы» Неруды были высоко оценены пролетарским поэтом С.-К. Нейманом (1875—1947), который писал, что «Неруда обвенчал народную национальную стихию со зрелой поэтической культурой». («Umění a politika», I. Praha, 1950, s. 139).

Ч е ш с к а я б а л л а д а.— Стр. 69. ... *рыцарь Палечек* — придворный шут чешского короля Иржи из Подебрад (1420—1471), веселый и мудрый

человек. В конце XVI столетия его шутки и присказки были изданы — «Истории о брате Палечке».

Стр. 70. *И чешский тихий, грустный край...*— Эти строчки обычно не пропускала австрийская цензура, которая справедливо усматривала в них опасный намек на бесправное политическое положение Чехии в Австро-Венгерской империи.

Баллада о Карле IV.— Карл IV (1316—1378) — император Священной Римской империи и король Богемии.

Стр. 70. *Бушек из Вильгартиц* — чешский вельможа, приближенный короля.

Стр. 71. *Я сам из Бургундии лозы привез.*— Близ г. Мельник по указу короля были заложены виноградники, отсюда название известного чешского вина — «Мельницкое», которое любил Неруда.

Итальянский романс.— Герой романса — реальное лицо, *Басси* Уго (1801—1849) — участник патриотического движения за независимость Италии, священник, казненный австрийскими властями, препятствовавшими объединению страны.

Баллада о польке.— Неруда связывал широкое распространение в народе этого любимого чешского танца с революционным движением масс в 1848 году. Не случайно Б. Сметана создал прославленный фортепьянный цикл полек, широко используя мелодии и ритм этого танца в других своих произведениях.

Малостранская баллада.— Стр. 79. *...святейший Ян!* — Речь идет о святом Яне Непомуцком, статуя которого стоит на Карловом мосту в Праге.

ПРОСТЫЕ МОТИВЫ

Впервые сборник вышел в 1883 году как пятый том «Поэтических бесед». Поэт назвал эти стихи «простыми цветами своих чувств». «Четверть века назад,— писал он в письме,— когда друзья упрекали меня за отсутствие лирического чувства, я отвечал им: «Подождите, я тоже стану сочинять лирические стихи, когда состарюсь. Я сам не знал тогда, какую удивительную правду говорю, хотя в душе эти слова я подкреплял доказательствами. И вот старость еще не пришла, пришла болезнь, и чувства взяли верх... Ведь мы — люди!» (Jan Neruda, Dopisy, I, Praha, 1963, s. 146).

Всего лишь — август.— В этом стихотворении Неруда вспоминает о поэте Витезславе Галеке (1835—1874), с которым его связывала дружба единомышленника и соратника по литературным боям. Галек умер в полном расцвете таланта и славы.

ПЕСНИ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ

В последние годы жизни Неруда публиковал стихи гражданской тематики с подтитулом «Из песен страстной пятницы». Новый сборник должен был состоять из двух частей: «Песни страстной пятницы» и «Песни белой субботы». В названии циклов зашифрован их смысл. Это песни о страданиях народа, распятого на кресте бесправия, и песни — мечты о его «белой субботе», светлом воскресении, в которое поэт непоколебимо верил. После смерти Неруды издатель И. Герман и поэт Я. Врхлицкий объединили эти стихи в сборник «Песни страстной пятницы», который вышел в 1896 году.

«Мой цвет — красный и белый».— В этом патриотическом стихотворении воспевается национальный чешский стяг. В качестве заголовка взята строка из «Моей песни» К. Гавличка-Боровского (см. прим. к эпиграммам). Строфы «Моей песни» были высечены на памятнике Гавличку в г. Кутна Гора, открытом 26 августа 1883 года. В этот же день газета «Народни листы» опубликовала стихотворение Неруды.

Стр. 97. *Пршемысл* — основатель древней династии чешских князей, ведущей свое начало с IX в. На их гербе было изображение орла.

В земле чаши.— Чехию часто называли «землей чаши», так как эмблемой гуситов была чаша, вышитая на их знамени.

Вслед за сердцем.— Стр. 100. *Не рыцарь Дуглас я, не Роберт властелин...*— См. прим. к стр. 27.

Только вперед!— Стр. 104. *Гуситский гимн иной размах возьмет...*— См. прим. к стр. 44.

РАССКАЗЫ

В раздел вошли рассказы из сборников «Арабески» и «Разные люди». Сборник небольших рассказов «Арабески» был опубликован осенью 1863 года с датировкой: 1864. Почти все рассказы публиковались ранее в различных журналах. Сборник посвящен другу, доктору прав Антонину Финку (1830—1883), активному участнику общественной жизни 60—70-х годов, одному из основателей газеты «Глас» (1862), в которой сотрудничал и Ян Неруда. В посвящении Неруда пишет: «Это все безделицы, но вы знаете, что и на игрушках часто остаются капли крови их изготовителей. Просматривая эти мои истории взором, полным участия, вы заметите кое-где кровавые следы, услышите биение сердца то веселого, то грустного!»

Вторым изданием «Арабески» вышли в 1880 году, пополнившись несколькими новыми рассказами. В качестве второй части книги в нее включен

сборник «Разные люди», изданный в 1871 году (с подзаголовком «Дорожные эпизоды».)

О н б ы л н е г о д я е м!.— Рассказ носит откровенно автобиографический характер. Для добропорядочных чешских буржуа Неруда — преемник идей чешских радикальных демократов, убежденный патриот, оставался «негодяем» до конца своих дней.

Й о з е ф - а р ф и с т.— Стр.114. ...*номера «Вечерней газеты»*.— Имеется в виду пражская вечерняя газета, орган чешской радикально-демократической партии. Первый номер вышел 1 июня 1848 г.

...*называлась «Herbstblumine»*.— Речь идет о сборнике статей немецкого писателя Жан-Поля (1763—1825), настоящее имя — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер.

За горами, за долами...— Моравская песня, взятая Нерудой из сборника Сушила 1860 г. и сознательно оборванная на слове «Свобода».

Стр. 115. *На троицын день.*— Имеется в виду день 12 июня 1848 г., когда в Праге вспыхнуло восстание против абсолютизма Габсбургов.

И з в о с п о м и н а н и й б р о д я ч е г о а к т е р а.—Стр. 119—120. *Карл Моор*, *Франц Моор* — герои драмы Фридриха Шиллера (1759—1805) «Разбойники» (1781). Выдающиеся актеры, как правило, играли обе роли поочередно.

Стр. 122. *Палацкий* Франтишек (1798—1876) — известный чешский историк, автор многотомной «Истории чешского народа», либерально-буржуазный политический деятель.

Стр. 123. *Раупах* Эрнст Беньямин Соломон (1784—1852), *Гоувальд* Кристофор Эрнсли (1778—1845), *Иффлянд* Август Вильгельм (1759—1814) — немецкие драматурги, авторы популярных в свое время пьес.

Тыл Йозеф Каэтан (1808—1856) — основоположник чешской национальной драматургии и театра.

Стр. 124. «*...отвратительная желчь и сладкое умащение*» — слова Ромео из первого действия трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

П р а ж с к а я и д и л л и я.— Стр. 131. *Новый Свет* — один из беднейших пражских кварталов, расположенный за Градчанами.

...древнюю «Хронику» Гаека.— Речь идет о летописи «Чешская хроника», автором которой был Вацлав Гаек из Либочан (ум. ок. 1553 г.).

Стр. 133. ,.. *и только к полицейским обращался в третьем лице...* — Обращение к человеку в третьем лице множественного числа носило в чешском разговорном языке оттенок особого почтения.

Ж е н и т ь б а п а н а К о б е р ц а.— Стр. 142. ... *после «галантной» мессы...*— К ранней мессе в францисканский костел стекалась молодежь на «смотр невест».

Стр. 144. ...*на одну «беседу»*...— «Беседа» — популярный чешский бальный танец, созданный Я. Нерудой совместно с танцмейстером Йозефом Линком.

О колоколах Лореты.— Лорета — монастырь, построенный в Праге в XVII в. в стиле барокко. В центре внутреннего двора — так называемая «святая хижина», представляющая точную копию часовни в итальянском городе Лорете. Лорета славится музыкальным перезвоном многочисленных маленьких колоколов.

Венский дядюшка.—Рассказ впервые опубликован в полном собрании сочинений Яна Неруды по рукописи, найденной в музее города Табора. Рукой Неруды сделана заметка: «Я приказываю себе никогда не печатать эту ерунду. *Я. Неруда*». Это решение объясняется тем, что писатель, высмеивая в рассказе алчность своих родственников, выводит их под настоящими именами. Наиболее вероятная дата написания — 1869 год, когда Неруда получил известие о смерти своего венского дядюшки Яна Влаха.

«Тень» и «Improvisatore».— Рассказы взяты из сборника «Разные люди», который вышел в 1871 году. В конце 1869 года Неруда предпринимает путешествие в Венецию, а оттуда в Константинополь, Афины, Иерусалим, Каир и возвращается на родину через Рим, Неаполь и Далмацию. Дорожные впечатления вылились в сборник рассказов «Разные люди» и сборник очерков «Картины чужбины» (1878).

Босяки.— Создавая «Босяков», Неруда пользовался материалами и наблюдениями брата одного из своих друзей, работавшего на строительстве. При жизни писателя «Босяки» переиздавались четыре раза, впервые опубликованы в 1872 году.

Стр. 172. «...*когда Швейцарию просверливали от Франции до Неталии*»... (искаж. «Италии»).— Имеется в виду туннель в Западных Альпах, по которому проходит железная дорога Лион — Турин. Туннель построен в 1857—1870 гг.

Стр. 174. ... *не холерный ли это пояс*?..— В Чехии существовало поверье, что человек может уберечься от холеры, обернувши вокруг пояса соломенный жгут.

МАЛОСТРАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Сборник «Малостранские повести» вышел в 1878 году. Все повести ранее публиковались в журналах. Предваряя его выход в свет, писатель поместил 28 октября 1877 года в газете «Народни листы» фельетон, написанный в форме рецензии, в котором с легкой иронической улыбкой поведал читателю о новизне содержания и художественной формы своей книги: «Нам кажется, что писатель придерживается совершенно определенного мнения о том, что

у нас «внизу» люди гораздо более содержательны, чем «наверху»! Неруда пишет лишь о низших классах, о тех общественных кругах, где чувство не затянуто в корсет, где правда все еще больше ценится, чем самая пикантная ложь. Этот Неруда может написать повесть о самой обыкновенной жене кондуктора, рассказать на десяти страницах о каком-то дровосеке, сообщить биографию небритого нищего. Это очень опасно». И далее писатель подчеркивает, что «идеи в «Малостранских повестях» такие же корявые, как мостовая в Константинополе, озорные, как непослушный щенок, и злые, как французский акцизный чиновник».

Неделя в тихом доме.— Повесть автобиографична. Действие ее происходит в доме «У двух солнц» (см. прим. к циклу «Отцу»). Прообразом юного Бавора был сам Неруда, в образах его отца и матери легко угадываются черты родителей Неруды.

Стр. 237. *Английский сатирик описал путешествие по собственному столу...*— Неруда имеет в виду английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», хотя скорее всего речь идет о произведении французского автора Ксавье Мэйстере (1764—1852) «Путешествие по моей комнате».

Стр. 256. «*...на наследственной ниве народной*».— Цитата из поэмы выдающегося чешского поэта Яна Коллара (1793—1852) «Дочь Славы» (1824).

Она разорила нищего.— Стр. 279. *...без зазрения совести и вопреки всем установлениям переходил улицу с дымящейся трубкой в зубах...*— В Праге в те годы было запрещено курить на улицах.

Стр. 281. *... на башне святого Вита.*— Речь идет о храме святого Вита, который возвышается на территории пражского Града. Его строительство было начато еще в XIV в., но прервано гуситскими войнами. Окончательно здание храма было возведено лишь в 1929 г.

Стр. 284. *Клементинум* — ансамбль из иезуитского монастыря и храмов XVI — XVIII вв. В настоящее время в здании расположены библиотеки.

Стр. 285. *... к кармелиткам...*— Кармелиты — члены католического монашеского ордена. В Праге этому ордену принадлежал женский монастырь и костел девы Марии, расположенный на Малой Стране. При монастыре была больница.

Вечерняя болтовня.— Стр. 289. *Ян Говора* — литературный псевдоним Неруды в начале творческого пути.

Месса святого Вацлава.— Мать Неруды была очень религиозна и мечтала о духовной карьере для сына. Маленький Неруда часто сопровождал ее на церковные службы и иногда прислуживал ксендзу.

Чешский князь Вацлав (906—929) ввел в Чехии христианство и был впоследствии причислен к лику святых. Почитается как святой патрон чешской земли, основал храм святого Вита.

Стр. 320. *Мраморная гробница...*— В мраморной гробнице покоится прах королей Карла IV, Вацлава IV, Иржи из Подебрад и др.

Каноник Пешна.— Пешна Вацлав (1782—1859) — проповедник храма святого Вита, имевший заслуги в его строительстве.

Почему 20 августа 1849 года...— Известно, что первый год после подавления революции 1848 года был богат в Чехии тайными заговорами, особенно студенчества и молодежи. Этот рассказ можно рассматривать как добрую насмешку Неруды над заговорщиками, которые строили беспочвенные утопические планы освобождения Чехии от власти Габсбургов.

Стр. 323. *Ян Жижка из Троцнова* (1360—1424) — вождь таборитов, наиболее революционного крыла гуситского движения. Потеряв глаз в одном из боев, Жижка носил черную повязку.

Прокоп Голый, *Прокупек*, *Микулаш из Гус* — вожди гуситского движения.

...в Праге все еще не сняли осадное положение...—12 июня 1848 г. в Праге началось восстание против тирании Габсбургов, 18 июня восстание было жестоко подавлено. В город были введены австрийские войска, они окружили Прагу плотным кольцом, чтобы не допустить отряды повстанцев из провинции, которые спешили на помощь Праге.

Стр. 324. *...дух Пршемысла Отокара...*— Имеется в виду чешский король Пршемысл Отокар I (1197—1230), который, стремясь к объединению Чехии, вел частые войны с феодалами.

Фигурки.— Стр. 347. *Маха* Карел Гинек (1810—1836) — известный чешский поэт и прозаик, романтик. Под знаменем Махи вступило в литературу нерудовское поколение.

Стр. 353. *...полотна кисти Навратила.*— Навратил Йозеф (1798—1865) —известный чешский художник.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

За свою жизнь Неруда написал несколько тысяч статей, очерков и фельетонов различного рода. Напечатанные в газетах, они выходили затем в сборниках и книжных изданиях («Парижские картинки», 1864; «Картины чужбины», 1879; «Шутки игривые и колючие», 1877; «Чешское общество» и многие другие). Вопросы международной политики, события общественной и культурной жизни Чехии и других стран, произведения литературы и искусства, особенности природы, быта и т. д.— все это служило Неруде темой для так называемого «фельетона» — свободной, непринужденной, остроумной беседы с читателем, которая выливалась то в форму очерка, то критической статьи, то сатирического фельетона. В центре внимания писателя стояла

прежде всего судьба простого человека, создателя материальных и культурных ценностей нации.

Неруде — литературному критику и театральному рецензенту, много выступавшему также по вопросам изобразительного искусства и музыки, принадлежит большая заслуга в становлении и развитии подлинно национального реалистического искусства. Юлиус Фучик, высоко оценивая труд «творца чешской журналистики», подчеркивал тот «дух свободы, который бьет живым ключом во всех его статьях» («Статья о журналисте Неруде»).—«Избранное». М., Гослитиздат, 1955, с. 112).

Первый урок чешского языка.—Неруда поступил в школу в 1841 году. Обучение в те годы велось только на немецком языке. В 1845 году он был зачислен в малостранскую гимназию. Ее директор — чешский драматург В.-К. Клицпера (1792—1859) пробуждал в своих учениках патриотические чувства, любовь к родному языку и литературе. В гимназии выходил рукописный ученический журнал. Двенадцатилетним гимназистом Неруда стал посещать лекции по чешскому языку в Карловом университете. Любовь к родному языку он свято пронес через всю жизнь. «Язык меняется, растет, обогащается,— писал он в статье 1890 года «Родной язык»,— мы должны тщательно беречь и охранять его рост, происходящие в нем изменения и всеми силами способствовать его обогащению. У нас, чехов, большое преимущество: совпадение языка народного и литературного. Литература может непосредственно черпать из сокровищницы народного духа, а богатство ее идей и форм идут прямо народу».

Римские элегии.— Стр. 417. ...*графа Маффеи, обычно называемого Пием IX*...— Пий IX (граф Джованини Мариа Мастаи Феретти (1792—1878)— римский папа (1846—1878), установивший в Ватикане террористический режим.

Стр. 419 ...*мы не слышали, чтобы... на капитолийском столбе «Марфорио»... появился ядовитый вопрос, а внизу наш старый знакомый «Пасквино» дал бы один из своих сатирических ответов*...—«Марфорио» — одна из скульптур капитолийского музея; Пасквино — башмачник, живший в XV в., известный язвительными эпиграммами на сильных мира сего. В средневековом Риме злободневные сатирические надписи вывешивались на мраморной античной скульптуре, установленной на доме Пасквино.

... *santa simplicitas*! («...святая простота!»— л а т.) — Предание гласит, что эти слова произнес Ян Гус, когда какая-то женщина подбросила в его костер хворосту.

Стр. 429. ... *Кртитина из «Призыва в Коцоуркове»*. —Крштин — чешский актер того времени, игравший в этой малоизвестной пьесе немецкого писателя Т. Фламма, которая ставилась в Праге в 50-е годы. XIX в.

Фуггеры — крупнейший торгово-ростовщический дом в XV — XVII вв., тесно связанный с папством, поддерживавший реакцию в Европе.

Стр. 431. *...панихида за упокой души... Максимилиана... молебен о здравии Хуареса...* — Максимилиан Габсбург (1832—1867), австрийский эрцгерцог, провозглашенный в 1859 г. императором Мексики; убит в ходе национально-освободительной борьбы мексиканского народа, которую возглавлял Бенито Пабло Хуарес (1806—1872), революционный деятель Мексики, президент Мексиканской республики до 1859 г.

Жизнь на море.— Стр. 441. *...ведь Шекспир наделил нас, чехов, морской душой...*— В пьесе «Зимняя сказка» Шекспир называет королевство Богемию «Морской державой».

Эклога о первозданном лесе.— Стр. 447. *...мужественных ходов...*— Ходы — чешские крестьяне, жившие в пограничных районах юго-западной Чехии. Они несли пограничную службу, за что короли Богемии жаловали им освобождение от крепостных повинностей.

Йозеф Манес.— Этот некролог был опубликован в газете «Народни листы» в декабре 1871 года. Неруда дает понять читателям, что душевная болезнь художника, подорвавшая его силы в последние годы жизни, связана с трагедией непризнанности, с невозможностью развернуть свой талант.

Стр. 449. *Манес* Йозеф (1820—1871) — выдающийся чешский живописец и график, расписавший, в частности, знаменитые куранты на пражской ратуше.

Левый Вацав (1820—1870) — видный чешский скульптор.

Бедржих Сметана.— Композитор Б. Сметана в 70-е годы прошлого столетия подвергался жестоким нападкам реакционных музыкальных критиков. Неруда неоднократно выступал в защиту Сметаны и его направления в музыке.

Стр. 452. *Чермак* Ярослав (1830—1878) — чешский художник-реалист. *Зитек* Йозеф (1832—1909) — известный чешский архитектор, автор проекта здания Национального театра в Праге. *Бендл* Карел (1838—1897)— чешский композитор.

Итак — в консерваторию! — Неруда ошибался — Сметана в консерватории не учился.

«Доходное место» Островского.—Стр. 454. *...мы писали об огромном значении Островского...*— В 1867 г. Неруда написал статью о пьесе А. Н. Островского «Бедность не порок», в 1870 г.— о «Грозе», которая в том же году была поставлена на сцене Временного театра в Праге. Неруда назвал его «немилосердным художником, мужественно обнажающим гнойные раны русского общества».

Стр. 455. *Колар* Йозеф Иржи (1812—1896), *Сейферт* Якуб (1746—1819), *Мошна* Индржих (1837—1911), *Малая* (Скленаржова) Отилия (1844—1912) — известные чешские актеры, игравшие во Временном и Национальном театрах.

Стр. 456. *Когда немцы закончили свою последнюю завоевательную войну...* — Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Василий Верещагин.—В 1881 году в Праге была организована выставка репродукций картин Верещагина, это было одним из многих ярких свидетельств симпатий к русскому народу, вызванной исходом войны 1877—1878 годов.

Куда ее девать?— Стр. 457. *...не испортили завтрашнего воскресного номера газеты...*— Начиная с 1865 г. и до самой смерти почти еженедельно подвал газеты «Народни листы» был занят «фельетоном» Неруды, которого с нетерпением ждали читатели.

Люблю благотворительные базары. — Стр. 465. *Зденка Гавличкова* — дочь писателя Карела Гавличка-Боровского (см. прим. к «Эпиграммам»), после смерти отца оставшаяся круглой сиротой и без средств к существованию; была объявлена «дочерью нации» и воспитывалась на общественные средства.

Первое мая 1890 года.— В 1890 году в Чехии впервые состоялась первомайская демонстрация рабочих, которая была встречена бешеной травлей в буржуазной печати. Ян Неруда открыто присоединился к демонстрантам, выразив в своем очерке горячие симпатии к новой революционной общественной силе.

Стр. 467. «*Был первый май...*»— Строчка из поэмы «Май» К.-Г. Махи.

Стр. 469. *...когда пруссаки приближались к Праге...*— Имеется в виду австро-прусская война 1866 г. и оккупация Праги.

А. Соловьева

СОДЕРЖАНИЕ

Вилем Завада. О Яне Неруде. *Перевод А. Соловьевой* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

«КЛАДБИЩЕНСКИЕ ЦВЕТЫ»

«Меня хвалили, что пою о нищих...» *Перевод В. Луговского* . . 23
«Много горя души гложет...» *Перевод Б. Слуцкого* 23
«Как свечка, вспыхнувшая от ветра...» *Перевод Е. Благининой* 24
«Та девушка была прекрасна...» *Перевод Б. Ахмадулиной* . . . 24
«Вот я на родине и все ж тоскую...» *Перевод М. Зенкевича* . . 24

КНИГИ СТИХОВ

Мать. *Перевод Н. Бялосинской* 25
Монашка. *Перевод Л. Мартынова* 27
С сердцем героя. *Перевод М. Зенкевича* 27
Спляшем, парень! *Перевод М. Павловой* 28
На трех колесах. *Перевод В. Журавлева* 29
Последняя баллада, написанная в году две тысячи с чем-то. *Перевод Н. Кейхгауза* 30
Романс. *Перевод Н. Стефановича* 31
Легенда о сельской практичности. *Перевод Е. Благининой* . . 32

Отцу

«Отец, мы любили друг друга...» *Перевод Е. Благининой* . . . 33
«Я славы желаю, неслыханной славы великой...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 33

Матушке

«Одна, одна ты, матушка...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 34
«Все радости, все горести...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 34

Анне

«Небо мне дало любовь и братьев...» *Перевод В. Луговского* . . 35
«Сердце, как струна, дрожит и рвется...» *Перевод И. Гуровой* 35
«Все мои кипенья, порыванья...» *Перевод Б. Слуцкого* 35

Элегические пустячки

«Другие весны расцветут...» *Перевод В. Луговского* 36
«То ли снова полюбить...» *Перевод Б. Слуцкого* 36
«Быстро мчатся мысли...» *Перевод И. Гуровой* 36
«Об увядших чувствах в песне...» *Перевод М. Зенкевича* . . . 37

Песни края

Задремало мое сердце. *Перевод М. Зенкевича* 37

Песни о Мельницкой скале

«Друзья! Как грустно сознавать...» *Перевод Е. Благининой* . . 37
Всему был рад! *Перевод М. Павловой* 38

Духовная жизнь

«Я спел последнюю песню...» *Перевод Е. Благининой* 39
Старый дом. *Перевод Б. Слуцкого* 40
Я нашел себя. *Перевод М. Мировой* 40

Листки из «Кладбищенских цветов»

«О, потаенные страданья...» *Перевод Б. Слуцкого* 41
«Мое сердце, как осеннее ненастье...» *Перевод Д. Самойлова* . . 42
«Пришла любовь и с попрошайничеством милым...» *Перевод М. Павловой* 42
«Богов» мне наших жаль...» *Перевод М. Замаховской* 43
«Как неоперившийся птенец...» *Перевод Е. Благининой* 43

О времени заживо погребенных

«Рад бы я несчастному народу...» *Перевод Н. Асеева* 43
«Как наша чернь жалка!..» *Перевод М. Мировой* 45

Чешские стихи

«Нет, умирать еще мы не умеем...» *Перевод М. Зенкевича* . . . 45
«Если хочешь, рок жестокий...» *Перевод М. Зенкевича* 46
«Мы били мир в лицо не раз...» *Перевод М. Зенкевича* 46

Заря с Востока. *Перевод Н. Асеева* 46
К папской курии. *Перевод Д. Самойлова* 48

Эпиграммы

Суждение о «Бранденбуржцах». *Перевод А. Арго* 50
Над первыми кирпичами. *Перевод А. Арго* 50

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

«Летней ночью озаренной...» *Перевод М. Павловой* 51
«Погляжу на звезды, на цыплят небесных...» *Перевод М. Павловой* 51
«Пусть я иными непонят...» *Перевод Б. Слуцкого* 51
«Поверьте, звезды горние...» *Перевод М. Павловой* 52
«Поэт Вселенная, черновика...» *Перевод Б. Ахмадулиной* . . . 53
«Словно старинная летопись...» *Перевод Н. Стефановича* . . . 54
«Луч Алькионы, расскажи...» *Перевод Н. Стефановича* 54
«Солнце ютится с планетами...» *Перевод Н. Стефановича* . . . 55
«Земля была дитя...» *Перевод Л. Мартынова* 57
«Месяц, кавалер блестящий...» *Перевод Л. Мартынова* 57
«Был баснословен и призрачен сон...» *Перевод Н. Бялосинской* 58
«Неужто Месяц — лишь мертвец?..» *Перевод Д. Самойлова* . . 59
«Веками облака, склонясь с любовью...» *Перевод М. Павловой* 59
Когда-то молвил человек... *Перевод Л. Мартынова* 59
И молвит ныне человек. *Перевод Л. Мартынова* 60
«Лягушки в луже собрались...» *Перевод Л. Мартынова* 60
«Спасибо, звезды золотые...» *Перевод Л. Мартынова* 62
«Сильней всего люби отчизну!..» *Перевод Л. Мартынова* . . . 62
«Ввысь, народ, взгляни. На небе...» *Перевод Л. Мартынова* . . 63
«История земли так велика...» *Перевод Б. Ахмадулиной* . . . 63
«Наверно, на крошке Луне, там...» *Перевод Л. Мартынова* . . . 64
«Я грешен перед вами и собой...» *Перевод Б. Ахмадулиной* . . 64
«Поговорим, мой друг...» *Перевод М. Павловой* 65
«Я знаю — я бренный и тленный...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 66
«Как только планеты на солнце падут...» *Перевод В. Луговского* 67

БАЛЛАДЫ И РОМАНСЫ

Страстная баллада. *Перевод Д. Самойлова* 68
Чешская баллада. *Перевод М. Зенкевича* 69
Баллада о Карле IV. *Перевод М. Зенкевича* 70
Романс о весне 1848 года. *Перевод М. Павловой* 72
Итальянский романс. *Перевод М. Павловой* 73

Гельголандский романс. *Перевод М. Зенкевича* 74
Баллада о трех королях. *Перевод М. Павловой* 75
Майская баллада. *Перевод Д. Самойлова* 76
Райская баллада. *Перевод М. Павловой* 77
Баллада о польке. *Перевод Н. Асеева* 78
Малостранская баллада. *Перевод А. Арго* 79

ПРОСТЫЕ МОТИВЫ

Весенние

«В очках и с палкой суковатой...» *Перевод М. Зенкевича* . . . 81
«Когда я в зеркало посмотрюсь...» *Перевод Е. Благининой* . . . 82
«На мир ожесточен, унес я...» *Перевод Л. Мартынова* 82
«Сколько дней в моей жизни, словно трава, увяло...» *Перевод Е. Благининой* 83
«Где я очутился! Общественный садик...» *Перевод Л. Мартынова* 83
«Гей, увидишь, Природа, увидишь...» *Перевод Л. Мартынова* . . 84

Летние

«Косой повержен луг, цветы изнемогают...» *Перевод Н. Бялосинской* 85
«Деревья говорят в лесу...» *Перевод Е. Благининой* 85
«Солнце — как огромный жернов, им природа день свой мелет...» *Перевод М. Павловой* 86
«Наш край сегодня с тучею венчался...» *Перевод М. Павловой* 86
«Ты прав, господь, что выгнал нас из рая...» *Перевод М. Павловой* 87
«Ах, я от любви умираю...» *Перевод Е. Благининой* 88
«Всего лишь — август. С голубого неба...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 88

Осенние

«Осень... Коротки дни опять...» *Перевод И. Гуровой* 89
«Всегда быть как осень хотел бы я...» *Перевод И. Гуровой* . . 89
«Но осенью быть не хотел бы я...» *Перевод И. Гуровой* 90

Зимние

«Чей лоб приник к оконному стеклу?..» *Перевод Л. Мартынова* 91
«Однажды, голову склонив в печали...» *Перевод Л. Мартынова* 92
«Угрюмо и молча, один на один...» *Перевод Л. Мартынова* . . . 92
«Ах, когда-то был я молод...» *Перевод М. Павловой* 93
«У ворот ветла дуплиста...» *Перевод Д. Самойлова* 93
«Льет дождь и не стихает...» *Перевод И. Гуровой* 94
Ноябрь. *Перевод А. Арго* 94
«Смерть звоном подает сигнал...» *Перевод И. Гуровой* 95

ПЕСНИ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ

Эпиграф к моим песням. *Перевод Н. Стефановича* 96
«Мой цвет — красный и белый». *Перевод Н. Асеева* 96
Ангел-хранитель. *Перевод И. Гуровой* 98
В земле чаши. *Перевод В. Звягинцевой* 99
Рождественская колыбельная. *Перевод Б. Слуцкого* 99
Вслед за сердцем. *Перевод В. Луговского* 100
Любовь. *Перевод М. Павловой* 101
По стопам льва. *Перевод Н. Асеева* 102
Только вперед! *Перевод Н. Асеева* 102

РАССКАЗЫ

Он был негодяем! *Перевод Ф. Боголюбовой* 107
Йозеф-арфист. *Перевод Ф. Боголюбовой* 112
Из воспоминаний бродячего актера. *Перевод Д. Горбова* . . . 116
Случай в сочельник. *Перевод Д. Горбова* 124
Пражская идиллия. *Перевод Н. Аросевой* 129
Женитьба пана Коберца. *Перевод Н. Еременко* 139
О колоколах Лореты. *Перевод Д. Горбова* 148
Венский дядюшка. *Перевод Е. Аникст* 150
Тень. *Перевод Ф. Боголюбовой* 164
Improvisatore. *Перевод Д. Горбова* 167
Босяки (Этюд по наблюдениям знатоков). *Перевод Н. Аросевой* 171

МАЛОСТРАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Неделя в тихом доме. *Перевод Ю. Молочковского*

I. В рубашке 209
II. Дом почти проснулся 212
III. В семье домовладельца 219
IV. Лирический монолог 226
V. «Старый холостяк — не везет ему никак» 229
VI. Рукопись и гроза 235
VII. Из записок практиканта 237
VIII. На похоронах 242
IX. Новое подтверждение пословицы 244
X. В минуты душевного смятения 249
XI. Первый опыт молодого писателя, просящего снисходительной оценки 251
XII. Через пять минут после концерта 259
XIII. После тиража 261
XIV. В тихом семействе 266
XV. Конец недели 269

Пан Рышанек и пан Шлегл. *Перевод Ю. Молочковского* . . . 270
Она разорила нищего. *Перевод Ю. Молочковского* 278
О мягком сердце пани Руски. *Перевод Ю. Молочковского* . . . 285
Вечерняя болтовня. *Перевод Ю. Молочковского* 289
Доктор Всехгубил. *Перевод Ю. Молочковского* 298
Водяной. *Перевод Ю. Молочковского* 303
Как пан Ворел обкуривал свою трубку. *Перевод Ю. Молочковского* 308
«У трех лилий». *Перевод А. Соловьевой* 312
Месса святого Вацлава. *Перевод Ю. Молочковского* 314
Почему Австрия не была разгромлена 20 августа 1849 года, в половине первого пополудни. *Перевод Ю. Молочковского* . . 322
День поминовения усопших. *Перевод Ю. Молочковского* . . . 336
Фигурки. *Перевод Ю. Молочковского* 345

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

Первый урок чешского языка. *Перевод А. Соловьевой* 411
«Ревизор» Гоголя. *Перевод А. Соловьевой* 414
Римские элегии. *Перевод Д. Горбова* 417
Жизнь на море. *Перевод Д. Горбова* 433
Эклога о первозданном лесе. *Перевод Д. Горбова* 447
Йозеф Манес. *Перевод В. Мартемьяновой* 449
Бедржих Сметана. *Перевод Р. Разумовой* 451
«Доходное место» Островского. *Перевод А. Соловьевой* 454
Василий Верещагин. *Перевод А. Соловьевой* 456
Куда ее девать? *Перевод А. Соловьевой* 457
Добрый домовладелец. *Перевод Д. Горбова* 462
Люблю благотворительные базары. *Перевод Д. Горбова* 465
Первое мая 1890 года. *Перевод В. Чешихиной* 467

Примечания *А. Соловьевой* 473

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 99

Ян Неруда

СТИХОТВОРЕНИЯ. РАССКАЗЫ
МАЛОСТРАНСКИЕ ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

*

Редактор В. Мартемьянова

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры Д. Эткина
и Н. Шкарбанова

*

Сдано в набор 8/VIII 1974 г. Подписано в печать 16/XII 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84 1/16. 31 печ. л. 28,923 усл. печ. л. 29,437 + 1 вкл. + 6 нак. = 30,114 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 1627. Цена 1 р. 67 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.

4p.67k.